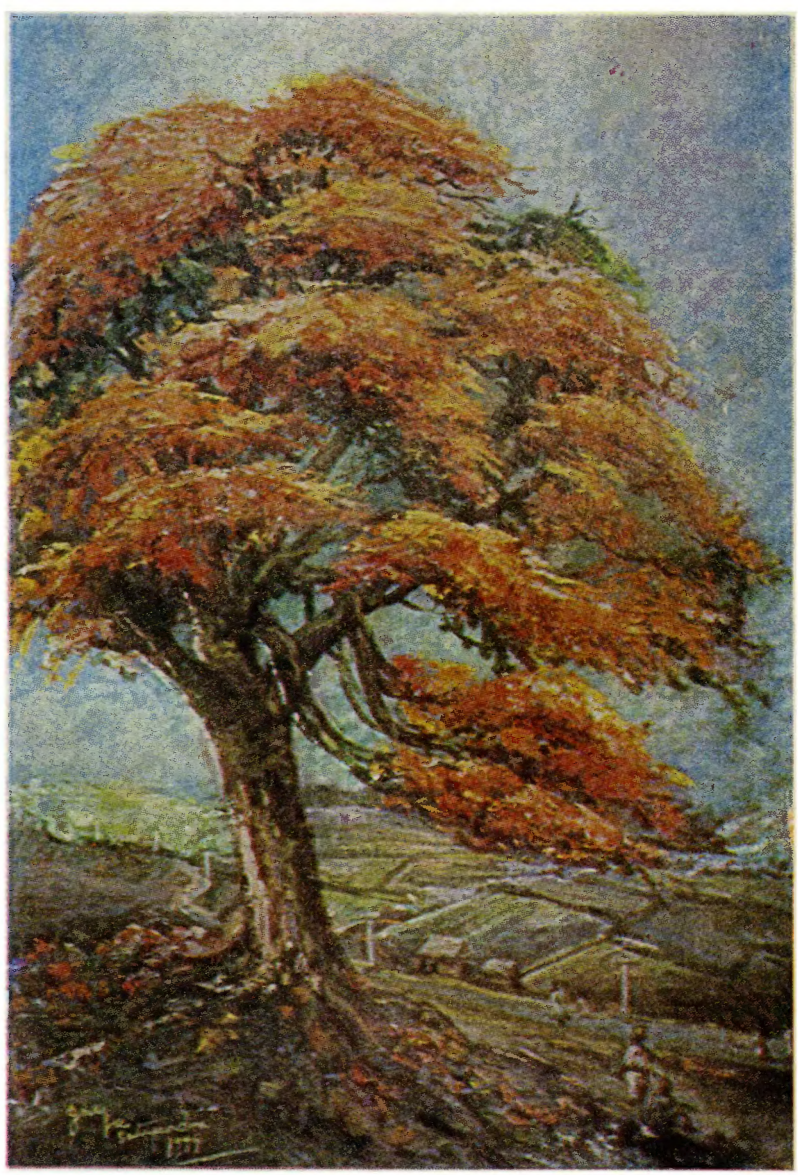
ISSN 0130–6545

7. 1982

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Цветные иллюстрации номера —
работы художницы
Джаялакшми Сатиендры (Шри Ланка)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

7 *июль*

1982

Содержание

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — Миниатюры *(Перевод с немецкого Э. Львовой)* 3

ДЖЕЙМС ДЖОНС — Только позови *(Роман. Перевод с английского Г. Злобина)* 13

Из японской поэзии. КОТАРО ТАКАМУРА, СИМПЭЙ КУСАНО, ТАКАЮКИ КИЁОКА *(Перевод с японского и вступление Т. Соколовой-Делюсиной)* 104

ЛИСАНДРО ОТЕРО — Генерал на коне *(Повесть-памфлет. Перевод с испанского Юрия Дашкевича)* 112

ЮСУФ АЛЬ-КУАЙИД — Война на земле Египта *(Повесть. Окончание. Перевод с арабского В. Кирпиченко)* 150

Литературное наследие

ЖАН МОРЕАС — Стансы *(Перевод с французского и вступление М. Кудинова)* 167

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

Ответственность таланта. Слово — писателям мира *(Дениза Левертов, Гюнтер Гёрлих, Луиджи Малерба, Альфредо Варела, Патрик Д. Смит, Ян Солович)* 173

Ц. КИН — Порочный круг насилия *(Люче д'Эрамо и ее роман об итальянских террористах)* 177

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА — Поиски пути *(Заметки с Международной книжной ярмарки во Франкфурте)* 183

Культура и современность

А. Ливергант — «Мы с вами одной культуры...» 192

Публицистика

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО — Димитров: живой и в бронзе *(К 100-летию со дня рождения)* 197

Документальная проза

ВЕСЛАВ ГУРНИЦКИЙ — Песочные часы *(Фрагменты книги. Окончание. Перевод с польского Б. Стахеева. Послесловие Е. Василькова)* 208

Антирубрика

УИЛЬЯМ Ф. НОЛАН — Ну и денек! *(Перевод с английского Владимира Волина)* 233

ХАЙНО ЭРНСТ — Студент 1984 года *(Перевод с немецкого Евгения Колесова)* 235

МАРКО ГАНЧЕВ — Стихи *(Перевод с болгарского Сергея Никольского)* 236

Наши гости

А. Карельский — Криста Вольф и Герхард Вольф (ГДР) 238

Среди книг

Издано в СССР

С. Львов — Основательность и широта. ✦ Ю. Суровцев — Жизнь многоликая и бесконечная... 240

Издано за рубежом

А. Николаевская — Кингсли Эмис ловит слонопотамов. ✦ Писатели о себе и о своих книгах. Говорит Бернар Клавель 244

Из месяца в месяц 249

На страницах обложки — работы художницы ДЖАЯЛАКШМИ САТИЕНДРЫ (Шри Ланка).

© «Иностранная литература», 1982.

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР

Миниатюры

Перевод с немецкого Э. ЛЬВОВОЙ

ЭВЕ

Так же безоговорочно, как поэтам, я верю ученым, ибо постиг, что в каждом истинном поэте скрывается ученый, а в каждом истинном ученом — поэт. И каждый истинный ученый знает, что его гипотезы суть смутные поэтические предчувствия, а каждый истинный поэт, что его смутные предчувствия — недоказанные гипотезы. Но ни тот, ни другой не дают сбить себя с толку и, весьма возможно, считают себя полярными противоположностями.

Одинок, одинок — поет тишина.

У цветка на моем окне зеленые листья, но он работает и работает, чтобы с помощью нескольких красных лепестков осуществиться полностью.

Я видел пьесу, ей было пятнадцать лет от роду, и я сам написал ее. Передо мной разостлали мою старую, сброшенную кожу. Вещью в себе лежала передо мной сброшенная кожа мыслей и слов, и мне не было до нее никакого дела. Ибо я хожу облаченный в новую кожу новых мыслей, и эти мысли я тоже облекаю в слова и в один прекрасный день надеюсь сбросить и эту кожу.

Может быть, я тоже паук, как вон тот, что спускается вниз головой с дерева, словно по канату. Может быть, я тоже тку тонкую сеть, растягиваю паутину силков, и иные из моих современников останавливаются перед моим тканьём и изумляются ему, а для других это не что иное, как докучная помеха для их ресниц и носов.

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР — ERWIN STRITTMATTER (род. в 1912 г.).

Немецкий писатель (ГДР), лауреат Национальных литературных премий, член Академии искусств ГДР. Книги Э. Штриттматтера переведены на многие языки. В русском переводе вышли его романы «Тинко», «Оле Бинкоп» («ИЛ», 1965, № 7 — 10), «Погонщик волов», повесть «Пони Педро» и др. В «Иностранной литературе» были также напечатаны поэтические миниатюры под названием «Листок календаря» (1967, № 10) из его книги «Шульценхофский календарь всякой всячины» ("Schulzenhofer Kramkalender"), «Маленькие истории» из книги «Без четверти сто маленьких историй» (1971, № 6, «3/4 Hundert Kleingeschichten"), рассказы из сборников «Синий соловей, или Так это начинается» (1973, № 10, "Die blaue Nachtigall oder Der Anfang von etwas"), «Вторник в сентябре» (1978, № 4, "Ein Dienstag in September").

Публикуемые миниатюры взяты из нового сборника лирических миниатюр и афоризмов под названием «Побуждения к творчеству» ("Selbstermunterungen". Berlin, Aufbau-Verlag, 1981).

Атом соединяется с другим атомом, становится человеком и пытается в этом обличье узнать что-то о себе самом.

Куда девается это знание, когда атомы снова разъединяются? Остается ли частичка его в каждом атоме? Или опыт возникает только в сочетании атомов? Если это так, то не имеем ли мы здесь дела с пресловутым deus ex machina, богом из машины?

Пойдем со мной в тишину, любезная подруга. Там покоится глыба невоплощенного. Отобьем от нее по кусочку и придадим им форму мыслей и песен. Да не перестанем мы приносить пользу на этот лад.

Мне кажется, что в раннем детстве я услышал звук, вернее тон, мой тон. И вот я ищу его пятьдесят лет, ищу в гуле оркестра и в простейших пьесках, в шуме струящейся воды и в шуме ветра. Он возникает то там, то здесь, и я не теряю надежды встретить его одного, звучащего только для меня.

У кого есть хороший сюжет и хорошая концовка, может писать просто; у кого их нет, тому приходится расцвечивать свой стиль.

У кого есть дело жизни и план осуществления его, может молчать, у кого их нет, тому приходится болтать.

Кто любит, тот любит; тому, кто не любит, приходится говорить о любви и требовать ее от других.

Когда на метелках полевицы еще лежит роса июльской ночи и солнце встает из-за леса, я мечтаю о заснеженном поле. Жизнь словно хочет показать мне, как прихотливы мои желания.

В сумерках утра я вдохнул песню лесного жаворонка. Я не знаю, была ли то первая утренняя строфа или последняя ночная, только песня жаворонка погасила во мне досаду на зря растраченное время. В первый ли утренний час или в последний ночной — во всякое время возможно создать главное, даже за день до смерти, сказал я себе.

Чтобы увидеть звезды днем, я когда-то смотрел в вентиляционное отверстие шахты. Из недр болезни постигаю я счастье моей повседневной жизни.

Я счастлив, когда мне удается заметить прекраснейшие минуты моей жизни, пока они еще длятся, а не узнать о них потом по сравнению или воспоминанию.

Если я не буду иногда молчать, я не услышу, чего хочет и ждет от меня жизнь.

Я шел лугами моей родины. Здесь разлетелись в клочья мое детство и юность. Вокруг все было темно тогда, и я не чувствовал, чего от меня хочет жизнь. Теперь я догадываюсь об этом, но стал ли я счастливее?

Что должен я делать? — спрашиваю я.

Ты должен делать полезное, отвечают мне.

Что такое полезное? — спрашиваю я.

То, что приносит пользу обществу, отвечают мне.

Нет, говорю я, полезное — это то, к чему у меня есть склонность, но я должен делать это полезное так хорошо и основательно, чтобы оно стало необходимым обществу.

О чернике.

Что ты такое, маленькая синяя капля на растеньице, которое уже не трава, но еще не куст? Можно ли тебя считать ступенькой на пути эволюции к человеку? Как знать, может быть, в один прекрасный день в моем организме кончится вещество, из которого ты состоишь, и я с жадностью нагнусь к тебе и скажу: как вкусно.

Сколько людей — столько целей в жизни, но моя цель неповторима, и никто, кроме меня, не может ее достичь. Я пытаюсь перекинуть к этой цели мосты хороших привычек.

Я смотрю на своих отцов и говорю: «Жизнь кончается!»

Я смотрю на своих детей и говорю: «Жизнь начинается!»

Я смотрю в глубь самого себя и не чувствую ни конца, ни начала.

По поводу смерти друга.

В минуты, когда тот, с кем ты много смеялся, с кем ты чувствовал себя связанным в жизни, умирает на твоих глазах, ты питаешь метафизические надежды и сторожишь малейший знак или кивок ушедшего как предостережение или приглашение.

Человеческие лица — суть записные книжки жизни. Записи в них делаются рунами. С годами я все лучше начинаю разбирать их; подозреваю, что предсказатели и пророки в совершенстве владеют этим искусством.

Страна моего детства лежит не за тридевять земель, она во мне, никто ее у меня не отнимал, просто туда нелегко найти дорогу.

Когда придет мое время, мне бы хотелось уйти в майский день.

Я здесь — значит, я нужен, сказал я сам себе, когда мне было около тридцати лет. Если я стану меньше внимания обращать на намеки, нашептывания и уговоры, станет ясно, для чего я здесь.

Кто пьет прокисшее молоко, с отвращением отворачивается от того, кто ест протухшие яйца.

Национализм. Когда-нибудь наши потомки при этом слове будут так же недоумевающе пожимать плечами, как мы теперь, когда речь заходит о родовой вражде или кровной мести.

Ноябрьский день. В твоем саду пылает последняя роза. Ворона плывет с дерева на куст. Падают листья, падают, падают... Не ветер срывает их, туман их увлекает за собой и мягко опускает на землю. В твоем саду пылает последняя роза. Я смотрю на нее, чтобы сохранить ее.

Я знаю непреложные законы духовной жизни, но часто теряю их из виду в суматохе дня, как теряешь из виду здание ратуши в ярмарочной толчее.

Я приучаю себя, взявшись за всякое новое дело, проверять: не тщеславие ли заставляет меня его делать, и, если к моим побуждениям примешивается суетность, отказываюсь от него.

Самый действенный способ передавать накопленный опыт — жить согласно ему.

Никогда и ни за чем не гнаться, все придет ко мне само, если я буду вести себя как человек.

Золотисто-желтая иволга пугливо перелетает с ветки на ветку старой ракиты под моим окном. Она хлопочет, у нее там гнездо. Ракита обошлась бы и без иволги, но иволга не может обойтись без ракиты. Иволга — золотистая фантазия старой ракиты.

Луг полон цветов. Коровы выходят на луг и находят там только корм.

Я был взволнован, стоял под деревом и смотрел вверх, на кажущуюся путаницу его ветвей. Оно, однако, не замечало моего бешеного сердца, шумело и росло.

Интеллигентных людей я узнаю и по тому, что они всегда готовы подавить голод телесный, дабы утолить духовный.

На дворе, у забора, куча глины с песком. На нее попали семена глухой крапивы, и она побудила их к росту. Ранней весной глухая крапива зацвела, ее цветы приманили пчел и шмелей. Жужжание пчел и шмелей для меня музыка, звуки дальнего органа. И я написал эти строки. Написанное возникло из кучи глины с песком у нашего забора...

С волками жить — по-волчьи выть, но надо считаться с тем, что в один прекрасный день волки распознают фальшивый вой мнимого волка и сожрут его.

Спокойствие — сила, она дает мне возможность устоять перед натиском жизни.

Если я остаюсь верен самому себе, я могу не думать о своих врагах. Они отпадают от меня, как клещи, насосавшиеся крови.

Советы я буду давать, только если меня о них попросят, да и то с осторожностью. Опыт — как ношеное платье, редко кому впору.

Из двух спорщиков мне симпатичнее тот, кто допускает возможность правильных положений и во взглядах своего противника, а не настаивает с пеной у рта на своей правоте.

Не следует ли мне, писателю, извлечь отсюда урок для самого себя?

Мой сосед, выросший в деревне, потерял свое природное чутье погоды. Он слушает официальные прогнозы по радио и бесится, когда они не сбываются. Мой дед тоже бесился, когда чутье подводило его. Где же тут изменение к лучшему? — спрашиваю я себя.

Когда я заговариваю о внушении, мой друг отмахивается от меня. Брось ты эту мистику! — говорит он мне, даже не подозревая, как часто в своей жизни он подвергался внушению и сколь немногие из его действий соответствовали собственным его взглядам и намерениям.

Тщательно составленный список человеческих жестокостей и страданий мало способствует очищению человеческой души, если какой-нибудь Данте не превратит его в описание пережитого.

О восьмидесятитрехлетнем старике: это уже не лицо, а рельефная карта жизненного ландшафта.

Как густо ни окутывают облака землю, летчик видит солнце. Я не летчик, но мне хотелось бы, чтобы по крайней мере мысли мои не копошились на земле, а парили в небе.

Каждый ушедший взывает ко мне: пользуйся своей жизнью.

Как ни бессмысленно звучит это на первый взгляд, но чем старше я становлюсь, тем яснее мне: надо уметь ждать.

В юности я ждал чего-то от жизни, теперь — только от себя. Когда я перестану ждать чего-то от себя, я стану мертвым, даже если я буду продолжать жить.

Говорят о золотой поре юности. Для меня же время, что мне еще осталось провести на земле, с каждым днем представляется золотом все более высокой пробы.

По-моему, пока нашим оружием вместо зубов и когтей служат бомбы и ракеты и мы бьемся друг с другом за клок земли, как хищные звери за кусок мяса, мы не вправе именовать себя «цивилизованными».

Ура высшему счастью — прогрессу, но пока что нам еще не удалось взять на себя дела тоненькой ветки и из минералов, земли и воздуха — без семени растения — создать зеленый лист, что растет на этой веточке. Все еще впереди, знаю, знаю!

Ночью, когда я сплю, все продолжает идти своим чередом и без моего участия. Старушка земля работает. Она не дает улететь своей воздушной мантии, необходимой мне для жизни. Следовательно, для нее имеет цену мое присутствие здесь и мой труд. Давлением воздуха и силой притяжения она прижимает меня к себе, она боится меня потерять, даже мои кости, даже они нужны ей, чтобы создавать новое.

Вещи сгорают, сгнивают, распадаются на составные части и исчезают из моего поля зрения, но остаются на моей планете, готовые в любую минуту вступить в новые соединения для создания новых вещей и стать зримыми для меня в образе новых скоплений.

Когда последний трактор покидает лесную дорогу, когда соседи расходятся по домам, когда светит полная луна и дикие гуси приветствуют ее, я, глядя на кружение чужих миров, смутно чувствую, какие горы одиночества должен одолеть человек, стремящийся к звездам.

Некогда мы прокладывали наши дороги с дерева на дерево. С верхушек первобытного леса уничтожили мы наших врагов — зверей и стали обживать землю.

Ради нашей цивилизации мы отказались от прежних дорог — с дерева на дерево и ради нашей цивилизации уничтожили, по-моему, саму возможность жить на земле; и вот мы уже прикидываем: возможна ли жизнь в стратосфере, чтобы в случае необходимости покинуть землю.

Прошлой ночью мне приснилось, будто я пылинка. И всегда был невидимой пылинкой. Солнечный луч упал на меня — и я заблестел, солнечный луч передвинулся дальше — и я снова стал невидим, но я существовал.

Окно — это соответствующая уровню нашей цивилизации дыра, стул — это камень, а шкаф — это ниша в скале. Тарелка — подражание ладони, чаша — сложенным ладоням, и даже вилка — стилизованная рука с растопыренными пальцами. Иногда мне доставляет удовольствие восстанавливать прообразы вещей без посредства тех, для кого это профессия.

Ветер доказывает мне, что движение, возникшее далеко-далеко отсюда, достигает меня.

Земля не просто вращается, с каждым оборотом она занимает новое место в мировом пространстве. Каждые сутки возникает новое расположение звезд, а я, подобно золотой рыбке, выведенной японцами, влеку за собой свои старые мысли, как вуалевый хвост.

Когда день еще неощутим, когда воздух над моей головой еще не поколебали даже песни птиц, сила, которая образует в моем мозгу мысли, воздействует на меня резко и быстро. Так мне кажется.

К установлению контакта со звездами человека теперь влечет не только страсть путешественника и исследователя, но и страх перед себе подобными. Воинственные умы стремятся в конечном счете к звездам для того, чтобы править оттуда землей. Каково же будет их разочарование, если они узнают, что землей уже давно правят жители звезд.

Нелегко усердно и пристально наблюдать окружающий мир, не преследуя при этом собственных целей. Но когда мне удается это во всей чистоте, какой источник радости раскрывается для меня!

Верхний слой почвы состоит из неживого: умерших растений, умерших животных, умерших людей, и мы проводим на них всю свою жизнь.

Туманы, что окутывают луга после дождя, приходят, как и ветры, издалека. Они приветствуют меня, напоминая о далекой дали, о которой я так часто забываю.

Разумеется, у цивилизации есть свои положительные черты, но человек не умеет управлять ею, хотя сам ее создал. Убивают ли тебя каменным топором или атомной бомбой — это все равно варварство. То, что делают медицина и биология для продления человеческой жизни, не достигает видимых успехов, пока тысячи и тысячи людей гибнут от болезней цивилизации и опьянения скоростью на улицах городов.

В больших городах человек платит за воду, необходимую ему каждый день, он платит за то, чтобы подышать месяц чистым воздухом, и за то, чтобы посмотреть на зверей. На уличных перекрестках он заползает под землю, чтобы его не убили создания его же рук — машины. И тем не менее он восхваляет цивилизацию. Что же с ним происходит, куда он стремится? — спрашиваю я сам себя, думая об этом.

Не садовой розой со множеством лепестков и часто совсем без запаха, но душистым цветком шиповника о пяти лепестках хотел бы я видеть произведение искусства.

Когда я был совсем маленьким, животные были мне как братья, их неумение говорить не смущало меня, ибо с детьми я общался тоже без слов.

Но росло мое сознание, росло и расстояние между мной и животными. Став старше и преодолев высокомерие, воспитанное во мне моим сознанием, я снова обрел то, что связывало меня с животными.

За моим окном стена леса; уже ранним утром заговаривает со мной березка: можно быть деревом, деревом среди деревьев, но таким светлым, таким светящимся, исполненным такой поэзии, что в него не мудрено и влюбиться, как этот художник, этот Левитан.

По вечерам, когда садится солнце, случается, старая сосна возражает самовлюбленной болтовне березы: ты считаешь себя единственной и неповторимой, потому что растешь перед стеной сосен. На фоне березовой рощи и я бы выглядела недурно, особенно светясь, как вот сейчас, на закате. Между прочим, это ценил некто Лейстиков [1], тоже художник.

Час полного покоя под деревом. Какое заблуждение! Под ногами у меня растет трава, земля тоже меняется, и с каждым вдохом я вдыхаю воздух, который еще никогда не был у меня в легких.

Цветочные горшки на подоконниках в больших городах напоминают мне мешочки с родимой землей, какие носили с собой некогда странники.

Обоняние скорее помеха для человека в наш век науки, да оно, пожалуй, все более притупляется и хиреет: уж больно отвратительными становятся запахи.

[1] Вальтер Лейстиков (1865—1908) — немецкий художник, любивший изображать пейзажи с соснами. *(Прим. перев.)*

Везде круговороты. Человек переходит улицу — это может быть началом истории, но и ее концом.

Князь Пюклер[1] приказал зарывать под каждое дерево, которое сажали в его парке, мертвую овцу, чтобы деревья росли могучими и принесли ему посмертную славу.

Другие феодалы и владыки приносили в жертву своей посмертной славе людей.

Восславим же тех, кто во имя посмертной славы жертвовал собственной жизнью. К таким людям я причисляю и художников.

Я чувствую, моя задача — добывать сведения о самом себе, в этом моя суть, в этом цель моего пребывания здесь, моего существования.

Со спокойными, упорядоченными мыслями засыпаю я, с хаосом мыслей в голове просыпаюсь. Мне следует взять под контроль свои ночные мысли.

Радость людей возникает как непредусмотренный результат на пути цветущих растений к самовоплощению.

Произведение искусства, которое нас подлинно волнует, возникает — и в этом я уверен — непреднамеренно на пути художника к самовоплощению.

Художник, вкладывающий в свое произведение все свое время, всю свою силу и всю свою фантазию, приобретает, не стремясь к тому, могущество — часто после смерти. Если же художник достигнет его при жизни и употребит во зло, он тотчас слетит со своего трона. В этом его отличие от других властелинов.

Отныне я хочу работать без спешки, так, словно бы уже наступил вечер моей жизни и словно бы я высказываю те мысли, которые собирался захватить с собой в могилу.

Оперившиеся уже птенцы так теснились вокруг старого скворца, принесшего им корм, что один из птенцов вывалился из гнезда. Инстинктивным движением он раскрыл крылья и не без удовольствия спланировал на луг, прямо на свой ползучий, извивающийся корм. Я подумал: в эту минуту исполнилось предначертание, которое жизнь определила для скворца, когда отделила клубочек белка от старых скворцов, поместила его в оболочку яйца и замкнула скорлупой, а потом послала в мир как самостоятельное существо. Но мне тут же пришло в голову, что от молодого скворца, чей первый полет я наблюдал, тоже отделятся молодые скворцы. Я узнал круговращение жизни и понял: то, чего хочет жизнь, не имеет ни начала, ни конца.

Если утро не принесет мне того, в чем я нуждаюсь, я потребую это у полудня.

Тот, кто прячется за звук своих слов, боится тишины.

Я вглядываюсь в предметы так долго, пока они не заговорят со мной.

[1] Князь Пюклер (1785—1871) — создатель немецких ландшафтных парков. *(Прим. перев.)*

Льет дождь, стоит непроглядная тьма, но только для обитателей одной местности.

Мрачно текут часы, и ни в чем нет утешения, но только для меня.

За этим стоит жизнь и ждет, что я, как в детстве, найду, чем занять каждый свой час.

Прежде чем самому начать писать, я читал разнообразнейшие книги. Мне сказали, что для начинающего писателя побудительным толчком к работе должно быть чтение. Но очень скоро я понял, что, следуя этому совету, я в собственных своих писаниях лишь нанизываю чужие мысли. Мне это не понравилось, я перестал так много читать и стал наблюдать многообразие жизни. Это было труднее, чем чтение, но научило меня самостоятельности.

Я спрашиваю себя: как же так люди, признающие реальность литературных героев в нашей повседневности и даже избирающие их в собеседники, отрицают существование духов?

Получается, что закрепление духов на бумаге играет немалую роль в жизни, и литература, сколь мистически это ни звучало бы,— своего рода заклинание духов.

Иной день прячет свое содержание за плотной шкурой неотложных дел, и мое упорство должно пронзить ее как нож.

Каждое утро — иное, чем остальные, пусть это только усик виноградной лозы, что вырос за ночь и стал теперь виден в мое окно, или карликовый дрок, вчера еще весь в бутонах, а сегодня расцвел. Тысячи вещей сегодня утром совсем другие, чем были вчера утром. И я тоже совсем другой.

В середине ночи налетел ветер. Он, то стихая на минуту, шуршал по крыше, то снова порывами налетал на деревья, и ночь была полна шепота. Я прислушался, но не понял ничего, я не был способен в ту ночь понять, что мне хотят поведать стихии.

Я оглядываюсь вокруг в поисках места для нового дома. Ибо сказано: новый дом — новая молодость. Но не сказано ли в другом месте: оглянись на себя, загляни внутрь, не разрослись ли там крапива и лебеда?

Я встречал юнцов, да и мужчин тоже, полагающих, что в жизни, как в маскараде, достаточно нарядиться и вести себя «как художник», чтобы им стать; свои представления о художниках они черпают обычно из оперетт.

Я проносился в скором поезде мимо станций так быстро, что не мог прочесть их названий, и почти все время пути не знал, где нахожусь, в каком месте между начальной и конечной станциями. Будь внимателен, подумал я, чтобы не проехать так же и по жизни.

«Сходство с реально существующими людьми случайно»,— нередко читаем мы в предисловиях к романам. Над каждым моим утром мог бы стоять эпиграф: «Сходство сегодняшнего дня со вчерашним случайно, оно возникло по вине наблюдателя».

Пришло лето, песни лесных жаворонков наполняют воздух, а мне так горько, словно в моей крови уже плавают биченосцы смерти.

Мои праздники — это минуты, когда я чувствую, что работа мне удается, и беседы о жизни и об искусстве, и разговоры о работе с Эвой или добрыми друзьями, но главное — с Эвой.

Иногда, когда умирает кто-нибудь из моих товарищей, я прибегаю к такому утешению: мы все — пузыри на воде, предназначенные к тому, чтобы исчезнуть. Одни, красивые, переливаются, другие превосходят нас величиной, но все возвращаются обратно в свою стихию, а я пока еще держусь на поверхности.

Терпеливые создания, деревья, стоят перед моим домом и ждут. Пищу искать им не приходится, им довольно того, что дает земля; на меня они глядят с надеждой, верят, что я не сделаю из них ни шкафов, ни сундуков и не скормлю их огню. Но зато я выжму из них сок поэзии.

Чем старше я становлюсь, тем более суживаются мои представления о счастье. Сейчас осталось только одно: писать. Не «хочу писать», а «должен писать». Выбора больше нет.

Мое тайное желание — жить и работать так, чтобы мои духовные наследники, роясь в ящиках моего письменного стола, не сказали бы: все, что мог, он дал при жизни.

Я не хочу навязывать свои книги читателям и не хочу ничего в них объяснять. Лучше всего будет, если читатель, прочтя то, что я написал, скажет себе: я и сам так думал, только сказать не сумел, это он у меня украл.

ДЖЕЙМС ДЖОНС

Только позови

РОМАН

Перевод с английского Г. ЗЛОБИНА

Посвящается каждому, кто во время второй мировой войны служил в Вооруженных силах США — независимо от того, выжил он или нет, нажился или нет, сражался или не сражался, отсидел срок или не отсидел, спятил после всего этого или нет.

Когда в госпиталь поступала очередная партия раненых, ночной дежурный обыкновенно говорил каждому: «Если чего будет нужно, только позови».

Р. Дж. Блессинг, «Воспоминания» (1918)

Прыг-скок, прыг-скок!
Только вышел на порог,
Кто-то дергает шнурок.
Пляшешь куклой — звон по кости! —
Званый в гости на погосте.
Кто же дергает шнурок?
Прыг-скок, прыг-скок!

Старинная французская песенка в вольном переложении автора

Книга первая. ТРАНСПОРТ

Глава I

Слух о прибытии этих четверых дошел до нас за месяц до того, как их привезли. Мы были разбросаны по госпиталям в разных частях страны, и даже удивительно, до чего быстро доходили до нас вести о том, что творилось в роте. Узнав новость, мы письмами и открытками передавали ее дальше. У нас была собственная система связи, охватывавшая всю страну.

На этот раз их было всего четверо. Но зато каких! Уинч, Стрейндж, Прелл и Лэндерс. Наверное, самые замечательные ребята в роте.

Когда пришло известие, мы еще не знали, что всех четверых направляют в одно и то же место. К нам, в Люксор.

© 1977, 1978 by Gloria Jones as executrix for the estate of James Jones

ДЖЕЙМС ДЖОНС — JAMES JONES (1921 — 1977).
Американский писатель. Учился в университетах на Гавайях и в Нью-Йорке, в годы второй мировой войны служил в армии.
Широкую известность приобрел после выхода в 1951 г. романа «Отсюда в вечность», ("From Here to Eternity"). В последующие годы выходили его романы «Тонкая красная линия» ("The Thin Red Line", 1962), «Ступай туда, где делают вдов» ("Go to the Widow-Maker", 1967), «Веселый месяц май» ("The Merry Month of May", 1971), «Прикосновение опасности» ("A Touch of Danger", 1973), публицистическая книга «Вторая мировая война» ("World War II", 1975) и др. произведения. На русский язык переведены роман «Отсюда в вечность», повесть «Пистолет».
С конца 50-х годов до 1973 г. писатель жил в Париже. Скончался от тяжелой болезни сердца, не успев завершить свою последнюю работу — роман «Только позови» ("Whistle". New York, Delakorte Press, 1978), который мы публикуем в журнальном варианте. Три финальные главы по заметкам и магнитофонным записям автора подготовил к печати его друг, литератор Уилли Моррис.

Обычно в люксорском госпитале мы узнавали новости первыми. Это потому, что здесь собралась самая большая группа наших. Одно время насчитывалось целых двенадцать человек. Здесь находился нервный узел нашей системы. Мы добровольно взяли на себя эту обузу и добросовестно строчили письма и открытки другим.

Рота была еще там, в джунглях, на Тихом океане, и важнее известий о ней ничего не было. Она была важнее и реальнее всего, что происходило вокруг, важнее того, что происходило с нами самими.

Март Уинч был у нас первым сержантом, старшим в роте. Джон Стрейндж — сержантом, начальником кухни-столовой. Марион Лэндерс — ротным писарем. Бобби Прелла два раза разжаловали из сержантов, сейчас он ходил в капралах, но все равно он был самым упрямым и отчаянным в роте. Вспыхивал, как порох.

Поразительно, как мы, вернувшиеся с фронта, старались держаться друг друга. Мы были точно стайка осиротевших детей, которых раскидала по разным лечебницам какая-то заразная болезнь. И это ощущение заразы не проходило. Вообще-то люди относились к нам хорошо, заботились и все такое, но, притронувшись к нам, бежали мыть руки. Мы были нечистые, что ли, подпорченные. Мы не сердились на них. Мы сами это чувствовали. Мы понимали, почему штатские не хотят смотреть на наши увечья.

В госпитале мы знали, что нам не место среди чистеньких и ухоженных. Наше место там, где болезни и бедствия, там, где падали от усталости, умирали от ран, пропадали без вести, исчезали бесследно,— там, с единственной нашей семьей, какую мы знали. Вот что значит быть раненым.

Но у нас была своя гордость. Мы прибыли из районов бедствия, куда не попадали другие. И мы не давали другим забыть об этом. Мы прибыли из пораженной зоны, где подверглись действию заразы, и принесли ее в себе в знак доказательства. Мы несли ее с гордостью.

Нас пожирало пламя сумасшедшей верности друг другу к таким же, как мы. Мы были готовы затеять драку с любым чужаком и затевали драки не раз и не два, когда были в городе и напивались. Мы не носили ничего, кроме боевых значков пехотинца. Мы презирали нашивки и награды. Они были агиткой для порядочных и смирных.

Рота всегда была нашей семьей и нашим единственным домом. Для нас просто не существовало родителей, жен, невест. Их заслоняла фанатичная преданность друг другу. Озлобленные, ослабевшие, изувеченные, вроде бы и не мужчины уже, мы видели обе стороны медали, всякой медали, и поэтому сволочились, и отчаянно цеплялись друг за друга, где бы мы ни были — в госпитале или где еще, и ждали, ждали обрывочных сведений о других, и добросовестно писали, и отправляли наши послания остальным нашим братьям.

Первая весточка о приезде этих четверых пришла в наш кошмарный ополовиненный мир на потертой, заляпанной открытке от какого-то счастливого несчастливца, который все еще был там.

В открытке говорилось, что всех четверых почти одновременно переправляют в один и тот же эвакогоспиталь. Вот и все. Потом мы узнали, что они отправлены домой на санитарном транспортном судне. Эта короткая записка пришла из базового госпиталя от одного несчастливца — или счастливца: его ранило, но он не попал на это судно. И лишь потом мы получили более подробное письмо от ротного техника-сержанта.

Уинча отправили в тыл из-за какого-то непонятного заболевания — никто не мог определить, что с ним. От самого Уинча тоже ничего не могли добиться. Он прокусил один термометр, сломал другой, потом выгнал санитара из лагеря, а сам пошел к себе в палатку,

где его и нашли без сознания — он привалился к самодельному столу, уткнувшись лбом в книгу суточных ведомостей.

У Джона Стрейнджа застрял в кисти крошечный минный осколок. Рана заживала медленно, рука действовала все хуже и хуже. Ему предстояла тонкая операция на кости и связках по удалению осколка.

Писарю Лэндерсу осколком крупнокалиберной мины раздробило правый голеностопный сустав, требовалась операция. Бобби Прелл попал в перестрелку, очередь из тяжелого пулемета прошила ему оба бедра, в результате — несколько сложных переломов и тяжелое повреждение тканей.

Таковы были новости о личном составе, которые мы так жаждали узнать. Может, вы подумаете, что мы испытали при этом тайное удовлетворение? Были рады, что к нам, в нашем получеловечьем состоянии, присоединятся другие? Ни в коем разе. Мы бы исколошматили всякого, кто намекнул бы на это. Особенно если бы речь шла о тех четверых.

Нас порядком собралось тогда в сверкающем безукоризненной чистотой уродливом помещении госпитального буфета. Мы сидели, попивая кофе после утреннего обхода, и тут ворвался Корелло, размахивая письмом. Корелло был горячий, непоседливый итальянец из Мак-Минвилла в штате Теннесси. Никто не знал, почему его направили в Люксор, а не в Нашвилл, и никто не знал, каким ветром его итальянских предков занесло в Мак-Минвилл, где они держали ресторанчик. После прибытия в Люксор Корелло только раз съездил домой, но не пробыл там и дня. Сказал, что больше не вытерпел. И вот он несся сейчас между стерильно белыми столами с письмом в поднятой руке.

В комнате сразу стихло. Потом разговоры возобновились. Старожилы привыкли к таким сценам. Две буфетчицы, девицы из бедных, встревоженно подняли головы, но, увидев письмо, снова принялись накачивать из машин кофе.

Лучи южного солнца струились сверху сквозь толстые стекла и заливали всю эту белизну. По освещенным углам одиночки писали письма, предпочитая толпу и гомон библиотечной тишине. Нас было пятеро из роты за одним столом, и Корелло остановился около нас.

Сразу же подошли другие, сидевшие за соседними столиками. В считанные секунды собрались все наши, кто был в буфете. Ребята из других частей не встревали — знай тянули свой кофе и свои беседы.

— Читай вслух! — сказал кто-то.

— Верно, давай вслух! — поддержали голоса.

Державший листок покраснел, замотал головой: что, мол, вслух — это не про него, и передал письмо соседу. Тот разгладил ладонью бумагу, откашлялся, осмотрел письмо и начал читать сдавленным голосом, как новичок на занятиях по декламации.

— Все четверо в одно время,— без выражения произнес стоявший за спиной у Корелло.

— Угу, практически в один и тот же день,— отозвался другой.

Мы знали, что никто из нас не вернется в роту. Теперь уж никогда, раз нас отправили в Штаты. Если возвращаешься в Штаты, тебе дают назначение в другую часть. Но нам хотелось верить, что рота сохранится такой, какой мы ее знали, и будет держаться, и в конце концов выйдет из боев в целости.

— Да это вроде как... ну, почти что...

Неважно, кто из нас заговорил, и неважно, чего он не досказал: мы все поняли.

Нас обуял какой-то суеверный страх. На войне бывают моменты, когда живешь суевериями. Иначе нельзя. Когда истощались запасы всего, что ты знаешь и пережил прежде, исход перестрелки, обороны или атаки зависел уже в основном от удачи. Благоговейный ужас перед необъяснимым, тем, что образует сердцевину одержимости у заядлого игрока, был единственной пригодной для нас религией. Мы поклонялись богу, в котором бесстрастно жила удача как одно из главных орудий его. Дай нам, боже, удачливого командира! Пускай у других будут образованные да умелые.

Мы были словно темные первочеловеки: видя, как молния, разрушает их глинобитную хижину, они выдумывали бога, чтобы понять, что произошло. Нашего бога лучше всего уподобить большой рулетке.

Мы думали, что бог благоволил к нам, по крайней мере к нашей роте. Теперь выходило, что колесо крутится в другую сторону.

Ничего не поделаешь. Мы знали правила игры.

Теперь только не наступать на трещины, не проходить под лестницей и чтобы черная кошка не перебежала дорогу, когда рота пойдет вперед.

Нам трудно было отделаться от дурных мыслей. Чтобы так все переменилось в роте! Чтобы она стала чьим-то домом, чьей-то семьей, ротой — чьей-то, а не нашей. Ничего другого у нас, считай, и не было.

— Да...— протянул кто-то и оглушительно откашлялся. Кашель прозвучал, как выстрел в пустой бочке. И на этот раз мы поняли, что имелось в виду. Он просто не хотел распространяться, чтобы не сглазить, не спугнуть везение.

— Только подумать, все четверо сразу...— начал кто-то.

— Как считаешь, кого-нибудь направят сюда? — спросил другой.

— Хорошо бы Уинча,— сказал третий.

— Вот здорово было бы! Как раньше,— подхватил кто-то.

— В любом разе хоть доподлинно узнаем, чего там творится,— отозвался еще один.— Не из писем.

— Может, и нам пора за письма взяться? Как, братцы? — сказал кто-то, поднимаясь.

Сразу встали двое или трое, двинулись к свободным столам. За ними потянулись остальные. Откуда-то появилась бумага, и ручки, и карандаши, открытки, конверты, марки.

Косо падали неяркие, спокойные лучи предосеннего южного солнца и ослепительно вспыхивали на стерильной белизне потолка и стен, а мы принялись за письма, которые разнесут новость по другим госпиталям в разных углах страны. Писали старательно, кто-то высунул от усердия кончик языка.

Мы думали о тех четверых. Они, можно сказать, составляли ядро нашей старой роты. И вот теперь все четверо совершали то же необычное путешествие домой. Мы все прошли через это. То было необычное, непонятное, какое-то сверхъестественное путешествие. Одни проделали его на огромных скоростных самолетах, другие на тихоходных белых судах с громадными красными крестами по бортам — на таких же плыли сейчас домой и они.

Мы сидели в этой стерильной белизне, вместившей наш урезанный, ополовиненный мир, и думали, как они сейчас там, те четверо. Интересно, испытывают ли они то же чувство вывихнутости, полнейшей оторванности от всего и безразличия, которое испытали мы сами.

Глава 2

Уинч торчал в каюте, когда на горизонте показались Штаты. Какой-то взъерошенный псих просунул в дверь голову, выкрикнул новость и сгинул.

В одно мгновение корабль как наэлектризовался. Уинч слышал за дверью топот по коридору. Четверо его товарищей по каюте бросили карты и запахивали халаты, собираясь подняться на палубу.

Все они в этой тесной каюте были в звании штаб-сержанта и выше. Уже закончились утренние обходы, которые обычно строго определяли распорядок дня в армейских госпиталях, но на этой паршивой медицинской посудине вылились в дурацкую формальность. Теперь целый день раненые были предоставлены самим себе. Уинч сидел не шелохнувшись. Про себя он давно решил, что не станет скакать от радости вместе со всеми. И толковать не о чем.

— Ты идешь, Уинч? — спросил кто-то.

— Нет.

— Брось кобениться, пойдем,— пробурчал другой.— К дому подходим.

— Сказал — нет! — Уинч вызывающе дернул подбородком. Он не заметил, кто говорил. Да и без разницы, все равно они не свои.— Видел я это.

— Но не так, как сейчас,— сказал один и показал на другую, загипсованную руку.— Не так.

Гипсовая повязка у него поднималась по руке и, охватывая плечо, держала согнутый под прямым углом локоть торчком над алюминиевым каркасом. Открытая кисть была багровой.

— Плюнь,— сказал другой.— Ты что, не знаешь его? Он же чокнутый.

Они потащились из каюты, двигались медленно, опасливо; двое, раненные в ногу, прихрамывали.

Чокнутый. Именно такой репутации он и добивался — слыть за чокнутого. Именно этого он добивался уже не год и не два.

Оставшись один, Уинч вытянулся на койке и принялся разглядывать ровную нижнюю сторону койки над ним. У него не было ни малейшего желания вылезать на палубу и любоваться американскими берегами.

Вот говорят: дом. Для него это пустой звук. А для них — неужели это слово действительно что-то значит?

Настает момент, говорил он себе, когда со всеми нами начинает твориться одно и то же. Со всеми, кто чему-нибудь научился. Дом очень просто может оказаться выдумкой, фантазией. Кроме того, несправедливо это. Нам-то повезло. Оставили где-то ногу, или руку, или глаз и давай домой, из-под огня прямо по кабакам и к бабам. А в это время другие, пока живые-здоровые, все еще там, дышат дымом. Стараются как-нибудь уцелеть.

Уинч нащупал затасканный вещевой мешок, расстегнул, выудил бутылку виски. Он уговаривал себя не пить. Он говорил себе, что ему нельзя. Потом откупорил бутылку и жадно сделал два глотка.

Эй вы, там, до скорого! За вас, долболобы!

Он приподнял бутылку, как бы провозглашая тост. Если выпивка — это отрава, особенно в его теперешнем состоянии, то до чего же замечательная отрава, черт побери.

Так вот, о репутациях. Забавная штука. Вечно толкуют о начальственном виде. Говорят: либо он есть, либо нет. Говорят: если у человека нет начальственного вида, значит, этому не научишься. Чушь собачья.

Для этого есть новое выражение, то есть на самом-то деле выражение очень старое, но оно опять вошло в моду через пять столетий. Старинное церковное выражение, еще из средних веков — божий дар. Либо у тебя есть божий дар, либо нет, и если есть, ты можешь делать и требовать чего пожелаешь, а остальные будут слушать и подчиняться.

Люди просто не соображают, что начальственный вид не сам по себе получается, не изнутри — его человеку придают прихвостни.

Им нужно смотреть на кого-нибудь снизу вверх. Им нужны приказания. Начальственный вид делается глазами подчиненных. Это как общий уговор или заговор. Может, для какого-нибудь офицеришки-недоумка начальственный вид и впрямь такая важность. Но толковые командиры не верят в это. Они просто напускают на себя начальственный вид, когда нужно. Он и сам это делал столько лет.

Уинч вздохнул и заложил руку за голову. Он был из тех, у кого есть божий дар, есть эта искра божья, это обаяние, он давно считался одной из «звезд» дивизии. Его знали даже в других дивизиях. Отсюда он заключил, что все знаменитости одинаковы. Все они принадлежат к тайному воровскому клану. Они узнают друг друга по виду и никогда не цепляются друг к другу. Молчаливый пароль у них — понимающий взгляд, которым они обмениваются с тобой, взгляд соучастника. Они не толкуют про божий дар. Сам такой, Уинч узнал, что люди, обладающие этим даром, составляют особую расу махинаторов высшей марки.

Как только это усечешь, кончено дело. Пропадает всякое удовольствие, пропадает то, что делает тебя хватом. Копнешь — и все становится мелочным и смешным. И тогда не успеешь оглянуться, как ты уже там, на скотном дворе, такой же, как остальные, и воняешь заодно со всем стадом. С тем самым стадом, от которого ты так хотел отбиться.

А на него в роте смотрели как на героя.

Бутылка все еще торчала у него на груди. Он опустил руку за край койки и убрал виски в мешок.

Будь они все прокляты, убойный скот, пушечное мясо — вот кто они такие. Он не может навечно уберечь их от смерти.

Уинч приподнялся на локте и посмотрел в открытую дверь. По другую сторону коридора размещалось то, что когда-то было главным пассажирским салоном. Сейчас там валялось пушечное мясо.

Их было, наверное, несколько сотен. Из салона убрали стулья и столы и на их место ровными рядами поставили больничные койки. Здесь, в просторном помещении с высокими потолками, лежали тяжелораненые, которым нужен был постоянный уход. Среди коек двигались фигуры в белых халатах. То тут, то там врач приседал на корточки, наблюдая за вливанием глюкозы или крови из стеклянных банок, прикрепленных к белым подставкам. Помещение не успели перекрасить, и теперь нарядная позолота, и киноварь, и салонные зеркала безмолвно глядели на глухую тягучую боль.

На судне из Уинчевой роты было всего четверо, включая его самого. И только один из них лежал там, в салоне.

Взглянув туда, Уинч снова почувствовал холодноватую пустоту в животе. Так с каждым, кто видит это в первый раз, подумал он. Тогда четко понимаешь, какой ценой эти солдаты оказались здесь. Только те, кто уже совершил такое путешествие, не замечали, что творится в салоне, и только те, кто совершил его, не замечали, какой тяжелый стоял там дух.

Весть о том, что на горизонте — Штаты, дошла, очевидно, и сюда, отовсюду слышались негромкие возбужденные голоса. Лежащие приподнимали забинтованные тела, садились в постели, вертели обвязанными головами. Это было жуткое зрелище. Уинч смотрел на них не отрываясь, как заколдованный. Смрад висел невыносимый.

Воняло человеком. До чего же Уинч привык за прошедшие годы к этой вони и ко всем ее особым ароматам.

Теперь к ним добавлялось еще кое-что. Воспаление. Воспаление и нагноение. Противный сладковатый запах поврежденной ткани, медленно, мучительно заживляющейся под порыжелыми от сукровицы повязками. Он распространялся по большому помещению, забиваясь в каждую щель, просачивался сквозь двери. Он застрял у него в ноздрях на всю жизнь.

Впрочем, жизнь Марта Уинча вряд ли будет очень уж долгой. Надо бы беречься. Ему нельзя пить. И курить нельзя тоже. Назло всему он протянул руку к вещевому мешку, достал бутылку, отхлебнул, закурил.

Не помогло.

Чтоб вам всем, он ведь даже не ранен. Болен, видите ли. Словото какое, внутри у него одна пустота. Да он ни разу в жизни не болел. В этой пустоте от спирта по телу медвяно разливалось предательски-ядовитое солнечное благодушие.

Он снова посмотрел в сторону салона. Слава те господи, сейчас там только из его ребят один. Этот пижон Бобби Прелл.

Уинчу захотелось хлебнуть еще. Но он достал из-под койки флягу в полотняном чехле и выпил воды.

— Ну, москитная лихорадка скоро пройдет,— сказал ему полковник Харрис, лично прибывший в затерявшийся среди джунглей палаточный лазарет, чтобы посмотреть Уинча.— Это не страшно. Хотя и противно.

— Спасибо, доктор,— выдавил из себя Уинч.

Лихорадка-то и свалила его. Он брякнулся в обморок прямо на самодельный стол, точно какой-нибудь зеленый призывник.

— И из тропической малярии выкарабкаетесь,— продолжал док Харрис.— Это подольше будет. Очень тяжелый случай. Надо было показаться, Март.

Уинч исхитрился скрывать приступы малярии целых два месяца. Сейчас уже миновал первый период, сопровождавшийся жуткой ломотой в суставах, миновала суточная эйфория, когда его отпустило, и второй период, и Уинч валялся на походной койке с распухшими ярко-красными ладонями и сыпью по всему телу. Чувствовал он себя отвратительно.

— Ладно, ладно, док. А еще-то чего, а?

Док Харрис постукивал по торчащим передним зубам резинкой на конце новенького длинного желтого карандаша. Страсть как любит новенькие желтые карандаши.

— К сожалению, есть еще кое-что, Март,— произнес он.— У вас повышенное давление.

Уинч не сразу нашелся что сказать. Потом засмеялся:

— Повышенное давление? Бросьте шутить.

— Полагаю, что это серьезно. Обычно лихорадка снижает давление, а тут... Вот эвакуируем вас, они там все хорошенько обследуют. Но я почти уверен. Думаю, что они найдут у вас гипертонию. Первая стадия.

— Это что за штука?

— То, что я сказал,— ответил док Харрис.— Повышенное давление.

Дня через два он заглянул еще раз, и у них состоялся разговор. К этому времени Уинч начал понемногу вставать. Лежать ему не хотелось: появлялось такое чувство, будто его разобрали на части. Образованные меряют все физическим состоянием — чудно́. Все они такие.

— С пехотой распростимся, Март. Придется соблюдать диету. Не пить, не курить. Не перевозбуждаться. Кофе и чай тоже противопоказаны. Может быть, стоит даже на бессолевую диету сесть. Я не могу разрешить вам вернуться в роту.

— Ну, вы даете, док! Я что, в пансионе для барышень у какой-нибудь старухи — ни кофе, ни чаю.

— Вы негодны к строевой,— заявил док Харрис.

— Выходит, мне повезло? — зло сказал Уинч.

— Сколько вам лет, Март?

— Сорок два. А что?

— Рановато для гипертонии.

— Ну и что? — Вовсе ему не повезло. Только одна половина его существа хотела вернуться в строй. Другая хотела остаться тут и казниться. Казниться стыдом и виной за то, что бросаешь товарищей. Будь ты хоть как болен или переломанный весь. Со всеми нами так, думал Уинч.— Что ж это за болезнь такая, доктор?

Гипертония? По правде говоря, о ней не очень много известно. У Уинча, по мнению дока Харриса, причиной скорее всего было неумеренное потребление алкоголя. Ну и, конечно, курение.

— Хреновое, выходит, мое дело,— проговорил Уинч.

Да нет, никто не обвиняет его в алкоголизме. Алкоголику с его обязанностями не справиться. Но выпить он, конечно, умеет — об этом легенды ходят. Сколько он потребляет в день? Полбутылки? Бутылку?

— Запросто,— решительно подтвердил Уинч.

— Полторы бутылки?

— Около того,— соврал Уинч.— Если достану.— По правде сказать, он и сам не знал, сколько он может выпить.

А много ли курит? Две пачки в день? Все три? Так или иначе, док Харрис сказал, что, как только пройдет лихорадка и Уинч встанет на ноги, давление у него подскочит.

Уинч слушал и кивал головой. Впервые он ощутил, как внутри у него что-то лопается. Наверно, так бывает, когда повиснешь за окном, ухватившись руками за карниз, и чувствуешь, что вот-вот пальцы распрямятся. И приходит вроде бы огромное облегчение. С каждым так, кого изувечило, с каждым из нас, думал он.

— Значит, меня и в самом деле в отставку?

— Думаю, что да. В пехоте вам нельзя.

Вот как оно обернулось. Уинч знал дока Харриса шесть долгих лет. Харрис в своем деле был спец. Как он сказал, так и вышло. Давление поднялось. Чем дальше от передовой, тем больше осторожничали и скрытничали чужие врачи. Но все равно он попал сюда.

Очевидно, они полагали, что лучше помалкивать до поры, чтобы не пугать пациентов. Уинч по большей части терпеть не мог медиков.

Поэтому-то, прежде чем отбыть, он и выспросил обо всем у дока Харриса.

При ослаблении сердечной деятельности смерть обычно наступает после пятидесяти. Это если беречь сердце и если у человека не было приступов или кровоизлияний. С другой стороны, не редкость и долголетие больного.

— Короче говоря, вы можете прожить достаточно долго, если будете беречь себя,— заключил док Харрис.

Уинч старался не пропустить ни слова. Все мы так, когда дело доходит до наших собственных диагнозов и прогнозов, мелькнула мысль. И в этот самый момент он испытал какое-то особое чувство. Как будто ты герой кинофильма и стоишь перед важным судьей, а тот, плотно позавтракав, медленно, с расстановкой читает ужасный приговор, поскольку ты вляпался в некую паршивую историю.

— Так что упорядоченный образ жизни имеет свои преимущества,— сказал док Харрис.

— Упорядоченный образ жизни! — взорвался было Уинч.— Ну да, конечно. Послушайте, док. Вы объяснили как надо. Я все понял. А теперь вот что. Может, забудем, о чем мы говорили? Вы признаете меня здоровым и направляете обратно в роту. А?

— Не имею права, вы же знаете.— Док Харрис рассердился.— Нет, серьезно, я не понимаю вас, Март. Другие готовы в лепешку расшибиться, лишь бы их отправили домой, в Штаты. А их не отправляют.

— Вам виднее,— сказал Уинч.
— У вас ведь жена есть и дети, верно?
— А... ну, конечно. Есть где-то.
— Даже не знаете где?
— Конечно знаю. В Сент-Луисе, наверное.
— Я не понимаю вас,— сказал док Харрис.
— Да нет, все очень просто.— Уинч встал.— Это ваше последнее слово?
— Да, думаю, что да.
Уинчу почему-то захотелось отдать честь. Он сделал поворот кругом. Дока Харриса он больше не видел. На следующий день его вместе с другими самолетом переправили на Новые Гебриды.

На палубах и в каютах царило возбуждение, а снизу все так же доносился ровный стук судовых машин. Сквозь него Уинч слышал суматоху и беготню, вызванную появлением земли. Ну вот, скоро эта провонявшая посудина, груженная гниющей скотиной, доставит его домой. Он по-прежнему лежал, опершись на локоть, и глядел в открытую дверь на неестественные изломанные фигуры в салоне.
Он гадал, почему док Харрис так поразился. Он что, не слышал, как мужики бросают жен и детей? Уинч не представлял себе, каким док был дома. Но он был убежден, что миссис Харрис хоть старалась ладить с мужем-полковником. Перед мысленным взором Уинча встал было образ его собственной неряшливой толстозадой жены и пары кудлатых огольцов, но он яростно отогнал его прочь. Одна мысль о них раздражала. Ради такого сокровища, как его женушка и двое белобрысых телков — ну, вылитая мамаша,— не стоило ехать домой. Ей в Сент-Луисе и без него неплохо. Таскается небось напропалую, сучка, раз ухитрялась даже при нем, где только ни стояла его часть. Так оно и получается, когда женишься в занюханном гарнизоне у черта на куличках на дочке какого-то забулдыги-сержанта. Любила плести насчет своей фигуры: прямо тебе статуя, видите ли. А огольцы до чего похожи на нее, ни за что не скажешь, кто у них папаша. Он-то, конечно, точно знал. Но это его мало трогало. Уинчу было безразлично, увидится он с ними когда-нибудь или нет.
Прямо перед ним, заслоняя адову картину салона, из-за дверного косяка высунулся лоб, и, как снайперский прицел, на Уинча уставились одни глаза — без лица. Мгновенно отключившись от собственных мыслей, он напустил на себя ворчливо-насмешливый вид, ставший привычным за годы общения с его бывшим начальником кухни-столовой, и пошел травить:
— А, Джонни Стрейндж! Сгинь, Джонни-Страни. Проваливай отсюда. Топай на палубу, поиграй с детишками.
Скособоченная до того, что мохнатые брови шли параллельно косяку, голова выпрямилась, под ней возникло туловище, и человек с ухмылочкой не спеша проследовал в каюту. Джон Стрейндж был осмотрителен и нетороплив во всем. Туловище у него было нескладное, ноги слишком короткие. Правая рука Стрейнджа висела плетью и кончалась клешней с вывернутыми суставами.
— Я что сказал? Не о чем нам с тобой толковать, Стрейндж. Не о твоих же вшивых воспоминаниях. Они у меня колом стоят, и не то что в глотке, а еще кое-где.
Стрейндж понимающе кивнул:
— Я так и думал, что ты не захочешь на палубу.
— Чего я там не видел?
— А я посмотрел чуток. Здорово,— сказал Стрейндж виновато и кивнул наверх в сторону палубы.— Такой галдеж подняли.
Рот Стрейнджа снова презрительно и печально скривился в зловредной выжидательной ухмылке. Его на редкость широкоскулая топорная физиономия выражала бесконечное долготерпенье, какое бы-

вает у людей от земли, и неизъяснимую вселенскую тоску. Но густые мохнатые брови, сросшиеся в бурую поперечину на лбу, торчали гневно и яростно.

Такого надо хорошенько узнать, чтобы разобрать, то ли он лыбится, то ли скалится. Они все поняли и давно поняли, что Стрейндж любит просто полаяться, зато уж если куснет, своих не узнаешь.

— Как здоровьичко, старшой? — осведомился Стрейндж.

— Получше твоего.— Уинч никому не рассказывал о своих хворях и был совершенно уверен, что Стрейндж и понятия не имеет, чем он болен.— И брось, никакой я уже не старшой. Такой же выбывший из строя, как и ты, и эвакуированный.

— Все равно ты в чине и жалованье получаешь.

— Дерьмо все это!

— Оно конечно,— согласился Стрейндж.— Я тоже так считаю.

— Тогда мы поняли друг друга.

— Я еще подумал: загляну-ка в салон, как там Бобби Прелл,— сказал Стрейндж миролюбиво.

Уинч молчал.

— Пойдешь?

— Нет.

— Тогда я один.— Стрейндж дернул головой.

— Безмозглый сукин сын! Корчил из себя героя, вот и достукался.

Стрейндж опять дернул головой.

— Другому, может, нужно это — корчить героя. Но сейчас ему все равно хуже некуда. Особливо в такой день. Доктора уже распустили, что он, может, и ходить не будет. Говорят, даже ногу оттяпают.

— Сам во всем виноват,— поспешно заметил Уинч.

— Как-никак он из нашей роты,— возразил Стрейндж.

— С этим дерьмом тоже покончено. Пора бы уж понять, Джонни-Страни. Вбей это в свою тупую техасскую башку.

У Стрейнджа снова промелькнула усмешечка:

— Не-а, не покончено. Пока еще не совсем покончено, хоть ты тресни. Так не идешь?

— Нет, катись один.

— Ну, как хочешь. Тебя, видать, не проймешь ничем, а? Я как раз тут одному рассказывал, что нашего старшого ничем не прошибешь.— Стрейндж выпятил губы.— Собирался вот предложить тебе выпить по случаю прибытия и вообще. Да забыл взять.

Уинч уставился было на него, но потом протянул руку к вещевому мешку и, изогнувшись, одним движением кинул бутылку, словно это был пакет с бумагой. Стрейндж поймал бутылку, сноровисто захватив ее между большим пальцем и ладонью здоровой левой руки.

— Вот спасибочко, старшой!— С трудом шевеля правой клешней, он картинно поднял бутылку, приветствуя Уинча, и выпил. Потом, прикинув на глазок уровень, вернул.— Маловато осталось. Если что нужно, старшой, заглядывай к старине Страни.

— Не валяй дурака.— Уинч тряхнул бутылкой.— Виски на этой посудине залейся.

— Может, еще чего понадобится.— Сержант отдал честь, небрежно вскинув изувеченную клешню, и это было как дурная шутка. Он вышел и направился в салон.

Уинч долго смотрел ему вслед, потом лег, вытянулся. В его глазах Стрейндж был в некотором роде герой. Если вообще для него существовали герои. Стрейндж плевал решительно на все — вот что восхищало Уинча. Другие и сам Уинч только делали вид, будто их ничего не касается. А Стрейнджа на самом деле ничего не касалось.

Он плевал на все: на армию, на роту, на службу, на людей, баб, успех, жизнь, человечество. Стрейндж делал вид, будто его что-то касается, но ничего подобного. Внутри он был абсолютно сам по себе, и ему было хорошо. Это и восхищало Уинча.

Погружаясь в какую-то словно бы наркотическую дремоту, которая добиралась до костей, но тревожила не больше, чем застарелая зубная боль, он думал о толпившемся на палубе дурачье — таращатся, наверно, на землю и, как последние идиоты, надеются, что она даст им прибежище.

Глава 3

Каждая без исключения переправляемая домой партия бывала возбуждена и вроде бы даже огорошена при виде родной земли. Транспорт, на котором находились Уинч, и Стрейндж, и все остальные, немногим отличался от других.

Мало кто среди них действительно верил, что она на самом деле существует, родная земля, и что они когда-нибудь доберутся до нее. Однако в назначенное время на горизонте показалась суша. Как им и говорили, на востоке выплыл длинный голубой континент.

Одинокое суденышко с хвостом черного дыма было единственным живым предметом посреди пустынной беспредельности мерно подрагивавшего океана. Белый пароход с большими красными крестами на бортах медленно продвигался по водной глади, а внизу тяжело дышала и вздымалась глубина. Пароход шел вперед, и море играло на ветру, то и дело показывая слепящему солнцу полоски белой пены.

Сначала на восточной стороне горизонта, как мираж, то появлялось, то пропадало продолговатое, голубое, едва различимое на небе облако. Дóма. Это слово произносили тихо, но оно разнеслось между людьми и точно иголками закололо по всему телу. Пароход дымил и двигался, и голубое облачко незаметно остановилось над поверхностью моря и больше не исчезало. Большинство раненых на борту прослужило за границей не меньше как по году. И вот — дóма. Они произносили это слово с беспокойством, затаенным и неизбывным страхом, даже с отчаянием, а не с облегчением, надеждой или любовью. Как там сейчас, дома? Как им будет там?

Так же обстояло и со всем остальным. На доске объявлений или в корабельной газетке можно было прочесть, что они направляются домой. Но они давно не были дома и больше не верили ни объявлениям, ни сводкам. Объявления и сводки чаще всего предназначались для поддержания их боевого духа и укрепления патриотических чувств, в них было мало правды. Кому не известно, что с чувствами и взглядами у них все в порядке. Боже упаси, если у кого-нибудь окажутся неверные взгляды. Однако поди узнай, для чего эти объявления и сводки — поддерживать боевой дух или сообщать новости о продолговатом голубом облачке.

Облачко было видно не отовсюду. Его можно было разглядеть только с передней части верхней палубы. Единственное место на ней, куда их пускали, когда-то называлось прогулочной палубой, променадом; там и сгрудились, чтобы поглядеть на облачко, все, кто мог, хотел и сумел втиснуться на свободное место.

На них было жутко смотреть. В серых пижамах и темно-вишневых халатах, в парусиновых шлепанцах, которые то и дело спадали с ноги, они толкались у выходов на палубу и протискивались к борту или к тем, кого прижало к планширу. Трясущиеся, исхудалые, с дряблой, пожелтевшей кожей и желтыми белками, с загноившимися повязками или в гипсе, они карабкались по трапам наверх, кто пошатываясь, кто прихрамывая, кто поддерживая друг друга. Это были самые счастливые среди тех, кто выбыл из строя: их сочли достаточно искалеченными, чтобы отправить домой.

Одни плакали, другие смеялись, некоторые били в ладоши или хлопали друг друга по плечу. И все тревожно переглядывались, всматривались в лица соседей. Им жутко повезло, и это беспокоило их. Глубокий, запрятанный в глазах страх выдавал, что́ они чувствовали: они не имеют права находиться здесь.

Внизу, под ними, на просторной площадке рабочей палубы — так называлось это место в нормальные времена — столпились матросы в синем и медицинский персонал в белом. Всех их наняли, обучили, определили в должности, оплачивали только для того, чтобы они обслуживали растущие отходы современной войны. А эти самые отходы, сбившись в узком палубном проходе в индюшачье стадо, тянули шеи, вертели головами, толкались и пихались, чтобы взглянуть на родную землю, за которую никто из них пока еще не умер,— об этом думалось сейчас отчетливо и с облегчением.

Глубоко в недрах парохода, в одной из многочисленных кают, тщетно пытался не поддаться общей суматохе Марион Лэндерс — и не смог. Он перекатился через край койки и, осторожно опуская ноги, ступил на пол. Операция была не из легких: правая нога была загипсована до колена. Он был возбужден не меньше остальных.

Ротный писарь, Лэндерс числился всего-навсего сержантом. Просторная офицерская каюта с иллюминатором, как у Уинча или Стрейнджа, была ему не по чину. Он привык находиться под нижней палубой, в кубрике, при тусклом свете голой электрической лампочки. Лэндерс достал из-под подушки солнцезащитные очки.

Он и не заметил, как застонал. Его беспокоила не рана. Она перестала причинять боль. Он никак не мог привыкнуть к тяжелой гипсовой повязке, от которой немели мышцы. Она мешала и стоять, и сидеть, и лежать.

В другом углу тесной шестиместной каюты послышалось движение. Парнишка из ВВС, хвостовой стрелок, снова захныкал от обиды, что пропускает приближение к земле.

— Ты тоже уходишь?— поднял он голову.

— Ага, схожу, пожалуй, посмотрю,— сказал Лэндерс, стараясь скрыть раздражение. Он снял костыли с крюка для одежды.

— Не уходи, а?

Лэндерс остановился у самой двери, ловко повернулся на костылях. К чему только не привыкнешь, подумал он, глядя на парнишку. Рано или поздно на каждого из нас ложится такая ноша. В любой каюте есть свой слабак. Все просеивались, по зернышку, и плакса попадал на самый низ. С такими вечно моральные проблемы. Каждый за них отвечает. Это часть неписаного кодекса.

С тех пор как полчаса назад остальные поднялись на палубу, Лэндерс и стрелок не обменялись ни словом. Лэндерсу и самому не хотелось разговаривать. Он лежал и смотрел на движущиеся по потолку тени. Потом малый из ВВС снова заскулил. Его хныканье и подняло Лэндерса на ноги.

— Ну, хватит, парень,— сказал он.

— Ты, выходит, как все,— донесся с продавленной койки тоненький голосок.— Я думал, ты не такой. Я думал, ты воспитанный. Ты же знаешь, я боюсь один.

— Я позову санитара. Он побудет с тобой.— Лэндерс помолчал.— Мы ему, наверно, надоели до смерти.

— Ну и пусть катится. Вместе со своим журналом. У него там назначения, а он только голых девок вырисовывает.

Лэндерс почувствовал, что должен немедленно убираться. Иначе взорвется, разлетится на куски. Не только из-за этого мальчишки. Что-то нестерпимо глодало его. С того самого момента, как показалась земля. А-а, стоит нервничать! Не так уж плохо в этой норе, где полдюжины калек, а нормально должно быть четверо здоровых. Им пришлось взять его к себе. Тощего мальца — стрелка с большущими,

как тарелки, глазищами на узком личике и сухой гангреной обеих ног.

Один-единственный короткий денек он побыл героем. Его пулемет калибра 12,7 мм плохо укрепили, он сорвался в полете с турели, грохнулся об пол, так что его заклинило в положении «огонь», и он пошел поливать пулями кабину самолета. Как вырвавшийся из рук пожарный шланг. Малый поднырнул, сграбастал пулемет и отжал гашетку, но заполучил четыре крупнокалиберных пули в обе голени. Обшивка была пробита очередью, самолет переохладился, и пока они дошли до базы, у паренька началась гангрена. Ему дали «козла» — крест «За летные боевые заслуги» и «Серебряную звезду», погрузили на медицинский транспорт, и он сделался слабаком и плаксой. От него шел едкий запах окислившейся бронзы, от которого драло глотку, словно медяков в рот набрал. Ноги у бедняги тоже были как ярью крашенные и высохли, словно у мумии. Он, не переставая, жаловался на боль и полдня плакал. Парнишка был студентом-второкурсником. Лэндерс не мог понять, как он вообще попал на судно,— видно, вышла бюрократическая ошибка. Он же из ВВС, его должны были отправить домой самолетом.

— Пахнет, я знаю,— канючил тот.— Все равно не уходи, ну, пожалуйста.

— Я позову санитара,— сказал Лэндерс.

— Премного благодарен. Эгоист и сволочь — вот ты кто. Чтоб у тебя конечности отсохли. Как у меня.

— Премного благодарен,— сказал Лэндерс.— Послушай, мне не хочется употреблять высоких слов, но я тебе вот что скажу. Теперь каждому из нас придется тянуть в одиночку. Нужно привыкать. Помочь тебе я ничем не могу. И никто не может.

— Не хочу я привыкать,— захныкал паренек.— Я хочу к маме.

Лэндерс провел языком по деснам.

— Перестань. Из Сан-Диего тебя переправят в госпиталь Уолтера Рида. У них там лучшие хирурги в мире. Уж если они не спасут тебе ноги, то кто ж еще. И тебе обещали, что там тебя встретит мать.

— И ты этому веришь? Только вчера мне врач сказал, что никакой надежды,— жалобно тянул паренек.

— Я ведь тоже был здесь, но ничего подобного не слышал.— Чистое вранье, и Лэндерс знал это. Когда пареньку делали перевязку, его соседи, как стадо баранов, кидались за дверь. Но иногда Лэндерс чувствовал, что просто обязан остаться, и делал вид, будто начисто лишен обоняния.

— И все-таки он это сказал.

— Нет, не говорил. Какого... Я ведь был тут!

— Нет, говорил. Ты просто не слышал. Ты же образованный человек. Наверно, единственный, кто учился в университете, из всех тут, на нашей палубе.

— Я слышал каждое его слово. Образованный, говоришь... Да три с половиной года в колледже почти ничего мне не дали. Не учили нас этому. Вообще никакой пользы от их ученья. Я, значит, пришлю санитара,— заключил Лэндерс, круто повернулся и обратился в бегство.

Какое уж там бегство, на костылях-то. Мальчишка клял его вдогонку, потом снова заплакал. Парень явно злоупотребляет своими правами, думал Лэндерс, это всякий скажет.

Он позвал санитара, тот недовольно пожал плечами, но отложил комикс. Лэндерс начал с трудом подниматься по крутым железным ступеням. Опасное занятие для человека на костылях — лазать по трапу.

В отличие от прогулочной длинная застекленная главная палуба не имела спереди открытого пространства и сейчас была безлюдна. Обычно тут шла игра, вдоль палубы всегда располагалось с полдюжины компаний покеристов. Лэндерс подковылял к отодвинутой раме и высунулся наружу.

Он жадно вдыхал свежий морской ветер, пока не прошла скопившаяся от вони отвратительная горечь в горле. Мимолетно подумалось, не слишком ли круто он обошелся с этим пареньком из ВВС. Где кончается ответственность перед ближним?

Но не мальчишка был причиной. Совсем другое погнало его на палубу. Когда по пароходу разнеслось, что на горизонте показались Штаты, Лэндерса охватило жуткое равнодушие. Самое скверное, что он не знал, откуда оно и что означает. И оно нахлынуло совершенно неожиданно. Еще вчера он мог держать пари на все свое невыплаченное жалованье — а это порядочная сумма,— что будет рад увидеть родную землю.

Теперь он тупо смотрел на бледно-голубую полоску суши. Справа по борту едва различался короткий отрезок побережья. К югу он растворялся в дымке, пропадая из виду. Лэндерс почувствовал вдруг такой приступ безразличия, что хотелось кричать. Какая громадная, какая гигантская страна! Удивительно, это ведь в первый раз дошло до его сознания. Он сейчас ясно понимал то, о чем только смутно догадывался прежде, но не пытался выразить. Страна была такая необъятная, что внушала равнодушие. А ведь его всю жизнь учили, что ни к чему нельзя быть равнодушным, что неравнодушие, может быть, и есть самое главное в жизни.

И в этой необъятной стране Лэндерсу не было места, а ему всего двадцать один. Тому самому Лэндерсу, который сейчас смотрел на нее через отверстие в высоченном борте огромного парохода. Парохода, который вез на родину груз человечьего мяса. Ему стало страшно, и этот страх увлекал его на какую-то бездонную глубину. И там же, точно навязчивая тема, какую ведет в оркестре контрабас, гудела мысль, что он не заслужил этого, не заслужил возвращения туда, где будет в безопасности.

За его спиной прошли двое. Они спустились с прогулочной палубы. Один тяжело ступал загипсованной ногой, цокая о металлический пол. Они вывели его из задумчивости.

— Эй, Лэндерс,— окликнул один.— Небось думаешь, что дома и девка слаще?

Лэндерс помахал рукой. Он не мог говорить. У другого гипс охватывал плечо, грудь, спину, жестко поддерживая согнутую в локте руку в горизонтальном положении. До чего же много ранений в руки и плечи. Наверное, они просто бросаются в глаза.

Те двое ушли.

Земля словно бы совсем не приближалась. Во всяком случае так казалось невооруженному глазу. Пароход почти что застыл посреди мертвой зыби. Но это был обман зрения. Учился в университете! Боже ты мой...

Что-то произошло с Лэндерсом после того, как его ранили на острове Нью-Джорджия. Трудно сказать, что именно. Ранение было сравнительно легкое, да и самое обычное. В нескольких шагах плюхнулась крупнокалиберная мина, взрывной волной его бросило на землю, и он потерял сознание. Такое, наверное, случалось с тысячами. Тогда это было совсем не страшно. Не было особо неприятного ощущения, ни боли, ни времени испугаться. Разрыв вырос так неожиданно и так близко, что он почти не слышал грохота. Его тут же понесла уютная звенящая чернота. И больше ничего не было, разве что дернулось где-то недоуменно: вот ведь, совсем не страшно...

Умирать — вот что подумалось тогда. Он сообразил это позже. Отсюда вытекало, что он никогда не придет в себя. Но он все же очнулся, с окровавленным носом и тяжелой пустой головой. Она тоже была вся в крови, каска куда-то откатилась. Против всяких правил первой помощи кто-то перевернул его на спину и хлопал по щекам. Врач-лейтенант на перевязочном пункте сказал, что через пару дней он вернет-

ся в строй. И лишь когда он попытался встать на ноги, обнаружилось, что у него перебит голеностопный сустав. Непонятно, как он вообще дошел сюда.

Пока он ждал, когда придет санитарный джип, и произошла с ним эта странная штука, это что-то. Они разрезали ботинок, там было полно крови, и перевязали ему лодыжку. Четверо санитаров уложили его на носилки и понесли на вершину холма, где дожидались остальные. Он сидел на носилках и вместе с другими ранеными спокойно, даже с удовольствием наблюдал, как внизу идет бой.

Лэндерса только что назначили батальонным связным. Прежде он таскался за своей ротой, забредая туда, где ему, как ротному писарю, даже не полагалось быть, но четыре дня назад подполковник, командир батальона, взял его к себе сержантом по связи вместо прежнего, убитого. Мина настигла Лэндерса, когда он направлялся с распоряжением к одному взводному.

Лэндерс только второй раз попал на передовую, потому что был из пополнения и к тому же писарь. В первый раз он вместе со своей ротой совершил несколько переходов, участвовал в недолгой перестрелке, видел, как ранило некоторых его товарищей, но затем командир роты, по наущению первого сержанта Уинча, строго-настрого приказал ему вернуться в тыл полка к своим обязанностям. Другой раз он раздобыл у начальника отделения личного состава три трехдневных пропуска: тот посчитал его просьбу замечательной — ну прямо Дон Кихот, рвущийся в бой. Сам-то Лэндерс думал, что когда-нибудь потом, после войны, он посмеется над тем, как старался попасть на передовую. Но где-то глубоко внутри него, не переставая, скоблило чувство, что он отсиживается в безопасном местечке, тогда как другие — там, в огне и дыму. Через день Лэндерса прищучили, командир батальона отправил его обратно. Дело в том, что каким-то чудом он сделался незаменимым помощником командира. Заглянув в личное дело Лэндерса, он увидел, что тому двадцать один год и три с половиной он провел в колледже. Все его хитрости взбесили Уинча, у которого Лэндерс числился писарем. В результате большую часть времени Лэндерс проводил теперь с батальонными офицерами, рассуждая о войне и выполняя различную организационную работу на порядочном расстоянии от переднего края. Не будь он ранен, подполковник, вероятно, оставил бы его при себе с повышением в звании. Во всяком случае он имел бы тогда основания заявлять, что тоже внес свой вклад в дело победы.

Но в какой-то неуловимый момент, когда он сидел на холме, все это разом переменилось. Из неглубокой лощины прямо под ним доносились крики, стоны, проклятья. Человеческие фигурки бегали взад-вперед, тащили что-то, стреляли, кидали какие-то штуки, падали, схватывались врукопашную. В голове у Лэндерса засела одна-единственная мысль. Круглые идиоты! Неужели они не понимают, что делают? На них просто смешно смотреть! Он тогда еще не знал, что то же самое чувствует сразу после ранения почти каждый.

Лэндерс с полнейшим равнодушием наблюдал, как люди колошматят и колют, стреляют и взрывают друг друга. Ну и пусть, так им и надо. Заслужили. Не то еще заслужили. Он не возражал, отнюдь нет. Но сам он из игры вышел. Выскочил не только из этой молотилки. Его благодетель-подполковник, его рота и армия, его собственная родина и чужая и все человечество вместе взятое,— это одно, а он — совсем другое. Ему хотелось, чтобы его оставили в покое.

Он понимал, что ничего не изменится. Они могут приказать ему сделать то-то и то-то. Могут бросить его за решетку, и он будет сидеть. Могут проколоть штыком, и он закричит от боли. Они могут даже повесить ему медаль, и он, вытянувшись, отдаст честь. Они могут убить его, и он умрет. Вот и все, что они могут сделать. А все остальное дерьмо. Обыкновенное дерьмо.

Так получалось не только потому, что люди посходили с ума. Об этом он давно догадывался, с самого начала. И не потому, что современная война — сама по себе сумасшествие. Это он тоже знал. И даже не потому, что не пройдет и десятка лет, как эти самые люди, которые вцепились друг другу в глотку, вернее, те, кто уцелеет, будут подписывать взаимовыгодные торговые соглашения и заключать сделки для извлечения прибыли, а те, кому не повезло, будут бессловесно гнить в земле. Лэндерс давным-давно понял это. Сейчас он собственными глазами увидел, до чего все глупо, и дико, и смешно, и ему не хотелось иметь ничего общего с ними.

И тут он заплакал.

Слезы не помогли. Перестав плакать, он не почувствовал облегчения. Скорее, стало даже хуже. Две белые полосы от слез прошли сверху вниз по его впалым, припудренным пылью щекам. Другие тоже плакали. У них на лицах были такие же белые полоски. Его это не тронуло.

Всю свою жизнь Лэндерс гордился тем, что он аутсайдер, посторонний. Теперь он на самом деле вышел из игры, был вне ее, по ту сторону. Не самое приятное ощущение. Люди казались ему неумными драчливыми животными. Хуже обезьян.

Быть «вне игры» — это чувство не покидало Лэндерса все долгие часы, дни и недели, которые прошли с того момента, оно не покидало его, не менялось и не ослабевало. Оно жило в нем так прочно, что временами он впадал в ярость, желая избавиться от него. Но ничего не помогало. От бешенства он выкидывал нелепые, дикие штуки. Но всякий раз они кончались, ничего не затронув в душе, и снова появлялось то же самое странное холодное безразличие.

Через пару дней его переправили самолетом на Гуадалканал, а потом на Новые Гебриды. Госпитальные врачи на морской базе осматривали его глаза и уши, обследовали то одно, то другое и вскоре заявили, что последствия контузии прошли. Они были готовы оперировать ему лодыжку.

Хирург был молодой майор с красивым мальчишечьим лицом, на котором ясно читалось, что в его жизни ничего не успело произойти. Во всем, что он делал, сквозила та же мальчишеская красивость и самонадеянная убежденность в собственной неуязвимости.

— Ну, с осколками проблемы не будет. Мы их сравнительно легко удалим. Проблема в другом. Есть два способа починить вам ногу.— Майор улыбнулся.— Мой и принятый в армии. Военным что́ нужно — подлатать раненого и поскорее вернуть его в строй. Нога будет почти в норме. И все-таки структуры до конца не восстановятся. Нога наверняка будет беспокоить, особенно с годами. Зато через пять недель вы уходите из госпиталя и возвращаетесь в часть. Если же я оперирую по-своему, так, как я оперировал бы пациента дома, вас продержат в гипсе по крайней мере месяца два. У начальства не будет иного выхода, как переправить вас в Штаты. Пациент — вы, вам и выбирать.

Лэндерсу вдруг захотелось обложить его как следует. Он вспомнил время, когда жизнь у него текла, как у этого майора, когда с ним тоже ничего еще не произошло. Это было до того, как, подчинившись раздутому чувству долга, он добровольно записался рядовым в пехоту.

— Наверно, удобнее всего отправить меня в Штаты, правда?— сказал он, сдержавшись.

Майор считал вопрос предрешенным, и тон Лэндерса обескуражил его.

— Вы хотите сказать, что предпочитаете не возвращаться в Штаты?

— Так точно, сэр.

— Я что-то не совсем понимаю вас, сержант...— Он заглянул в бумаги.— Сержант Лэндерс.

Лэндерса понесло. Сейчас будет еще одна выходка. Он опустил голову и усмехнулся, глядя исподлобья на юношескую физиономию майора. Тот даже не помнит его имени, смешно — дальше некуда.

— Видите ли, мне ведь все равно никуда не уйти. Так или иначе они достанут меня. Вот что я думаю, если вам так хочется знать. У меня нет ни малейшего шанса.

Майора это, казалось, огорошило:

— Кто это — «они»?

— Ну, как вам сказать, они, все...— ответил он.— Те, с кем вы боретесь.

— Ах, вот оно что...— Майор поскреб пальцем нос.— Наверно, вы меня не поняли. Я ни с кем не борюсь. Я борюсь только с установленными правительством методами лечения. Я хочу выполнять свою работу как следует — так, как меня учили.

— Нет-нет, я понимаю,— сказал Лэндерс. Но ему снова захотелось закричать на майора, набрать побольше воздуха в легкие и с шумом вытолкнуть его. До чего же самонадеян этот паршивец, не хлебнул еще лиха.

— Вы мне вот что скажите — хотите вернуться домой или нет? — спросил майор.

Лэндерс задумался.

— Нет, сэр,— ответил он, помедлив.— Я не хочу возвращаться.

— Ну, дело ваше.— Майор хлопнул себя по коленкам и встал.— Будем готовить вас, завтра оперируем.

— Так ли, иначе — все одно, верно ведь, доктор? — сказал Лэндерс.

Словно бы не слыша, майор продолжал:

— В конце концов, моя обязанность — вернуть вам, насколько можно, здоровье. Вам же жить.

— Конечно, сэр, благодарю вас,— мрачно ответил Лэндерс.

— Кроме того, у вас любопытный случай, множество побочных явлений. И мне интересно попробовать.

Лэндерс недоуменно поднял голову:

— Что-что?

— Вы говорите — все одно. Ничего подобного! — с неожиданной горячностью произнес майор.— Почему вы так думаете — все одно? — Он оперся руками о стол и подался вперед.— Мне кажется, вы поступаете неразумно. А впрочем... впрочем, может быть, это нормально.— Он вздохнул.— Итак, завтра операция.

Майор выглядел обиженным, как будто Лэндерс обманул его ожидания. Наверное, он рассердился бы, если бы был из тех, кто умеет сердиться. Лэндерс же был вне себя. Но к злости примешивалось что-то еще. Это было чувство вины. Когда его привезли обратно в палату, он почувствовал угрызения совести. Всю ночь он думал о том, что они не поняли друг друга, и о том, как он обошелся с майором. Наутро, когда его, полусонного от уколов, вкатили в операционную и уложили на стол, он заметил, как хирург улыбнулся ему. Потом ему дали наркоз.

Кровати в госпитале были удобные, и после операции Лэндерс много спал. Его продолжали пичкать болеутоляющими средствами, поэтому, может быть, его преследовало одно и то же видение.

Когда он пошел с распоряжением от подполковника, он набрал полную флягу воды. Жара стояла невыносимая. Он весь взмок, но к воде не притронулся, экономил. Зато, очнувшись после взрыва, он вытащил флягу и с наслаждением выпил несколько глотков. Ничего в жизни ему не доводилось пробовать вкуснее этой тепловатой, мутной, отдающей металлом водицы.

Выдвинутый вперед взвод залег, у солдат были осунувшиеся, землистые лица, а он стоял, возвышаясь над ними, как будто был недосягаем для пуль, потому что уже ранен, и думал о том, что надо было оставить фляжку этим ребятам. Они были из другой роты, но с утра не имели ни капли воды. А он напьется досыта, как только попадет на перевязочный пункт.

Оглоушенный, еще не пришедший в себя от шока и запоздалого страха, он стоял, не чувствуя боли в ноге, не зная, что ранен, его трясло от нервного смеха и рыданий, и он никак не мог решиться отдать флягу. Потом он снова сделал несколько глотков, не замечая, что вода льется из уголков рта, и убрал флягу в чехол.

Бойцы смотрели, как он пьет, но в их глазах не было зависти. Вернее, они завидовали ему чуть-чуть, но из-за ранения. Им было завидно и противно. Он напоминал им о том, как им не повезло.

Эта картина снова и снова вставала перед глазами Лэндерса. Во сне он видел, как хотели пить ребята из того взвода, как они смотрели на него умоляющими глазами, а он не давал им. Дежурный не разбирал, что он говорит, и приносил ему воды, но Лэндерс не притрагивался к ней. Когда его перестали колоть, видение пропало, и он забыл о нем.

То есть забыл до того момента, как его погрузили на судно. До того, как попал в кубрик. На этом провонявшем транспорте, где только что разнеслось, что на горизонте родная земля.

Он тяжело вздохнул.

Двое солдат в гипсе прошли мимо него к носу парохода. Лэндерс втянул голову в плечи и выпрямился.

Полоска бледно-голубой суши в проеме большого квадратного окна смотрелась как нарисованный пейзаж. Она, казалось, обладала необыкновенной силой и была способна исцелить от всего на свете, но за это надо заплатить такую непомерную цену, что ты на всю жизнь останешься искалеченным.

Он подумал о том, что надо бы заглянуть к проклятому Марту Уинчу, чтобы хоть с кем-то перекинуться словом, когда на него внезапно нашло непонятное затмение. Он не мог пошевелиться, как в столбняке.

Он не знал, что это было — видение, мираж, сон наяву или безумная греза, но он чувствовал, как его подняло с палубы и понесло вверх. Он видел под собой большие красные кресты по бокам парохода. Ветер стих, воздух был неподвижен. Как будто он ухватился за трап, спущенный с громадного геликоптера, и тот тащит его прочь от парохода. Только он не слышал никакого шума. Вокруг стояла мертвая тишина. Он раскачивался в воздухе, его поднимало все выше и выше, а потом с какой-то немыслимой высоты он посмотрел вниз и увидел малюсенький кораблик и далекий берег.

Под ним медленно, бесшумно, не оставляя за собой дыма, перемещался белый, точно игрушечный, пароход, направлявшийся к отдаленной цели по мерно вздымавшемуся голубому океану — его глубокие вздохи обгоняли пароход и неслышно разбивались белыми бурунами на далеком берегу. Лэндерс смотрел как завороженный и знал, что ни на борту, ни на берегу никого нет и что пароход никогда не достигнет суши. Она незаметно отступала, искусно соразмеряя свое отступление со скоростью корабля.

То, что безлюдный корабль никогда не достигнет безлюдной земли, нисколько не тревожило Лэндерса. Больше того, он почему-то знал, что цель плавания в том и заключается, чтобы не достигнуть пункта назначения. И пароход, собственно, был уже не пароход, а что-то еще. И неосвоенный таинственный голубой континент тоже был непонятно чем.

Он знал, что где-то внизу, под ним, стоит другой человек по имени Марион Лэндерс и как в трансе смотрит вдаль широко раскрытыми, немигающими глазами. Лэндерс знал, что если тот человек моргнет-то оно — это видение, откровение, этот мираж — исчезнет навсегда.

Что это с ним происходит? Лэндерс передернулся, словно его ударило током. Потом медленно повернулся и заковылял к Уинчу. Чтобы хоть с кем-нибудь перекинуться словом — с кем угодно.

Пока Лэндерс поднимался по трапу на променад, он уже передумал. Уинч в его глазах был героем, причем всегда, с того самого момента, как его назначили в роту старого кадрового соединения и прикомандировали к Уинчу в качестве писаря, поскольку он знал канцелярское дело. Но Уинч вряд ли поможет сейчас справиться с тем, что мучило его, Лэндерса. И вряд ли вообще поможет. Это было еще одно открытие.

Поэтому на верху лестницы он решительно повернул и заковылял в главный салон повидать Бобби Прелла. Сложенный и перевязанный, как цыпленок на продажу, Прелл не двинется с места, что бы ни творилось на палубе.

Подойдя к дверям, Лэндерс приготовился окунуться в противный болезнетворный запах. Лучше всего спокойно дышать им, а не зажимать ноздри и все такое. Он открыл дверь, и вонь ударила ему в лицо тепловатым липким потоком сточных вод.

Остановившись на пороге, чтобы немного попривыкнуть к смраду, он увидел бывшего начальника ротной кухни-столовой сержанта Джонни Стрейнджа — тот болтал и смеялся, облокотившись о спинку кровати Прелла, стоявшей посередине помещения.

Поколебавшись секунду, Лэндерс вышел в коридор. Ему не хотелось разговаривать со Стрейнджем. Ему даже расхотелось разговаривать с Преллом. В полнейшем безразличии он начал спускаться по трапу вниз.

Спускаться по крутым скользким металлическим ступеням человеку на костылях еще опаснее, чем карабкаться наверх.

Глава 4

Они пристали поздно ночью в Сан-Диего. Спать никому не хотелось, да и не уснуть было никак. Здесь выгружали раненых моряков и морских пехотинцев.

Их пароход, словно бы уменьшившийся в размерах рядом с боевыми судами, сверкал огнями. Судовой медперсонал в белом и присланные с берега санитары с носилками сновали по коридорам и помещениям, громко переговариваясь между собой. Одна за другой пустели койки в каютах и в салоне — раненых выкатывали и выносили наверх. Иные прибыли сюда из самых дальних мест в Индийском океане, из Австралии и Новой Зеландии, с Новой Гвинеи, Соломоновых островов, с островов Кораллового моря.

Залитая светом прожекторов пристань была полна движения. То и дело подкатывали санитарные машины, их загружали, и они отъезжали в темноту. Куда ни глянь, вся гавань, до отказа забитая военными судами, была в огнях, они светились на кораблях, бортовых сооружениях, на грузовиках, легковушках, автобусах. А возвышаясь над гаванью, сиял город, словно бы иллюминированный к празднику или в честь возвращения фронтовиков. У солдат, свыкшихся с затемнениями и светомаскировками, захватывало дух. Многие опять не могли сдержать слез.

Когда разгрузка кончилась и стали гаснуть судовые огни, освободилась треть коек. Остальные, занятые ранеными из наземных войск, освободятся в Сан-Франциско. До Фриско было двое суток

пути вдоль побережья. Эти последние два дня на полупустом пароходе будут самыми длинными и самыми тяжелыми. Каждый понимал это.

И уж конечно, это хорошо понимал Джон Стрейндж. Когда все улеглось, он снова пошел к Бобби Преллу. Большой салон вроде бы сузился. Стрейндж снова стоял, облокотившись на спинку кровати Прелла, и силился придумать что-нибудь посмешнее. Ему хотелось, чтобы по такому торжественному случаю Уинч вместе с ним зашел проведать Прелла. Если бы Уинч согласился, то это было бы в первый раз. В первый раз с тех пор, как Уинч неожиданно объявился в морском госпитале на Новых Гебридах, явно готовый к отправке, но не раненый и даже вроде непохожий на больного. Но уже тогда Уинч наотрез отказался пойти к Преллу и вообще иметь с ним что-либо общее.

А Стрейндж и счет потерял часам, которые он провел в салоне из-за Прелла. В роте его недаром прозвали Матушка-Стрейндж. Но он так и не смог окончательно привыкнуть к обстановке в салоне, то есть привык, но не настолько, чтобы чувствовать себя в своей тарелке.

Потом, гораздо позже, много времени спустя Стрейндж заметит, что они все еще вспоминают о том, как во время плавания салон не выходил у них из головы. Где бы они ни были, из каких бы дальних госпиталей в Штатах ни шли письма, все говорили и писали о салоне одно и то же. Все мы, подумает потом Стрейндж. Как будто, путаясь и петляя, они отчаянно пытались отыскать и сохранить в целости то общее, что связывало их прежде. Плавание было последним действием драмы, последним рубежом. Как линия перемены даты, которую они пересекли.

Между собой они подсчитали, что 13 процентов от общего количества раненых, находившихся на судне, были тяжелые — они-то и были размещены в большом салоне.

Пятую часть этих 13 процентов, или 2,6 процента от общего количества, составляли особо тяжелые. Это были почти сплошь ранения в грудную клетку, с повреждением легких. Лишь у шестой части были ранения в живот или голову: черепники умирали до того, как их погрузят в транспорт, а те, что с животом, либо умирали, либо поправлялись, и их помещали в салон вместе с остальными.

Стрейндж не был верующим. Или, по крайней мере, был не очень верующим. Лучше всего сказать — плохим верующим. Он не очень-то умел жить по священным заветам. Но Стрейндж верил в бога и знал, что ему когда-нибудь придется искупать вину. Поэтому ему не обязательно было иметь особо богатое воображение, чтобы представить себе большой салон сущим адом.

Как и многим другим, Стрейнджу было противно заходить в салон, вдыхать его спертый воздух, даже притрагиваться к дверным ручкам. Он до умопомрачения боялся заразы. Но стоило пересилить отвращение, как ты начинал понимать, до чего же здорово тут все поставлено.

Особо тяжелые лежали в углу. Их отгородили от остальных ширмами. Обычно там было тихо, но то и дело оттуда доносились негромкие неприятные звуки, и они казались еще слышнее в общей тишине. Какое-то бульканье, сипение, хрип, что-то лопалось и стучало. Туда никого не пускали. Если развить сравнение дальше, то Стрейнджу часто казалось, что отделение особого ухода похоже на седьмой круг ада. Самый нижний и самый страшный.

Если бы не Прелл, Стрейндж, наверное, никогда не узнал бы салон так хорошо, как знал его сейчас. Он каждый день подолгу бывал у Прелла, стараясь подбодрить приятеля разговорами и шуточками. Ни для кого он не сделал столько, как для Прелла. Во всяком случае на этой вшивой посудине. За все плавание он ни разу даже не заглянул к Лэндерсу — Уинчеву писарю. Лэндерс ведь пришел, когда война

уже началась,— добровольцем. А Прелл, как и Уинч, был еще в той, довоенной роте.

Стрейндж со своей дурацкой ладонью попал в морской госпиталь на Эфате — одном из островов Новых Гебрид — неделей раньше Уинча. Когда он прощался с ротой на Нью-Джорджии, Уинч выглядел вполне здоровым и в форме. Бобби Прелла переправили туда на несколько недель раньше, когда у них начались особенно тяжелые бои.

Стрейндж вполне допускал, что Уинч просто-напросто решил: хватит с него воевать, пора выбираться домой, в Штаты. Стрейндж знал, на что способен Уинч, он сумеет провернуть и не такое. Если, конечно, действительно знает, чего хочет.

В госпитале на Гебридах поговаривали, что у Уинча что-то с сердцем. Точно так же утверждали, что Преллу грозит ампутация ноги, а то и обеих. Но по тому, что Уинч делал, и по тому, как выглядел, в нем нельзя было угадать человека, только что перенесшего инфаркт, да и Прелл нисколько не походил на ягненка, который за здорово живешь даст оттяпать себе ногу, не то что обе.

Кроме того, говорили, что командир дивизии представил Прелла к Почетной медали конгресса. Однако когда Стрейндж поделился новостью с Уинчем, тот лишь презрительно фыркнул. Если кто и мог знать что-то определенное насчет Преллова представления, так это, конечно, его непосредственный начальник, первый сержант Уинч. Но Уинч сказал, что он не слышал ничего подобного. Судя по всему, Прелл тоже ничего не знал. Стрейнджу казалось, что, если он нажмет на Уинча и тот подтвердит слух о представлении Прелла к высшей военной награде, это может пойти Преллу на пользу.

Нельзя сказать, чтобы Прелл был подавлен, угнетен или расхотел жить — ничего подобного. Это было не в его правилах и не в правилах Уинча. Прелл так же сволочился и кусался, как всегда. Он оставался все тем же заносчивым и упрямым ослом, какие водятся только в Западной Виргинии, поэтому его так недолюбливал Уинч и так любил Стрейндж.

Прелл и сейчас делал вид, что ему все нипочем, но сообразительный Стрейндж чувствовал червоточину в его хорохорстве. Как будто внутри у него вырос комок безнадежности. Комок отвердел, покрылся коркой и вроде бы не давал о себе знать, но каждую минуту мог вспухнуть, прорвать стенки и выплеснуть зловонную жидкость. Если такое случится, Преллу несдобровать. Поэтому известие об ордене, даже непроверенное, могло бы подействовать как хорошее лекарство.

Но Уинч молчал как рыба, даже если что и знал.

Стрейндж давно научился ладить с ним. Это было не так уж трудно. Надо просто помнить, что он чокнутый, и делать на это скидку. Да и всем хорошим, что с ним, Стрейнджем, произошло за эти три года, он был обязан Уинчу. Стрейндж никогда не забывал об этом.

В начале 1940 года, когда дивизия стояла на Оаху и размещалась в Скофилдских казармах, Стрейндж был помощником повара в одном из подразделений береговой артиллерии, расквартированном в форте Камехамеха. Его приехал проведать Уинч, с которым они пять лет назад вместе служили в одной части в Форт-Райли, штат Канзас, и предложил перевестись в пехотное соединение в Скофилд. Уинч пообещал, что через три месяца его сделают сержантом и назначат начальником кухни-столовой в его роте. Все так и вышло.

Переход перевернул всю жизнь Стрейнджа. Получив порядочное повышение в жалованье, он выписал из Техаса свою девушку, та приехала, и они поженились. Стрейндж не мог бы рассчитывать на такую роскошь по меньшей мере еще года три. Он оставил холостяцкие привычки, перестал тратиться на выпивку, остепенился. С Линдой-Сью под боком это вышло проще простого. Она даже начала отк-

ладывать деньги. К концу 1941 года, когда напали япошки и началась война, они скопили две тысячи долларов.

На пару с Уинчем — помог и кое-кто из новых сержантов — они сделали роту одной из лучших в дивизии. Может, самой лучшей, какая вообще когда-либо в дивизии была. Кто-кто, а Стрейндж будет помнить об этом всю жизнь. И вот теперь их старое хозяйство разваливалось. Война безжалостно кромсала роту, рвала на клочки. Впрочем, для того ее, верно, и создавали и готовили, чтобы калечить и уродовать. Не вечная же она. Сейчас, когда его там нет и Уинча тоже нет, она словно бы перестала существовать. Но все равно Стрейндж никогда не забудет ее.

«Мы были всякими, но дело свое знали, это факт,— в сотый раз с каким-то мрачным удовольствием твердил про себя Стрейндж.— Пусть о нас говорят что угодно, мы были настоящими кадровыми военными». Он не заметил, что думает в прошедшем времени.

Если рота чего-то стоила, такой ее сделал не кто иной, как психованный Март Уинч. Он был нахрапист, плутоват, но результатов добивался. Поэтому Стрейндж не мог не любить его.

Да, он был горой за Уинча и мирился с его выходками, но особую слабость он питал к Бобби Преллу.

Как только началась война — они еще были на Оаху,— Стрейндж пожалел, что женился. Частично в этом был виноват Прелл.

Стрейндж клял себя за такие мысли на чем свет стоит. После нападения японцев на Пирл-Харбор рота немедленно заняла оборонительные позиции, и он вообще не так уж много виделся с Линдой. Скоро жен и членов семей и вовсе эвакуировали в Штаты. Два раза до ее отъезда Уинч давал ему увольнительную в город на всю ночь, и он ехал к ней в гостиницу. И оба раза у него возникало чувство, что он поспешил с женитьбой — война ведь. Было бы куда проще и приятней подцепить дешевочку. Никаких слез и разговоров о расставании. А Линда не могла взять в толк, почему он не едет с ней, только и говорит о своей роте.

Тогда-то Стрейндж и понял: знай он, что начнется война, он не спешил бы жениться.

У Стрейнджа буквально разрывалось сердце при мысли о том, что она уедет, но другая половина его существа испытывала облегчение. Он думал, что, когда ее не будет, все пойдет по-старому. Как бы не так. Один-единственный раз, когда в городе стало поспокойнее, он пошел с ребятами к проституткам, но ему было скучно и стыдно. Ему больше не хотелось в увольнение, не хотелось пить. А когда их перебросили на Гуадалканал, чтобы сменить морскую пехоту, Стрейндж почувствовал в себе перемену: вместо прежнего удальства пришли осторожность и рассудительность. Кроме того, он страшно скучал по жене.

А вот Прелл не менялся. Он всегда любил покрасоваться, поиграть в героя. Правда, он вовсе не слыл этаким развеселым рубахой-парнем. Что бы он ни делал, все было на полном серьезе, точно, методично. Но самолюбив и тщеславен был до чертиков. Он откалывал номера почище, чем эквилибрист на мотоцикле. А что на Канале выделывал! Раз он всю ночь шастал в одиночку по джунглям, разыскивая отрезанную противником роту где-то в миле от переднего края. А после держался так, словно не произошло ничего особенного. Стрейндж завидовал ему еще до того, как их с Канала перебросили на Нью-Джорджию.

Невысокого роста, худощавый, с остроскулым лицом и прищуренным взглядом, Прелл сейчас, как видно, совсем сдал. Большие темно-багровые мешки повисли под черными, как уголья, глазами. За последние два года его дважды разжаловали из сержантов в рядовые, второй раз — уже после того, как кончились бои на Канале. Но

еще до отправки на Нью-Джорджию он снова успел заработать шевроны капрала и был назначен командиром отделения. Он был хорошим солдатом — такими не бросаются,— и все это понимали. И вот попасть в паршивую заварушку на Нью-Джорджии, когда его прошило пулеметной очередью — надо же! В Штатах, наверное, никто и не слышал, что есть какая-то там Нью-Джорджия.

Сам же Прелл — вот ведь странно — вроде бы даже радовался тяжелому ранению, потому что Стрейндж никогда не видел его в таком приподнятом настроении. Как будто он сделал как раз то, чего от него ожидали. Когда Стрейндж подошел к его кровати, он приподнял голову с подушки, запавшие щеки растянулись в улыбке.

— Ну, теперь уж скоро?

Стрейндж тоже изобразил улыбку.

— Говорят, еще двое суток. Пара деньков, а там Золотые ворота, и мост, ну и, конечно, Пресидио.— Он огляделся.— Пустовато стало.

— Ты бы видел, что тут было,— сказал Прелл. — Народ раскис, распустил нюни.

— Еще бы. Народ — да, но не ты.

— Чего захотел! Я и не такое видывал.

— Да уж знаю, бывал в переплетах. Не раскиснешь. А раскиснешь — виду не подашь.

— Это точно.

Стрейндж по-деревенски присел на корточки. Стульев в салоне не было: их некуда было поставить. С помощью санитара Прелл соорудил из бритвенного зеркальца и проволоки от вешалки устройство, дававшее ему возможность видеть, что происходит в салоне позади него. Он посмотрел в зеркало, подвинулся, опираясь на локти,— совсем немного, на несколько дюймов, так как обе ноги были подвешены к растяжке,— и заговорил снова:

— Чертовы пролежни одолевают.— На секунду замолк и продолжал: — Как там Уинч?

— У него полный порядок, как я понимаю. Я его редко вижу.

— У этого сукина сына всегда будет полный порядок... Он ко мне ни разу не заходил.

— Ни разу? А он вроде говорил, что собирается.

Прелл поднял свои смоляные глаза, его взгляд ненадолго задержался на отражении салона в зеркальце.

— Лэндерс был здесь шесть раз.

— Правда? А я его даже не видел с тех пор, как мы погрузились. Надо бы его навестить.

Прелл продолжал, не обращая внимания на приятеля:

— Ты был здесь семнадцать раз.

— Да ну? Ты что, зарубки делаешь или как?

— А как же? Конечно. Тут особо ведь нечего делать,— сказал Прелл снисходительно.

— А кроссворды в книжке двигаются?

— Уже все решил.

— Надо поискать, может, еще найдется.

Прелл снова чуть подвинулся на локтях.

— Хорошо бы. Как-то тут гулко сделалось, а?

— Угу, я вот тоже об этом подумал. — Стрейндж встал, огляделся вокруг. Пустых кроватей было не так уж много.

— Увезли не больше трети, а акустика уже совсем другая.— Прелл следил глазами за Стрейнджем, затем добавил вроде бы небрежным глухим тоном: — Куда нас отправят, как ты думаешь?

— Понятия не имею,— ответил Стрейндж и снова опустился на корточки, а потом уселся прямо на пол.— Никто ничего не знает. Видно, у них никакого плана. Говорят, что в принципе отправляют

поближе к дому. Если, конечно, в том госпитале есть нужное лечение. Если нет, посылают в другой, специальный.

— Тогда нас развезут по разным местам.

— Наверно, так и будет.

— Жаль. Могли бы из одной части в один и тот же госпиталь направлять. Чтобы вместе были, пока привыкнем.

— Чего захотел! Будут они себе таким дерьмом голову забивать,— сказал беззаботно Стрейндж.

— Странно получается,— помолчав, начал Прелл. — Понимаешь, человека ранят и отправляют в тыл, и мы потом ничего о нем толком не знаем. А теперь вот мы сами в таком положении.

— Кое-кто из ребят получает открытки.

— Ну да, я знаю. Встретил такого-то, слышал о таком-то, тому-то отняли руку. Но мы не знали, что это значит.

— Теперь-то знаем.

— Тебя, наверно, отправят в Техас,— продолжал Прелл. — А вот меня куда? Мне-то куда деваться? Я ведь, знаешь, из Биг-Санди — это на границе с Кентукки. Но я там не был двенадцать лет.

— Может так обернуться, что в одно место попадем. — Стрейндж улыбнулся. — Я, наверно, на Техас не соглашусь. Женины родные все переехали в Кентукки, работают на оборонных заводах в Цинциннати. И Линда с ними. В Техасе у меня никого нет.

— У меня в Западной Виргинии тоже никого,— сказал Прелл.

— Вот, может, вместе и попадем в Цинциннати.

— А Уинч откуда?

— Вроде из Новой Англии.

— Ну и хорошо. — Прелл на локтях устроился поудобнее. — Скоро должны свет погасить.

— Ну, и мне пора. Слышишь, кажется, идем полным ходом. Завтра забегу.

— Пожалуйста, не забегай, если не хочется,— высокомерно проронил Прелл.

Стрейндж осклабился:

— О'кей. Не забегу. Если не захочется.

Он поднялся. Поодаль санитары сдирали белье с пустых кроватей, и от этого ему сделалось одиноко. Он помахал рукой и пошел к выходу. У двустворчатых качающихся дверей он помедлил и оглянулся.

С середины салона Прелл следил за ним в зеркало и, увидев, что он остановился, поднял руку. Стрейндж понял: не обернись он, Прелл обиделся бы. Стрейндж тоже помахал и вышел на прогулочную палубу. Шагая, он сжимал и разжимал раненую руку, хоть это и причиняло боль.

В его приятеле было что-то такое, от чего он чувствовал себя виноватым всякий раз, когда бывал с ним. Прелл вроде бы ничего не делал, и все равно Стрейндж уходил от него, охваченный ощущением собственной неполноценности.

У застекленных окон променада в два ряда толпились раненые, вглядываясь сквозь сумерки в проплывавшее мимо американское побережье. Стрейндж остановился, задумчиво поглядел на них, сжимая и разжимая кулак, и зашагал дальше.

Из всех видов ранений, о которых знал Стрейндж, у Прелла было самое хорошее, боевое, самое достойное солдата, если посмотреть без дураков, всерьез. Он собрал свое отделение и, не вызывая охотников,— Прелл не церемонился с подчиненными,— пошел с ним в глубокую разведку в джунгли, а на обратном пути, находясь еще в полумиле от своих, наткнулся на сосредоточение японских войск в долине. Японцы под началом генерала Сасаки готовили внезапное нападение.

Сасаки командовал японскими войсками на Нью-Джорджии, его фотографию с указанной суммой вознаграждения раздали всему личному составу дивизии. Прелл приказал отделению отходить вдоль тропы, а сам решил ползком пробраться поближе, чтобы подстрелить генерала. Не получилось. Их обнаружили, завязалась перестрелка, двое из его отделения были убиты, двое ранены, а самого его достала пулеметная очередь. Истекающий кровью, неспособный самостоятельно передвигаться, он тем не менее организовал отход и, минуя японские поисковые группы, привел всех четырнадцать человек, считая двух мертвых, в расположение своей части. Он самолично доложил о готовящемся наступлении и потерял сознание.

За эту-то разведку, по слухам, командир дивизии и представил Прелла к Почетной медали конгресса. А Уинч после этой разведки заимел на него зуб.

Когда Стрейндж думал о своем ранении, ему казалось, будто какие-то неземные силы сыграли с ним злую шутку.

Это случилось на Гуадалканале. Гораздо раньше, еще в январе. Его рота только что выиграла крупный бой у японцев, успешно завершив свою первую атаку. Прихватив двух поваров, Стрейндж пошел в расположение роты с судками. Временный лагерь был разбит на высоте, которую они заняли два дня назад. Какой-то полковник-штабист назвал ее Морским коньком. Ребята, удобно расположившись на склоне, рассказывали кухонной команде, как прошел бой, и Стрейндж заметил в них какую-то перемену. Он не мог уловить, в чем именно она состояла. Просто они сделались другими. Неожиданно донесся шелестящий, едва слышный звук летящих мин, за ним чей-то резкий крик — все залегли. Стрейндж тоже плюхнулся плашмя на землю. Последовала серия взрывов, кто-то истошно заголосил. Когда он снова сел, то почувствовал, что немилосердно жжет ладонь. Горячий, острый, с зазубренными краями осколок величиной поменьше ногтя на мизинце, застряв в бугорке между средним и безымянным пальцами, торчал из мякоти повыше середины ладони. Пока раненому оказывали первую помощь, Стрейндж опомнился и уже демонстрировал ладонь ребятам. Сначала у него душа ушла в пятки, но потом он сообразил, что ничего страшного с ним не случилось и что голосивший рядом солдат не убит и не изувечен, и начал смеяться. Через несколько минут уже стоял общий хохот. Это ж надо: Матушка-Стрейндж пришел в гости к своим сынкам в роту и заработал медаль за ранение — «Пурпурное сердце». Крови на руке совсем не было. Очевидно, ранку прижгло горячим металлом. Осколок осторожно извлекли, и он положил его в карман. Ни капельки крови, остался только крошечный продолговатый порез с синеватым оттенком. Ребята отвели Стрейнджа на КП и предъявили ротному, чтобы тот не зажал медали. Фельдшер перебинтовал ему кисть, и, захватив пустые судки, Стрейндж пошел с поварами назад.

Но потом ему было не до смеха. Всякий раз, когда он думал о случившемся, в нем поднималось раздражение. Он отчетливо помнил свой тогдашний страх и острое чувство полнейшей беспомощности. И это было противно...

Наконец Стрейндж заприметил на прогулочной палубе свободное окно и, подойдя к нему, стал смотреть на линию берега.

Здесь, дома, стояло лето, середина августа, окно было открыто. Он закатал рукава халата и облокотился о раму. Легкий ветер шевелил волоски на руках.

Стоило ему подумать, и снова возвращался страх: ударь осколок посильнее, он пробил бы руку насквозь, а если бы он угодил в голову, Стрейндж был бы мертв. Но все эти «если бы» да «кабы» не имели ровным счетом никакого значения. Ни для кого, кроме него самого, Джонни-Страни. Просто так случилось, что осколок попал в ла-

донь, и он остался жив — вот и весь сказ. Когда он мысленно доходил до этого пункта, в нем закипала злость.

Ему было больно сжимать и разжимать кулак. Когда он делал это, у него будто в голове скребло. Врач сказал, что в руке еще остался кусочек металла и об него трется сухожилие — об него или о нарост на кости. Извлечь металл — не шутка. Проблема в том, что от травмы и постоянной работы за шесть месяцев у него развился суставной артрит.

Вглядываясь в темные холмистые берега, Стрейндж глубоко вдыхал и выдыхал морской воздух, разрезаемый мерным движением парохода по пустынной вздымающейся поверхности океана. Стрейндж был вовсе не против того, чтобы очутиться на родине.

Только через полгода кто-то из его поваров уговорил Стрейнджа показать руку врачу. Его тут же сунули в госпиталь и скоро эвакуировали самолетом. На Эфате заявили, что они не будут и пытаться оперировать на месте. Его придется отправить домой. Док, кроме того, сказал, что в Штатах есть лишь несколько хирургов, способных делать такие операции. А ему предстоит не одна. Придется пройти долгий и мучительный процесс лечения, но в конечном счете рука восстановится на восемьдесят или девяносто процентов. Вся эта штука — от того, что он не пришел сразу. Он должен был бы показаться, как только это случилось. И еще док сказал, что ему повезло: в армии операции делают на государственные денежки. Вот если бы он был заводским рабочим, такая халатность стоила бы ему страховки. Стрейндж не мог признаться, что ему было стыдно и неловко идти к врачу, когда госпиталь забит стонущими, искалеченными людьми,— какими глазами он смотрел бы на них? Поэтому он слушал врача и молча кивал.

Еще там, на Канале, когда только заваривалась каша, Стрейндж решил про себя: пока есть хоть малая возможность, он не будет напрасно подставлять задницу под пули.

Когда батальон перебросили на Нью-Джорджию, Стрейндж следовал тому же правилу: в точности выполнять распоряжения, но не больше. И следить, чтобы его подчиненные делали то же самое. Если им прикажут быть на передовой в чертовых джунглях, они будут. Но только в том случае, если прикажут.

И однако же он остался со своими. В любой момент он мог забежать в медпункт, показать руку и преспокойненько отправиться в тыл, и все-таки он остался со своими. Даже сейчас ему было не по себе от того, что пришлось распрощаться с ротой. Стрейндж был достаточно понятлив, чтобы сообразить, насколько это противоречит здравому смыслу.

Отведя взгляд от ночного моря и темневшей вдали линии берега, Стрейндж выпрямился и огляделся вокруг. Вдоволь насмотревшись на родную землю, народ постепенно расходился. Стрейндж снова облокотился о раму.

После перевода из форта Камехамеха в Скофилд, к Уинчу, и женитьбы изменилось не только житье Стрейнджа,— изменились его жизненные планы. Он смачно сплюнул в окно — ветер подхватил плевок. Вернее, жизненные планы Линды-Сью. «Я не намерена всю жизнь оставаться женой штаб-сержанта,— повторяла она. — Накопленные две тысячи надо отложить и после войны купить ресторанчик». Еще пару годков назад Стрейндж считал, что завербовался на все тридцать лет, а теперь, смотри-ка, будет хозяином ресторана.

На первые же деньги Линда купила машину, нанялась в Гонолулу кассиршей в шикарный ресторан, поступила на курсы метрдотелей. И ее получки, и Стрейнджево денежное довольствие — все шло на сбережения. Осенью сорок первого он прикинул, что будет достаточно очередного трехгодичного срока. Тогда он бросит армию, и Линда получит свой ресторан.

Потом в декабре напали японцы, но две тысячи долларов были в целости и сохранности дома у Линды. Она добавляла к ним свой заработок и получала, кроме того, сколько разрешалось по его аттестату.

Стрейндж ни с кем не делился планами насчет ресторана. Ему было неловко говорить, что он собирается бросить армию и особенно ребят по роте. Дважды его тянуло рассказать обо всем Уинчу. Но он хорошо помнил, что́ творилось с его первым сержантом, когда он сообщил, что женится, и это удерживало его. Как только Уинч не издевался над ним! Дежурка ходила ходуном от его гогота и топота. Стрейндж тогда едва не поссорился с Уинчем насмерть.

Он, конечно, знал, что у Уинча где-то есть жена. А может, он развелся. Другие вроде тоже были не в курсе. Но он помнил, как в Форт-Райли по гарнизону ходила высокая женщина с длинной шеей и широкими бедрами — Уинчева жена. Видно, между ними что-то не заладилось, раз Уинч не взял ее с собой на Оаху. Поэтому он опять спустил Уинчу его коленца, хотя дал прямо понять, что нечего лезть в чужие дела.

Стрейндж сознавал, что ему не хочется распространяться о ресторане. При мысли навсегда оставить армию ему делалось не по себе. Он вздохнул и медленно выпрямился у окна. Рука ныла по-прежнему. Палуба совсем опустела. Пароход все дальше отходил от побережья, горы скрывались из виду.

Когда сжимаешь или расслабляешь руку, в ладони возникает какая-то глубокая ноющая боль, она захватывает всю кисть и поднимается к предплечью. Надо взять у дежурного сонную таблетку.

Если он будет ходить верной картой, через шесть месяцев демобилизуется. Война протянется еще долго. Полгода в госпитале, операция-другая — и он на воле. Выходное пособие, плюс невыплаченное содержание, плюс денежки, заколоченные Линдой на оборонном заводе в Цинциннати,— как раз хватит, чтобы открыть ресторанчик. Сразу же, как только он окажется на гражданке. А там и послевоенный бум подоспеет — порядок!

И все-таки эта перспектива угнетала его. Она и радовала и угнетала одновременно.

Вдобавок у него прямо-таки что-то разрывалось в груди, когда он видел перевязанного беспомощного Прелла. Разве таким, как он, отчаянным, место на больничной койке? А с другой стороны, Прелл из тех, кому всю жизнь достается больше других. Молод еще, не все понимает. Нет, видать, начинает понимать.

Интересно, сколько ему годков, Преллу? Двадцать три или двадцать четыре. Ему-то самому двадцать восьмой пошел.

Ранили — это ничего, хорошо, что не кокнули. Быстро, один момент, ничего не чувствуешь. Вот потом плохо: столько натерпишься, сил нет.

Бросив последний взгляд в окно, Стрейндж повернулся и пошел к трапу. Надо бы поскорее уснуть, а то утром рано вставать — мало ли что понадобится Преллу.

Глава 5

Они подошли к сан-францисской бухте ровно в шесть вечера. За кормой, на западе, садилось солнце. Оно заливало все вокруг красновато-золотистым светом. Видимый далеко с моря, впереди золотел гигантский мост, под его обвисшими, как брюхо, тяжелыми кабелями протянулся хрупкий на вид дорожный пролет. По обе стороны моста так же золотели холмы. Это и в самом деле были Золотые ворота в Америку, подпираемые двумя высоченными пилонами. Пока пароход приближался к ним, людям на борту казалось, будто время остановилось. На открытой верхней палубе, обычно отведенной для офи-

церов, сейчас набились все, кто только мог как-то передвигаться. Видавшие виды, поседевшие ветераны и те плакали, глядя, как неторопливо и торжественно выплывает из пролива им навстречу величественное сооружение. Когда судно проходило под мостом, люди задрали кверху головы, и пароходные гудки слились с нестройным «ура». За мостом была родная земля, наконец-то они были дóма. Пароход шел дальше, и постепенно отделялись от берегов остров Алькатрас, за ним остров Эйнджел, потом Форт-Макдауэлл, откуда началась заморская служба большинства из них. Справа по борту сиял порт Эмбаркадеро. Судно описало дугу и медленно пошло к пристани. За ней плавными линиями возвышались Телеграф-хилл и Нобхилл. Жадные взгляды ловили каждую деталь. Люди не знали, что никому из них, почти никому, больше ничего не удастся увидеть в Сан-Франциско и в районе залива. Если б они знали это, то всматривались бы в каждую мелочь еще пристальнее и напряженнее. Пристань была уже забита санитарными машинами, военными и гражданскими, и они всё прибывали одна за другой. Пароход пришвартовался, и белые халаты начали протискиваться сквозь толпу на палубе, уговаривая раненых сходить вниз.

Сильнее всего поражало, как разросся город. Масса новых портовых, промышленных и городских зданий. Кто не был здесь, как Лэндерс, всего полгода — и те видели разницу. Словно вырос целый лес труб, дыму стало вдвое больше. Удвоилось количество грузовиков на улицах, утроилось количество судов в гавани. То и дело попадались какие-то сооружения, постройки, и всюду люди, люди. Тем, кто был на фронте год-два или больше, как Стрейндж, казалось, что перед ними другой город. Раненых согнали вниз, выгрузили на берег и затолкали в санитарные машины, откуда мало что увидишь. Операцию провели так, как если б это была очередная партия скота. Вытянувшись колонной, санитарные машины направились в общевойсковой военный госпиталь Леттермана. Перекрыв движение, полиция дала им зеленый свет. Колонна шла группами по двадцать—тридцать машин, а в промежутках пропускали скопившийся на поперечных улицах городской транспорт. Некоторые машины сделали по три-четыре рейса. Счастливчики на задних лавках через окно мельком видели город.

Сорока восемью часами позже многие из прибывших снова были в пути: их погрузили в эшелоны, некоторых — в самолеты, как того паренька из ВВС с гангреной, и повезли на восток и на юг.

В этой перевалочной цепочке хуже всего пришлось Преллу. На пароходе боль в ногах от тяги груза не отпускала ни на минуту, но он молчал. Вдобавок каждое колебание судна через груз отдавалось в ступнях и дальше, до изрешеченных бедер. Все плавание он провел в страхе, что начнется шторм. Погода, к счастью, стояла тихая.

С той минуты, как пароход причалил к пристани, и до того, как Прелла засунули на полку санитарного вагона в составе, шедшем на восток, его два раза снимали с вытяжки, тащили на берег, везли через весь Сан-Франциско на тряской, будто без рессор, колымаге, дважды в разных отделениях перекладывали с каталки на койку и обратно, снова везли в безрессорной санитарной машине на вокзал, а там протаскивали на носилках через вагонное окно и укладывали на полку, и все это время он каждой перебитой косточкой чувствовал малейшее неловкое движение или толчок. Десять раз ему хотелось зареветь от боли и досады, и только голое упрямство удерживало его от слез. Он решил про себя, что никто не увидит его плачущим.

Ему не довелось даже мельком поглядеть на Сан-Франциско, но он не жалел об этом.

С того момента, как его ранило и отделение возвратилось в расположение части, выходило так, что чем ближе он был к дому, к цивилизации, тем чаще его осматривали и описывали, нумеровали и ме-

тили, классифицировали и припечатывали. Иногда ему казалось, что кому-то важнее проследить, чтобы он не потерялся, чем излечить его. Он думал, что с людьми, которые отдавали жизнь и здоровье за родину, надо обращаться как-то иначе, но получалось, что никакого другого способа нет, а если и есть, то до него никто не додумался. Иногда он на самом деле чувствовал себя «куском живого мяса», как любили говорить о себе раненые на транспорте. Но он пока что молчал.

Он уже перенес две серьезные операции, его собрали, подвинтили, скрепили проволокой. Наверное, впереди еще одна, чтобы извлечь все эти скрепы и винты. При первом же обходе в Леттермане один из хирургов, что был помоложе, даже присвистнул, заглянув в историю болезни, а после с каким-то недоверчивым восхищением долго смотрел на него, как будто перед ним была бронзовая скульптура, по которой колотили молотком. Это польстило самолюбию Прелла.

Он хотел спасти не только ноги, он хотел спасти себе жизнь. Он давно решил, что, если ему ампутируют их, он покончит с собой. Пустит пулю в лоб или в сердце — пока еще не знает куда. Он не намерен всю жизнь проваляться, как колода, в инвалидном госпитале. Даже если они захотят ампутировать только одну ногу, он не будет жить с одной ногой. Незачем ему это. Так что, рассуждал Прелл, он спасает не просто ноги — он спасает себе жизнь. Ему пока не очень хотелось умирать.

Поэтому реакция хирурга была как хороший укол. Значит, по крайней мере, есть надежда. Его улыбка не относилась к пациенту — она была безразличной, но Преллу было все равно: он понял, что хирург смотрит на него как на интересный случай, над которым придется основательно потрудиться. Хирург не мог знать, сколько раз Прелл упорно отказывался от ампутации. Прелл не сказал ему об этом. Он молчал, стиснув зубы. Он не сказал и о том, какую невероятную, нестерпимую боль причиняет ему малейшее движение. Ему выпала плохая карта, на руках ничего нет, но он продолжает игру, собрав все свое самообладание и не рискуя понапрасну. Он не хотел признаваться в том, что боль невыносима,— это был бы довод в пользу ампутации. Однако хирург, видимо, догадывался, как ему плохо. Он был немногословен: Преллу пока что предстоит трехдневное путешествие поездом, а уж потом можно будет сказать что-то определенное. Всего три дня на поезде, затем покой. Это далековато, в городе Люксор, штат Теннесси, зато там едва ли не лучшие хирурги-ортопеды, специалисты по нижним конечностям, и отличное послеоперационное лечение.

— Я могу вверх ногами ехать, сэр,— бодро произнес Прелл, хотя совсем взмок, пока его вертели и щупали.

Врач ответил загадочной улыбочкой.

— Будем надеяться, что до этого не дойдет,— сказал он снисходительно.

Ему, видно, не понравился такой тон со стороны человека, у которого собираются отнять ноги. Но Преллу было наплевать, он даже не разозлился. Все равно не этот будет принимать окончательное решение. На верхней губе и на лбу у него собрались капельки пота, но он заставил себя растянуть рот в широкой улыбке.

Однако хорохориться — одно, а тащиться на поезде в его состоянии — совсем другое. Острая непрекращающаяся физическая боль может совершенно измочалить тело и душу. Она, как сточная труба, без остатка высасывала волю. Два дня, пока его перетаскивали с парохода в госпиталь, а оттуда на поезд, потребовали от Прелла такого напряжения, какого он и представить себе не мог. И к тому времени, когда его, ослабевшего и потного, уложили наконец на вагонную полку, он уже ничего не соображал и лишь отупело думал, как же он вынесет три дня вагонной качки.

При тяжелой болезни или травме кажется, будто сознание уходит куда-то внутрь, и ты уже ничего не видишь и не слышишь и только смутно ощущаешь, что́ происходит вокруг. Боль заталкивает тебя все дальше и глубже в самого себя, и тогда растекается воля, превращаясь в одну-единственную простейшую и навязчивую мысль. Только бы не заплакать, только бы не заплакать. Ни единого, ни малейшего звука! Иначе он закричит «мама» или будет умолять снять его с поезда — и обратно, в Леттерман, и чтобы отняли к чертям собачьим эти ноги. Он сжимался, словно улитка — он помнил, как они сворачивались там, в джунглях, и убирали рожки, если ступишь рядом или дотронешься горящей сигаретой. Прелл потерял мать, когда ему было одиннадцать лет. И он не желал расставаться с единственной парой ног.

Потом ушла и эта мысль, и он лежал неподвижно, загнанный на самое дно сознания, дожидаясь, когда же дернется состав. Ему смутно хотелось, чтобы рядом стоял Стрейндж или кто-нибудь еще из роты. И это злило его. Злило, что они не с ним, и злило, что они нужны ему. Преллу вкатили максимальную дозу болеутоляющего, и все же он плыл сейчас одурманенный болью, а не наркотиками, и дожидался, когда вместе с составом дернутся ноги, и думал. Он думал о роте, о своем отделении и о последней разведке.

Сама по себе разведка прошла как надо. Но она имела массу последствий. Какие-то обстоятельства осложняли и путали все дело. Только в теперешнем своем состоянии Прелл мог вообразить, что способен беспристрастно воспроизвести все, как было.

Собственно разведка его мало занимала. Тут его не мучили ни сомнения, ни совесть. Все было проделано на высшем уровне. Если вздумают болтать — пусть, но он не допустил ни малейшей ошибки. После того как их застигли врасплох, отход с ранеными и убитыми был организован отлично. Вынести убитых — одно это чего стоило. Такое не каждому удастся. Он ведь из кожи лез, чтобы доставить разведданные. Даже доложил сам. Разведка предотвратила лишние потери в живой силе во время обороны два дня спустя.

Вот насчет отделения он был не так спокоен. Не то чтобы его мучила совесть, но кое-какие сомнения были. Кому охота видеть, как на глазах гибнут товарищи. И командовать в такие моменты тоже никому неохота. Однако ж перестрелка — она и есть перестрелка, тут и ранить и убить могут. Хорошо, что ребята из отделения специально приехали попрощаться с ним, когда его эвакуировали на самолете: значит, они все поняли. Как-никак заварушка стоила ему всего двух раненых и двух убитых из четырнадцати, не считая его самого. Не у всякого сержанта, командира без офицерского звания, обошлось бы такой малой кровью.

Все остальное началось потом, и начал это Уинч. Или, может, кто-то еще, а Уинч подхватил. Из зависти, черной зависти. Он во всем завидовал Преллу и всегда. Прелл не понимал, как можно завидовать человеку, который вот-вот станет безногим инвалидом.

Вообще-то начал все командир батальона. Он тоже специально приехал его навестить перед самой эвакуацией. В большой палатке, где лежал Прелл, он присел на корточки у койки на глазах у адъютанта и еще двух офицеров и сказал, что собирается представить его к награде. Он пока не может сказать, какая это будет награда, но ему хочется, чтобы Прелл знал. Но Преллу было не до того: он мучился от боли и беспокоился за ноги. Он сказал, что ему ничего не надо, но все равно известие пощекотало его самолюбие. После он подумал, что могут дать «Бронзовую звезду», а то и «Серебряную».

Потом — командир полка в военно-морском госпитале на Новых Гебридах. Во время наступления японцев, о котором донесла развед-

ка, в ходе завязавшихся боев полк понес потери, и командир прилетел посмотреть на раненых. Обходя отделение, он остановился у кровати Прелла и сообщил, что штаб полка представил его к кресту «За выдающиеся заслуги». Хорошо бы отметить это событие, сказал он, но поскольку Прелл — лежачий, он захватил подарок: литровую бутылку шотландского виски австралийского производства. Флотская медсестра тут же забрала бутылку, пообещав вернуть после второй операции, когда Преллу разрешат пить. С тех пор он сделался всеобщим любимчиком — и администрации, и медсестер, и санитаров, и докторов. И с тех же пор по госпиталю пошли слухи, что штаб дивизии представил его к Почетной медали конгресса. Об этом по секрету сообщила ему одна медсестра. Очень может быть, что посещение командира полка и представление к кресту «За выдающиеся заслуги» здорово помогли Преллу бороться с докторами из-за ног. Он умело использовал свою популярность.

КВЗ — это уже не побрякушка. По чести говоря, Прелл считал, что он не заслужил его. Он так и сказал командиру полка. А все же крест недурно будет смотреться рядом с двумя медалями за ранение. Прелл знал, что солдат регулярных войск, записавшийся на целых тридцать лет, да еще с КВЗ — такой после войны не пропадет, куда бы его ни направили. А уж медаль конгресса — это еще выше бери, о ней и думать нечего. Как и все «старики», Прелл сдержанно относился к наградам. Кроме того, он был слишком занят борьбой с докторами. Потом новость поувяла, а скоро и вовсе забылась. Но вот появился Уинч.

Прелл уже слышал, что Уинч прозвал его славохватом. Словечко привез один тип, прибывший с Нью-Джорджии. Затем на Эфате объявился и сам Уинч, вовсе не раненый, даже здоровый на вид. И снова заладил насчет славохвата. Преллу тут же донесли: народ, известно, любит такие штуки. Преллу очень уж хотелось застрелить генерала Сасаки, чтобы заработать орден, говорил Уинч, вот он и подставил отделение под огонь — двоих насмерть, двое тяжелых. К счастью, неделей раньше приехал Стрейндж.

Сам Прелл ничего не мог поделать. Когда тебя упакуют, как цыпленка на продажу, и ты в гипсе, и ноги на вытяжке, не очень-то побегаешь. Ну а Уинч, конечно, заглянул проведать его после прибытия. Не мог не зайти, иначе такие бы пошли разговоры — не обрадуешься. Они смерили друг друга холодным взглядом, потом Уинч ухмыльнулся и вроде бы снисходительно протянул руку. Прелл не знал, как быть. Ему до смерти хотелось хорошенько послать Уинча. Он лихорадочно соображал, что лучше — подать руку или нет. Если он не подаст руки, подумают, что он разозлился и, значит, Уинч прав. В конце концов он пожал протянутую руку и тут же отпустил ее. Уинч побыл совсем недолго, спросил для приличия о ногах и ушел. Прелл жалел, что подал ему руку.

Если кто и знал, действительно ли штаб дивизии представил Прелла к медали конгресса, так это командир его роты на Нью-Джорджии, а если знал ротный, так не мог не знать и первый сержант. Но Прелл скорее бы удавился, чем стал расспрашивать Уинча. Он даже со Стрейнджем не заговаривал о представлении. Что до Уинча, то в госпитале он и словечка об этом не проронил.

Преллу просто посчастливилось, что Стрейндж прибыл неделей раньше Уинча. Из его поведения было видно, что в роте никто и не думал катить на него, Прелла, бочку. Пусть себе Уинч треплется. А ведь Стрейндж смотрел на Прелла как на героя. Это утешало.

Вокруг обыкновенного дела росла гора шелухи. А ведь разведка-то прошла как надо.

Всякий раз, когда Прелл думал об отделении и о разведке, у него становилось тяжело на душе. Это не были угрызения совести —

скорее чувство вины и ответственности, ужас и сознание беспомощности, и от этого хотелось кричать. Его охватывал безотчетный страх, но рвавшийся из глубины нутра крик: «Не надо! Не надо!» — уже ничему не мог помешать. Перед его мысленным взором, как на экране, крупным планом проплывали лица товарищей.

Они были даже не из его отделения. Прелла назначили к ним, когда их собственного командира эвакуировали по болезни. И они неплохо поладили.

Они получили задание обнаружить противника и войти с ним в соприкосновение. Большой отряд японцев, сосредоточенных в центре фронта перед Мундой, снялся с занимаемых позиций и словно растаял. Разведчики предполагали, что японцы отошли в глубокую, с обрывистыми склонами лощину на правом фланге, которую они занимали раньше. Преллу было поручено это проверить.

Обычное задание, ничего особенного.

Ничего не обнаружив, Прелл на обратном пути решил заглянуть в небольшую долину. Влево отходила тропа, поднимавшаяся на невысокую гряду метрах в двухстах от них. Земля в этом месте была сильно утоптана. И Прелл, и его дозорный — оба словно почувствовали, что за гребнем что-то есть.

Прелл побежал, продираясь сквозь заросли. И крикнул остальным, чтобы поторапливались. Тех, которые бежали впереди, не нужно было подгонять. «Давай, давай!» — кричал он на бегу. Он знал, что японцы часто вызывают так минометный огонь на себя.

Вокруг них начали шлепаться и рваться мины. Один из бежавших впереди упал: его накрыло почти прямым попаданием. Прелл и солдат перед ним на ходу подхватили его под мышки и потащили, волоча по земле. Потом его напарник остановился и взвалил раненого себе на спину, чтобы освободить Прелла. Быстро оглядевшись, Прелл убедился, что никто не отстал, и, сбегая боком по тропе, приготовился прикрывать отход огнем. Но их, видимо, не преследовали. Недалеко разорвалась мина, и еще один боец упал, но сам же поднялся и побежал дальше. Но тут откуда-то сбоку ударил пулемет.

Очередь прошла по ногам выше колен, будто ударили огромным серпом, и серп отделил его от ног, и Прелл понял, что ему каюк, а если не ему всему, то ногам уж точно каюк. Крупнокалиберные пули повернули его, подтолкнули вперед. Падая, он заметил, что та же очередь достала еще двоих, сбегавших вниз впереди него,— одного ударила в поясницу, другого повыше, под лопатки. Передний был его дозорный Кроужер. Обоих, конечно, насмерть. Уже неживые, они еще бежали метр за метром, и Прелл бежал, хотя ног уже не было, бежал, стиснув зубы, на последнем остатке воли и, словно увлекаемый тяжелыми пулями, мимо мертвых товарищей, но потом вдруг сложился пополам и упал ничком, головой вперед и раскинув руки. Ему казалось, что он еще бежит, бежит лежа, хотя в голове стучало, что дальше бежать бесполезно и теперь ему конец.

Он отчаянно закричал, и двое солдат побежали снизу к нему друг за дружкой, как пара выезженных лошадей. Они приподняли его, взяв под мышки, и тут случилось чудо: пулемет замолк. Настала тишина, зловещая, полная каких-то шорохов, она, казалось, падала на них с деревьев тяжелыми каплями.

Солдаты повернули его на спину. Второй номер склонился над ним. Лица у обоих были испуганные. «Какого черта! Открывайте же скорей!» — раздраженно приказал он. Ему надо было немедленно, сейчас же самому взглянуть на ноги. «Чего тянете?» Они расстегнули ему ремень и начали стягивать штаны. Прелла ударило в пот от боли, но он распорядился, чтобы двое других подобрали убитых.

Едва они тронулись с места, позади, у развилки тропы, снова на-

чали рваться мины. Японцы попытались накрыть их тремя залпами. Он снова опередил их на несколько минут.

Прелла тащили, а у него все холодело внутри. Когда у человека есть ноги, он не задумывается, как они нужны ему, а вот когда их нет... Безногому куда податься. Тогда-то Прелл и решил, что, если он останется без ног, он не будет жить.

Им снова везло: они двигались, не встречая противника. Поближе к расположению роты дорога разделилась на несколько параллельных тропинок, связанных между собой вырубленными в зарослях поперечными проходами,— по ним японцы доставляли боеприпасы на свои, теперь уже оставленные, огневые рубежи. Здесь уже было полегче, отделение могло как-то маневрировать. Дважды они слышали где-то рядом голоса: вражеские поисковые группы прочесывали местность, и им пришлось укрыться. Прелл чувствовал, что куртка под ним пропиталась кровью. Он несколько раз терял сознание и снова приходил в себя. Войдя в зону слышимости своих, они принялись криками звать подмогу.

Прибывший усиленный наряд держал круговую оборону, пока врач оказывал Преллу первую помощь и делал ему вливание. Затем, ко всеобщему облегчению, их препроводили в расположение роты. В батальонном лазарете хирург, хмурясь, осмотрел ноги Прелла, наложил для фиксации шины. Прелла перетащили на нормальные носилки и привязали ремнями. Он был готов к вывозке. Так кончилась служба Прелла, по крайней мере в этой части, и он понимал это. Не видать ему больше роты, не видать. Прежде, случалось, он клял ее на чем свет стоит,— всю ее и каждого человека в отдельности, но теперь ему не хотелось расставаться с ними. Когда его на носилках заталкивали в переполненный джип, лицо у него было как каменное. На другой день его самолетом должны были вывезти с острова. Командир батальона утром разрешил отделению отлучку, и они приехали повидаться на прощание. Было похоже, что его никто ни в чем не обвинял.

Когда в тыловом дивизионном госпитале его поредевшее отделение, эти оставшиеся девять человек, попрощавшись, один за другим выходили из просторной палатки, Преллу стало совсем невыносимо. Он едва удерживался от слез. Эти девятеро спасли ему жизнь. Они смастерили носилки и тащили его добрую милю по скользкой грязи, ежеминутно подвергаясь опасности. Им никто ничего не приказывал, но они это сделали, не жалуясь и не ворча. Золотые ребята, таких поискать. Они спасли его, и ему было жутко от того, что он видит их в последний раз. Их уважение почище всякой награды, а они уважали его, это было видно. Прелла захлестнула волна благодарного чувства.

Ему так не хватало их, их и всей роты сейчас, когда он лежал на полке санитарного вагона и мучился от страшной, нестерпимой боли в ногах. На пароходе хоть можно было перекинуться иногда словом со Стрейнджем или Лэндерсом. После сортировки в Леттермане он их больше не видел. Правда, один раз он мельком видел Стрейнджа — тот в казенном халате протопал в дальнем конце коридора. Но это все. Прелл понятия не имел, куда их направили. Откуда ему было знать, что оба находятся в том же эшелоне, только в передних вагонах. Прелл смутно помнил, как кто-то где-то говорил, что в Люксоре есть ребята из их роты. Он надеялся, что сумеет сойтись с ними. Как он будет теперь без роты, один? В голову Преллу все чаще и чаще закрадывалась мысль, что отныне так ему и быть — одному и так будет всегда. А все остальное прошло, стало прошлым, и с каждым часом и с каждым километром это прошлое отодвигалось от них всех дальше и дальше.

Поезд тронулся, боль пронзила ноги от ступней до таза, и тут Прелл сообразил, что города-то он так и не видел, ни одного дома. Он вспомнил, что, когда ехали на фронт, он подцепил на Маркет-стрит девочку и они целых два дня не вылезали из гостиничного номера. Интересно, что с ней сейчас.

Мерно покачивая вагоны, поезд постепенно набирал скорость. Прелл закрыл глаза.

Глава 6

Уинч был одним из немногих, кто избежал канцелярской волокиты, связанной с перегрузкой раненых. Едва он успел прибыть в Леттерман, как обнаружилось, что среди госпитального начальства у него есть кореш.

Пока всех прочих сортировали, разбивали на группы, гоняли из одного кабинета в другой или, прикрепив к руке синюю, зеленую и желтую бирку, везли к санитарным эшелонам, Уинч сидел на койке в полупустой палате и раскладывал пасьянс или разыгрывал сам с собой покерную партию, дожидаясь, когда администрация пришлет ему увольнительную на два-три дня.

Вот что значит знать нужных людей. Чудно́ все-таки получается. Чего бы только не отдали многие из прибывших с ним, чтобы остаться здесь и иметь увольнительную и возможность прошвырнуться по большому городу, а Уинчу не хотелось торчать в Леттермане, но и в город его не тянуло. В иное время Уинч посмеялся бы над собой — и все. Но сейчас он был не в настроении. С другой стороны, увольнительными в Сан-Франциско не бросаются.

Его определили в отделение для сердечников, сказали: для дополнительного обследования. Он и часу не пробыл в палате, как в дверь просунулся лейтенант с мальчишеским личиком и спросил, здесь ли находится первый сержант Уинч. Уинч отозвался. Лейтенант вручил ему запечатанный конверт.

— Я подожду, сэр, может быть, вы пожелаете написать ответ.

Конверт был шикарный, с фирменным тиснением общевойскового госпиталя Леттермана и без марки. На лицевой стороне было размашисто написано: «С нарочным». Уинч развернул письмо, оно оказалось от Д. К. Хоггенбека. Уинч знал старину Д. К. по военному городку имени Сэма Хьюстона, где они служили шесть лет назад. Д. К., или Дока, как его прозвали, был тогда техником-сержантом, а Уинча только что произвели в штаб-сержанты. Теперь уж, естественно, старина Д. К. поднялся до старшего уорент-офицера, как о том свидетельствовало напечатанное на машинке звание, и был начальником отделения личных дел. Он приглашал Уинча зайти повидаться, когда выпадет минутка.

Начальник отделения личных дел Леттермана — должность не маленькая, ничего не скажешь. Одному господу известно, сколько раненых проходит через руки Д. К. и на каждого послужной список и личное дело — форма 201, которые сопровождают военнослужащего повсюду и хранятся как зеница ока. Документация на раненых занимала на госпитальном судне, наверное, столько же места, сколько и люди.

— Да-да, конечно, сэр, в любое время. Я провожу вас хоть сейчас,— с готовностью отвечал лейтенантик Уинчу.— Я покажу, где это находится.

Уинч оторопело глядел на него и только кивал. Он не привык, чтобы офицеры говорили ему «сэр», пусть и молодые. Зато с медсестрой и санитаром лейтенантик не церемонился.

Коридоры были переполнены людьми в форме и белых халатах. Со дня на день ожидали очередной транспорт с Новой Гвинеи, поэтому раненых спешно переправляли дальше, на восток, освобождая места для новой партии. Протиснувшись сквозь толпу, они по-

дошли к нужному зданию. Отделение личных дел находилось на верхнем этаже.

Помещение с баскетбольную площадку было забито столами — штук пятьдесят, не меньше. Лейтенантик провел Уинча в дальний конец зала, где находился кабинет Д. К. Через окно с толстым зеркальным стеклом старина Д. К. имел возможность наблюдать, как трудятся его подчиненные.

Сам Д. К. стоял, сложив на узкой груди жилистые руки и опершись тощим задом о край стола. Он, конечно же, видел, как они шли через зал, но и бровью не повел. И только когда лейтенантик выскочил, притворив за собой дверь, он улыбнулся, протянул руки и, тряхнув Уинча за плечи, крепко обнял. Уинч взирал на него с некоторым недоумением — уж не собирается ли Д. К. на радости пустить слезу.

— Ну как ты, Март, как?

— Привет, Д. К.,— отвечал Уинч.— Ты, я вижу, неплохо устроился. У тебя даже вторые лейтенанты на побегушках.

— Не только это, старик, не только.— Все так же улыбаясь, он достал из-за стола бутылку сиграмовского марочного виски и два стакана.— «Семь корон». Видишь, я даже помню твое любимое.— Уинчу было неуютно, словно на тебя глазеют сзади, но Хоггенбек и не подумал задернуть шторку на окне.— Как только увидел твое имя в списках, сразу послал за пузырьком.— Д. К. на секунду замолк, чтобы перевести дыхание.— Вы там такое для всех делаете, что, ей-ей, ничего для вас не жалко.— Уинчу показалось, что у старого пройдохи и впрямь повлажнели глаза — может, в самом деле растрогался.— Да-да, не только это, доложу я тебе,— продолжал Д. К.— Посыльными — лейтенантишки, а в помощниках — капитаны и майоры ходят. Наконец-то наверху сообразили, как нужны народу старые кадровые военные, хоть и без офицерского звания. А офицеров теперь пруд пруди, куда ни плюнь — офицер. Политики своим деткам да племянничкам по протекции звания устраивают. За денежки чины получают. Сколько таких развелось! Никто не знает, что с ними делать. Вот и получается, что такие, как мы,— сами себе хозяева. Дом вот себе за Пресидио купил приличный, еще один покупаю. В сержантский клуб денежки вкладываю — есть тут такой. Долю в военном магазине имею. На пару с одним типом игорное заведение держим. У супружницы моей лавка. Я тебе вот что скажу, Март. Сейчас такие дела можно делать— закачаешься. Райское времечко. Мы нужны им, Март, ой как нужны! Без нас им из этой штатской шпаны ни в жизни армии не создать.— Хоггенбек разлил виски по стаканам, один придвинул Уинчу.— Ну, давай!.. Слышал, твоя дивизия на Гуадалканале была, сменила Первую, морских пехотинцев. Потом вижу, ты в списке прибывших на этом судне, чуть со стула не упал.— Хоггенбек выпил.— Ну, давай, рассказывай, Март, как там. Задали вам шороху? Тебя куда ранило-то?

У Уинча похолодело внутри, ему показалось, что он вот-вот потеряет всякое соображение. Виски как будто само собой исчезло, едва он прикоснулся к стакану. Д. К. налил еще. Уинч скрипнул зубами. Ему хотелось взять эту тяжелую бутылку с яркой наклейкой и стукнуть Хоггенбека по черепушке. На виду у всего его занюханного отделения.

— Здорово жарко было? В газетах, значит, верно пишут. Даже вспоминать тошно, а?

Уинч смотрел на дружка, с которым раздавил не одну бутылку, тяжелым, холодным взглядом, а видел роту, бессмысленные, испуганные лица ребят — они ползли повзводно, тыкаясь мордой в грязь и поливая кровью каждую пядь земли. Там и здесь — ничего общего, ровным счетом ничего.

— Точно, Д. К., жарко, похуже, чем в аду,— без всякого выражения сказал Уинч.— Японцы, они умеют драться, сволочи.

— Да-да, я слыхал.

— Они местность знают, джунгли эти. Но мы их побьем, все равно побьем.

— Конечно, побьем, еще как!

Уинч не заметил, как они опрокинули по второму стакану. Д. К. снова налил ему, потом себе.

— Джунгли, оно конечно... Так куда тебя ранило?

— В ногу.

— Ну и как?

— Порядком задело, Д. К., по правде сказать, очень даже.

— Еще и приступ сердечный был?

— Да нет, просто шумы в сердце, как говорят медики. Потом с лихорадкой провалялся и с тропической малярией. Вот я и прикинул, что теперь и домой можно. Пора уж, наверное.

— Я так и понял, так и понял,— хихикнул Д. К., и его густые брови подпрыгнули.

Уинч сделал вид, что до него не дошло. Третьей порции как не бывало. Настоящее неразбавленное американское виски — это же божеское питье. Пусть, кому нравится, зальются шотландским, а ему довольно склянки сиграмовской «Семерки». Хоггенбек придвинул ему бутылку:

— Наливай. Я воздержусь, а то в голову ударит. Работенка есть кое-какая. А ты давай, давай!

Уинч покачал головой.

— Да ты что? Всегда же перепивал меня и вообще любого.— Улыбаясь, Хоггенбек откинулся в своем роскошном вращающемся кресле и начал излагать, что он собирается сделать для Уинча.

Уинчу эта бюрократическая волокита ни к чему. К вечеру он организует ему увольнительную денька на два-три. А то и на пять, если выгорит. Потом еще на пять и еще. Когда Уинч немножко подлечится, он устроит его на транспортный самолет, и лети в любой госпиталь, куда захочется.

Уинч был угнетен и совсем забыл, что он в Сан-Франциско. Д. К. напомнил ему об этом.

— У меня даже обмундирования нет.

— Да выдадут тебе обмундирование! — Д. К. схватил книжку ордеров и ручку.

— Знаю я это госпитальное обмундирование,— протянул Уинч. Он понял, что ему никуда не деться от этого приступа великодушия.

— Выйдешь за ворота и дуй прямо к портному! — радовался Д. К.— На Маркет-стрит тебе в любой лавке мигом сварганят летнюю офицерскую шерстяную форму с погонами. Всего и берут тридцать шесть долларов.

Хоггенбек поинтересовался, есть ли у Уинча деньги. В случае чего он может раздобыть ему разрешение на получение части жалованья.

Уинч сказал, что деньги у него есть.

— Прекрасно! Этого пока хватит. Знаешь, Март, я даже тебе завидую. Ты закачаешься, когда увидишь город. Фриско стал совсем другим. Бурлит, как во времена золотой лихорадки.

Он бы с удовольствием пригласил его к себе домой на обед, добавил Д. К. Но он, конечно, понимает, что после тропиков Уинч вряд ли рвется на скромное семейное застолье с его старухой.

Покончив как он выразился, с мелочами, Хоггенбек придвинул кресло поближе и сказал, что имеет кое-что сообщить. Как только он увидел Уинча в списках он сразу же начал закидывать удочки. Дело в том, что, сидя здесь, он может переправлять транзитных куда пожелает. Уинчу лучше всего попасть в Люксор, штат Теннесси. Он, правда, знает, что Уинчева жена проживает в Сент-Луисе — он уже успел заглянуть в его личное дело,— и это, конечно, большая закавыка. Но

если Уинчу не хочется ехать в Сент-Луис, то он, Хоггенбек, может устроить ему что-нибудь вполне приличное.

— Между нами, Д. К., не тянет меня в Сент-Луис,— сказал Уинч.— И если моя женушка не получит официального уведомления, куда меня направили, я, ей-богу, не огорчусь.

— Это мы сделаем, сделаем,— отозвался Д. К.— Бумаги, бывает, теряются.

Его план состоит в том, что в Люксоре помимо всего прочего находится штаб Второй армии и им вот-вот понадобится новый главный сержант для отделения личного состава. Фрэнк Мейнард едва ноги таскает, ему все равно скоро уходить. У него, Хоггенбека, сохранились связи кое с кем из прежних командиров, которые теперь там, и он уже провел разговор. Когда Уинч в Люксоре выйдет из госпиталя — если, конечно, он согласится туда поехать,— его так или иначе откомандируют в распоряжение штаба Второй армии. А уж там само собой пойдет. Он просто попадется на глаза нужному человеку, и дело с концом.

— Так вот, Март,— щерился Дока,— если тебя это интересует, я им сегодня же черкну. Ну как?

Работенка стабильная, спокойная, не бей лежачего, как сказал Д. К., чистая синекура, такая и нужна Марту и людям вроде него — Март ее заслужил. А старик Мейнард не обидится: ему так и так уходить.

Уинч поднял голову. Это была тонкая, деликатная операция, где взвешен и рассчитан каждый ход. На такое способны только опытные кадровые военные. Уинч сам был старым махинатором и мог оценить красоту задуманного предприятия.

Он слушал Хоггенбека, рассеянно кивая и поддакивая, но сразу же навострил уши, как только его приятель упомянул Люксор в штате Теннесси. Люксор, Люксор — не туда ли направляют группу ребят из его роты? Он смутно припоминал, что кто-то говорил об этом. Уинч одернул себя. Сам же недавно вдалбливал Джонни-Страни, что нет больше никакой роты, нет и не будет. А все-таки заманчивое предложение. Именно о чем-то таком он, бывало, и мечтал года два-три назад, до Гуадалканала, только думал, что стареват.

— Скажи где надо, что я с удовольствием,— неожиданно для себя произнес Уинч.

— Значит, решено! Так и сделаем,— обрадовался Д. К. и звучно хлопнул в ладоши.— Там через годок и младшего уорент-офицера дадут. Сделаем, ей-богу, сделаем!

Уинч внезапно понял, что, как ему ни противно сейчас, он поблагодарит Д. К. Хоггенбека.

— Март, я тебе вот что скажу. Я тут сижу прочно, можешь быть уверен. Но долго сидеть я не собираюсь. Как война кончится, опять все пойдет наперекосяк, армия развалится. Так что тянуть до тридцатки я не буду. И до двадцатки тоже. Как только все кончится, я отваливаю. И тебе советую. Я себе цену знаю. И меня ценят — во всяком случае на данный момент. Поэтому, что могу, всегда для однополчанина сделаю. А уж кто в действующей был, для того и подавно. Из моих корешей ты первый оттуда. Если чего понадобится, валяй сюда в любой момент, не стесняйся.

Хоггенбек довольно потирал руки.

— У меня еще кое-что для тебя припасено. Тебе медаль дают — «За выдающиеся заслуги», ты знаешь?

Уинч посмотрел на него недоверчиво.

— И кто же это придумал?

— Да не я, не я, чего глаза вытаращил? — Д. К. явно наслаждался произведенным эффектом.— Есть вещи, когда я — пас. Представление — в твоем личном деле, подписано командиром дивизии. И при-

ложены рекомендации командира батальона и твоего ротного. Да и еще этого, как его, ну, начальника медслужбы дивизии. Он-то при чем?

Когда Уинч собрался уходить, Д. К. выудил откуда-то две плоские пол-литровые бутылки сиграмовского виски и стал совать ему в руки.

— Сунь их за штаны и через карманы поддерживай. Бери, бери, чего там! Да брось, какое «спасибо». Ты же оттуда, верно? Больше я и знать ничего не желаю.

Провожая Уинча до двери, Хоггенбек напоследок посоветовал:

— Как устроишься — подумай о какой-нибудь недвижимости. Хорошенько подумай. Можно пивную купить. С пивной сейчас не пропадешь.

Часа через три — а с того момента, как их транспорт бросил якорь у Эмбаркадеро, и пяти часов не прошло,— когда раненые доедали по палатам разогретый в секционных алюминиевых судках ужин, Уинч уже стоял у витрины с вывеской «Лотта. Соки и воды» на углу Гири и Маркет-стрит в новехонькой офицерской куртке с погонами, которую ему сшили за тридцать шесть долларов в какой-то мастерской неподалеку. Засунув руки в карманы, он соображал, куда бы ему закатиться. Он уже прилично поддал, и ему было хорошо.

Глава 7

Лучше всего закатиться к Марку Гопкинсу. «Высшая марка», стоявшая на вершине Ноб-хилл, славилась по всем южным островам Тихого океана как местечко, где можно прекрасно посидеть, если доберешься до Фриско. Уинч остановил такси и велел ехать туда.

Если доберешься... Уинч подумал, сколько всякого скрыто в этом «если», и у него засосало под ложечкой. Он вот добрался, он дома. А-а, пусть они катятся, все остальные. Уинч откинулся на сиденье и стал глядеть по сторонам. С недавних пор он постоянно твердил себе: не пить, не курить. Только и делал, что твердил. Как возьмешь стакан или сигарету, обязательно услышишь: не пить, не курить. Он громко рассмеялся.

Ну как тут не выпить? Такси катило мимо шикарных отелей, девицы с морячками, с военными — все возбужденные, веселые, хохочущие — сбивались около них в кучки или просто слонялись по вечерним улицам, дурачась и громко подначивая друг друга, как дети. И все на вид такие довольные, денежные, беззаботные. Бред какой-то! Уинчу вдруг опять вспомнились его взводы — изнемогающие от жажды, измотанные, исходящие по́том и кровью. Что-то оборвалось внутри у него и ушло вниз чуть ли не до мягкого пружинистого сиденья. Бред и только. И снова начала грызть жуткая навязчивая мысль, что все это не имеет ничего общего с тем, что там. Одно никак не связано с другим. Его приподнятое настроение улетучилось.

В «Высшей марке» гуляли вовсю, не протолкнешься. Все больше летчики в пилотках с «крылышками» и с орденами и ленточками за участие в боях под Мидуэем. Они переходили от столика к столику, громко смеялись, отплясывали под джаз, снова и снова заказывали шампанское. Они, конечно, порасхватали самых роскошных женщин. Уинч был без знаков различия и ленточек. В кармане, правда, лежала пара новеньких шевронов первого сержанта, но в самую последнюю минуту он сказал, чтобы их не пришивали. В сделанной на заказ офицерской форме, которую он в общем-то не имел права носить, Уинч был похож на рядового-сверхсрочника. Он постоял у бара, принял две порции и спустился на лифте к выходу. Дважды к нему подбивались разодетые дамочки, и та, и другая что надо, но обе хотели по сотне; потом он завел было дурашливый разговор со смешливой и стильной студенточкой-старшекурсницей, но ее быстро утащил танцевать летчик-капитан, которого она звала Джимом.

Видно, в «Марке» только такие и оставались неразобранными. Но Уинч был не в настроении ни покупать любовь, ни таскаться целую неделю с малолеткой, пока ее уломаешь. Судя по обстановке, здесь все знали друг друга.

Выйдя на улицу, Уинч остановился, потом отошел в сторонку, чтобы пропустить шумную компанию моряков с девицами, которые топали в «Марку». Он свернул на Калифорния-стрит, сбегающую вниз к Норт-бичу, утыканному дешевыми, шумными забегаловками. Он тут же пожалел, что не взял одну из тех, сотенных. Деньги у него были. Обе — товар, пальчики оближешь. Но как-то быстро все склеивалось, чересчур быстро. Он строго-настрого приказал себе выкинуть баб из головы, и сейчас ему трудно было с ходу сориентироваться.

До Норт-бича было рукой подать, и он решил пройти Китайским городом по авеню Гранта. Всего-то километр с небольшим и под горку, но когда он добрался туда, то почувствовал, что выдохся.

Чем дальше, тем баров больше, и в каждом наяривает музыкальный автомат, кругом полно военных, и всюду женщины, женщины. И Уинчу почудилось: вот, о чем они мечтали, вот она, последняя линия обороны его измотанной, попавшей в окружение роты — дальше некуда. Он знал, что тут он без труда подцепит какую-нибудь подходящую.

Он дал себе честное слово, что не выпьет ни капельки, пока не дойдет до Вашингтон-сквер. Однако только замаячили впереди здания на площади, а он уже нарушил обещание и пропустил еще разок в какой-то забегаловке. Виски вроде бы освежило его и придало силы, а главное — подняло настроение. После того как у Хоггенбека он опрокинул три порции подряд, Уинч решил держаться в норме. Ему нужно ровно столько, чтобы не переживать и чтобы жизнь казалась сносной. Но и ни каплей меньше.

На улице Уинч опять попал под обстрел модных мотивчиков, бивших из каждой щели. В одном месте братья Инкспоты мечтательно начали: «Куплю себе я куколку картонную», однако их тут же перекрыл «Горнист из роты Б, который выдал буги-вуги» в исполнении сестер Эндрюс. Подальше голосистые сестрицы поутихли, и откуда-то принялась вытягиваться гленн-миллеровская «Ниточка жемчуга», а сквозь нее Уинч снова различил Инкспотов — а может быть, это были братья Миллз,— но на этот раз они пели какую-то «Бумажную луну», он такой еще и не слышал. Разностильные мелодии словно подгоняли Уинча к площади.

Он наткнулся на нее в третьем по счету ресторанчике. Она сидела за столиком с подругой, к которой пристроился пьяненький мальчишка из морской пехоты. Она явно высматривала себе пару, и когда среди толпы Уинч со стаканом в горсти привалился к стойке, она шарахнула в него такой улыбочкой, что он подсел к ним.

Обеим было лет по двадцать восемь, а то и по тридцать. Староваты для девятнадцатилетнего сосунка, которому, видать, не терпелось накачаться. Если он не остановится, то скоро от него никакого проку. Но он подруге нужен, пусть она и смотрит, а ей, Арлетте, ни к чему. Она дала понять это достаточно ясно. И так же ясно дала Уинчу понять, что если что и будет, то по всем правилам приличного знакомства и ухаживания, не на дешевку какую-нибудь напал.

Девицы были одеты почти что одинаково, обе, что называется, под мальчиков: в брюках и мужские рубашки с расстегнутым воротом. Платочки, повязанные на голове, выдавали в них работниц. Такие платки стали у них прямо-таки опознавательным знаком. На Пасифик авеню Уинч видел буквально сотни женщин в таких же платочках, это у них почти что обязательная форма. Он даже читал об этом в одном старом, затрепанном номере «Янки, вперед».

Арлетта работала сварщицей на машиностроительном заводе в Окленде, который считался оборонным предприятием, и ее подружка

тоже. Ей было далеко до тех потрясающих красоток, которых Уинч мог подцепить в «Марке», но на первый раз он и не искал ничего потрясающего. Миловидная Арлетта вполне устраивала его. Она была без обручального кольца, однако Уинч заметил у нее на пальце светлый ободок — значит, замужняя.

Ему опять стало не по себе. В душу закралось опасение. Что, если она жена одного из тех призывников, которых погнали в грязь и пекло? Кажется, у него в роте кто-то был из северной Калифорнии. Видя его пристальный взгляд, она порылась в сумочке, достала кольцо и, печально усмехнувшись, надела снова на палец.

Арлетте захотелось потанцевать. Уинч неуверенно вел ее среди топтавшихся на крохотном пятачке между столиками. Вообще-то он умел показать несколько классных па, но было тесно, да и его партнерша двигалась не слишком ходко. Но это не имело никакого значения. Он был рад потанцевать и набраться решимости. Какое ему дело, что ее мужика загребли по мобилизации,— значит, не повезло бедолаге. Они вернулись за столик, он заказал еще выпить, и Арлетта принялась болтать — все больше о своей работе. Она обожала сварку.

Захмелевший подружкин кавалер со снайперским значком на груди осоловело поднял голову и начал было пренебрежительно и вызывающе оглядывать общевойсковую Уинчеву куртку без знаков различия и ленточек. Чуть подавшись вперед, Уинч вперил в него упорный и тяжелый взгляд, какие встречались у бывалых сержантов при исполнении, так что бедного парня пробрала дрожь. В нем точно сработала раз и навсегда заведенная пружина, он выпрямился на стуле и, испуганно тараща глаза, стал поправлять галстук. Немного погодя он опять ткнулся носом в стакан.

Гостиница была сразу же за углом, и между владельцами обеих заведений явно существовала деловая договоренность насчет клиентов. По пути Уинч и Арлетта заглянули в магазинчик, и он купил вина. В номере, раздеваясь, Уинч спросил у нее про мужа. Он просто не мог иначе, хотя уже скинул рубашку. Да, он на фронте, но не на Соломоновых островах, а на Новой Гвинее, с облегчением узнал Уинч. Новая Гвинея — бог ты мой! Буна, Гона, Моробе! Черт, да ведь наши как раз сейчас в Саламауа. Нет, он не в 32-й дивизии и не в 41-й. Он вообще не в пехоте, а в войсках связи. И то хорошо, подумал Уинч, но неловкость не проходила.

— Послушай, а тебе не кажется, что это в общем-то свинство?

Арлетта зло прищурилась:

— Нет, не кажется! Как он уезжал, мы договорились: полную свободу друг дружке. А тебе-то что?

— Мне-то ничего...

— Ну и заткнись! Почему мне должно казаться, что это свинство? Он там без меня знаешь как гуляет? У него, наверно, кто хочешь есть.

— Нет там никого, кроме золотушных туземок. Кому они нужны?

— Он в Австралии был,— гнула свое Арлетта.

— Ну, в Австралии, конечно...— отступил Уинч.— У них все мужики в Северной Африке. Говорят, здорово в тех краях. Но я там не был.

— Что-то ты много разговариваешь. Передумал?

— Да нет,— ответил Уинч, но он никак не мог настроиться.

— А мне показалось, передумал. Очень уж красиво ты все это обставляешь. Ты, видать, и сам оттуда, правда?— Уинч кивнул.— Я так и знала. Сразу поняла. Как увидела тебя у стойки, и что у тебя ни ленточек, ни нашивок, так и поняла. Только куртка с толку сбила — не казенная, дорогая. А мой до войны знаешь что откалывал? Когда еще дома был. Могу рассказать.

Тут Арлетту прорвало. Она пустилась рассуждать о том, какие несправедливости приходится терпеть женщинам.

Уинч слышал такие вещи и раньше. Чаще всего вещи правильные. У Арлетты был свой пунктик. Она жаловалась, что ей не позволяли работать. Всю жизнь она ничего не делала, всю жизнь просидела дома, как тепличное растение, покуда не началась эта дурацкая война и мужики не отправились стрелять. Сами виноваты, она теперь знает, что к чему, и ей нравится ее работа. Если захотят отнять ее, когда кончится война, пусть только сунутся. Уинч вполне сочувствовал ей, и все-таки это получалось нечестно по отношению к мужу.

Внезапно Арлетта замолкла, потом спросила:

— Ты, значит, только что оттуда? Сегодня приехал? Выходит, ты с этого санитарного судна, которое пришло?

Она встала перед ним и принялась испуганно его разглядывать.

— Послушай, а у тебя все в порядке? Все цело? Ну, ни протеза на ноге нет, ничего такого, а? Понимаешь, у меня была подруга...

Уинч перебил ее, поднявшись с места:

— Да замолчи ты, дуреха! Протез — это когда с ремнем через плечо.

Он не сразу заметил, что выронил из кармана нашивки. Арлетта быстро подняла их с плетеного коврика.

— Ух ты, первый сержант! Почему же ты их не носишь? — Она разгладила шевроны на ладони.

— Не знаю. Наверно, потому что они новые,— сказал он и добавил:— Да и какое это имеет значение?

Они сидели на краю постели. Потом Арлетта перекатилась на середину и устроилась поудобнее, словно приготовилась принять яростный натиск. И все, что так долго копилось в нем, понесло его, все обиды и отвращение, тоска и злость. Год воздержания не прошел даром. Уинч почувствовал, как в нем разорвалось что-то, и оглушило, и ослепило. Арлетта понимающе потрепала его по плечу:

— Ладно, ладно. У нас еще много времени.

Опершись на локоть, он лежал рядом и тупо смотрел на нее, машинально водя другой рукой по ее плечам и груди. Ему опять стало не по себе. Вот он тут с ней, а ребята... Это нечестно. И ему захотелось ударить ее, но вместо этого он погладил ее колено, однако рука, казалось, совсем отвыкла ото всего и не знала, что ей делать. У него было такое чувство, будто его раскололи пополам и он отчаянно силится сложить две половинки себя вместе.

Немного погодя он выбрался из постели и подошел к столику выпить. Он был измочален и никак не мог отдышаться.

— Налей мне тоже,— улыбнулась, не поднимаясь, Арлетта.— У нас много времени.

Она пояснила, что отработала неделю в ночную смену, теперь свободна целых полтора дня.

— Если хочешь, я могу и прогулять еще пару дней. Как раз до конца твоей увольнительной! Чего они мне сделают? Не выгонят: людей и так не хватает. А я будь здоров.

Он усмехнулся при мысли, до чего же легко сводит людей случай — только раз оказались вместе в постели, и между ними уже что-то есть. И если это «что-то» длится неделю, тогда говорят, что это любовь.

Арлетта подала блестящую мысль. Раз он окончательно и бесповоротно решил бросить пить, раз ему предстоит навсегда распроститься с выпивкой и ротой, это надо отметить. Он просто обязан хорошенько кутнуть напоследок. Лучшего места, чем Сан-Франциско, для этого не найти и лучшей пары, чем Арлетта,— тоже.

Он подал ей стакан, присел на край кровати и подмигнул:

— Ну что ж, значит, повеселимся.

Идеи такого рода обычно прячутся где-то в извилинах, пока ка-

кая-нибудь случайность или чье-нибудь слово не вытащит их на свет. Уинчу даже показалось, будто он точно знал, что так оно и будет, как только вошел в кабинет Хоггенбека. Конечно, он понимал, что многовато пьет, но ему было наплевать. Уинч хорошо помнил формулу: усилие воли, которое требуется, чтобы преодолеть искушение выпить, обратно пропорционально количеству потребляемых граммов. Он эту формулу выводил всю жизнь. И отдавал себе отчет, что чересчур надирался, пока их везли через океан. Сегодня же тоже принял достаточно. Но с другой-то стороны, он превосходно себя чувствует. Разве что простудился малость на судне, и вот кашель никак не проходит. Он потянулся за бутылкой. Втайне он досадовал, что Арлетта не одевается: могли бы пойти в «Марку».

— Послушай, а у тебя дети есть?

Она не ожидала вопроса.

— Дети? Да, есть. Двое. Они у бабки живут, у моей матери. У нее собственный дом. На то, что я получаю по аттестату, не проживешь.

— А они не скучают по тебе?

— Чего им скучать? Я достаточно часто там бываю,— хмуро ответила она.

Уинч не хотел, чтобы она сердилась.

— Ладно, не обижайся. Сейчас мы с тобой куда-нибудь закатимся.

На другой день Уинч выступил с речью на Вашингтон-сквер; его чуть было не заграбастала военная полиция; и, кроме того, кашель у него перешел в бронхит.

Пока Арлетта ходила в Китайский город за чем-нибудь вкусным, чтобы пообедать в номере, Уинч решил, что надо бы пройтись и немного выпить. Он заглянул в две-три забегаловки, пропустил две-три порции и уже возвращался в гостиницу, когда на площади его вдруг осенило произнести речь. Как увидел этих записных истуканов, которые, взобравшись на ящик, талдычили устарелые, затасканные лозунги насчет профсоюзного движения и коллективных действий,— так его и осенило. Почему бы и нет? Уинч даже хрюкнул от удовольствия. Хотя он и выплеснул лошадиную дозу злости на Арлетту, в нем все еще шевелился мутный, неизрасходованный остаток.

Уинч подошел к одному из говорунов и сунул пятерку, чтобы тот освободил ему место.

Он давно носился с этой идеей. Впервые она явилась ему год назад, на Гуадалканале, когда он лежал под плотным минометным огнем противника. Он обдумывал, взвешивал и развивал ее — иной раз сидя в одиночестве за выпивкой или вместе с ротным наблюдая с какой-нибудь высотки, как пытаются продвинуться вперед их обессиленные, обезумевшие от жары взводы. В конце концов он сформулировал свою идею в лаконичном призыве: «Пехотинцы всех стран, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме своих винтовок!» Эти слова он и выкрикнул, взобравшись на ящик.

Вокруг него быстро образовалась толпа военнослужащих: они были рады случаю позабавиться. Сперва слышались смех, подначки, но потом кое-кто начал хмуриться.

— Ну вот ты, например,— обратился Уинч к какому-то рядовому в толпе.— Ты сколько имеешь в месяц? Тридцать восемь долларов, верно? А сколько бы загребал, если б мы сколотили профсоюз, знаешь? Чего ты скалишься, лучше пошевели мозгами. Да мы чего хочешь добьемся при хорошей организации. Мы же в каждой стране нарасхват. Почему у всех есть профсоюзы, а у военных нет? Японские солдаты и немецкие, английские и американские, русские, французские и австралийские — объединяйтесь! Мы будем диктовать условия труда. А если что не так, мы в снаряды муку вместо взрывчатки!

Из задних рядов раздался неодобрительный свист.

— Кому-то это не нравится? Ему до смерти хочется поскорее по-

пасть в списки убитых? Снизим потери в живой силе!— гремел Уинч.— Отходите целыми частями в тыл. Выбирайте согласительные комиссии, чтобы устанавливать наилучшее место боя.— Он выкинул вперед обе руки.— И никаких тропиков. Долой джунгли!

— А ты, случаем, не коммунист?— заорал кто-то сзади.— Забыл, что они наши враги?

— Кто, я забыл? Охренел, что ли? Протри глаза: вот мои нашивки.— (Арлетта настояла на своем и пришила их к куртке: она гордилась ими.) — Я первый сержант. Но у меня больше общего с японским сержантом или немецким, чем с этими тыловыми крысами и вообще штатской сволочью.— Заявление было встречено одобрительными возгласами.— А вы знаете, сколько я получаю в месяц? Так вот, у каждого рядового столько же будет, если объединимся.

Уинч увидел, как, раздвигая толпу, к нему спешат ребята из военной полиции, и выпрямился во весь рост.

— Солдаты всех стран, соединяйтесь! Продолжение завтра в это же время.

Он спрыгнул с ящика и побежал. Вдогонку ему неслись свист, поощрительные крики, хлопки.

До узких улочек, где можно было нырнуть в любую щель, было метров пятьдесят, не больше, но, добежав туда, он с удивлением почувствовал, что задыхается, и остановился в каком-то переулке. Он понял, что не может больше ступить ни шагу. Его схватил сильнейший приступ кашля. По счастью, несколько солдат будто ненароком сбились в ряд и задержали патруль. Кашель не отпускал. Уинч едва успевал отхаркивать белую пенистую слизь. Через несколько минут он кое-как добрел до ближайшей забегаловки за углом. После порции виски ему вроде стало лучше.

Дальше шагалось легче, но Уинч знал, что три лестничных марша в гостинице ему сразу не одолеть. Он останавливался на каждой площадке, чтобы отдышаться.

Испуганная Арлетта встретила его у двери. На столе в плотной картонной посуде ждал горячий обед — всякая китайская вкуснятина.

— Боже ты мой, что случилось? Я слышала, как ты поднимался.

— Да ничего, просто кашель немного беспокоит,— выдавил из себя Уинч, прислонясь к косяку.— Сейчас поедим, выпьем, поспим, и все пройдет. Пустяки, не волнуйся.

После отдыха в кресле ему и в самом деле стало гораздо лучше. Хороший обед, выпивка, постель довершили дело. Чувствовал он себя превосходно. Удушья от пятидесятиметровой пробежки по площади как не бывало. Однако ночью снова начался кашель, и Уинч проснулся, ловя ртом воздух. Он старался вздохнуть как можно глубже, но воздуха все равно не хватало. С кашлем шла та же белая слизь. Помогло только испробованное средство — два хороших глотка спиртного. Уинч устроился было, чтобы уснуть, но почувствовал, что лежа совсем не дышится. Кончилось тем, что остаток ночи он продремал, сидя в кресле.

Арлетта тоже вся извелась с ним. Обоих утешало, правда, что скверное самочувствие не отразилось на его мужской силе. Утром, когда они спустились позавтракать, он уже не мог подняться по лестнице без помощи Арлетты. После этого Уинч вообще не выходил, и Арлетта одна бегала по своим делам.

Он проторчал в номере двое суток, но на третью ночь понял, что доигрался. Несколько часов он простоял в ванной комнате над раковиной, упершись локтями в вешалки для полотенец, задыхаясь от кашля и отхаркивая белую пену.

— Наверно, надо в госпиталь,— глухо сказал он наконец Арлетте.— Ничего не поделаешь. Поможешь мне добраться? Не хочется тебя беспокоить, но самому мне трудновато будет.

— О чем речь! — Арлетта озабоченно глядела на него.— Знаешь, у

тебя что-то серьезное, очень серьезное. Да и мне надо выходить на работу.

— Тогда спустись, поймай такси.

В машине оба молчали. Арлетта взяла его руку и подержала в своей, потом наклонилась и поцеловала.

— Адрес и телефон в кармане рубашки.

— Не будем загадывать,— сказал он хмуро.— Меня, наверно, отправят на восток.

У входа на территорию госпиталя он оглянулся в последний раз и помахал рукой. Помахав в ответ, она села в машину и захлопнула дверцу. Пока такси не отъехало, Уинч видел сквозь заднее стекло ее бледное лицо. Было что-то в наклоне ее головы, что выдавало чувство облегчения. Уинч усмехнулся.

— Ну, что у нас?— бодро спросил молодой дежурный врач, когда санитар привел Уинча в отделение неотложной помощи.

— Не знаю,— мрачно ответил Уинч.— Наверно, бронхит. Денек-другой придется поваляться. Но мне нужно поговорить с уорент-офицером Хоггенбеком. Меня переправляют отсюда в Люксор.

Врач пощупал пульс и пристально посмотрел на Уинча.

— В Люксор, штат Теннесси. Документы уже готовы.

Врач приподнял у него рубашку и стетоскопом прослушал сердце и легкие.

— Черта с два — бронхит! У вас приступ гиперемии, сержант. Острая сердечная недостаточность. Никуда вам ехать нельзя.

— Сердечная недостаточность?

— И легкие полны воды. Захлебнуться можете.

— Мне надо в Теннесси,—упрямо твердил Уинч.— Хоггенбек в курсе.

— Постельный режим и мочегонная диета. Надо же, сердце с футбольный мяч раздуло. Ехать пока никуда нельзя.

Уинч закрыл глаза. У него не было сил спорить.

Книга вторая. ГОСПИТАЛЬ

Глава 8

Госпиталь располагался на восточной окраине города — западной окраины в Люксоре не было. Город начали строить в 1820 году на крутом, обрывистом берегу Миссисипи, у которой в этом месте ширина с добрую милю, и современный деловой и торговый центр Люксора притиснулся к самой реке. Миссисипи мешала городу расти на запад.

Переезд занял почти пять дней вместо трех. Еще в Рино народ начал томиться от усталости и ожидания. Поезд останавливался только там, где сгружали раненых. В Канзас-Сити эшелон разбили на два. Один следовал на восток — в Сент-Луис и дальше на север — в Чикаго. Другой шел на юг через Форт-Скотт в Спрингфилд, оттуда в Люксор и дальше — в Атланту.

Каждую неделю приблизительно тем же маршрутом один за другим шли другие эшелоны. Страшно подумать, какая требовалась работа, чтобы обеспечить движение таких поездов по всей стране.

Бобби Прелл держался только благодаря силе воли — стиснув зубы, не издавая ни звука или плотно зажмурив глаза, когда знал, что рядом никого нет. И еще благодаря бесстыдному самообману. Он говорил себе, что скоро, очень скоро они прибудут на место, и он вздохнет спокойнее, и прекратится эта проклятая боль в перебитых ногах. Говорил — и не верил ни единому своему слову. В эти дни до него внезапно дошло, что даже если он и спасет себе ноги, то боль все равно не прекратится. Она будет с ним, как верный спутник, всю оставшуюся жизнь. Об этом не хотелось думать, ибо это значило, что как ни крути, а жизнь прошла, во всяком случае та деятельная, здо-

ровая жизнь, которую он знал прежде. Жизнь просто остановилась, как старые стенные часы, когда он сбегал с той высоты под Мундой по скользкой траве. И когда Прелл понял это, ему расхотелось думать и оставалось только бессловесно мучиться. Он полагался на молчание, как на талисман. Помогали и лекарства, которыми пичкали его доктора. Но каждый раз, когда он засыпал, его посещало новое, кошмарное видение. Он видел бойцов своего отделения — он командовал по очереди тремя,— и они со скорбной усмешкой указывали ему на ошибки в его приказах.

Когда пришел санитар и сказал, что они подъезжают к Люксору, что осталось совсем недолго, Прелл не знал, радоваться ему или горевать.

Лэндерс, ехавший на восемь вагонов ближе к голове состава, почувствовал, как, миновав мост, поезд сбавляет ход. Он успел заметить внизу знаменитую люксорскую набережную с огромным бетонным скосом, уходящую вдаль. Потом поезд нырнул куда-то вниз и вбок, на захламленные подъездные пути главного вокзала. Вдоль всего перрона стояли санитары с носилками, чины из госпиталя, шоферы, а также женщины из Красного Креста в серых форменных платьях. Для ходячих на этот раз были приготовлены военные грузовики. Лэндерс попал в списки ходячих. Полторы дюжины грузовиков и машин «скорой помощи» вытянулись в одну колонну, оставив позади мрачные станционные постройки.

Лэндерс стоял, держась за бортовые скобы, зажав под мышками костыли, и смотрел, как проплывает мимо залитый летним солнечным светом богатый чистый американский город, и не знал, то ли он счастлив, то ли зол, то ли ему просто завидно. С тротуаров им махали благополучные, по-летнему одетые мужчины и женщины. Какая-то шикарная длинноволосая блондинка остановилась с двумя подружками и, сцепив руки над головой, так повела бедрами, что набившиеся в грузовике мужики в драных темно-вишневых халатах загикали и засвистели от удовольствия. Лэндерсу хотелось удушить ее на месте.

Колонна выехала из делового центра; потянулись широкие, просторные улицы, обсаженные высокими раскидистыми деревьями. В стороне от проезжей части за густыми вязами, дубами и кленами прятались дома. Раненых везли мимо каких-то лавчонок — около них в пыли, на перевернутых ящиках из-под кока-колы примостились в тени старики. Проехали большой городской парк с площадками для гольфа — по дорожкам двигались мужчины без пиджаков, за ними негры с набором клюшек. Потом показались кирпичные здания госпиталя, и Лэндерс стал разглядывать, каков же он, его новый дом, на ближайшие несколько месяцев.

Он отпугивал своей унылой новизной. Два самых старых здания — административное и рекреационное — были сооружены от силы два года назад. Вокруг них, бесконечно повторяясь, располагались однотипные корпуса отделений, и чем дальше они отстояли, тем выглядели новее и уродливее. Каждое отделение размещалось в двухэтажном кирпичном здании. Они соединялись между собой и с центральными зданиями крытыми переходами. От такого размаха становилось не по себе.

На дальнем краю строились еще два корпуса.

Колонна машин с командирским «виллисом» во главе неотвратимо свернула с дороги и въехала между двумя кирпичными столбами ворот с надписью «Общевойсковой госпиталь Килрейни» на территорию медицинского городка.

Лэндерс понятия не имел, чего он ожидал, но ему сделалось противно. Какой-нибудь ловкий, с деньгами, соотечественник, благодаря какому-нибудь приятелю-сенатору, продал участок бросовой, никому не нужной земли на окраине и заработал кругленькую сумму.

Какой-то подрядчик, приятель какого-то конгрессмена — может быть, тот же самый денежный соотечественник,— добился правительственного заказа и построил госпиталь, сорвав при этом порядочный куш. Теперь в этом госпитале будет лежать он, Лэндерс. Его снова обманули.

Словом, Лэндерсу было ненамного легче, чем Преллу. Его не мучила дикая физическая боль, как того, но он впал в глубокую депрессию. Чувство, что он никому не нужен и всем чужой, охватившее его после ранения, не ослабло после высадки на американскую землю. Скорее оно даже усилилось. К нему добавилось раздражение от того, что их обрабатывают и отправляют дальше как очередную партию груза. В поезде от тряски его лодыжка распухла под гипсом. Из-за костылей ему запретили выходить из вагона, и он целыми днями сидел на полке или лежал, глядел в окно и предавался невеселым размышлениям. Солт-Лейк-Сити, Денвер, Омаха. Он думал о том, как много красивых и не очень красивых мест в его большой стране, великих Соединенных Штатах Америки. А он не принадлежит ей, он чужой здесь. Через Сьерра-Неваду, по пустынным просторам Большого Бассейна, через Скалистые горы, мимо изумрудных долин, по сухим, опаленным равнинам Канзаса. Он думал о том, что ни в одном из этих мест, ни единую живую душу не интересует, есть ли он на белом свете или нет, включая его семью в Индиане.

Одновременно Лэндерс знал, что если бы нашелся такой человек, которому было бы не все равно или который притворился бы, что ему не все равно,— он дал бы такому человеку в морду. Изо всей силы и с превеликой радостью, хотя и понимал, что это бред и чушь собачья.

В таком состоянии Джонни Стрейндж и застал Лэндерса утром на второй день пути, когда поезд вошел в пустыню Большого Соленого озера.

Лэндерс сразу увидел, что Стрейндж в норме. Ноги у него были целы, рука почти не болела. Он не привязан к одному месту, может свободно ходить из вагона в вагон. Стрейндж рассказал, что он отыскал Прелла — тот в одном из хвостовых вагонов — и ему худо. От тряски такая боль в ногах, что он бредит, не хочет никого видеть и ни с кем разговаривать, включая и их с Лэндерсом. Кроме того, Стрейндж определенно заявил, поскольку обошел все вагоны, что Марта Уинча в эшелоне нет.

Лэндерсу было от души жаль Прелла, но он не мог переживать за него из-за собственного паршивого настроения. Гораздо больше его расстроило то, что с ними не едет Уинч. Он так рассчитывал поговорить с ним о себе. Несколько раз они оставались с глазу на глаз, но разговора не получилось. Он просто не знал, как начать и как объяснить все Уинчу. Другое дело, если бы его искалечило, если бы он потерял ногу или ему угрожало, как Преллу, потерять ногу. Теперь Лэндерсу казалось, что Уинча может заменить Стрейндж.

Ему до смерти нужно было поговорить с кем-нибудь, и Стрейндж, судя по всему, был из тех, кому можно излить душу. В конце концов, у него нет выбора — либо Стрейндж, либо никто. Хотя Лэндерсу исполнился двадцать один год, он все еще верил, что разговорами можно чему-то помочь.

Когда, пробравшись тряскими вагонами, Стрейндж вторично пришел проведать его, Лэндерс решился.

— Понимаешь, со мной что-то непонятное творится,— неуверенно начал он после того, как они поговорили о Прелле и невзгодах пути.— Может, ты что посоветуешь? Это началось, когда меня ранило. Жуткая депрессия, никогда такого не было.

Свесив руки между колен, Стрейндж покачивался на полке и молча смотрел на него.

— Глупо, я знаю. Но мне, понимаешь, противно стало. Противно и наплевать. На все наплевать. Ни в чем смысла не вижу. Ничего не хочется.

— Тебе в Леттермане что-нибудь насчет ноги сказали?

— Да нет. Не в этом дело.

— Брось ты голову себе забивать. Ранение у тебя нормальное, ничего серьезного. Передохнешь малость, может, и вообще вчистую уволят. Жалованье за полгода получишь, а с денежками в этом городе знаешь как здорово.

— Да, да, это верно,— поддакнул Лэндерс, досадуя.

— Так что пользуйся, пока можно,— сочувственно заключил Стрейндж.

Давать задний ход было поздно, и Лэндерс испытующе всматривался в Стрейнджа, стараясь угадать, насколько ему можно довериться. И Уинч, и Стрейндж были кадровыми, служили еще до войны, а он пришел в армию уже позже, с пополнением, и не был особенно близок с ними. С Уинчем он общался мало, потому что был у него под началом. Но тот имел привычку вставать в позу и, не щадя никого, делать назло. Стрейнджа Лэндерс знал и того меньше — не приходилось часто сталкиваться. И невеселая, пожалуй даже горестная, усмешка бывшего начальника кухни-столовой внушала мысль, что он способен понимать такие вещи и не высмеет, как Уинч. Правда, Лэндерсу казалось, что Стрейндж избегает его. Особенно после ранения, когда их вместе эвакуировали. Лэндерс колебался.

— По-моему, война — это чистая бессмыслица и безумие. Она никому не нужна. Ты не... у тебя никогда не было такого чувства, что с нами сыграли злую шутку?

— Как тебе сказать?.. Наверно, было,— осторожно ответил Стрейндж.— Только я знаю, что все равно ничего не изменится.

— Понимаешь, пройдет лет десять, и вот эти самые люди, которые так упорно дерутся друг с другом,— между ними настанет мир и согласие. Они будут заключать торговые сделки, подписывать договора и наживаться. Все будут наживаться. Как будто ничего не случилось. А ребята, которые погибли, молодые ребята, как ты и я,— их же не вернешь!

— Чего и говорить, жалко, конечно, ребят. Но думай не думай, а легче не будет.

— Не могу я не думать.

— А я не могу забыть, что это они первыми напали на нас.

— Верно, об этом я тоже помню,— сказал Лэндерс, но в голосе у него слышалось отчаяние.

Стрейндж сидел на другом конце полки, покачиваясь в такт вагонной качке, и задумчиво кивал Лэндерсу.

Стрейндж и сам заметил, что с Лэндерсом что-то неладно. Он заметил это, когда в первый раз пошел по вагонам, разыскивая Уинча и Прелла, и неожиданно наткнулся на Лэндерса. Он не очень уважал призывников военного времени и добровольцев. Они из кожи вон лезут, чтобы быть своими в доску, всякую натуральность теряют. С Лэндерсом он вообще никак не мог найти общий язык. Ему не давало покоя, что тот — образованный. Ему не понравилось также, что Лэндерс согласился перевестись из роты и стал на побегушках у командира батальона. Но сейчас Стрейндж увидел, в каком состоянии находится Лэндерс, а его самого вдобавок отшил Прелл, и в нем взыграли искавшие выхода материнские чувства, которые он всегда испытывал по отношению к ребятам из роты. Поэтому он и пришел опять проведать Лэндерса. И еще потому, что и сам был одинок.

Стрейндж думал, что увидит в подавленном состоянии Прелла, а увидел Лэндерса. Он пожалел, что нет Уинча с его мудрой башкой. Тот бы сообразил, что сказать. Если бы захотел.

— Не пойму все-таки, что́ тебя гложет,— проговорил Стрейндж.

— Знаешь, это потому, что у меня, наверно, голова устроена иначе, чем у других. И еще плохое предчувствие. В последнее время не могу отвязаться от мысли, что меня убьют. Не очень-то приятно.

— Так, говорят, почти со всеми бывает, кого в первый раз серьезно ранило.

— Да, я слышал.

— Не сейчас же тебя убивают. Я хочу сказать: если и убьют, то не сегодня и не завтра. В госпитале еще несколько месяцев проваляешься.

— Да это я все знаю. Ладно, давай о чем-нибудь другом.

— Нечего горевать раньше времени.

Лэндерс со своего места долго и пристально смотрел на Стрейнджа, потом, глубоко вздохнув, заявил:

— Я тебе по правде скажу. Наплевать мне на эту войну. Это меня и гложет. Плевал я на нее. Посмотри на этих богатых долболобов в тылу. Ты думаешь, им до чего-нибудь есть дело? Я, наверно, пацифистом делаюсь.

Лэндерс думал, что Стрейндж будет потрясен или, самое малое, возмущен. Однако его признание нимало не встревожило Стрейнджа.

— Конечно, многовато таких, которые служат родине не в стрелковой роте на передовой.

Лэндерс опустил голову и ничего не ответил, а Стрейндж смотрел на него и думал. Думал о том, что у него, Джонни-Страни, дела куда лучше, чем у всех остальных. Все цело, и котелок варит. Вот он уже и планы строит, и скоро уволится. Он был вполне доволен, если можно назвать довольным человека, который то и дело, каждые полчаса, ловит себя на том, что вспоминает оставленную роту, который не перестает тревожиться за ребят и думать, как они там, и ждать оттуда весточек. Стрейндж был вполне доволен, потому что позвонил жене из Сан-Франциско, хотя для этого ему пришлось два часа проторчать в очереди у телефонной кабины в Леттермане. Его соединили с Ковингтоном, что стоит напротив Цинциннати, на том берегу Огайо, и жена оказалась дома. Через неделю-полторы она приедет к нему в Люксор. Джонни так везло, что он чувствовал себя виноватым перед Лэндерсом. Он встал.

— Ладно, надо покумекать. Может, что придумаю. Должен что-нибудь придумать. Стряхнем с тебя хандру. Помню, мой дед говорил: «Летняя хандра». Ну, бывай, я загляну.

Стрейндж ощерился усмешкой и ушел. Лэндерс молча глядел ему вслед и думал, что ни черта он не заглянет. Спрячется, как последний жулик. Разве что зайдет мимоходом, когда потащится в хвост поезда разузнавать насчет Прелла.

Но Стрейндж заглянул, причем в тот же день. И опять пришел, когда было совсем поздно. Потом зачастил, стал навещать в любое время суток. Никто не протестовал, потому что дни и ночи в поезде перемешались. То один, то другой обязательно звал санитара, и свет в вагоне не гасили. По молчаливому уговору никто не жаловался и не требовал погасить свет. Люди спали и днем и ночью — кто когда заснет.

Сам-то Стрейндж предпочитал приходить поздно вечером. Можно было подумать, что ему тоже не спалось. Однако он действительно был озабочен и изо всех сил старался хоть чем-то помочь Лэндерсу.

— Убьют не убьют — чего загадывать,— говорил Стрейндж.— Могут, конечно, и убить, если не переведешься из пехоты. Сам я, наверно, не стал бы этого делать, не знаю. Но у меня особая статья: плита да харчи. Я и в бою-то настоящем не был, не то что ты.

— Я тоже не был,— угрюмо отозвался Лэндерс.

— Как-никак хоть в перестрелках участвовал, несколько япошек укокошил.

— Одного, да и то на большом расстоянии. Может, и не я вовсе. Хотя только я знаю, что попал в него. Я ведь обыкновенный писарь.

— А я что говорю? Писарь в действующей стрелковой роте. Вот оттуда тебе и надо мотать.

— Куда, в квартирмейстерскую часть?

— Зачем в квартирмейстерскую? Куда-нибудь еще.

— Я понятия не имею, как это делается.

— Дурацкое ранение виновато. Если б не ранение, ты был бы в норме.

— Наверно. Но если б не ранение, я был бы там, в роте.

Стрейнджу удалось раздобыть где-то бутылку, и он угощал Лэндерса:

— Ладно, кончай хандрить. Еще неизвестно, что там с нами в Люксоре будет. Может, тебя признают негодным к строевой.

— Вряд ли. Судя по тому, что говорил хирург,— ну, который меня оперировал,— вряд ли.

— Как знать.

В другой раз Стрейндж осведомился, есть ли у Лэндерса родные.

— Родные? — Лэндерс горько рассмеялся. С каждым разом идеи Стрейнджа становились все смехотворнее и смехотворнее.— Я бы такое мог рассказать о моих родных. Предположим, меня убьют — знаешь, что будет? Матушка тут же выставит в окне золотую звезду: смотрите, мол, пал на поле брани. А какой повод уронить слезу за субботним бриджем! Сестричка у меня в колледже, социологией занимается — ну, тут, конечно, всеобщее внимание, успех. А папаша помчится к своим дружкам в Американский легион — он три раза в неделю туда таскается — и будет хвастать, что его сын пролил кровь за родину и погиб как герой.

Стрейндж слушал безо всякого выражения, потом провел языком по деснам и заметил:

— Хороша семейка, ничего не скажешь.

— И все притворяются, притворяются и лгут,— продолжал Лэндерс.— Когда началась война, я бросил колледж и записался в пехоту. Папаша, естественно, поднял крик. Он хотел, чтобы я окончил колледж. Обещал помочь с офицерским званием и найти мне теплое местечко в Вашингтоне. Я отказался наотрез. Так он даже не пришел попрощаться, когда я уезжал.

— Выходит, прав был папаша?

— Наверно, прав. По-своему. Старый циник, сукин сын.

— Что он у тебя делает?

— Он адвокат.

— А теперь он не поможет с офицерским званием?

— Просить? Его? Да я скорее удавлюсь. И он не захочет.

— Должны же быть какие-то способы. Парень ты ученый. Вот и соображай, что к чему.

— Не знаю я, как это делается, не знаю. И вообще неудобно...

— Скажешь тоже! Неудобно знаешь что...— Стрейндж встал: вагон качало.— Еще покумекаю и зайду попозже.

Когда Стрейндж ушел, Лэндерсу стало смешно. По тому, как его приятель многозначительно качал головой и решительно стискивал зубы, он видел, что тот воспринял его, Лэндерса, заботы как свое личное дело. В другой раз, когда Стрейндж, мелко перебирая полусогнутыми ногами, добрался до него по качающемуся проходу между полками, Лэндерс начал откровенно смеяться. Ошарашенный Стрейндж удивленно уставился на него, потом тоже загоготал. Он притащил с собой еще бутылку, почти полную. Они быстро опустошили ее, захмелели и, покатываясь со смеху, старались перещеголять друг друга, придумывая самые немыслимые, самые фантастические способы спасти Лэндерса, спасти ему жизнь.

Когда Стрейндж пошел к себе, Лэндерс провожал его повлажневшими глазами.

Стрейндж мог быть доволен собой. Однако, если он думал, что его нехитрая терапия излечила Лэндерсову хандру, он заблуждался. Он приходил еще и еще, и они опять пили и опять веселились, но каждый раз, когда приятель уходил к себе, Лэндерс снова подолгу всматривался в ночную темень за окном. Над пшеничными полями Канзаса висела полная луна. Такая же печальная, как и он. Чем дальше, тем сильнее цеплялся Лэндерс за Стрейнджа. Когда колонна машин въехала на территорию общевойскового госпиталя Килрейни, остановилась на плацу и раненых начали выгружать, Лэндерс, охваченный каким-то ребячьим страхом, думал только об одном: как бы не упустить Стрейнджа. Люди, добровольно избравшие себе исповедника, чтобы излить душу, часто делаются рабами своего врачевателя. То же самое случилось с Лэндерсом.

Прибывшие раненые смешались с толпой встречающих, и найти нужного человека в общей толчее было трудно. Лэндерсу помогли спуститься с кузова, он стал на землю, опираясь на костыли, и принялся лихорадочно искать глазами Стрейнджа. Откуда-то из толпы зевак раздался возглас: «Да это же Лэндерс!» Он оглянулся и увидел ребят из своей роты. Он смотрел на знакомые вроде бы лица и не узнавал их. Они казались другими людьми. Что-то изменилось в их облике, он не знал, что именно. Он едва успел помахать им рукой: с группой ходячих его повели крытой галереей к дальнему корпусу.

Когда через несколько дней ему разрешили одному выйти из отделения на прогулку, он узнал, что Стрейндж отбыл на короткую побывку в Цинциннати.

Глава 9

Устройство на новом месте заняло целых шесть дней. У каждого оказалась масса всяческих дел, процедур, осмотров. Простейшая вещь отнимала уйму времени.

Для того чтобы пройти рентгеноскопию, раненому, способному, как Лэндерс или Стрейндж, передвигаться без посторонней помощи, требовался целый день. С утра пораньше надо было тащиться в рентгеновское отделение (где-то у черта на куличках, да еще не разыщешь его никак), занимать очередь и торчать там несколько часов подряд, а то и приходить снова на другой день. Пока ходячие терпеливо дожидались приема, зажав в руке направление, санитары на каталках — их называли «мясными фургонами» — подвозили лежачих, и тех пропускали без очереди. Медицинский персонал не успевал обслужить всех. Так же трудно было попасть в лабораторию, чтобы сдать на анализ кровь.

Каждый больной подвергался тщательному венерологическому обследованию. Каждый проходил полное зубоврачебное обследование. Кроме того, осмотры в самих отделениях. Каждого осматривал интерн. Каждого осматривал хирург. Изучалась история болезни. Задавались вопросы, бесчисленные вопросы.

Новенькие быстро убеждались, что в госпитале действуют те же армейские порядки. И быстро понимали, что пребывание в госпитале не дает никаких послаблений.

Пять дней Лэндерс безвылазно просидел в своем отделении, а когда ему разрешили прогулки, он узнал, что Джонни-Страни нет: отбыл на побывку. Лэндерсу сказали, что в госпитале есть большая центральная столовая и там можно потолкаться среди народа, но ему это было ни к чему, благо все питались в своих корпусах.

Без Стрейнджа Лэндерсу не с кем было перемолвиться словом, и он снова впал в хандру.

А Стрейндж быстро очутился на особом положении. Отчасти это

произошло из-за характера его ранения, отчасти — из-за того, что из Цинциннати ему позвонила жена.

Не теряя времени, Стрейндж разузнал, как мог, всю изнанку госпитальных порядков. В госпитале было два главных хирурга-ортопеда, оба пришли с гражданки, и по счастливой случайности его определили к более молодому и терпимому — подполковнику Каррену. По такой же случайности он попал в одно отделение с двумя парнями из роты — итальянцем Корелло из Мак-Минвилла и долговязым тощим южанином из Алабамы по фамилии Дрейк. Те не замедлили ввести его в курс событий и сплетен. Молодой подполковник-хирург, по слухам, был заядлым покеристом. Одно это внушало к нему уважение. Когда в первый раз, делая обход, он присел на кровать к Стрейнджу и помял ему ладонь, а потом, уперев руку в колено, поглядел на свет рентгеновский снимок, то покачал головой и скривился. Делать выводы, разумеется, преждевременно, но он опасается, как бы после операции руке не стало хуже. Придется подождать, провести дополнительные обследования.

Стоявший позади него, у изножья кровати, плотный, русый, с торчащими рыжими усами майор-администратор, ведающий пациентами с повреждением опорно-двигательного аппарата, неодобрительно хмыкнул и откашлялся. Обернувшись, подполковник Каррен лучезарно улыбнулся ему. Исподтишка наблюдавший за ними Стрейндж не мог не заметить некоторой заминки. О майоре он тоже был наслышан. Ничего хорошего о нем не говорили. Собственно, его работа в том и заключалась, чтобы как можно скорее отправить их всех обратно в строй. Стрейндж внимательно слушал хирурга; он сразу уловил, что есть возможность демобилизоваться даже раньше, чем он ожидал. Надо было использовать момент, и, тщательно скрывая радость и глядя в сторону, он негромко, нарочито неуверенно спросил, не может ли в таком случае подполковник распорядиться о предоставлении ему трехдневной увольнительной, поскольку в Люксор собирается приехать из Цинциннати его жена, а он не виделся с ней полтора года.

Подполковник Каррен оторвал взгляд от руки Стрейнджа и с интересом посмотрел ему в лицо; в его молодых смешливых глазах запрыгали веселые огоньки.

— Ну что ж, я не вижу причин для отказа. Вы проследите за этим, майор?

Тот опять кашлянул.

— Вообще-то, согласно инструкции, до определения характера и сроков предстоящей операции отпуска и увольнительные больным не предоставляются.

— Лично мне кажется, что характер и сроки операции сержанта... м-мм... сержанта Стрейнджа можно определить окончательно. Не раньше чем через две недели. Так что вы уж, пожалуйста, проследите, доктор Хоган.

— Хорошо, сэр, я прослежу,— сказал тот холодно.— Надеюсь, подполковник понимает, что это исключение из правил. Зайди ко мне, когда жена приедет,— добавил он, обращаясь к Стрейнджу.

Стрейндж упорно глядел в сторону. Он понимал, что нажил себе врага.

— Большое спасибо, господин майор, сэр. Моя жена тоже будет благодарна вам.

Но Линда-Сью не приехала. Вместо этого она позвонила.

До чего неудобно разговаривать с женой по телефону из переполненного отделения палаты, особенно если тебе сообщают неприятные вещи. А ты даже не можешь сказать что хочешь. Правда, в конце корпуса была специальная комната с телефонным аппаратом, но она, как правило, была заперта, ключи хранились у заведующего отделением и старшей сестры. Так что Стрейнджу пришлось разговаривать по аппарату, стоявшему на столе дежурного.

Линда позвонила, чтобы сообщить, что не сумеет выбраться. Она устроилась на военный завод, они делают важные детали для 105-миллиметровых гаубиц, и ее просто не отпукают. Да, конечно, она сказала, что хочет навестить раненого мужа, только что вернувшегося с Тихого океана. Все равно не отпускают. Стрейнджу показалось, что и голос у Линды какой-то странный — далекий и досадливый. Он вдруг сообразил, что таким же тоном она разговоривала и в первый раз, когда он позвонил ей из Сан-Франциско. Но из-за приподнятого настроения он ничего не заметил. Что-то тревожно царапнуло в глубине души. А если ей плюнуть на эту паршивую работу и взять расчет, предложил он, раздражаясь. Найдет другую — время военное. Да нет, так просто хорошего места не найдешь, сказала Линда. Она тут специальную подготовку прошла. Если взять расчет, на новом месте придется начинать все сначала. Да и работа ей нравится, и люди хорошие. Неожиданно для себя Стрейндж замолчал. Он почувствовал, что все, кто был в палате, смотрят на него. Кроме того, он представил себя на месте Линды. Нет у него никаких причин в чем-либо подозревать ее. Хорошо, а если он попытается добиться двухнедельного отпуска — как она посмотрит? Линда помедлила, потом сказала, что, конечно, она будет рада, очень рада — а ему удастся?

— Пока не знаю, но попытаюсь,— сказал Стрейндж.— Я позвоню или дам телеграмму.

Линда сказала, что целует его. Он тоже сказал, что целует,— совсем негромко. Потом положил трубку и пошел к своей кровати, изо всех сил стараясь скрыть неудовольствие. Он решил обратиться прямо к Каррену. Сам, не спросясь никого.

Он знал, что Хоган не простит ему этого, но к черту сейчас субординацию. Он ждал Каррена у его небольшого кабинета рядом с просторными операционными. Их тут было три. Хирург появился, довольно насвистывая, не сняв еще фартука, но руки у него и весь он были безупречно чистые. «А-а, да-да! Сержант Стрейндж, верно?» Да, пожалуй, он может посодействовать ему с отпуском. Но только на две недели. Нет, он не имеет права распорядиться, он может лишь дать заключение и ходатайствовать. Теоретически каждому полагается месячный отпуск после госпиталя. Но все зависит от ситуации на данный момент. Одни получают месяц, другие ничего не получают. Если Стрейндж возьмет сейчас две недели, то потом ему, вероятно, не дадут оставшиеся две. Стрейндж сказал, что не будет претендовать. Надо, добавил Каррен, чтобы перед поездкой Стрейндж еще раз прошел обследование — пусть он зайдет в процедурную, у них там хорошая аппаратура, и он как следует посмотрит руку. После этого он напишет ходатайство. Очень важно, чтобы эти две недели Стрейндж как можно больше действовал больной рукой. Надо разрабатывать кисть. Берите стаканы, зажигайте сигареты, вытаскивайте мелочь из кармана и так далее. Это надо делать, даже если будет больно. А больно будет — и очень.

Каррен ободряюще улыбнулся и сложил было губы, намереваясь засвистеть, но вдруг протянул вперед обе руки и сказал с усмешкой:

— Посмотрите на эти руки. Им же цены нет. Моей заслуги в этом — никакой. Эти руки случайно достались мне, а не кому-нибудь другому. А в результате я не могу выпить в компании, не могу подраться. Чтобы не повредить, видите ли.— Он замолчал и принялся насвистывать.— Мы паразиты, жиреющие на крови. Война для нас как праздник. Война и вы, раненые.— Он весело толкнул Стрейнджа в плечо.— А вот вам трудно приходится. Потому и хочется иногда сказать, как мы ценим то, что вы делаете.

В такси, по пути в город, на автовокзал, Стрейндж обдумывал, нравится ему Каррен или нет. По крайней мере говорит правду и не агитирует насчет воинского долга и ответственности американских солдат перед человечеством, как Хоган. Тот прямо побагровел от яро-

сти, когда получил ходатайство Каррена с резолюцией начальника госпиталя.

Междугородный автовокзал был забит до отказа. Военнослужащие с семьями и без семей, женщины, дети, старики — все куда-то ехали, двигались во всех мыслимых и немыслимых направлениях. Большие синие с белым автобусы рядами стояли под навесом. Резкий голос из репродуктора объявлял отправления и прибытия. В одни машины шла погрузка, из других выгружался народ. Третьи замерли на огромных колесах пустые, и рядом с ними люди казались маленькими и ничтожными.

Оба зала ожидания — для негров и для белых — были переполнены, и у обоих питьевых фонтанчиков выстроились длинные очереди — цветных и белых. В зале ожидания для негров народу было поменьше и люди в военной форме не составляли большинства, как в другом. На скамейках не было ни единого свободного места, усталые, потные люди сидели на чемоданах или прямо на замызганном полу. Состязаясь с репродуктором, из музыкального автомата в углу неслась бурная песенка «Моя мама пакует пистолеты». Стрейндж родился и вырос в Техасе, он привык и к раздельным залам, и к разным фонтанчикам для питья и воспринимал их как должное. Но он долго пробыл за границей, и сейчас это разделение на белое и черное бросилось ему в глаза.

Добросовестно выполняя наставление врача, Стрейндж поврежденной рукой медленно выгреб из кармана деньги и получил билет. Потом он устроился на полу, прислонившись спиной к стене, и стал ждать. Он не раз и не два воображал, как приедет домой: в одной руке шикарный складной чемодан, такой, какие чаще всего бывают у летчиков, обязательно зеленого цвета, и в нем куча всякого обмундирования и личные вещи, в другой — пакеты с гостинцами для всех, всех. Каких только подарков он не накупил на Новых Гебридах и Гуадалканале, в Новой Каледонии и в Австралии, но один потом потерял, другие поломались или их стащили, некоторые он сам выбросил и теперь вот явится с пустыми руками. Чемодана у него не было. Вся его одежда на нем, только в небольшой сумке с молнией лежала запасная летняя форма. Но это не огорчало его. Он чувствовал себя превосходно, сидя на полу в душном, переполненном зале ожидания для белых посреди орущих детей и утомленных молоденьких мамаш, едущих к своим мужьям-военнослужащим или возвращающихся от них.

Всю жизнь, как подрос, Стрейндж путешествовал на этих «борзых» — автобусах дальнего следования. Ему ни разу не пришло в голову поехать поездом. Впрочем, в поездах вряд ли намного лучше.

Поездка была как долгий кошмарный сон: смрад от преющей человеческой массы, завернутые в газету сандвичи с копченой колбасой, затекшие от долгого сидения ноги, остановки, чтобы сбегать в уборную, банки с пивом, четвертинки виски, свет встречных фар, пробегающий в полутемном салоне по лицам спящих, ночные высадки и пересадки в Нашвилле и Луисвилле. Стрейндж разговорился с молоденьким матросом, который сидел рядом с ним. Тот ехал на побывку домой с люксорской авиабазы ВМС. Потом ему предстояло через Западное побережье отправиться куда-то в южную часть Тихого океана для прохождения дальнейшей службы. Узнав, что Стрейндж только что оттуда, он забросал его вопросами. Стрейндж не знал, как ему объяснить,— что он ни говорил, это не вязалось с тем, что вдолбили пареньку в голову. Посреди рассказа о морской базе в Нумеа на Новой Каледонии Стрейндж уснул, и ему снились сандвичи с копченой колбасой и затекшие ноги.

Он решил, что паренек все равно ему не поверит — недаром тот все дивился, почему Стрейндж не носит орденских ленточек.

Поездка была кошмаром, но не таким жутким, как то, что ждало его в Ковингтоне.

Он не знал, кто был виноват — он, Линда или никто вообще. Наверно, то же самое происходило с каждым, кто возвращался домой из пехоты, топавшей где-то за тридевять земель. Он никак не мог найти с домашними общий язык. Им было неинтересно, о чем пишут в газетах и что за границей идет война. А ему было неинтересно говорить ни о чем другом.

Линда назвала ему улицу и номер дома, но не сообщила ни номера квартиры, ни как проехать. Когда он разыскал дом, было далеко за полдень. Он постучал, никто не открыл, и, решив, что дома никого нет, уселся на крыльцо. Прождал Стрейндж битых два часа, пока трое мужчин, спавших в доме, не проснулись и один из них не вышел проветриться. Они спали, потому что пришли утром с ночной смены. Один из них был Линдин дядька, Даррелл, брат ее отца — ему и принадлежал дом, другой — ее старший брат, признанный негодным к военной службе, третий приходился племянником со стороны матери, был сыном ее сестры и занимал третий этаж. Остальные еще не пришли с работы или ушли во вторую смену. Все женщины в семье тоже работали.

Пока мужчины готовили себе завтрак — или ленч, или обед,— Стрейндж сидел с ними на кухне, и каждый, растягивая слова на свой лад (двое были из Кентукки, один из Техаса), спрашивал его, как там, на войне. Стрейндж отвечал, что на войне нормально.

Один поинтересовался, что у него с рукой, и когда Стрейндж сказал, что она пробита, всем, натурально, захотелось посмотреть.

— Не так чтобы очень уж продырявила, пуля-то,— вроде даже разочарованно протянул племянник.

Стрейндж начал было объяснять, что это от минного осколка, а не от пули, но про мины они уже расхотели слушать.

То же самое повторилось с женщинами, когда они явились домой, и с остальными мужчинами. Все приходили и уходили в разное время, никак не усечешь, кто пришел, кто ушел. Пока Стрейндж был в Ковингтоне, вся семья так и не собралась ни разу вместе. На кухне беспрерывно что-то готовили — когда завтрак, когда обед или ужин, когда все сразу и беспрерывно что-то ели. Пока одни вкалывали в вечернюю смену, другие, которым идти в ночь, бывало, только вставали и завтракали, а третьи, притащившись с дневной смены, усаживались обедать. Всего в доме жило одиннадцать человек взрослых и четверо детей.

Каркасный, в три этажа дом стоял на тихой тенистой улочке. Линдин дядька с женой и старшим неженатым сыном занимал первый этаж. Линда, ее родители и два брата — старший и младший, школьник — размещались на втором этаже. На третьем жил племянник с женой, четырехлетним сыном и годовалым младенцем, а рядом — разведенная племянница с дочерью семи лет. Многовато народу для такого помещения, но поскольку все взрослые много времени проводили на работе, а двое старших детей — в школе, особой тесноты вроде не было. Правда, сейчас у школьников были летние каникулы, но они целыми днями где-то пропадали и приходили домой только ночевать. Самая толкотня была на кухне, которая одновременно служила и гостиной, потому что в гостиной спал племянник. Хозяин дома и его жена жили в столовой.

Хотя у каждой семьи или одинокого взрослого получалась вроде бы своя комната, все равно было неудобно, да еще общая кухня. Поскольку все зарабатывают, почему бы не продать дом или, может, сдать в аренду, а самим переехать в отдельные квартиры, поинтересовался Стрейндж. Ему объяснили, что они экономят. Тесть с братом сказали, что все копят деньги, чтобы в складчину купить на западе Кентукки хорошую большую ферму. Но на расспросы Стрейнджа, где именно, они ничего толком не ответили. Никто не удосужился поехать туда и посмотреть на месте. Работа отнимала все время. По-

техасски растягивая гласные, тесть терпеливо и обстоятельно растолковывал Стрейнджу, что такого бума, как сейчас, никогда еще не было, даже в двадцатые, и после того, что люди пережили во время депрессии тридцатых, надо вкалывать и копить деньги, а уж тратить — после войны.

Вертевшийся тут же Линдин братишка с гордостью заявил, что как кончит школу на будущий год, пойдет работать, а получку — тоже в общий котел. Он уже ходит на вечерние курсы станочников при авиационном заводе.

Так что ежели они с Линдой раздумают насчет ресторана, неторопливо добавил тесть, то милости просим в их компанию. У Стрейнджа было такое чувство, словно его стукнули по затылку и оглушили — он не знал, что ответить.

Линда свои сбережения держала отдельно — это их деньги, ее и Стрейнджа. Придя домой вечером и увидев мужа, она чмокнула его в губы и, отведя в сторонку, первым делом показала чековую книжку. На счету было свыше шести тысяч. Она хранила книжку под замком у себя в комнате на втором этаже, рядом с комнатой братьев. Линда показывала книжку, как будто совершала ритуальное приношение. Как будто книжка была компенсацией за то, что он перенес на Оаху и других островах в Тихом океане. Выплаты по его аттестату тоже вошли в сбережения.

К его приезду Линда повесила новые ситцевые занавески и сделала такие же накидки на подушки, а на стул надела чехол в тон обивке кресла — комнатка выглядела очень даже мило. Она не встретила его на автобусной станции, потому что работала в дневную смену. После ужина они легли в постель с ситцевым покрывалом, однако ничего у них не получилось. В самый ответственный, так сказать, момент Стрейндж потерял мужскую силу.

Он понятия не имел, почему так произошло, и начал бормотать какие-то оправдания. Линда немного подождала, потом сочувственно потрепала его по плечу и отвернулась к стенке. Ей завтра рано вставать, надо до работы кое-что купить для дома.

Линда быстро уснула, а Стрейндж лежал рядом, убитый и униженный, и со страхом думал, что же такое с ним происходит.

Можно придумать, конечно, миллион объяснений. Да, она лежала совсем бесчувственная, но она вообще такая. Инициатива всегда исходила от него — так оно и должно быть, наверно. Только раз или два за всю их совместную жизнь она сама позвала его. Пылкостью она не отличалась.

К тому же совсем рядом, за тонкой перегородкой, в соседней комнате спал ее братишка, а за другой стеной — ее родители. Однако в иное время он махнул бы на это рукой. Что-то вдруг произошло с ним, возбуждение спало, и ему сделалось скучно.

Он ворочался под простынями, красный от стыда, и вспоминал, как рота разбила последний лагерь на Гуадалканале и он стоял на опушке, глядя из-за кустов на залитые лунным светом притихшие палатки, и представлял себе, как жаркая Линда обхватила его за шею и прижимается к нему все плотнее и плотнее, охая и постанывая от долгого ожидания. У них никогда не было так, но почему-то именно так он представлял себе эту первую их ночь.

На следующую ночь все было иначе. Стрейндж не стеснялся и был настойчив — может, оттого, что почти весь день шатался по городу и накачивался пивом. Пива, кстати, при таком количестве мужиков было всегда и в доме полно. Стрейндж пил вдоволь. Линда целый день на работе — чего ему еще делать.

Жизнь в Цинциннати кипела вовсю, как и в Люксоре,— повсюду веселье и шик. На каждом шагу военные с деньгами. Человека в форме, в любой форме, беспрепятственно пускали в бары при лучших гостиницах и в самые роскошные рестораны. Не обязательно быть

офицером. Все принимали военных с распростертыми объятиями и восхищались ими. Или говорили, что восхищаются, а сами выкачивали у них денежки.

Когда они с Линдой легли спать в тот вечер, Стрейндж понимал, что от него несет пивом, но он так нагрузился, что ему было наплевать. Да и Линда не возмутилась. Ему вдруг почудилось, что от нее как-то странно пахнет, вроде даже мужчиной. Он принюхался к ее коже, но не мог ничего разобрать. Во всяком случае это не остановило его.

В следующие дни он несколько раз предлагал ей пойти куда-нибудь, хотя бы в кино. Но каждый раз она ссылалась на усталость и говорила, что завтра рано вставать. Она, казалось, была целиком поглощена делами на заводе.

Возникал у них разговор и о деньгах. Точнее, Стрейндж заводил такой разговор, потому что Линда вдруг совсем охладела к своей же затее. Ей расхотелось иметь собственный ресторанчик. Тогда он высказался в том смысле, что, может, им стоит войти в пай и вместе со всеми обосноваться на ферме. Ему интересно было посмотреть, как Линда отнесется к этому, но она только жалостливо улыбнулась, и ответила, что если его устраивает ферма, то она не против.

Стрейндж уехал из Цинциннати на четыре дня раньше срока. Никто не знал, что у него было целых две недели отпуска. Поэтому он преспокойно заявил, что положенные десять дней кончаются, и отбыл. Он больше не мог вынести этот дом, этот проходной двор с постоянной едой на кухне и запахами приготовляемой пищи.

Оставшиеся четыре дня Стрейндж провел, болтаясь по Люксору. В дорогом отеле «Клэридж» на Северной Главной улице, где он снял номер, на третьем этаже, шла безостановочная игра в покер, и за несколько кругов он выиграл четыре сотни. Он быстренько спустил бóльшую часть на выпивку и по мелочам в барах «Клэриджа» и «Пибоди» на Юнион-стрит. Его подмывало подцепить какую-нибудь девицу — это было так просто, но он решил, что не должен этого делать из-за Линды.

В последние минуты истекшего отпуска он доложил дежурному по общевойсковому госпиталю Килрейни о прибытии. Интересно, чтó подполковник Каррен решил насчет его руки и какие неприятности уготовил ему майор Хоган.

Стрейндж уже и думать забыл, что ездил домой.

Глава 10

Две недели Лэндерс привыкал обходиться без своего нового друга Стрейнджа. Дома или в колледже он целыми днями слонялся бы по комнате, изводя себя тягостными мыслями и страдая от одиночества. В госпитале же не уединишься, но он все равно жадно вспоминал их долгие шумные хмельные разговоры в поезде.

Когда же, наконец, он встретил Стрейнджа в коридоре рекреационного центра, тот вел себя так, будто ничего между ними и не было, ничего их не связывает, и вообще был занят своими мыслями.

Снова выходило, как уже не раз в жизни у Лэндерса, что свои отношения с кем-то он принял ближе к сердцу, чем другая сторона.

Пока Стрейндж был в отъезде, Лэндерсу сняли старую гипсовую повязку и наложили новую. Он начал ориентироваться в огромном запутанном лабиринте, который представляет собой госпиталь. Он уже получил первую увольнительную в Люксор и переспал с одной красоткой. Вдобавок ко всему он успел почти по уши влюбиться в черноволосую с потрясающими ножками студенточку из колледжа, которая работала в Красном Кресте и выдавала игры в зале отдыха. Потом выяснилось, что втрескался в нее не он один.

Хуже всего Лэндерсу пришлось, когда снимали гипс. Ему тоже

посчастливилось попасть к подполковнику Каррену. Изучив рентгеновские снимки, Каррен распорядился снять старый гипс: ему хотелось посмотреть лодыжку. Стуча костылями по бетонной дорожке, Лэндерс приковылял за санитаром в ортопедический кабинет, где были разложены наборы огромных ножниц, большие пачки бинтов и стояли ведра с гипсом. Первый раз Лэндерсу загипсовали ногу сразу же после операции, когда он был еще под наркозом, и поэтому он, собственно, и не видел, что там под гипсом. Когда санитар, сделав продольный разрез повязки и эластичного чулка под ним, разломил гипс и снял его, глазам Лэндерса открылось нечто совершенно невообразимое.

Он буквально ополоумел от одного вида ноги и жуткого запаха. Сероватая кожа кусками отставала от синюшной стопы. Икра покрылась струпьями, мышечная ткань съежилась, почти усохла, и от ноги осталась одна только неподвижная кость, покрытая дряблой, обвисшей кожей. Вместо ступни была какая-то клешня, а на пораженной щиколотке вздулся багровый бугор. Лэндерса словно оглоушили. Неужели это его нога? Он почувствовал себя таким хрупким, незащищенным без гипса. Он боялся даже пошевелить ногой, не то что согнуть. Казалось, он вот-вот рассыплется на части.

Санитару, конечно, приходилось видеть виды и похуже, так же как, наверное, и самому Каррену, который подошел через несколько минут, негромко насвистывая незнакомый мотивчик. Он приподнял ногу — Лэндерс в этот момент весь напрягся, набрав в легкие воздуха,— подвигал туда-сюда и, опустив, сказал:

— Ну что ж, все у вас идет отлично.

Его радужный оптимизм никак не вязался с настроением Лэндерса.

— Кто оперировал? — Лэндерс назвал имя хирурга-майора. Каррен пожал плечами, улыбнулся:— Не слышал такого, но руки у него что надо.— Он сказал санитару, чтобы тот сделал новую повязку, и велел Лэндерсу еще раз пройти рентген. Сейчас ему вставят в гипс металлическую шину; пора обходиться без костылей, пояснил он и ушел.

Лэндерс почувствовал облегчение, когда санитар начал накладывать гипс. Бедная больная ноженька! Ей так нужна какая-нибудь защитная оболочка, а ему — чтоб не видеть ее. Санитар громко чавкал жевательной резинкой. Влажный гипс неприятно грел ногу. Готово, сказал санитар, шина там, но гипсу надо дать затвердеть: еще денек на костылях.

Лэндерс был счастлив. Он настолько извелся во время осмотра и смены повязки, что костыли были как старые верные друзья. Так ослабел, что и не знал, доберется ли до отделения один. Санитар все понимал. Бывает, бывает, сказал он: как в первый раз увидят, так в панику. Он уже позвонил, чтобы больного проводили.

В палате Лэндерс раскинулся на кровати, но потом заставил себя встать и пошел к дежурной сестре просить, чтобы ему разрешили подольше ходить с костылями. Сестра доложила о просьбе Каррену, забегавшему посмотреть больных. Прищурив глаза, он задумчиво поглядел на Лэндерса и разрешил — но только на три дня: надо разрабатывать ногу. Лэндерс моментально проникся уважением к подполковнику, пополнив ряды его горячих почитателей. Но на другой день явился майор Хоган — посмотреть, как идут дела. Воззрившись на лечебный листок, висевший на спинке Лэндерсовой кровати, он приказал немедленно убрать костыли. Лэндерс громко запротестовал, его поддержала сестра. Майор смилостивился и отбыл крайне недовольный мягкотелостью подполковника.

Вот так и получилось, что в первую свою увольнительную в город Лэндерс отправился на костылях. Он тоже знал, что нажил себе врага в лице майора.

Увольнительная на сутки была законная, поскольку Лэндерс про-

шел полное обследование у хирурга. Подписана она была Карреном, но с согласия Хогана. Лэндерсу ничего не нужно делать, сказал Каррен, только ждать, пока нога заживет. Месяц или полтора ему придется побыть в гипсе. По его мнению, в лодыжке восстановится полная подвижность. Может быть, какое-то время нога будет причинять некоторое неудобство, но кости срастутся хорошо, он в этом уверен. Лэндерсу не обязательно торчать в госпитале — надо только быть при утреннем обходе. А с увольнительной на ночь и это не обязательно. Когда снимут гипс, он пройдет еще курс лечения, чтобы конечность восстановилась полностью. Так что месяца три Лэндерсу вообще нечего делать, кроме как весело проводить время.

— А в Люксоре есть где весело провести время,— добавил он, подмигивая.

Что верно, то верно. И все-таки Лэндерс не знал, радоваться ему или нет, когда зашла речь об увольнительных. И причиной тому был радужный прогноз подполковника Каррена насчет его ноги. Даже в самый страшный момент, когда Лэндерс в первый раз увидел свою жалкую, изувеченную ногу, где-то в дальнем уголке его сознания зашевелилась хитроумно-расчетливая мыслишка: «Господи, да с таким копытом — разве они имеют право послать меня снова в строй? Обязаны демобилизовать!» Он вспомнил свой разговор со Стрейнджем, и тот тоже высказал надежду, что его отчислят вчистую. Теперь жизнерадостная уверенность Каррена исключала такую возможность. Поэтому Лэндерс испытывал двойное чувство, когда с увольнительной в кармане вывалился из огромных дверей центрального здания к цепочке такси, чтобы ехать в город. Внутри у него кипело раздражение, и одна половина его существа кляла другую за низкую расчетливость.

Лэндерс знал только два места в Люксоре, куда стоило заглянуть. Он наслышался о них от ребят из своей роты, с которыми за эти дни не раз виделся в госпитальном буфете. Одно было отель «Клэридж» на Северной Главной улице, другое — «Пибоди» на Юнион-стрит.

За те несколько дней, пока он бесцельно слонялся по огромному рекреационному корпусу или сидел со старыми товарищами, потягивая кофе и коктейли, он понял, почему они изменились. Так изменились, что сделались чужими, и он не узнал их с первого раза. Они просто уже отошли от шока. Все они получили ранения еще на Гуадалканале, семь-восемь месяцев назад, и не видели, что творилось на Нью-Джорджии. За эти месяцы они сумели стряхнуть с себя то особое душевное оцепенение, которое охватывает человека в бою и накатывается во сто, в тысячу крат сильнее, если ты серьезно ранен, рождая какую-то удивительную обескураживающую непосредственность восприятия, способность удивляться всякой новизне. Ни он, ни Стрейндж, ни Прелл еще не стряхнули с себя этого оцепенения. Поэтому он и не узнал ребят. Они же отошли от шока и лишились наивной непосредственности восприятия. Они перегорели, и у каждого на дне души выпал сероватый осадок, от которого несло горьковатым едким запахом печной золы. Отец называл золу шлаком, и помимо прочих мальчишеских обязанностей по дому, всю долгую зиму в Индиане Лэндерс должен был выгребать золу из поддувала, тащить на двор и сваливать в мусорную кучу.

Те, кому предстояла демобилизация, уже отчислились и разъехались — повезло, бедолагам, или, наоборот, не повезло. Тем, кто оставался, предстояло вернуться в действующую армию, в пехоту или еще куда. Они знали, что их ожидает. Это было написано у них на на лицах. И именно они знали, где раздобыть виски, побольше и подешевле. И где раздобыть девочек, самых развеселых, самых лучших и недорогих. А при удаче и таких, которые гуляли, так сказать, из любви к искусству. Они-то, ухмыляясь, и подсказали Лэндерсу, куда

податься — в бар в «Клэридже» или «Пибоди», если, конечно, у него есть деньги. С деньгами только туда и топать.

Деньги у Лэндерса были. Он не переписывался с родными, однако послал домой на свой счет накопленные за время службы 600 долларов из выплат по аттестату.

У других, понятное дело, денежки давно перевелись. Они растранжирили полученное за восемь или десять месяцев жалованье, залезли в аттестаты и теперь вынуждены были обходиться ежемесячным денежным довольствием без полевой надбавки. Им по карману были только дешевые забегаловки и пивные. Но ежели у тебя капитал, то лучше всего гулять в «Клэридже» или «Пибоди», говорили ему с бесстыдной ухмылкой.

Лэндерсу казалось, что и весь город кривится в такой же бесстыдной ухмылке. Она мерещилась ему у таксиста, который вез его из госпиталя. У негра-швейцара в роскошной, хотя и потертой ливрее, который помог ему пробраться на костылях через вращающуюся дверь «Пибоди». У дежурных за конторкой, и у военных, и моряков, пытавшихся получить номер. У продавца в киоске, отпустившего ему бутылку «бурбона» в бумажном пакете — в барах крепкое не подавали. У обоих барменов на втором этаже, и у посетителей, и даже у женщин с кавалерами или сидевших в одиночку за столиками, но с такими же бумажными пакетами, ему виделась эта ухмылка. Когда Лэндерс приехал, было только 11.15 утра, но тут уже пили вовсю. Подавляющее большинство мужчин было в форме — военнослужащие всех родов войск и специальностей и всяких званий. Лэндерс быстро нашел себе пару.

Вообще-то, начиная еще со школы, он испытывал чрезвычайную робость перед женщинами. Он мечтал о каждой и боялся, что все они догадываются об этом. На этот раз он просто подошел к сидевшей одиноко блондинке и без церемоний спросил, не выпьет ли она с ним. Она сказала, что выпьет, и улыбнулась. Он подсел к ней и только тогда понял, что это та самая девица, которая качнула бедрами, когда их везли в госпиталь.

— Это не вы показали на улице танец живота? Когда шла колонна с выбывшими из строя. Помните? — Он почему-то решил: она должна знать, что́ это означает — выбывшие из строя.

— А когда это было? — У нее был сочный, напевный, южный говор.

Лэндерс мысленно прикинул:

— Дней десять назад.

Она пожала плечами и снова вся засветилась белозубой улыбкой.

— Может быть, и я. Вполне. Правда, не помню. А что?

— Да просто так, я тоже там ехал.

Ее зовут Марта-Ли. Но она предпочитает просто — Марта. Работает в страховом агентстве — тут недалеко, на этой же улице, обобщает претензии клиентов. Не замужем. Приехала сюда из Монтгомери, обожает Люксор и ни за что не поедет домой. Поскольку был будничный день, Лэндерс удивился про себя, почему она не на службе. Не то чтобы он жалел купленной выпивки, но ему не хотелось потратить время даром. Удивляясь собственной смелости, он напрямик спросил, не нужно ли ей на работу. Да, собиралась пойти, но сейчас передумала, сказала Марта, ослепительно улыбаясь. Только сейчас Лэндерс вдруг заметил, какие у нее красивые чувственные губы. Когда они выпили по пятой, Лэндерс спросил, не закусить ли им где-нибудь. Нет. Ей не хочется есть. Он не позаботился о комнате, посетовал Лэндерс, но сейчас сходит и заплатит, и если она побудет здесь, они продолжат в номере.

— Ничего ты не заплатишь,— сказала она, опять показав свои белоснежные зубы.

— Что значит — не заплачу́?

— Сейчас тут нет ни одного свободного номера. С одиннадцати

утра их все разбирают. Несчастные у конторки — за чем они стоят, как ты думаешь?

— Неужели ждут комнату?

— И ни за что не дождутся.

Какое-то чутье вовремя подсказало Лэндерсу: не надо подавать виду, что он разочарован. Он взглянул на Марту с той же, как он надеялся, бесстыдной усмешечкой, которая повсюду чудилась ему весь день.

— А у тебя нет квартирки, где можно посидеть, выпить?

— Есть, но ко мне нельзя.— Марта опять засветилась своей белозубой улыбкой.— У тебя, видно, первая увольнительная в Люксоре, угадала?

— Это вообще моя первая увольнительная за полгода.

Она с улыбкой положила руку ему на рукав.

— Подожди меня здесь минутку. Я быстро. Если задержусь, все равно жди. Понял?

— Ладно.

Минутка оказалась долгой. Она растянулась на десять минут и больше, гораздо больше. Он неторопливо допил стакан, налил им обоим еще по одной, выпил и новую порцию, а Марты все не было. Ожидание скрашивалось приятными мыслями о том, где же он научился такому свободному обхождению с женщинами. Наконец Марта появилась, сияя своей лучезарной белозубой улыбкой, и передала ему под столом гостиничный ключ с огромной кожаной биркой. Лэндерс положил его в карман и хотел было расплатиться.

— Да подожди ты,— улыбнулась Марта.— Не пори горячку. Никуда она не убежит, эта комната. Лучше давай еще выпьем. Бутылку взял?

— Нет, только эта,— покачал он головой, приподняв с пола бумажный пакет.

— Ты ее в киоске купил? В вестибюле у лестницы?

Лэндерс кивнул.

— Возьми, пожалуйста, еще одну. Или даже две — вдруг понадобится,— улыбнулась Марта.

— По пути купим,— кивнул Лэндерс.— Где ты достала ключ?

— У одного знакомого. Не беспокойся, все тип-топ. Там никого нет.

— Ну и замечательно.

— Что у тебя с ногой, вояка? — спросила Марта, улыбаясь.— Свалился с лестницы?

— Угадала. Именно свалился.— И Лэндерсу вдруг вспомнился тот день, когда он по дну лощины спешил с распоряжением подполковника, своего благодетеля. Он оглянулся, чтобы посмотреть, как взвод штурмует высоту, и увидел солдата на обрыве, который повернулся и спрыгнул вниз — точно так же, как прыгают с лестницы. Через две-три секунды в том месте, откуда он спрыгнул, разорвалась вражеская ручная граната. Он видел, как солдат встал и опять начал карабкаться наверх.

— Придется тебе пока обойтись без танцев,— шутливо заметила Марта.

Лэндерс кивнул. Допив, они вышли, накупили бутылок и, спустившись по лестнице в холл, направились к лифтам. В лифте было полно военных. Многие кидали на Лэндерса завистливые взгляды, даже те, кто был с женщинами.

— Привет, Марта! — сказал кто-то позади.

— А, это ты, привет! — заулыбалась Марта.

Их номер на седьмом этаже был большой, с высокими потолками. Старомодный. Через открытые окна веяло прохладой. В ванной висели белоснежные полотенца. В шкафу Лэндерс заметил на плечиках четыре тщательно отутюженные морские офицерские формы. На

синих рукавах выделялись золотые нашивки — две полоски и половинка. Лэндерс не очень хорошо разбирался в знаках различия на флоте, однако решил, что такие нашивки должны быть у капитан-лейтенанта. Над клапанами карманов были приколоты «крылышки», как у летчиков. Ему не хотелось задавать Марте вопросы.

— Форма моего знакомого,— объяснила она.— Он снял этот номер до конца недели. При нем тут знаешь какие вечеринки закатывают. Но он редко бывает. Чему-то там обучает на морской авиабазе.

После того как они еще раз выпили, Марте захотелось оставить на память Лэндерсу автограф на гипсе. Дело было нехитрое. Чтобы надеть брюки, ему пришлось распороть штанину по внутреннему шву до колена. Она подмазала помадой рот, приложила губы к повязке и подписала внизу: Марта-Ли Прентисс. Потом провела руками по бокам Лэндерса и обняла его за плечи. От поцелуев оба начали задыхаться. Она вырвалась, чтобы раздеться в ванной. Нет ничего противнее, уверяла она, когда женщина на виду стаскивает платье и вылезает из своей сбруи. Лэндерс не спорил и не удерживал ее. Марта вышла из ванной, обмотав тело огромным полотенцем. Она встала в позу, как натурщица, и распахнув полотенце, уронила его на пол.

— Ну вот, разве так не лучше?

Потом она подошла к кровати, откинула покрывало и легла.

Из-за гипса он раздевался медленно, и Марта выскочила из постели, чтобы помочь ему. Поддерживаемый ею, он запрыгал на одной ноге к кровати.

— Бедная ножка... Тебе как удобнее, так? Пожалуйста, скажи что-нибудь... Скажи, какая я сладкая, ну, пожалуйста...

Вечером они заказали в номер ужин, но ели мало. Лэндерс не знал, как Марта, но сам он словно старался взять реванш за многие месяцы воздержания. Поздно ночью, когда уже начинала пробиваться утренняя заря, он проснулся и увидел в полутьме, что Марта плачет.

Лэндерс обнял ее, и она уткнулась лицом ему в плечо. Он чувствовал, как слезы стекают ему под мышку.

— Что с тобой? Почему ты плачешь?

— Да нет, ничего.

— Должна же быть причина.

— Это я так... У меня... У меня жениха убило. В Северной Африке. Его сбили, он был летчик.

Лэндерс погладил ее по спине.

— Я не знал, прости.

— Ничего. И отца я потеряла.

— Тоже погиб? — поразился Лэндерс.

— Нет, он умер. Несколько лет как умер. Но я так любила его. Пожалуйста, не обращай на меня внимания. Спи.

Он и вправду уснул, пока Марта заливалась слезами у него на груди. Когда он проснулся, ее не было. Она ушла.

Лэндерс подумал, что она оставила записку, но ничего не было. На туалетном столике лежал ключ — и все. Он понимал, что должен бы радоваться. Еще бы, такой вечерок привалил. Но он был подавлен и безмерно одинок. После ночи с Мартой он почувствовал одиночество еще сильнее. Он чувствовал его каждой своей клеточкой. Немного погодя он заказал себе роскошный завтрак: глазунью, ломтики поджаренного хлеба с маслом, овсяные хлопья, грудинку и кофе, много кофе. Он устроился поудобнее у открытого окна, на солнышке. Поев, Лэндерс честно рассчитался с официантом наличными.

Завернувшись до пояса в банное полотенце, он сидел с сигаретой, попивая кофе, когда кто-то снаружи отпер ключом дверь. Вошел молодой капитан-лейтенант. Он вроде даже не удивился.

— А-а, здорово!— Он сбросил серо-зеленую куртку с погонами и приветливо улыбнулся.— Мы знакомы, нет? Вы, наверно, с Марти

пришли? Не стесняйтесь, будьте как дома. Я на минуту забежал, сполоснуться.

Он скинул рубашку, брюки и в трусах и майке пошел в ванную. Какое-то безразличие удержало Лэндерса на месте. Он закурил новую сигарету, прислушиваясь к шуму душа за дверью. Потом шум прекратился, и капитан-лейтенант голышом вышел из ванной, энергично обтираясь полотенцем. Он увидел загипсованную ногу Лэндерса и, усмехнувшись, спросил:

— Где воевали? На Тихом?

Лэндерс медленно поднялся, опираясь на здоровую ногу.

— Да, на Гуадалканале и Нью-Джорджии. Как вы узнали?

— По цвету лица. Это от малярии. Мне и самому пришлось там побывать.— Капитан-лейтенант опять вошел в ванную, надел майку и трусы и продолжал одеваться дальше.— Мне надо бежать, а вы тут располагайтесь. Когда уйдете, оставьте ключ внизу, хорошо? Скажите свое имя, и он вам его выдаст, когда понадобится. Тут у нас проходной двор, как на большом Центральном вокзале в Нью-Йорке. Да, как хоть вас зовут?

Лэндерс назвался.

— Э-э... За завтрак я рассчитался, а вот как у вас за обед платят, не знаю.

— Пустяки, не имеет значения. Нас тут несколько человек, вместе снимаем номер. А Марти приводит своих знакомых. Мы ее вроде на попечение взяли. У нее тяжелая жизнь была. Правда, некоторые ее знакомые — неподходящие люди. Но такие быстро отсеиваются. А вы, как я понимаю, человек иного круга. Заказать себе первоклассный завтрак и наслаждаться в одиночестве у окна — это может только подходящий человек.— Он увидел рубашку, аккуратно повешенную на спинку стула; как раз накануне Лэндерс нашил на рукав шевроны.— Заглядывайте в любое время, сержант Лэндерс. И пожалуйста, не забудьте сказать портье свое имя. Пусть он вас впишет. Если сочтете нужным внести в общий котел, купите пару-другую бутылок, оставьте у него же. Мы в номере крепкое не держим, чтобы не перепиваться. И так почти каждый вечер дым коромыслом. Пьянчуги несчастные! Зато цыпочки бывают — заглядение.— Капитан-лейтенант надел куртку с флотскими погонами, застегнулся на все пуговицы и помахал серо-зеленой фуражкой с черным блестящим козырьком.— Ну, мне пора! Еще увидимся. Если встретите Марти, привет ей от меня. А, да! Меня зовут Митчелл. Ян Митчелл. Ян — это сокращенное от Янус. Жуткое имечко, правда? Но что делать, приходится нести свой крест.

Он опять помахал фуражкой и вышел.

Лэндерс приготовил себе выпить. Высокая ополовиненная бутылка кукурузного виски стояла на туалетном столике, а он сам со стаканом в руке стоял перед зеркалом. Подходящий человек, подходящий... Лэндерс не знал, за похвалу это счесть или нет, наверно, все-таки за похвалу. Он подумал, что надо оставить недопитую бутылку для следующего, кто придет сюда, кто бы ни пришел. Теперь он разглядел, что формы, висевшие в шкафу,— разного размера.

Было десять утра, и ему оставалось еще часа полтора до возвращения в госпиталь. За неимением лучшего он решил провести это время здесь и воскресить в памяти события вчерашнего вечера. Он накинул цепочку на дверь, принял душ и побрился не просохшей еще бритвой. Он знал, что капитан-лейтенант не стал бы возражать. Выйдя из ванны, он опять смешал себе виски с водой.

Однако через некоторое время он почувствовал, как еще сильнее подступает тоскливое одиночество. Вместе с одиночеством нахлынуло чувство вины и безотчетное раздражение. Не заслужил он такого райского житья. И в то же время в госпиталь возвращаться не хотелось.

Лэндерс оделся и спустился вниз выпить на дорогу. Но перед этим

он заглянул в киоск, купил три бутылки виски и, назвавшись, оставил их вместе с ключом у негра-портье.

Когда он, отметившись у дежурного и переодевшись в обязательный казенный халат и пижамные штаны, появился в госпитальном буфете, оказалось, что кое-кто из его бывшей роты — и из других тоже — уже знает Марту, или Марти, как они ее называли. Ему не удалось скрыть автограф на загипсованной ноге. Пижамная штанина тоже была распорота, так что ярко-красный отпечаток ее накрашенных губ бросался в глаза. То же самое она оставила на память Корелло, как только он приехал.

О Марте все знали всё. Что она приехала из Монтгомери — это верно. А вот насчет жениха, сбитого в Африке,— вранье. Нет у нее никакого жениха. И никогда не было. Один парень из чужой роты, сам родом из Монтгомери, преотлично ее знает и родных ее знает. Очень даже приличная семья. В точности известно, что она никогда не идет с мужиком второй раз. И еще известно, что больно разборчива. Вот с Дрейком, к примеру, ни разу не захотела.

Отвязавшись, наконец, от приятелей, Лэндерс побрел в зал отдыха и бросился на мягкий диван. Ему нужно было подумать. После ночи с Мартой он острее почувствовал свое одиночество. А от этих разговоров ему стало еще хуже. Его воротило от сальных шуточек ребят.

Под рекреацию приспособили гимнастический зал с баскетбольной площадкой и сценой. Когда игр не было, скамьи для зрителей убирались и вместо них каждый вечер расставляли складные стулья для желающих посмотреть кино. Лэндерс решил поболтать с хорошенькой девицей из Красного Креста, которая сидела в своей клетушке посреди ракеток для настольного тенниса и другого спортивного инвентаря. Не исключено, что как раз в этот момент он и влюбился в нее почти по уши.

Звали ее Кэрол-Энн Файербоу. Она была здешняя, люксорская, и проходила курс актерского мастерства под Кливлендом. Летом, во время каникул, она добровольно становилась «леди в сером» — работала в Красном Кресте. Правый глаз у нее временами немного косил, и в сочетании с длинными точеными ножками это придавало ей неотразимую привлекательность. Кэрол нравилась многим, однако сама она благоволила к Лэндерсу, потому что он три с половиной года проучился в колледже.

Лэндерс заговорил с ней в первый же день, как ему разрешили прогулки. Две недели он настойчиво и упорно ухаживал за нею, пока, наконец, она не согласилась встретиться с ним в городе. Это произошло в тот день, когда он наткнулся на Стрейнджа, вернувшегося из отпуска.

Стрейндж шел навестить Прелла.

Глава 11

Первые четыре дня после прибытия в госпиталь Прелл отсыпался. Ничего другого ему не оставалось: он лежал пластом, весь перевязанный и загипсованный. Вдобавок он был совершенно измотан физически и морально. Прелл смотрел в бритвенное зеркальце — глаза с обмякшими синеватыми мешками под ними запали еще глубже. Время от времени он просыпался и пил воду или бульон. Благо в Килрейни круглосуточное дежурство было хорошо налажено. И санитар ему попался добросовестный. Кроме того, еще до приезда Прелла или сразу же после него в госпитале стало известно, что он представлен к Почетной медали конгресса, и потому персонал отделения, включая старшую сестру, проявлял к нему особое внимание.

А вот с хирургом Преллу не повезло. Его определили не к Каррену, которого все любили, а к другому главному хирургу, подполковнику Бейкеру. С него-то и начались неприятности и беды. Причем на-

чались сразу же. Прелл понял это, как только немного пришел в себя и начал присматриваться к тому, что происходило вокруг. По палате ползли какие-то шепоточки, явно касавшиеся его, но он никак не мог уловить, в чем дело. Едва он поворачивал голову, чтобы прислушаться, как шепоток прекращался здесь и начинался в другом месте, за его спиной.

Подполковник Бейкер был высокий худощавый мужчина в возрасте, с седоватой шевелюрой и проницательными глазами на обрюзгшем, в морщинах, лице, выдававшем раздражительный нрав. Говорили, что до войны он считался одним из двух-трех лучших в Америке хирургов-ортопедов. Горячность Бейкера объяснялась и горячим временем: ему было просто некогда валять дурака. Когда нужно собрать, сложить, срастить кости человека — тут не до сантиментов. Ему была близка линия майора Хогана, состоявшая в том, чтобы подлатать раненых и как можно скорее отправить их — кого по возможности в строй, кого домой, лишь бы от них избавиться и освободить койки для вновь поступающих, количество которых будет неизбежно расти с каждой очередной военной операцией и наступлением, поскольку Соединенные Штаты расширяют театр военных действий. Бейкер, очевидно, на первом же консилиуме заявил, что единственный выход — отнять у Прелла правую ногу, которая никак не заживала, демобилизовать его и освободить место для следующего.

Прелл находился в полуобморочном состоянии, когда проходил консилиум, и узнал об этом только во время второго консилиума, состоявшегося на девятый день его пребывания в госпитале. Тогда-то он и понял, о чем шептались в отделении. Правда, он и раньше догадывался. Он лежал и всматривался в Бейкера, Каррена и Хогана: хирурги говорили о его ноге так, словно решали шахматную задачу. К ним жадно прислушивались старшая сестра, врач-интерн и санитар.

— Я не дам согласия на ампутацию,— устало сказал Прелл, когда Бейкер изложил ему положение дел. Ему показалось, что он всю жизнь твердит эти слова.

— Мы можем оперировать и без вашего согласия,— заявил Бейкер.— Если мы сочтем это необходимым для спасения вашей жизни и вообще для вашего здоровья.

— Тогда я подам в суд на армию. И на правительство. Я выжму из них в порядке компенсации все, что только смогу.— Прелл говорил едва слышно.— А вам предъявлю обвинение в злоупотреблении служебным положением.

— Прямо-таки гарнизонный адвокат,— проворчал Бейкер.

— Так точно, сэр. Когда речь идет о спасении собственной ноги.— Прелл внимательно слушал хирургов. Он понял, как это будет. Поскольку бедренная кость перебита посередине, они отнимут ногу почти у самого таза, оставив достаточно ткани, чтобы закрыть культю. От ужаса его пробрал озноб.

— Мне кажется, вы не понимаете всей серьезности положения,— сказал Бейкер.

— Прекрасно понимаю. Как-никак нога-то моя.

Бейкер гнул свое.

— У вас не заживает правая нога. Пока заражения крови нет. Мы пичкаем вас сульфаниламидами. Но сколько можно? Организм у вас и так серьезно ослаблен. Если разовьется общее заражение, я за вашу жизнь не ручаюсь. Вы понимаете, чем грозит ваш отказ?

Ворча что-то себе под нос, Хоган одобрительно кивал. Каррен молча смотрел в сторону. Интерн, сестра и санитар затаили дыхание. Три пары глаз, точно насадки у пылесоса, впитывали каждое слово и каждый жест.

Прелл кивнул:

— Понимаю. И снова повторяю: нет. Лучше сдохнуть, чем остаться калекой.

Бейкер поднял брови и прищурился.

— Повторяю: мы можем оперировать и без вашего согласия,— сказал он резко.— Просто лишняя волокита. Я подаю рапорт, получаю разрешение и все.— Он вперил в Прелла строгий взгляд.— Отдаете ли вы себе отчет в том, что занимаете место в госпитале, понапрасну отнимаете время и энергию врачей? А они, возможно, нужны, чтобы спасти от смерти кого-то еще!

— По правде говоря, сэр, чихать я хотел на кого-то еще!— Прелл начал заводиться. Надо же — сказать такое человеку, у которого вот-вот отнимут ногу. Он заметил, как неодобрительно дернулся Каррен.

Бейкер хлопнул ладонями по острым коленям и встал.

— Свое мнение, как хирург, я высказал. Боюсь, что мы будем вынуждены ампутировать вам ногу.— Он посмотрел на Каррена и Хогана.— Разумеется, если не будут возражать мои коллеги.

Уже поднявшийся Хоган нахмурился и энергично потряс головой: нет-нет! Каррен, продолжавший сидеть, тоже отрицательно мотнул головой, но едва заметно.

Прелл смотрел на них троих и слышал, как медленно, тяжело, тревожно стучит у него сердце, и в этом стуке было возбуждение и обреченность вместе. То же самое чувствуешь перед броском в атаку. И на какую-то долю секунды он заколебался и готов был сдаться. Он так долго и так упорно воевал, что дольше воевать было нечем. Но он переборол себя и только молча смотрел, как медленно поднялся со стула Каррен и все трое покинули палату. Хуже всего было сознавать, что ты совершенно беспомощен и целиком в их власти. Что еще он мог сделать? Закричать? Прелл старался взять себя в руки, но он был так измотан, так отупел от путешествия и от всего остального, что через несколько минут, все еще слыша, как тяжело бьется сердце, повернул голову к стене и закрыл глаза.

Черт, может, эти гады, доктора, правы?

Перед тем как уснуть, он подумал, что надо бы позвать Джонни Стрейнджа или кого еще из роты и рассказать им обо всем. Вдруг они что-нибудь придумают, вдруг... И уж совсем засыпая, он вспомнил: Корелло говорил, что Стрейндж в отпуске, вот почему его не видно.

Так прошла неделя. Иногда заглядывал подполковник Бейкер, чаще — майор Хоган. Они, прищурясь, изучали лечебный листок и многозначительно качали головой. Правая нога была в том же состоянии, да и левая тоже заживала медленно. Однажды Бейкер сообщил, что подал рапорт об ампутации. Его, как видно, это вообще мало трогало. Прелла подмывало выругаться или плюнуть ему в лицо, но у него не было ни сил, ни решимости.

Он хотел было заявить, что застрелится, если ему отнимут ногу, но передумал. Тогда они пришлют психиатра. Еще в госпитальную тюрьму упрячут.

Через неделю томительного ожидания — в тот самый день, когда из отпуска вернулся Стрейндж и пришел проведать приятеля,— Прелла навестил начальник госпиталя, полковник Стивенс.

Чтобы начальник госпиталя лично навестил больного — такого на памяти отделения еще не было. Его вообще все увидели в первый раз, в том числе старшая сестра и интерн. Полковник Стивенс, питомец Уэст-Пойнта, оказался уравновешенным мужчиной в годах, с седой головой и правильными чертами лица. Когда Прелл увидел его, то понял, что глоткой такого не возьмешь, надо придумать что-то еще. Ходили слухи, что Стивенса ожидает повышение — звание бригадного генерала. Он просидел у постели Прелла целых полчаса, по-отечески беседуя с ним. Цель его прихода заключается в том, чтобы узнать, упорствует ли Прелл в своем нежелании дать согласие на ампутацию. Прелл ответил, что не изменил решения. Это создает большие проблемы, сказал полковник,— не только для госпиталя, но и для самого Прелла. Его состояние очень серьезно. Подполковник Бейкер подал

рапорт, что жизнь Прелла в опасности и необходима ампутация. Два других хирурга пришли к такому же мнению. Это ставит администрацию госпиталя, то есть его, полковника Стивенса, перед трудным решением. Прелл снова заявил, что не желает остаться без ног — вернее, без ноги.

— И если б это в первый раз, сэр! — Когда нужно, Прелл умел напустить на себя жалостный вид.— На фронте у меня хотели отнять обе ноги. Но я уговорил их и, как видите, жив-здоров, и ноги целы. Заживут они, сэр, обязательно заживут!

— Да непохоже что-то.

— Нужно только время, сэр.

— Подполковник Бейкер думает иначе.— Стивенс выпрямился, тяжело вздохнул.— Вы ведь, кажется, кадровый, еще до войны служили?

— Так точно, сэр. Заканчивал третий срок, когда началась война.

— Скажите,— неожиданно спросил Стивенс,— какой бы путь вы избрали себе в жизни? Я имею в виду — при нормальных обстоятельствах?

— Остался бы на сверхсрочной,— не задумываясь, ответил Прелл.— Добил бы все тридцать.

— Вот как? — Стивенс задумчиво потер красивый подбородок.— Но сейчас для полного стажа достаточно двадцати лет.

— А я бы на все тридцать,— повторил Прелл.— Если бы, конечно, мне разрешили.

— К сожалению, в таком состоянии у вас на это мало шансов.

— Мало, сэр, я знаю. Но хочется помечтать.

— В вашем личном деле имеются материалы о представлении вас командиром дивизии к Почетной медали конгресса.

— В первый раз слышу, сэр. По мне, лучше ногу, чем медаль.

— Понимаю,— сказал Стивенс и усмехнулся.

— Так что же вы решили, сэр, насчет ноги? — не удержался от вопроса Прелл и тут же подумал, что еще совсем недавно, когда они плыли, известие о медали конгресса стало бы самым волнующим событием в его жизни. Сейчас он не испытывал никакой радости.

Стивенс покачал головой, поднялся.

— Не знаю. Просто не знаю, что с вами делать.

— У меня сложилось впечатление, что подполковник Каррен настроен не так решительно, как подполковник Бейкер.

Взгляд начальника госпиталя сделался сердитым, недовольным.

— Это исключено. Он не заявил о своем несогласии.

— Я ведь не его больной, может, поэтому. И потом подполковник Бейкер выше его по должности.

— Это не играет роли,— твердо сказал Стивенс.— В серьезном деле не играет.

— А может, играет. Как это у них называется — врачебная этика?

— Нет, никоим образом.— Полковник уже повернулся было, чтобы уйти, но остановился.

— Не знаю, заслуживаю ли я Почетной медали, сэр,— воспользовавшись паузой, сказал ему в спину Прелл.— Скорее всего, нет. Но собственную ногу заслуживаю.

Полковник обернулся, посмотрел на него, потом коротко кивнул и молча удалился.

Не прошло и часа, как к Преллу пришел Джонни Стрейндж. Он обо всем узнал от Корелло.

Прелл был доволен разговором со Стивенсом. Но радоваться еще рано. У него не создалось впечатления, что ему удалось поколебать начальника госпиталя. Как это у юристов — посеять разумные сомнения. Этот обалдуй Бейкер назвал его «гарнизонным адвокатом». То и дело замолкая, чтобы передохнуть, Прелл в подробностях пересказал разговор Стрейнджу.

Стрейндж слушал Прелла и казнился виной. Он сматывается в этот дурацкий, никому не нужный отпуск, к жене и родственникам, которых почти не знает и не понимает. Четверо суток шляется по городу, торчит во вшивой гостинице за покером. А все это время парень мается тут, брошенный, стараясь отвоевать собственную ногу у этих цивильных подонков. В кои-то веки понадобился человеку, и нате — нету его.

Хорошо, что хоть полковник Стивенс — свойский мужик. Из кадровых — Уэст-Пойнт и все такое. Впрочем, по нынешним временам это мало что значит. И вообще, если из Уэст-Пойнта — обязательно уж и доверять? Одним можно, другим нет.

Стрейндж вовсе не считал, что доктора ошибаются. Выглядел Прелл ужасно. Глаза провалились, кожа высохла, не голова, а черепушка какая-то. Форменный мертвяк. Эти задницы могли бы дать человеку хоть умереть спокойно, раз он хочет.

И потом — что он, Стрейндж, может сделать? Кто он такой — кухонный штаб-сержант, из простых, бывший начальник столовой. Разве полковник будет его слушать? Стрейндж сказал об этом Преллу.

— Слышь, может, тебе пойти и поговорить с Карреном,— произнес Прелл. Его запавшие, в серо-лиловых обводьях глаза смотрели почти умоляюще.— Каррен, кажется, не так настаивал на ампутации, как те.

— Поговорить, конечно, можно,— отозвался Стрейндж с упавшим сердцем.— Да не станет он меня слушать.

— Может, собрать ребят, составить что-нибудь вроде ходатайства? И чтоб все подписали.

— Ходатайство? В армии? — остолбенел Стрейндж.

— А что? Времена меняются. И какая это армия — здешние хирурги. Все с гражданки. Может, ходатайство произведет на них впечатление,— настаивал Прелл.

— Попробую.— Помолчав, Стрейндж продолжал: — Погоди, погоди... А ведь это идея!

— Ты о чем?

— Лучше, если к Каррену пойдет Лэндерс.

— Почему именно Лэндерс?

— Ну как же! Образованный, в колледже был. Умеет по-ихнему разговаривать. Если он пойдет, это будет внушительней.

— Здорово придумал! — Глаза у Прелла оживились: он цеплялся за малейшую возможность.— Сагитируй Лэндерса.

— Сейчас сделаем. Ну, будь!

Стрейндж не стал терять времени на пустые разговоры. Он нашел Лэндерса в зале отдыха — тот болтал с косенькой, выдававшей спортинвентарь. Похоже, что смущенную девицу спасала только стойка между нею и наседавшим Лэндерсом. В другое время Стрейндж оборжался бы, глядя на них.

— Но почему именно я? — спросил Лэндерс, когда, отойдя в сторону, они присели на диван.— Я Каррена хуже тебя знаю.

Лэндерс никак не мог переключиться. Он раз двадцать пытался назначить Кэрол Файербоу свидание в городе, и вот только сейчас она, наконец, согласилась. Однако вместо ожидаемого подъема он вдруг снова впал в привычную хандру. Кэрол тут ни при чем, хотя она наставила столько условий, что согласие смахивало на отказ. Непонятно почему, у него перед глазами опять встала картина, так поразившая его, когда он сидел на холме: белые потеки от слез на изувеченных грязных лицах раненых товарищей. Их слезы и ее согласие — между ними нет и не может быть ничего общего, никогда. Плакали здоровые взрослые мужчины. И он тоже. Лэндерс тщетно старался отогнать тягостное видение. Что-то перестало существовать для него в тот день. Разве это объяснишь тем, кто не был там? Разве расскажешь

ей об этом? И оттого в нем снова поднималась слепая ярость. Лэндерс хотел было уже отменить свидание, но тут подошел Стрейндж.

— Ну, ты образованный, в колледже был. Умеешь по-ихнему разговаривать.

— Я думал, ты на меня разозлился,— сказал Лэндерс.

— Разозлился? За что? — Стрейндж не мог понять, о чем он говорит.

— Помнишь, мы в коридоре встретились, ты едва кивнул. Прошел мимо, как посторонний.

— А-а, ты об этом.— У Стрейнджа было такое чувство, будто он наткнулся в темноте на каменную стену, а за ней незнакомый пустырь, но у него не было ни времени, ни желания осматриваться.— Это я насчет Прелла задумался. Беспокоит он меня. Ну так как? Сходишь к Каррену?

— Конечно, схожу. Ради наших из роты и не то можно сделать. А ради Прелла тем более.

Лэндерс уже слышал неприятную новость о Прелле, которую Корелло разнес по всему госпиталю. Он воспринял ее как нечто неизбежное, как еще одну потерю в ходе операций на проклятых островах. Теперь его охватило пламя сумасшедшей преданности боевым товарищам, обжигавшее горло и сердце. Ради них он готов на что угодно, ради любого из них.

Вот они поймут, если им рассказать о раненых на холме. Сначала, возможно, и посмеются, но потом все равно поймут.

— Не исключено, что он скорее к тебе прислушается,— сказал Лэндерс.

— Нет, ты все-таки попробуй. И скажи: все, кто есть из роты, готовы написать ходатайство, если нужно. Прелл так понял, что Каррен не железно за ампутацию, как те двое.

— Ты считаешь, прямо сейчас надо идти?

— Иди сейчас. И не забудь про ходатайство.

Костыли у Лэндерса уже забрали, и он ходил, опираясь на вставленную в гипс шину и на трость, хотя не привык еще без костылей и чувствовал себя очень неуверенно. Ему пришлось порядком попотеть, пока он, осторожно преодолевая всевозможные ступени и пандусы для каталок и колясок, добрался из рекреационного центра до хирургического отделения. Когда он подошел, наконец, к кабинету Каррена, колени у него дрожали от напряжения.

К счастью, Каррен был у себя. Он сидел, склонившись над бумагами. Перед тем как войти, Лэндерс перевел дух и собрался с мыслями. Не забыть бы, что надо говорить вежливо и почтительно, хотя ему не до вежливости.

— Вы не могли бы уделить мне несколько минут, подполковник? Для неофициального разговора.

Каррен поднял голову, в глазах у него мелькнуло отчужденное выражение. Он кивнул.

— Пожалуйста. Заходите.

— Я насчет одного приятеля. Его зовут Прелл.

— Ну и что?

— Нас тут семь человек из одной роты. Ну, и мне поручили сказать за всех. Мы слышали, что у него могут ампутировать правую ногу.

Уставился, подумалось Лэндерсу, хочет, чтобы я стушевался. Или что-то еще? Каким-то краешком сознания Лэндерс удивился своей решимости вообще прийти сюда. Впрочем, все ясно. Ему достаточно было вспомнить раненых на холме. Никто здесь и знать не знает, каково им было там. И не хочет знать. «Мы и сами не знали»,— подумал он.

— К несчастью, не исключено,— сказал наконец Каррен.— Очень даже не исключено.

— Понимаете, он был в нашей части одним из самых лучших бойцов. Вы, очевидно, слышали о том, как он, уже раненный, вывел отделение из боя. За это его представили к награде. Если у него отнимут ногу, это доконает его. Вот ребята велели мне спросить, не можете ли вы что-нибудь сделать?

— Любопытно узнать, что же я, по-вашему, могу сделать? — спросил Каррен. Лицо его было непроницаемо.

— Мы подумали, если дать ему шанс, может, он и выкарабкается.

— Шанс? Например? И вообще, не со мной вам надо говорить. Он не мой больной.— Каррен переложил на столе бумаги.

— Он думает, что вы не так решительно стоите за ампутацию.

Каррен резко поднял голову:

— Он вам это сказал?

Лэндерс кивнул:

— Не мне лично, одному парню. Сказал, что так ему показалось.

— Ваш приятель в тяжелом состоянии. Одна нога вообще не заживает. Другая лучше, но тоже не очень хорошо. По-моему, у него что-то внутреннее, нарушен обмен веществ. Он с каждым днем хуже и хуже.

— Давайте ему что-нибудь.

— Даем. Сульфаниламиды, плазму, глюкозу — все испробовали. Однако вы забываете, что он не мой больной.

— Ну, а если не давать? Может быть, у него организм не принимает?

Каррен поднял глаза и, прищурившись, посмотрел на него.

— Мне кажется, вы не все понимаете. Так не делается. Я не могу оспаривать выводы подполковника Бейкера. Он, в сущности, прав. И ваш друг — его больной.

Лэндерс вежливо кивал. Ему вдруг подумалось, что его собеседник все-таки уклоняется от прямого ответа: не хочет признавать правоту пациента, догадывающегося, что он, Каррен, не убежден в необходимости ампутации. Лэндерс молчал.

— Возможно, подполковник Бейкер немного торопит события,— продолжал Каррен.— Но в принципе это не имеет значения. Поскольку ваш Прелл возражает, полковник Стивенс не будет принимать скоропалительных решений. Прелл не даст согласия — это ясно. А подполковник Бейкер просто хочет быть, так сказать, во всеоружии... Что до назначений — ему дают лишь то, что совершенно необходимо, и ничего лишнего. Не воображайте, что среди нас есть чудовища, которые ждут не дождутся, чтобы отхватить кому-нибудь ногу.

Лэндерс все так же вежливо кивал, но чувствовал, что у него что-то происходит то ли в груди, то ли в голове. Ему почудилось, что в него вселяется другой, незнакомый человек, который вот-вот заговорит его голосом. Почти то же самое было тогда на судне, когда он отделился от себя и его понесло вверх. И та же самая безотчетная злость поднималась в нем сейчас — злость и негодование против всего на свете, против целого света.

— Никто так не думает подполковник. Просто ребята просили сказать, что мы все готовы подписать коллективное ходатайство и передать вам,— резко сказал Лэндерс не своим голосом.— Если вы не против.

Каррен удивленно вскинул голову. Он произнес те же слова, что и Стрейндж в разговоре с Преллом.

— Ходатайство? В армии? Вы что, рехнулись? — Он долго и задумчиво смотрел на Лэндерса.— Вы, я вижу горой за него, а?

— Его уважают,— отрезал тот, другой, внутри Лэндерса. Сквозь гладко выбритое добродушное лицо Каррена Лэндерс видел вершину холма и лица раненых с белыми потеками.— Но дело не в этом, вы нас вряд ли поймете. Мы порода особая, а на остальных нам глубоко наплевать. Не то чтобы мы за Прелла горой. Каждый из нас... как бы

это получше выразиться... точно вкладчик. Каждый вкладывает свой крохотный капиталец во всех других. И если кто-то выбывает, мы теряем часть своего вклада. А терять не хочется, потому что вкладывать больше нечего, понимаете?

— «Не спрашивай, по ком звонит колокол»,— процитировал Каррен.

— Джон Донн, как же,— зло усмехнулся Лэндерс.— Это все дерьмо. Теория. Поэзия. У нас — совсем по-другому. У Донна — про человечество. А мы не все человечество. Плевать мы хотели на все человечество. Возможно, нам на самом деле и друг на друга наплевать. Но наш единственный капитал — все же мы сами, другого нет. Поэтому мы готовы подписать ходатайство и подать его куда скажете. А там — будь что будет. Даже если нам грозит тюрьма, все равно подпишем с превеликим удовольствием. Лишь бы помочь парню.

Каррен решительно встал из-за стола. Лицо у него было бледное, но не злое. Лэндерс подумал, не переборщил ли он — хотел же быть вежливым и почтительным.

— Вы понимаете, чем это может кончиться? — проговорил Каррен.— Он едва держится. Он может умереть!

— Пусть лучше умрет, если ему так хочется. Вам это любой скажет. Дайте парню спокойно умереть, если уж на то пошло. Что у него еще осталось? И умирал он уже, умеет умирать. Мы все умеем.

— Я не могу вам ничего обещать, сержант,— негромко сказал Каррен.— Мы сделаем все, что в наших силах. Поверьте, невелика радость — отнять у человека ногу. Но мы можем оказаться вынужденными.

— Значит, вы не хотите, чтобы мы написали ходатайство?

— Пишите, если вам от этого легче. Однако на полковника Стивенса это не подействует.

Выйдя в коридор, Лэндерс прислонился к стене, чтобы собраться с мыслями. Там, в кабинете у Каррена, был и разговаривал другой человек, не он. Такого с ним еще никогда не бывало. Теперь тот, другой, исчез. И Лэндерс не знал, лучше будет от того, что он сделал, или хуже. Или вообще все понапрасну. Он заковылял назад.

Вернувшись в зал отдыха, он пересказал Стрейнджу весь разговор, только метафору с вкладчиками обошел — сейчас она выглядела напыщенной и глупой — и не упомянул о двойнике. Ни он, ни Стрейндж не могли решить, будет польза от их затеи или нет.

— Может, это хоть расшевелит Каррена малость,— угрюмо проговорил Стрейндж.

Из своего угла за баскетбольной площадкой Кэрол Файербоу знаком дала Лэндерсу понять, что хочет что-то сказать ему. Лэндерс недовольно покачал головой и снова повернулся к Стрейнджу.

— Уинча бы сейчас сюда,— сказал тот с сожалением.

— Я думал, Уинч Прелла терпеть не может.

— Так оно и есть. Я хочу сказать: не любит и все. Но это ничего не меняет.

Стрейндж предложил заглянуть в буфет, чтобы посоветоваться с ребятами. Он считал, что ходатайство в любом случае не помешает. Уходя, Лэндерс даже не помахал Кэрол.

Когда они пришли к Преллу, тот, не перебивая, выслушал их. До самого безрезультатного конца. Потом так же молча отвернулся, и из-под его прикрытых век выкатились две слезы. Стрейндж и Лэндерс поняли, что надо потихоньку сматываться.

— Ребята, не обращайте внимания, ладно? — хрипло проговорил Прелл им вдогонку.— Я немножко расклеился. Эта история все нервы мне истрепала.

— Вот Уинч придумал бы что-нибудь,— тихо сказал Стрейндж, прикрывая за собой дверь.

Глава 12

Стрейндж и Аэндерс не знали, что Уинч был уже в курсе дел Прелла. Ради него он нажимал на все кнопки, чтобы ускорить свой отъезд из Леттермана и побыстрее попасть в Люксор. Он был занят этим и в тот момент, когда Стрейндж прикрывал за собой качающуюся фанерованную дверь в палату Прелла и говорил, что хорошо бы их старшой был здесь.

Уинч пока не знал, как и чем он поможет Преллу, но чтобы выяснить, надо быть там. Хотя и не стоило бы ради такого паршивца.

Уинч узнал о Прелле от Д. К. Хоггенбека. Когда ему разрешили вставать и он начал ходить, старина Д. К. и Лили пригласили его на обед. Жили они в трехэтажном кирпичном доме недалеко от Пресидио. Лили оказалась прижимистой бой-бабой с лошадиным лицом.

Уинч решил, что можно и принять приглашение, поскольку пить ему категорически запретили. Худшего вечера он и припомнить не мог. Хуже, чем самые паршивые вечера на Гуадалканале. Д. К. и его старуха только об одном и говорили — купили то, приобрели это. Оба были, что называется, не дураки выпить. Уинч весь кипел, глядя, как они налегают на виски. Затем он узнал о Прелле.

— Помнишь Джека Александера? — спросил Д. К., когда Лили разложила по тарелкам три огромных куска вырезки.— Он еще на Оаху был, Александр Великий?

Уинч прекрасно помнил Александера. Он был чемпионом по боксу в тяжелом весе Гавайского военного округа, когда Уинч служил там первый срок. Его звали не иначе как Александр Великий или Император. Он удерживал титул чемпиона пять лет подряд.

— Так вот,— кивнул Д. К.,— я только что получил письмо от старика. Он в общевойсковом госпитале Килрейни, в Люксоре. Занимает такую же должность, как и я. Пишет, что одному вашему парню хотят ногу оттяпать. А он не соглашается. Большой шум поднял.

— Не Прелл ли?

— Верно, Прелл.

Уинч внимательно слушал, пока Д. К. рассказывал, что знал. Прелл и есть, очень на него похоже.

— Ну и кто же прав? — спросил Уинч.

— Как тебе сказать... с парнем действительно хреново, насколько я понимаю. Против этой штатской шишки, подполковника Бейкера, наши медики боятся идти... Старику Стивенсу приходится выкручиваться. Полковнику Стивенсу — он там начальником госпиталя. Помнишь его?

Уинч отрицательно покачал головой.

— Неужели не помнишь? Он при тебе в Райли был, медицинской ротой командовал.— Д. К. потянулся за бутылкой.— Раз парень не дает согласия, теперь вся ответственность на Стивенсе. А он ожидает повышения в бригадные. Ты должен его помнить.

Уинч снова мотнул головой. Полковник Стивенс его сейчас не интересовал. Он думал о Прелле. Как покерист, не подающий виду, что на руках у него флэш, он спросил как бы между прочим:

— Кстати, Д. К., я хотел спросить, как с моим направлением в Люксор? Если всерьез говорить о том месте в штабе Второй, то, пожалуй, пора и ехать.

— Нет проблемы. В любое время, как только разрешат врачи.— Судя по всему, Д. К. не ожидал, что Уинч будет торопить события. На его задубелом морщинистом лице мелькнуло выражение почти мальчишеской тревоги.— Ты смотри, не того, будь осторожен. Не в форме еще. Порядком перепугал тут всех.

— Ни черта со мной не сделается,— энергично мотнул головой Уинч.— Если не буду пить.

— Худо, видать, без выпивки?

— Ничего, перебьюсь.

— Не хотел бы я быть на твоем месте,— сказал Д. К. и потянулся за бутылкой.

Уинч молча, со спокойным лицом смотрел, как Д. К. выпил, налил еще себе и Лили и они оба снова выпили.

Он ушел в первый же удобный момент.

На другой день он начал обрабатывать лечащих врачей. Его радовало, что у него в жизни снова появилась цель. И злило, что эта цель — паршивец Прелл.

— У вас, должно быть, рука наверху, и не одна,— улыбнулся главный кардиолог, отложив стетоскоп.— Таких, как вы, мы обычно отчисляем.

— Им нужны кадровые.

— С моей стороны возражений к переводу нет,— сказал врач.— Только не забывайте соблюдать предписание. Строгая диета, никаких физических нагрузок, регулярное обследование. Не понимаю, зачем вы спешите? Лечение во всех госпиталях одинаковое.

— Мне нужно познакомиться с работой, которую мне там предлагают после выздоровления.

— Ну что ж, я задерживать вас не буду. Мы, правда, не до конца установили причины вашего заболевания. Но, конечно, это связано с неумеренным потреблением алкоголя. Зарубите себе на носу: пить вам абсолютно противопоказано.

— Уже зарубил.

Уинч врал. При одной мысли, что ему нельзя пить, хотелось лезть на стену. Если подумать, удивительно, до чего не умеют в Америке обходиться без выпивки. Пьют перед едой и после нее. Пьют на вечеринках. Пьют, ухаживая за девушкой. Пьют, когда рассуждают о жизни, войне и смерти, и во время танцев, и в постели с какой-нибудь потаскушкой, и если ты не пьешь, то вроде бы и не живешь и дохнешь от тоски.

Через неделю после того, как Уинч начал вставать, он отправился в город, но без выпивки там была скука смертная.

— Так вы подготовите заключение для уорент-офицера Хоггенбека? — спросил Уинч. Ему вдруг пришла мысль, что после приступа его совсем не тянуло на баб. Может, это от лекарств?

— Завтра же утром.

— А сегодня не могли бы?

— Хорошо, попробую,— пообещал кардиолог.

Уинч поболтался в городе два часа и с тех пор не покидал территории госпиталя.

Житуха в общем-то была вполне сносная. Правда, если тебе надоело жить, сердечная недостаточность — вполне подходящий способ отдать концы, не хуже любого другого. Уинч, однако, не был убежден, что ему надоело. Наверно, пока еще не надоело, иначе он бы не завязал. Это очень полезно знать. Если надоест, надо начать пить— и все.

Когда в тот раз, после приступа, Уинч притащился в госпиталь, его сразу же уложили в кардиологическое отделение, начали пичкать мочегонными и сердечными лекарствами и замерять количество принимаемой жидкости и выходящей мочи. Очевидно, постельный режим сам по себе был отличным средством для мочеотделения. Уже через сутки жидкости выходило в три раза больше, чем он принимал. В первую же ночь стало легче дышать. Его продержали в постели пять дней.

Диагноз звучал так: острая форма водянки. Иначе говоря — скопление жидкости. Когда жидкость попадает в легкие, она вызывает сердечную недостаточность, и тогда начинаешь кашлять пеной. После того как ему стало лучше, кто-то из врачей признался: «Я уже думал, что конец». Уинч усмехнулся и ничего не сказал.

Сердце у него вовсе не раздулось с футбольный мяч, как предположил в тот вечер перепуганный молодой врач в отделении неотложной помощи. Не безнадежен, как выразился один из медиков. Однако из всей этой передряги Уинч вышел порядком ослабевшим. Через пять дней ему отменили постельный режим и категорически приказали начинать двигаться.

Когда он встал на ноги, колени у него подгибались. Поганое состояние для нестарого и вчера еще крепкого мужчины. Зато другая половина его находила известное удовлетворение в том, что произошло, даже злорадно смаковала случившееся.

Так или иначе его препроводили в Люксор. При условии, что он будет соблюдать диету, избегать физических нагрузок и не притронется к спиртному и сигаретам. Прекрасно, если на то пошло.

На другой день Уинч зашел к Д. К. Хоггенбеку и попросил ускорить оформление. Старина Д. К. устроил его на транспортный самолет, летевший в Люксор. Уинчу не терпелось попасть туда. Независимо от того, поможет он Преллу или нет.

Машина с военно-воздушной базы в Люксоре доставила его прямо ко входу в госпитальное административное здание. Уинч постоял посреди залитой ярким солнечным светом бетонной площадки, глядя на огромные двери. Он думал о безмозглом долболобе Прелле. Потом, подхватив зеленый ВВС-овский чемодан, поднялся по лестнице и вошел внутрь.

Всего шесть низких ступеней, но они сразу же дали о себе знать затрудненным дыханием и участившимся сердцебиением. Такое случалось с ним не первый раз, но все равно застигало его врасплох. И в то же время придавало особую остроту ощущениям. Как будто в груди у тебя бомба замедленного действия, которая вот-вот взорвется. И от этого дороже становилась жизнь, каждый ее день и каждый вздох. Ты снова был как в бою.

Когда дежурный в регистратуре увидел опознавательную бирку на груди у Уинча, он нахмурился и принялся отчитывать его за то, что он сам тащил чемодан. Уинч слушал и улыбался.

— Чокнутые вы все, что ли? — проворчал дежурный.

Устроившись в отделении, Уинч первым делом позвонил Джеку Александеру, бывшему боксеру, чтобы договориться о встрече. Тот ждал его звонка. Но еще до того, как он отправился к Александеру, явились Стрейндж и Лэндерс. Они пришли по поручению ребят из роты, их набралось девять человек. Система информации в госпитале действовала безотказно: едва Уинч ступил на территорию госпиталя, как стало известно, что он здесь.

Стрейндж сказал, что остальные в буфете и хотят поговорить с Уинчем. Он велел им подождать там, чтобы не являлись все в палату. Стрейндж в нерешительности кашлянул. Как только они вошли, им сразу бросилось в глаза, до чего сдал их товарищ, и Уинч заметил их замешательство. Стрейндж и Лэндерс виновато переглянулись. Уинч решил идти напролом.

— Ну, чего глаза пялите? — спросил он грубо.

— Да вот, смотрю, ты жирок малость сбросил,— проговорил Стрейндж.

— Ну и что? Я же на диете.

— Вот оно что. И болел, наверно,— не отступал Стрейндж.

— Было немного. Теперь все в порядке,— ответил Уинч.— Ну, что там с этим долболобом, который Прелл?

Оба заговорили разом. Потом Лэндерс замолчал, чтобы не мешать Стрейнджу. Но Уинч, подняв руку, перебил и того: ситуацию он в общих чертах знает. Он слышал, что подполковник Бейкер обратился по начальству, чтобы ему разрешили ампутацию. Полковник Стивенс пока еще не дал «добро». Другие хирурги вроде бы поддерживают Бейкера.

— Все точно,— облегченно подтвердил Стрейндж. Все-таки здорово снова почувствовать твердую руку старшого. Ему не терпелось спихнуть это дело.— Поддерживать-то поддерживают, да по-разному. Есть один хирург — Каррен его фамилия. Преллу показалось, что он не торопится оттяпать ему конечность, хочет еще посмотреть. Но Бейкер старше, и потому Каррен молчит, даже если и не согласен.

— Значит, и рассчитывать на него нечего,— отрубил Уинч.— Нам нужно знать: верно врачи говорят? Верно Бейкер говорит или нет?

— Кто их разберет,— пожал плечами Стрейндж.— Мы что, медики? Мы одно знаем: Прелл хочет спасти ногу. Вот мы и стараемся что-нибудь придумать.— Он был рад-радешенек, что теперь не ему принимать решение.— Лэндерс говорил с этим Карреном. Расскажи сам, Лэндерс.

Лэндерс не спеша изложил, как шла беседа с подполковником и как неопределенно она закончилась. Ему хотелось, чтобы Уинч знал все как есть. Он вдруг понял, что не робеет перед ним, как раньше. Он не понимал, что придавало ему уверенности — то ли физическая слабость Уинча, то ли эта необъяснимая ярость, которая накатывалась на него последнее время. Он всегда испытывал потребность быть абсолютно честным с Уинчем. Было в нем что-то такое, что прямо-таки заставляло быть честным. И это осталось.

Лэндерс уже замолчал, а Уинч все еще смотрел на него испытующим взглядом.

— Ну, а сам-то ты как считаешь? Твое мнение?

— Я склонен думать, что Прелл прав,— ответил Лэндерс.—Подполковник Каррен, наверное, выждал бы, будь Прелл его больным. Но Прелл у другого хирурга. А раз так, то Каррен не будет вмешиваться.

— Выходит, все снова упирается в Стивенса?

— Выходит, так,— отозвался Стрейндж.

— Ну, и как же ты намереваешься обработать Стивенса? — ехидно спросил Уинч.— У тебя что, ходы есть?

— Нет у меня никаких ходов,— пожал плечами Стрейндж и, чуть замешкавшись, буркнул насчет ходатайства. Все вместе составляли, все и подписали. Оно у него, в тумбочке у кровати, где единственно и разрешается держать личные вещи.

— Ходатайство? В армии? Кому же это взбрело в голову? Тебе? — Уинч резко повернулся к Лэндерсу.

— Нет, это Прелл придумал.— Лэндерс кивнул на Стрейнджа.— И выложил Джонни-Страни.

Уинч удивленно посмотрел на зеленого вояку: он в первый раз услышал, как его бывший писарь открыто назвал старшего товарища по прозвищу. Ну что ж, все мы меняемся, быстро меняемся. Все, кроме поганца Прелла. Так и должно быть. Когда меняется обстановка, соотношение сил тоже меняется.

— Он, конечно, он, как я сам не догадался! Ослиная задница, героя из себя строит, сукин сын,— медленно, тяжело проговорил Уинч.— Весь он тут — затеял заваруху и первым же в нее головой. И ему, натурально, медаль. А мы даже не знаем, верно ли врачи говорят.

— Да, не знаем,— сказал Стрейндж.— Но если он понимает опасность и хочет рискнуть, почему не дать ему такую возможность?

— И нога не заживает... Как они это объясняют?

— Никак,— сказал Стрейндж.— Послушай, старшой, ты из-за Прелла сюда приехал?

Уинч зло уставился на Стрейнджа.

— Ты что, спятил? Куда направили, туда и приехал. Как и все вы, кандидаты на погост. Ну, теперь, выматывайтесь. Мне надо прийти в форму. У меня назначение на процедуру.

— Ну, ты сможешь что-нибудь предпринять? — спросил Стрейндж.

— Предпринять? Я? Да кто я тут такой? Это тебе не наш полк.

— Мы бы просили тебя сделать что можешь,— неожиданно для себя и громко сказал Лэндерс.

Уинч молча, без всякого выражения посмотрел на него. Когда Стрейндж и Лэндерс ушли, он повернулся на койке. Потом встал, поправляя халат.

С Джеком Александером нужна иная тактика — не такая, как со стариной Д. К. Хоггенбеком. Император тоже занимал внушительный кабинет и так же заботился о своих личных удобствах, но на этом сходство кончалось. Уинч понимал это.

Кроме того, он не служил с Александером и не был знаком с ним лично, как со стариной Д. К. Когда капрал Уинч только прибыл на Оаху, Александр Великий, Император, завершал свое царствование и готовился отбыть домой, в Штаты, собирая добро, нажитое им в качестве лучшего боксера военного округа.

Теперь он был уже в годах и выглядел соответственно стариком. Лысина, изрезанное глубокими морщинами лицо, перебитый нос, огромная челюсть, безгубый, тонкий, как лезвие, и холодный, как льдина, рот, выцветшие голубые глаза, которые чего только не повидали на земле, но не выражали ни любви, ни ненависти, ничего — все это делало его похожим на большую морскую черепаху, старую и мудрую. Черепаху, которая двести лет бороздила моря и океаны по всей планете, искусно избегая ловушек, расставляемых людьми. Покрытая шрамами от всех и всяческих передряг, она сейчас стала такой громадной и многоопытной, что уже не боялась ничего. Александер и впрямь был громаден. Он всегда отличался высоким ростом, даже в прежние времена, но тогда он был сравнительно сухощав. Теперь же у него на полметра выпирал огромный твердый живот, а шея набухла так, что казалось, вот-вот лопнет. И это был не жир, а мясо, сплошное мясо. Никто не знал, как и почему он решил закончить службу в общевойсковом госпитале Килрейни в Люксоре. Уинч машинально подумал: «Интересно, какое у него давление?»

Толстыми пальцами Александер выхватил откуда-то бутылку виски и широким жестом выставил ее на стол. Уинч кивнул, улыбнулся: пить ему запретили, но он с удовольствием понюхает. Александер налил обоим, сел и знаком предложил Уинчу сесть напротив. Он пока не проронил ни единого слова.

Уинч обмочил губы в виски, собираясь с мыслями.

— Я не успел пока выяснить, нужна ампутация моему парню, этому Преллу, или нет,— начал он.

Александер кивнул.

— Только прибыл и — нате.

Александер кивнул снова.

— Если дело дойдет до ампутации, значит, так тому и быть,— продолжал Уинч.— Хотя, конечно, хотелось бы спасти малому ногу. Ему почему-то показалось, что один из этих штатских хирургов не стал бы торопиться, будь его воля.

— Это Каррен,— сказал наконец Александер. Голос его скрежетал, как рашпиль по металлу, и шел откуда-то из живота, минуя грудную клетку, задубелую от многолетнего по ней битья.

— Да, Каррен,— подтвердил Уинч.

— Полковник Стивенс встревожен. Ждет производства в бригадные. Скандал может помешать ему.

На этот раз понимающе кивнул Уинч.

— Даже если просто пойдут разговоры,— сказал Александер.

— Этот Бейкер, что он из себя представляет?

— Знает, что к чему. Самовлюбленный. Нормальный тип.

— А Каррен?

— То же самое. Только помоложе.

— Значит, выбора нет... А что, если потянуть малость?

— Нет проблемы,— сказал Александер.— Но ваш Прелл может загнуться.

— А у вас тут что, никто не загибается?

Александер, едва помещавшийся в большом вращающемся кресле, чуть заметно повел плечами.

— Бывает.

— Ну, вот...

Оба играли на слух и поочередно. Уинч уже понял это.

— Мы на виду, газеты и прочее,— сказал Александер.— У парня, глядишь, родственники объявятся.— Его массивная туша качнулась вперед.— Я с точки зрения Старика рассуждаю, полковника Стивенса.

— Родственников у него нет.

— Нет родственников, есть дружки,— сказал Александер.

— Дружки будут молчать. Это я обещаю,— твердо произнес Уинч.— Они за то, чтобы медики повременили.

— Старику... то есть если бы я был на его месте... хотелось бы иметь гарантии.

Уинч молчал, взвешивая пришедшую в голову мысль.

— Кстати, у меня с собой...— Он не мог выдавить слово «ходатайство».— Есть у меня одна бумаженция, подписанная его сослуживцами по части, которые здесь. Они просят спасти парню ногу.

— Хорошо бы мне копию этой бумаги...

— Чтобы показать Стивенсу?

— Нет,— отрезал Александер.— Этого я не могу.

— Копия будет.

— Подписанная?

— Конечно, подписанная.

— Может пригодиться,— сказал Александер.

— Еще один вопрос,— продолжал Уинч.— Командир дивизии представил Прелла к Почетной медали конгресса. Вам об этом известно? Представление должно быть в его личном деле.

Массивная голова Александера качнулась вперед.

— Есть оно. Старик его видел. Тут интересная штука завязалась. Когда этот парень только попал к нам, я получил запрос относительно него из Вашингтона. Они хотели знать, как его состояние. Ну, мне пришлось отписать, что не очень. Потом я дважды посылал дополнительные бумаги в связи с представлением, но они как воды в рот набрали. Мы, натурально, получаем сюда списки награжденных. Иногда Старик сам вручает награды, когда есть наши. На всех пришли ответы, а вот насчет медали Преллу — ничего. Что бы это значило, как по-вашему?

— Откуда был запрос? — спросил Уинч, мысленно перебирая варианты.

— Из управления генерал-адъютанта.

— А ответы на представления?

— Из наградного отдела.

— Да? — спросил Уинч и ответил сам себе: — Ну да! Похоже, что им сейчас ни к чему безногий герой. Во всяком случае, здесь, в Люксоре.

Снова неторопливо качнулась огромная голова.

— Мне тоже так показалось.

— А полковнику Стивенсу неплохо бы иметь у себя героя. Чтобы самому вручить высшую военную награду,— сказал Уинч.

— Так-то оно так. Но не мертвецу. К тому же без родственников.

— Орден можно в полк.

— За полк говорить не положено.— Черепаший ороговевший рот Александера растянулся в мрачной усмешке.— Как я понимаю, им почетные медали тоже живым нужны и чтоб руки-ноги были целы.

— Есть у него шанс выжить, есть,— сказал Уинч.— Думаю, даже больше, чем один к одному. Но у Каррена нет власти.

— Старик не захочет передать пациента от Бейкера Каррену,— пробурчал Александер.— Не до того ему сейчас. Работы скопилось — куча.

— Пока-то он разгребет ее...— сказал Уинч.

— Мне бы неплохо иметь ту бумагу.

— Сегодня же будет,— заверил Уинч.

— Я ее, конечно, полковнику не покажу. Чтобы не выглядело будто ходатайство. Представляете, как он кинется. Точно бык на красную тряпку. Но просьба однополчан до него дойти может, верно?

— Бумага будет сегодня же,— подтвердил Уинч.

— Ну и хорошо.— Во время разговора Александер не притронулся к виски и только сейчас приветственно поднял стакан и опрокинул его. Затем аккуратно убрал бутылку.— Само собой, я не могу говорить за полковника Стивенса,— продолжал Александер, тяжеловесно собрав всю свою скромность в выцветших черепашьих глазах.

— Само собой,— отозвался Уинч.

Уинч уже взялся за металлическую дверную ручку, когда сзади, из-за стола, раздался скрежет. Уинч повернулся.

— С вами приятно иметь дело, сержант Уинч. Старина Д. К. Хоггенбек не ошибся.

— С вами тоже, сэр.

— Может, какие еще дела появятся,— сказал Александер, не вставая из-за стола и без тени улыбки.

— Может быть,— сказал Уинч.— Не исключено.— Д. К., должно быть, ввел его в курс.

— Я в штабе Второй всех знаю,— проскрипел Александер.

Уинч кивнул. Точно, ввел. Он вышел, притворив за собой дверь.

Получить ходатайство было проще простого. Стрейндж немедленно притащил листок. После ленча, внимательно изучив бумагу, Уинч переписал ее, чтобы она меньше смахивала на официальный рапорт, и отправился в буфет повидаться, наконец, с ребятами и получить их подписи. Они посидели все вместе, потолковали о том о сем.

Сборище мало чем напоминало дружескую встречу. Уинч испытывал то же чувство, что и Лэндерс по прибытии в госпиталь, только он не мог знать, что с тем было то же самое. Что-то незнакомое появилось в облике старых товарищей, будто их подменили. Он вспоминал, какими они были в январе и феврале, когда их эвакуировали с Гуадалканала, их заострившиеся лица и запавшие глаза — растерянные, испуганные, полные ребячьего ожидания. Но тогда они были еще солдатами, такими же, как и те, которые и сейчас еще изнемогали от жары и жажды на фронте.

Потом, взяв бумагу, он отправился к Александеру и вручил ее. Тот опять налил обоим понемногу, чисто символически, и Уинч опять смочил губы.

Когда Уинч добрался до палаты и прилег, он понял, до чего же он намаялся. Он едва волочил ноги. У него не было сил встать, когда привезли ужин, и он остался без еды.

Он разделся и лег, но сон не шел. Он никак не мог отделаться от ощущения, что есть еще один Уинч,— оно появилось у него в тот вечер, когда он чуть было не отдал концы в Леттермане, и снова и снова возвращалось к нему по ночам. Другой Уинч, который где-то вне его. Но где? И что бы это все значило?

Даже после самых страшных попоек с ним никогда не случалось ничего подобного.

Уинч лежал, прислушиваясь к дыханию спящих — в его палате их было только двое, кроме него,— и думал о Прелле, о том, что никуда не денешься: придется с ним пообщаться. А раз так, это лучше сделать завтра же, не откладывая.

Глава 13

Уинч понятия не имел, о чем говорить с Преллом. И он не знал, чего ожидать от Прелла, когда придет к нему. Прежде чем идти, ему хотелось обо всем разузнать у Корелло, Дрейка и других бойцов из роты, а не только у Лэндерса и Стрейнджа. Но разговоры с Корелло, Дрейком и остальными ничего не дали. Стрейндж и Лэндерс тоже не сказали ничего нового.

Лэндерс хмыкал, мямлил что-то несуразное и все твердил, что Прелл плохо выглядит.

— Конечно, плохо выглядит, я это и без тебя знаю, канцелярская ты задница! — не выдержал Уинч.

Он продолжал наседать на Лэндерса, тот без особого успеха углубился в психологию, но вдруг поднял удивленные глаза, словно поразившись собственному открытию, и сказал:

— Просто он израсходовал весь запас горючего.

— Какого горючего, чего ты мелешь?

— Ну, понимаешь, как в машине бензин кончается. Иссяк. И вообще отвяжись! — раздраженно проговорил Лэндерс.— Нечего мне больше сказать.

— Ты же у нас образованный, в колледже был,— насмешливо протянул Уинч.— И до сих пор не научился выражаться яснее. Тогда ставь на себе крест.

— Иди ты к чертям собачьим! Без тебя поставлю.

Насколько Уинч помнил, Лэндерс первый раз обругал его вот так, вслух, в лицо. Он знал, что парень клянет его направо и налево, но делает это втихую, за глаза. Так, в стаде, значит, подрастает молодняк, пробует свои рога, собираясь помериться силами с матерыми самцами.

— Погоди, погоди, что значит — иссяк? Сдал, трусит?

— Да нет, не сдал и не трусит. Ты не поверишь, сколько в нем сейчас упорства и выдержки. А вот жизненной энергии нет. Кончилась в нем жизненная энергия.

Уинч замолк. Он сам недавно понял, каково это — когда кончается жизненная энергия. Но привыкнуть к этому пока не смог.

— Черт! Можешь ты объяснить нормально или нет?

— У человека может быть сколько угодно выдержки и упорства... Но если у него вышла жизненная энергия — ему крышка.

От Стрейнджа Уинч тоже немногого добился, хотя разговор шел поспокойнее. Стрейндж напирал на другое: парень совсем скис.

— Я это давно у него заметил. Еще на Эфате началось, потом когда плыли. Он ведь давно воюет с докторами. Сколько уже то же самое было — два раза. Ну да, теперь вот третий. И я все время ждал, что это доконает его. Так оно и вышло. Совсем скис. Он же привык быть первым, сам знаешь...

— Это уж точно.

— Во всяком случае ему лучше, когда он на виду, первый и все его уважают.

— Значит, скис, говоришь?

— Ну да, и давно. Лэндерс вот говорил с Карреном, хирургом, и тот сказал, что, мол, неправильный обмен веществ. Леший его знает, что это такое. Доктора и сами толком ни в чем не разбираются. Был один обмен веществ у человека, теперь другой.— Стрейндж умолк, потом пожал широкими плечами: — Не знаю, просто не знаю.

Маловато, думал Уинч. Один говорит — вышла жизненная сила, другой — скис. А может, и то и другое? Ну вышла, ну скис... Кто в этом во всем разберется? Кто вообще способен разобраться? И в этом, и во всем другом?

Уинч старательно рассчитал время, когда лучше идти к Преллу. Он поговорил с санитаром из отделения Прелла, и тот сказал, что самое подходящее время для посещения больных, как правило, утром, когда они отдохнувшие, но не очень рано, не сразу после подъема и еды, а попозже, перед вторым завтраком, потому что второй завтрак тоже отнимает время и силы. И у Прелла тогда самое лучшее состояние. Поэтому Уинч отложил визит на день, чтобы попасть в точку. Он до сих пор не знал, что скажет Преллу и чем поможет ему. Что скажешь парню, которого недолюбливаешь и которому вот-вот оттяпают ногу? Разве поднимешь ему дух и накачаешь жизненной энергией? Как ни крути, жизнь она и есть жизнь — лотерея, азартная игра. И люди играют в эту жестянку, как играют в футбол, или шахматы, или покер. Играют до самой смерти и даже умирая. В последнюю минуту Уинч решил взять с собой Стрейнджа — в качестве успокоительного средства, что ли.

Прелл выглядел ужасно, другого слова не было. Он и отдаленно не напоминал того Прелла, которого Уинч в последний раз видел на Эфате в лазарете. Он лежал точно мертвец, раскинув руки, с задранными кверху на вытяжке ногами, как баба, которая вот-вот родит. Посиневшие ноги, лицо серо-лилового цвета, переходящего под ввалившимися глазами в черноту. Одни глаза — вот и все, что оставалось в нем живого.

И все же, увидев, кто пришел, он весь подобрался.

— Привет, старшой,— глухо сказал он откуда-то из недр кровати.— Пришел отдать последние почести?

— Привет, Прелл,— ровным голосом отозвался Уинч. Он заметил, как напрягся Прелл, и не давал себе воли.— Ну как ты?

Игра, паскудная игра, всюду, со всеми. Бравада и доблесть, страх и стойкость, унижение и достоинство, подлость и порядочность. Но игра без дураков, по-крупному. Даже помешательство начинается с игры, а потом уж забирает всерьез.

— Радуешься, да? — Прелл еле выговаривал слова.— Пришел сказать: «Я же говорил...»?

В затылке Уинча будто вспыхнуло что-то, как зеленый свет зажегся, давая дорогу. Как зеленый взрыв, расчищающий путь от завалов. Он старался взять себя в руки и найти нужные слова, найти верный тон.

— А ты все так же хочешь, чтобы тебе сочувствовали, да? — Уинч слышал, как Стрейндж сзади шумно втянул воздух и замер в ожидании.— И так же хочешь, чтобы тебя уважали?

Черные зрачки запавших Прелловых глаз засверкали зловещим блеском. В них затаилась жгучая ненависть.

— Это точно,— ответил он тихо.— Хочу, чтобы уважали.

Уинч долго ломал голову, стоит или нет сказать Преллу насчет тактики проволочек, которую он разработал с Александером. Пока что он никому не рассказывал об этой идее, даже Стрейнджу. Дельце-то деликатное. Эти долболобы не научились держать язык за зубами. Наверняка кто-нибудь проболтается. А если слушок дойдет до полковника Стивенса и Джека Александера, тогда пиши пропало. Лопнет идея как мыльный пузырь. Стивенс славился крутым нравом, хотя старался ни при каких обстоятельствах не терять самообладa-

ния. Вдобавок, ни сам Уинч, ни Стрейндж до сих пор не знали, верно говорит Бейкер или нет. Поэтому Уинч молчал.

Но вот в отношении Прелла он все же колебался: может, стоит сказать. Потом подумал: нет, не надо. Сейчас он понял, что был прав, решив держать язык за зубами. Не это нужно Преллу. Ему нужен противник. Противник, с которым надо воевать. А чтобы воевать, он должен видеть его перед собой.

— Небось думаешь, выкинут парня отсюда, сунут ему жестяную кружку и пущай торгует солдатскими карандашиками, так, что ли?— сказал с койки Прелл.

— Да нет, они поумнее сделают. Дадут тебе пенсию и искусственную ногу, чтобы по субботам топать в Американский легион, и хвастать перед подонками культей, и завирать, как ты храбро сражался на Тихом океане. Смотри, только про отделение не проболтайся.

— Сукин ты сын,— проговорил Прелл так же тихо и ровно, но голос у него почти звенел, как тугая струна.— Я тебя прикончу, дай только выбраться отсюда. Как пить дать, прикончу. Я тебя из-под земли достану, падло. Жизнь положу, а достану!

— Это мы еще посмотрим! — возразил Уинч.— Я, может, сам копыта откину, пока ты выберешься отсюда,— сказал он и подумал, усмехнувшись про себя, что в его словах, пожалуй, больше истины, чем ему кажется. Ну и хрен с ним! Теперь у Прелла есть смертельный враг. Каждому нужен враг.— Зато не заведешь больше никого в западню, и то хорошо.

С подушки на Уинча смотрели прищуренные индейские глаза Прелла. Он молчал.

— Я думаю, вам лучше уйти,— замельтешил возле Уинча санитар.— Правда, лучше!

— Ладно, пойдем. Не трусь, малый! Давай воюй,— сказал Уинч и, круто повернувшись, вышел.

В коридоре он тяжело привалился к стене, чтобы отдышаться и прийти в себя. Он вдруг почувствовал себя измочаленным и постаревшим.

— Боже ж ты мой,— нудил Стрейндж, топчась рядом.— Зачем тебе это понадобилось, старшой?

— Да помолчи, дубина ты стоеросовая,— прошептал Уинч.— Проваливай отсюда.

Через минуту Уинч выпрямился и зашагал к себе в отделение. Он догнал Стрейнджа, опередившего его шагов на десять, и они молча пошли рядом.

Дней через пять случилось чудо: Прелл пошел на поправку. Он не сразу заметил признаки выздоровления, и прошло еще несколько суток, прежде чем он убедился в этом. Начала заживать нога. Словно не было ничего особенного — просто перелом,— постепенно срасталась кость. Стрейндж не верил своим глазам. Он думал, что после Уинчева посещения состояние Прелла ухудшится. Но тот поправлялся, кризис, которого они так опасались, миновал. Стрейндж, конечно, никак не приписывал улучшение визиту Уинча — скорее наоборот. Уинч тогда совсем потерял самообладание. Сдал старик, сильно сдал, думал Стрейндж, хотя понятия не имел, что же с ним такое. Они с Лэндерсом подолгу торчали у Прелла. Стрейндж обратил внимание, что Прелл ни разу не упомянул про разговор с Уинчем, и подумал, что не хотел бы быть на месте того, когда Прелл поднимется.

Уинч и сам терялся в догадках. Он не мог поверить, что состояние Прелла улучшилось благодаря его приходу и разговору с ним. Слишком внезапен и крут был перелом. Раз это случилось так быстро, значит, Прелл сам пошел на поправку до их встречи. Выходит, его затея была напрасной.

У Лэндерса была своя теория относительно происшедшего. Взяв с него слово молчать, Стрейндж рассказал ему о стычке Уинча с Преллом, но Лэндерс не усмотрел никакой связи между двумя событиями. Через несколько дней после того, как весть о выздоровлении Прелла распространилась по госпиталю, он случайно встретил подполковника Каррена. Это было в одном из многочисленных крытых переходов. Каррен остановил его.

— Все собирался сказать вам кое-что, но не было случая,— начал Каррен со своей непонятной и жизнерадостной улыбочкой.— Помните наш разговор по поводу вашего приятеля? Я говорил, что мы все средства испробовали, а вы возразили: может, что-нибудь не давать, может, у него организм не принимает. Помните?

— Нет, не помню,— признался Лэндерс.

— Зато я помню. Так вот, я начал думать. Полночи как-то просидел над его историей болезни и обнаружил кое-что любопытное. Раненым с Тихоокеанского театра назначают атабрин — это такое противомалярийное средство. Мы даем его всем на протяжении четырех месяцев после возвращения, такова практика.— Каррен нагнулся к Лэндерсу и, улыбаясь, дотронулся до его рукава.— Я обнаружил, что Преллу тоже прописан атабрин. Вполне естественно: ведь он тоже с Тихого океана. И вот я решил снять назначение. На свой риск, молчком. После этого он начал поправляться.

— Но это возможно с медицинской точки зрения?

— Нет, конечно нет! — Лицо Каррена сделалось серьезным.— Но бывают самые невероятные вещи. Мы же имеем дело с живыми людьми.

— Значит, Прелл обязан вам....

— Мне не хотелось бы, чтобы это стало известно. Никто не знает об этом, даже подполковник Бейкер. Пусть это останется между нами, договорились?

— Договорились,— согласился Лэндерс. Он сдержал слово. Он не поделился даже со Стрейнджем, не то что с Уинчем.

Через некоторое время он осторожно завел «теоретический» разговор на эту тему с дежурным в своем отделении. Тот порылся в справочниках и авторитетно заявил, что нет никаких оснований предполагать, будто атабрин может препятствовать процессу выздоровления, он вообще не оказывает побочного действия. Тогда зачем Каррен плел такую бодягу? Сказать Уинчу? Да тот на смех его поднимет.

Но Уинчу было бы безразлично. Он, наверное, даже не услышал бы, что́ ему говорят. Начиная с Леттермана, он потратил столько труда и нервов на паршивца Прелла, что совершенно ослаб. У него едва хватало сил вылезать из постели, чтобы поесть. Врачи утверждали, что слабость — результат длительной поездки из Калифорнии и перелома в его общем состоянии. Само собой, они ничего не знали о Прелле и рекомендовали покой — это единственное, что ему нужно. Уинч слушал их вполуха. Он по-прежнему принимал мочегонные, и у него не возникало желания, взяв увольнительную, найти себе женщину. Он уставал от одной мысли, что надо куда-то ехать и что-то делать. Однако когда его вызвали к главному сержанту Александеру — это было через неделю после того, как Прелл пошел на поправку,— он отправился немедленно.

Убедившись, что состояние Прелла резко улучшилось, Джек Александер тотчас послал в Вашингтон соответствующую бумагу. Он направил ее в управление генерал-адъютанта, откуда был первый запрос. Сейчас он молча подвинул Уинчу какой-то листок. Это было распоряжение наградного отдела прислать материалы на Прелла. Выписки из послужного списка, личного дела,— словом, все, что положено для принятия окончательного решения о награждении Почетной медалью конгресса. Уинч внимательно прочитал документ и вернул его Александеру.

— Пить тебе, конечно, нельзя,— заскрежетали слова в гортани бывшего боксера,— но отметить такое событие надо. Хочешь увольнительную в город? Проведешь времечко с какой-нибудь мамзель.

Уинч молча покачал головой. Больше всего ему хотелось сейчас расхохотаться.

Само собой, придется подождать официального подтверждения, но это уже чистая формальность, сказал Александер. В их госпитале Почетную медаль никому еще не давали, это будет в первый раз. Они, натурально, это дело поднимут на должную высоту, только тем сейчас и заняты. Полковник Стивенс лично разрабатывает церемонию торжественного вручения наград. Такой в Килрейни еще не было.

— Ты тоже есть в списке,— сказал Александер.

— «Зевезе», что ли? — кивнул Уинч.

— Да. «За выдающиеся заслуги». Будь уверен, после войны тебе эта медаль очень даже не повредит,— заметил практичный Александер.

Примерно через месяц Уинч со всеми остальными госпитальными душами стоял в положении «вольно» в торжественном построении на центральном плацу. Плац был невелик и не предназначался ни для парадов, ни для церемоний. Сейчас его заполняли многочисленные колонны. В построении участвовали все, кто мог передвигаться самостоятельно, и многие из тех, кто не мог. Согласно приказу Стивенса, присутствовал также весь медицинский персонал за исключением дежурных по палатам и отделениям. На прилегающих зданиях полковник распорядился вывесить флаги. Для участия в торжестве съехались представители гражданской и армейской печати, иные газетчики и фоторепортеры прибыли издалека — из Чикаго и Канзас-Сити.

Награжденных было много. Но в центре внимания был, конечно, Прелл; его усадили прямо в больничном халате в инвалидную коляску — на опоре торчали две загипсованные ноги. Кроме Уинча, каждому, естественно, выдали медаль за ранение — «Пурпурное сердце». Некоторые получили «Бронзовые звезды», кто-то со знаком «Д» — доблесть, кто-то без него. Лэндерсу, к его собственному удивлению, тоже дали «бронзу», правда без «Д» — за примерную службу. Была даже одна «Серебряная звезда». Уинчу вручили единственную «зевезе». Затем наступил торжественный момент. Четким строевым шагом вперед вышел полковник Стивенс, позади него и на два шага вправо с большой плоской коробкой в руках выступал главный сержант Александер — удивительно, как легко, и в ногу, и строго соблюдая дистанцию нес он свое огромное, грузное тело. Полковник надел на шею герою голубую ленту с серебристыми звездами, и черные индейские глаза Прелла повлажнели. Но когда он взглянул на стоявшего рядом Уинча, в них снова вспыхнули злые огоньки.

Сентябрьское солнце пекло вовсю. Вытянувшись в струнку, Уинч замер в общем строю, и ему хотелось смеяться и плеваться одновременно, но он не сделал ни того, ни другого.

Он увидел, как Александер, стоявший за полковником Стивенсом, как раз напротив, незаметно подмигнул ему, словно призывая к благоразумию.

Глава 14

Пока развивались события вокруг Прелла, группа, с которой он прибыл из Леттермана, обжилась в Килрейни и стала частью пестрого населения госпиталя и частью его пейзажа. Все реже попадались раненые с гипсовыми повязками, трости постепенно приходили на смену костылям. Исчезли кое-какие знакомые лица, и уж потом ребята узнавали, что их товарищей демобилизовали. Больные с ампутированными конечностями, в момент приезда передвигавшиеся на каталках, теперь, опираясь на трости, мужественно вышагивали на

протезах по бесконечным коридорам и переходам. Всякий раз, когда Бобби Прелл видел безногого, он весь холодел внутри. Для большинства прибывших вместе с Преллом, Лэндерсом и Стрейнджем выздоровление стало теперь вопросом времени.

Примерно каждые две недели в госпитале появлялись новые партии раненых, и каждая партия проходила ту же процедуру осмотров, классификации, распределения. Пострадавших в европейских операциях везли эшелонами из портов Восточного побережья. Маршрут других, с Тихого океана, пролегал через сан-францисский Леттерман или через перевалочный госпиталь в Сиэттле. Пообвыкшись, раненые из этих двух потоков принимались обычно сравнивать количество выбывших из строя и погибших тут и там или сопоставлять характер ранений в результате применения того или иного вида оружия.

Когда Прелл начал выздоравливать, Джонни-Страни, получив через Уинча и главного сержанта Александера увольнительную на четверо суток, смотался еще разок домой в Цинциннати. Вообще-то любая увольнительная свыше трех суток считалась отпуском. Но Уинч и Александер умело обошли правила, устроив ему две увольнительных: одну на трое суток, другую на сутки. В Цинциннати было по-прежнему неуютно, а Линда-Сью показалась Стрейнджу еще более холодной и занятой своими делами, чем в первый раз.

За это время у Мариона Лэндерса состоялось неудачное свидание с Кэрол Файербоу, ему сняли с ноги гипс и предоставили десятидневный отпуск для побывки в родном городе Империам, штат Индиана. Отпуск вышел сразу же после вручения наград, так что Лэндерс мог захватить домой и «Пурпурное сердце», и «Бронзовую звезду» в красивой, обтянутой синей кожей коробке с золотым тиснением. Так он и сделал. Что-то подсказало ему, что награды в коробке приведут в ярость его папашу, но он ни за что не надел бы планки в Люксоре — лучше еще одно ранение, чем это.

Ни один из их госпиталя не отважился нацепить планки. В порядке исключения, словно они составляли какую-то высшую касту, солдатам-пехотинцам в Килрейни позволялось носить серебристо-синий боевой значок пехотинца, но ничего больше. Это считалось железным правилом у фронтовиков, и всякий, кто осмеливался нарушить его, подвергался немедленному и всеобщему осмеянию. Никто не знал, откуда пошло это правило или кто его придумал, но все соблюдали запрет неукоснительно.

Тот вечер с Кэрол Файербоу начался вроде бы нормально, но кончился полным провалом. Лэндерс собирался поужинать с ней на «Зеленой крыше» в «Пибоди». «Зеленая крыша» была в Люксоре то же самое, что «Высшая марка» в Сан-Франциско. Лэндерс не знал, как тут все выглядело до войны, но сейчас в зале было шумно и пьяно, военные сорили деньгами и знакомились с женщинами — именно здесь завязывалось множество скоропалительных, «боевых» романов. Народ гулял и веселился вовсю, будто самая мысль о том, что через два-три месяца любого из них могут убить, заражала присутствующих бестолковой, бесшабашной удалью. Лэндерс раз заглядывал на «Крышу» с двумя приятелями по роте, но они были без женщин, и ему очень захотелось прийти сюда с какой-нибудь приличной девушкой. В глубине души он надеялся поговорить с Кэрол о себе и о том, что с ним произошло.

Кэрол на «Крыше» не понравилось, и она предложила пойти в «Чайную миссис Томпсон».

Удивительное это было место! В первый раз почти за полтора года — если не считать трехдневной побывки в Империаме, когда Лэндерс, можно сказать, не успел даже форму снять,— он попал в тихую домашнюю обстановку, где ничто не напоминало ни об армии, ни о войне.

Посетителей в ресторанчике обслуживали три матроны — белые южанки, очевидно вдовы. Помогал им почтенный старый негр, который тоже подавал блюда, но в основном присматривал за хозяйством. За столиками с накрахмаленными скатертями церемонно сидели парочки и небольшие компании, причем одни белые, наслаждаясь изысканной южной кухней и негромкой беседой. На каждом столике стоял пакет с бутылкой виски, к еде подавали также вино, но именно к еде, а не для того, чтобы клиент напился. Военных было совсем мало, и тут они тоже выглядели по-домашнему. На всем лежал отпечаток уюта, достатка и благочинности.

Лэндерс не был в таком месте с университетских времен. Именно так он представлял себе дом и семейный круг, хотя и приходил в отчаяние от своих собственных родителей. Однако девчонку здесь не уломаешь. И не поговоришь по душам о том, что произошло с ним тогда, на холме в Нью-Джорджии. Ни с кем тут об этом не поговоришь. Он и сам-то едва находил слова, когда думал об этом. В таком месте разве тебя поймут? Там и тут — это два совершенно чужих друг другу мира. Их не сблизишь никакими словами и не перекинешь через пропасть мостик взаимопонимания. Неожиданно он почувствовал, как бесит его это показное благополучие, эти белоснежные скатерти и размалеванные старухи, которые любовно готовят изысканные блюда для гурманов. Что он тут делает? Он же предает Уинча, и Стрейнджа, и Прелла, и всех остальных. Лэндерсу хотелось выговориться, но слова застревали у него в горле.

Говорила больше Кэрол — говорила о себе. О своих надеждах и разочарованиях. Она занимается в актерской мастерской под Кливлендом, после зимних каникул снова поедет туда, чтобы закончить последний семестр. Ей пришлось немного пропустить: брат в армии, надо кому-то быть дома. К тому же она не знает, хватит ли у нее решимости одной поехать в Нью-Йорк и начать самостоятельную жизнь, а ей так хочется в Нью-Йорк. И с родителями нелады: старики хотят, чтобы она осталась в Люксоре и вышла замуж за какого-нибудь приличного молодого человека — перспективного. Ну, за адвоката или за подающего надежды врача — неважно. Они, конечно, помогут ей материально, если она поедет в Нью-Йорк, но сумеет ли она пробиться? Продюсеры так и норовят затащить молодую девушку к себе в постель.

Лэндерс слушал вполуха, кивал, беспокойно ерзал на стуле. У Кэрол был прелестный мягкий рот, немного неправильной формы, и оттого еще более очаровательный, и когда она смотрела на тебя, трогательно, стараясь не косить, то казалась такой милой и беззащитной, что хотелось прижать ее к себе, и гладить, и шептать всякие нежности. Лэндерс не мог усидеть на месте. Понятно, почему мужиков в госпитале тянуло к ней. И в то же время сама Кэрол, ее интересы и взгляды только усиливали у Лэндерса чувство вины перед товарищами.

— И как вы, бедняги, выдерживаете? — сочувственно сказала Кэрол, когда речь зашла о госпитале.— Многим ведь снова на фронт.

— А что еще нам остается? — хмуро возразил Лэндерс.— Поэтому и выдерживаем.— Ему еще больше захотелось быть со своими, чтобы вместе надраться и подцепить дешевок.

После ужина они пошли пешком. Лэндерс не бывал в этой части города. Войны здесь совсем не чувствовалось. По обе стороны улицы за высокими старыми деревьями тянулись большие старые дома. Не то чтобы богатые. Но зажиточные. Очень даже зажиточные. Потом они зашли в один из них, дом ее родителей, и скоро уже лежали на диване в гостиной. Богатой гостиной. Все было точно так же, как десятки раз в университетскую пору, когда он приходил к девушкам домой в Блумингтоне или у себя в Империаме. Кэрол включила проигрыватель — она просто обожает Рэя Эберли. Пла-

стинка заиграла «В сквере запел соловей», она сняла очки — она редко их надевала,— и ее фиалковые, глядевшие в разные стороны глаза затуманились слезами. Они лежали, обнявшись, на диване и целовались взасос.

— Послушай, а родители? — встревожился Лэндерс.

— Не смеши,— грустно улыбнувшись, сказала Кэрол.— Они наклюкались и спят без просыпу.

Пластинки в проигрывателе кончились, в нем щелкнуло, и он отключился, но Кэрол не встала. Однако всякий раз, когда он старался добраться до ее груди или по шелковому чулку запускал руку под юбку, она принималась отбиваться что есть силы.

После двухчасовой возни, измочаленный и неудовлетворенный, Лэндерс кое-как поднялся с дивана и, отдуваясь, посмотрел на часы. Пора возвращаться в госпиталь. Кэрол тоже поднялась и, чуть скосив глаза, удивленно смотрела на него, но удерживать не стала. Отворив входную дверь, она задумчиво сказала:

— Не очень-то ты настойчивый.

Лэндерс уже спустился с крыльца, и дошел до середины дорожки, и только тогда понял, что́ она имела в виду. Он хотел было вернуться, но увидел, как в холле погас свет.

Всю дорогу в госпиталь Лэндерс кипел от злости. Его охватила дикая ярость, которая все чаще поднималась в нем в последнее время.

Она была бессмысленна, потому что ее некуда было излить. Некуда нацелить — это тебе не винтовка. И потому, что ярость была беспредметной, она делалась вдвойне дикой.

Несколько дней Лэндерс избегал Кэрол и не показывался в зале отдыха. Он не находил себе места, потому что там собирался весь народ, там преимущественно и шла вся госпитальная жизнь. Когда он, наконец, появился, Кэрол тут же подозвала его и спросила, почему его не видно. Она явно напрашивалась на свидание, но Лэндерс не проявлял инициативы. Он смотрел на нее и вспоминал тот вечер с ней, ужин, благочинную обстановку в «Чайной миссис Томпсон», и его наполняла ярость. Ему хотелось разодрать в клочья их занудное самодовольство, хотелось показать ей и другим, на чем стоят их покой и благочинность. На крови и костях. На перебитых костях Бобби и на пролитой крови Корелло.

Так или иначе Лэндерс не имел сейчас ни малейшего желания назначать свидание Кэрол или кому-либо еще. Подождет — и остальные подождут тоже. Утром Каррен сообщил, что завтра или послезавтра ему снимут гипс. И не только снимут гипс, добавил он, но и отберут костыли. Надо привыкать ходить без повязки и с тростью. Лэндерса охватил неописуемый, панический ужас. Что, если он упадет, подвернет ногу? Тогда, конечно, Кэрол Файербоу и три вдовицы из чайной посочувствуют ему. До чего любит она это словечко — посочувствовать. Если Кэрол и вдовицам он так уж нужен — пусть подождут, черт побери! Может, он как-нибудь и проведет с ней вечерок, а может, и нет.

Церемония вручения наград состоялась через неделю после того, как Лэндерсу сняли гипс. Процедуры делали свое дело, но он отнюдь не был уверен, что сумеет сам дойти до плаца и получить положенное «Пурпурное сердце». Все же он дошел и выстоял под солнцем в строю, хотя ныла нога нестерпимо. А когда ему вручили еще и «Бронзовую звезду», он перестал что-либо соображать. Одно он знал в точности: звезды он не заслужил. И разговора быть не может. Сколько есть других, более достойных.

Когда через два-три дня Каррен предложил ему отпуск на десять суток, Лэндерс немедленно согласился. Из-за ноги стоило бы повременить, но он не мог больше думать о Кэрол Файербоу.

Добираться до Империама железной дорогой было неудобно: в город вели всего две ветки, да еще на пути несколько пересадок.

И все-таки Лэндерс выбрал поезд. При одной мысли, что иначе придется тащиться на автобусе, в тесноте, не повернешься и часами негде размять ноги, а проклятая лодыжка продолжает беспокоить, ему становилось не по себе.

В поезде, однако, получилось не лучше. Не успели они тронуться, как в вагоне, где ехал Лэндерс, началось буйное веселье, а он сидел на своем месте, не двигаясь, раздраженный и злой. Вагон был сидячий — в спальный билеты надо было заказывать заранее, да ему и не хотелось тратиться. Он даже не знал, есть ли в составе «пульманы», и он не пошел в вагон-ресторан, чтобы не перебираться по ходящим ходуном переходным площадкам между вагонами. Уж если в его вагоне было полно подвыпивших военных, то можно представить себе, что творилось в вагоне-ресторане.

Солдатня растеклась по всему вагону. Кому не хватило места, тот сидел на корточках или прямо на полу. Из рук в руки переходили поллитровые бутылки. Две компании в разных концах вагона нестройно затянули песни — каждая свою. Женщины в вагоне натянуто улыбались.

К Лэндерсу подсел полупьяный сержант в форме ВВС из шумной группы, расположившейся посередине вагона, и поинтересовался, почему он не желает присоединиться к ним.

— Ранило меня, в ногу,— сказал Лэндерс, показывая на трость.— Мне ходить трудно, вот почему.

— Какого черта? — обиделся сержант.— Нас на фронт отправляют, могут кокнуть там. Пойдем, пойдем!

— Ну, а я с фронта. И как видишь, не кокнули. Хромай отсюда! — В нем снова закипела знакомая смертельная обида и безрассудная злость.

Сержант язвительно усмехнулся.

— С фронта, говоришь? Ранило? А ты не заливаешь, приятель?

— Нет, не заливаю.

— Эй, ребята,— крикнул сержант своим.— Тут один тип утверждает, что его ранило на фронте. А где же тогда «Пурпурное сердце», а?

Лэндерс медленно перехватил трость пониже, под изогнутую рукоятку, чтобы ткнуть сержанта или огреть его как следует.

— В заднице, вот где. Желаешь посмотреть? — угрожающе выдавил Лэндерс, глядя сержанту прямо в глаза.

Он не знал и не хотел знать, почему он так завелся. Для него это явилось такой же неожиданностью, как и для огорошенного сержанта. На лице Лэндерса появилась убийственная, зверская ухмылка, такая же, какая бывала на лице Уинча, хотя он, конечно, не знал этого. Глаза у сержанта расширились от изумления, хмель как рукой сняло.

— Да нет уж, спасибо, обойдусь как-нибудь.

Встретив такой отпор, он говорил примирительно и старался обратить все в шутку. Но Лэндерса уже понесло.

— Послушай, ты,— сказал он негромким срывающимся голосом.— Тебе известно, что это такое, нет? — Он показал на боевой значок пехотинца над левым нагрудным карманом.— Тебе известно, как это достается? Когда заработаешь такой, тогда и поговорим. А до тех пор заткнись. Проваливай отсюда, чучело летучее!

Испуганный сержант молча поплелся к себе на место. Лэндерсу даже обидно стало. Но какая-то малая, разумная часть его существа была рада. К горлу подступили слезы. Еще момент — и он расплакался бы от бессильной ярости. Дай он волю слезам, наверняка двинул бы парня тяжелой казенной тростью. Прямо по черепушке.

Сидевшая напротив молодая, усталая, измотанная ездой женщина, судя по всему, недавно вышедшая замуж, сочувственно улыбнулась и попыталась завязать с ним разговор.

— Милочка, может, помолчим, а? — стараясь сдерживаться, сказал Лэндерс.— Я сижу, никого не трогаю. Не пристаю к вам, ничего. Помолчите, а?

После этого пассажиры перестали замечать его, словно его и не было. Лэндерс злился, курил и смотрел в окно. Когда поезд прибыл на станцию, где предстояла пересадка, Лэндерс наотрез отказался от помощи и спустился с подножки сам, благо у него была при себе только парусиновая сумка с запасной формой. Впереди его ждала еще одна пересадка.

В местном двухвагонном поезде народу почти не было, не то что в магистральных экспрессах. Лэндерс сидел у окна и глядел, как проплывают мимо поля, вздымаясь иногда на пологих холмах. Дом был близко. Он знал тут каждое деревце. Он всегда проезжал эти места, когда возвращался домой на каникулы.

На старенькой, с зелеными постройками станции как всегда было пусто. И тут сразу же начались неприятности. Двое стариков на зеленой облезлой скамье перед залом ожидания жевали табак и сплевывали на песок. В помещении у телеграфного аппарата сидел кассир в черных нарукавниках и с пластмассовым зеленым козырьком на лбу. Кроме них — ни души. Прошмыгнуть бы мимо, чтобы никого не видеть и ни с кем не разговаривать, и — домой. Но хромать целую милю до центра — это чересчур, у него просто сил не хватит, а палка не поможет. Придется попросить кассира вызвать такси. Но у самых дверей его остановил старик, один из тех, двоих.

— Постой, постой, ты, часом, не Марион, не сын Джереми Лэндерса? — спросил он.— Добро пожаловать домой, парень, добро пожаловать!

Лэндерса подмывало послать его ко всем чертям, но вместо этого он, глядя в сторону, пробормотал: «Спасибо». Кассир приветствовал его почти теми же словами. Он тут же позвонил владельцу такси — в Империаме ходило две машины,— не преминув сообщить, кого он повезет. Лэндерс слушал, как кассир, захлебываясь от восторга, рассказывал о раненом герое-фронтовике, и чувствовал, что падает в пропасть.

Так оно и пойдет, мрачно думал он. Теперь каждая сволочь будет называть его не иначе как героем, вернувшимся с войны. И вдруг он увидел взводы своей роты, ребят, изнемогающих от жажды, их испуганные глаза, глядевшие из-под касок, грязь и щетину на лицах. Эта картина заслонила все: станцию, кассира, такси.

Он не успеет и до дому доехать, как по всему городу разнесется, думал Лэндерс. Так оно и случилось. Когда он ступил на порог, мать плакала в телефонную трубку. Кто-то позвонил ей, чтобы сообщить радостную весть. Скоро пришел из конторы и отец. Ему тоже позвонили. Оба горевали, что он не написал заранее. Местная газета напечатала заметку о его приезде.

Хорошо, хоть сестры не было дома. Она уехала в колледж неделю назад, рассказывала мать, чтобы получше подготовиться к выпускному году. Она немедленно позвонит ей, чтобы приехала. Лэндерс сказал, что никуда звонить не надо, а сам подумал, что и у Кэрол Файербоу выпускной год.

Не успел он оглянуться, как уже поцапался с отцом. Тот не мог понять, почему он не хочет хоть раз надеть ленточки «Бронзовой звезды» и «Пурпурного сердца». Лэндерс пытался объяснить, что это нечестно, недостойно, когда остальные еще там и, может, умирают, но отец не соглашался. Лэндерс совсем забыл, что мог оставить награды в Люксоре, что он привез их специально, чтобы позлить отца. Сейчас ему очень хотелось, чтобы тот его понял.

— Понимаешь, у нас в госпитале никто не носит эти побрякушки,— горячился он.— Мы носим только вот это.

Отец изучил боевой значок пехотинца и, осведомившись, по-

чему он так много значит для них, занудным адвокатским тоном пустился в уговоры. Мать в стороне молча ломала руки. Лэндерс досадливо отмахнулся от отца. Тот не привык к такому обращению, рассердился. Потом, наконец, он раскупорил бутылочку, чтобы отметить приезд сына, и Лэндерс начал накачиваться.

Позднее, вечером, между ними разгорелась уже настоящая ссора. Отец договорился, что Лэндерс выступит в отделении Американского легиона перед участниками первой мировой. Лэндерс наотрез отказался идти. К тому времени он уже так опьянел, что получил выговор от отца. Но на Лэндерса это не подействовало. Он еще круче набирал темп.

И как тут было не пить! Вечером, когда он наконец улизнул из отчего дома, большого особняка на Западной Главной улице, и проковылял два квартала до клуба «У сохатых», каждый из посетителей счел своим долгом поднести ему стаканчик — «за возвращение». Сначала Лэндерс принимал предложения, так сказать, через раз, однако кончилось тем, что он не обидел никого. Куда бы он ни заглянул в городе, все наперебой принимались угощать его. Обход начинался, как правило, в середине дня, в зависимости от того, как рано ему удавалось подняться,— в какой-нибудь бильярдной или баре на площади — и продолжался до поздней ночи. От «Сохатых» Лэндерс, ковыляя, добирался сам, из «Загородного клуба» его кто-нибудь подбрасывал на машине, и он заваливался в постель и спал без просыпу до полудня. Каждый раз у него возникала смутная догадка, что его почему-то побаиваются, но он был уже настолько пьян к этому времени, что ничего не соображал. С отцом и матерью он виделся урывками. Сестра так и не приехала.

Однажды Лэндерса попросили выступить с речью на прощальном обеде для очередной партии новобранцев, который отцы города устраивали по обыкновению в гриль-баре «У сохатых». Организатором, как всегда, был секретарь местной торговой палаты, он же репортер городской газеты. Его-то и осенила блестящая мысль пригласить Лэндерса. Бедняга и предположить не мог, во что выльется его затея, хотя давно славился тем, что вечно попадал впросак. Секретарь подсел к Лэндерсу, одиноко сидевшему за виски в клубном гриль-баре, и тот, помолчав, ответил, что он, конечно, не откажется сказать несколько слов уходящим в армию. Секретарь пояснил, что перед ними выступит сначала священник, который будет говорить о религиозном долге, потом директор средней школы произнесет речь о долге перед обществом, а тренер городской футбольной команды — о патриотическом долге. Вот он и подумал: хорошо, если бы фронтовик Лэндерс сказал несколько слов о воинском долге.

— Отличная мысль,— согласился Лэндерс.

Он разглядывал новобранцев, постепенно заполнявших зал. Их было человек двадцать. Некоторых Лэндерс знал по школе. За исключением одного-единственного молодого человека, все это были сыновья мелких фермеров или фабричных рабочих, которые по бедности не принадлежали к клубной публике и вообще вряд ли бывали в каком-либо клубе, если только не играли — кто за училище, кто за колледж — в футбол или баскетбол. Они, естественно, были подавлены роскошью клуба, и это тоже задевало социальную совесть в Лэндерсе. Он кивнул секретарю.

Пока новобранцы поглощали даровой обед, Лэндерс пил и мысленно готовил речь о воинском долге.

Лэндерс выступал за тренером. Секретарь предварил его выступление восторженным словом о герое войны сержанте Лэндерсе, кавалере «Бронзовой звезды» и «Пурпурного сердца», из скромности не надевшем заслуженные награды. Поднявшись на небольшое возвышение для оркестра, Лэндерс покрепче ухватился за микрофон, чтобы не вздумали помешать, и решил быть покороче. Он начал с заявления,

что с интересом выслушал предыдущих ораторов, хотя и не убежден, насколько то, о чем говорили уважаемые джентльмены, подходит солдату на войне.

— В бою не очень-то думаешь о боге, о четырех свободах или любви к отечеству,— говорил он, широко улыбаясь.— Верно, многие молятся, многие. Но это не то же самое, что исполнение религиозного долга. Одно скажу: тот, кто утверждает, будто в окопах не бывает неверующих, неправ. Под огнем больше всего думаешь, как бы выбраться оттуда и как прикончить противника, прежде чем он тебя прикончит.

Лэндерс заметил, как прямо перед ним секретарь беспокойно заерзал на стуле, изумленно моргая глазами за толстыми стеклами очков. Лэндерс улыбнулся ему.

— Меня попросили сказать о воинском долге,— продолжал он в самый микрофон, разносивший его голос громче и дальше, чем он предполагал.— Так вот, я глубоко убежден, что первейший долг солдата — это остаться в живых.— Лэндерс чувствовал, что расходится.— Мертвый солдат никому не нужен, это первое. Второе: если тебя ранило, вместе с тобой из строя выбывают еще двое или трое, те, которые помогают тебе. Поэтому теоретически лучше тяжело ранить человека, чем убить его. И еще. По правде говоря, я не смею утверждать, что вы идете сражаться за свободу, за бога и за родину, как говорили уважаемые джентльмены. Ни о чем таком в бою не думаешь. Вы будете драться за себя, за собственную жизнь. Вот что надо знать. Вот за что стоит драться. И помните: лучше покалечить человека, чем прикончить его. Да, лучше так — если, конечно, у вас будет выбор, в чем я лично сомневаюсь. Удачи вам, друзья, да благословит вас бог!

Едва он успел закончить, как секретарь торопливо перехватил микрофон.

— Ну а теперь, молодежь, к бару, там для вас кое-что приготовлено.

Раскрасневшись от возбуждения, Лэндерс спустился с эстрады, прошествовал в свою кабинку и взял бокал. Теперь эти сукины дети не сунутся с дурацкими просьбами. Ни один из мобилизованных не подошел к нему и не поблагодарил за речь. Лэндерс не обижался на них, он сидел и улыбался направо и налево. Ему больше не предлагали «сказать несколько слов».

Когда отец узнал о выступлении, они снова крупно повздорили.

В город возвращались и другие раненые фронтовики. Два парня служили в Северной Африке шоферами на санитарных машинах, и обоих отправили домой. Сын владельца аптеки на площади, сержант ВВС, летал на бомбардировщиках. Его подбили где-то над Италией, и он демобилизовался. Но в сентябре сорок третьего их было наперечет, и на каждого смотрели как на знаменитость. Лэндерсу это было неприятно, он чувствовал себя виноватым, словно его заставляли играть чужую роль.

С девицами тоже ничего не получалось. Одни гуляли с парнями, которых вот-вот призовут, другие дожидались дружков из армии, третьи сторонились Лэндерса. Как смущенно заявила одна, он совсем не похож на того Мариона Лэндерса, которого провожали полтора года назад. В госпитале, когда он только что прибыл, он получил три письма. Одно было от родителей, другое от сестры, третье от знакомой девушки. Она писала, что узнала из газеты о его возвращении, что будет рада повидаться, если он приедет домой, что такие, как он, возвращающиеся с фронта, заслуживают всяческого внимания и уважения и, если надо, она готова сделать ради него что угодно.

На пятый или шестой день он позвонил Фрэнсис и спросил, не пойдет ли она с ним вечером на баскетбол. Она ответила, что с удовольствием.

Спортивный сезон еще не начался, но в Империаме обожали бас-

кетбол и решили досрочно устроить показательные состязания. Приглашая Фрэнсис Маккей, Лэндерс не знал, что ее готовность сделать ради него что угодно была простым жестом вежливости.

Когда перед началом встречи оркестр заиграл «Звездно-полосатое знамя», Лэндерс не поднялся вместе со всеми и тем привлек всеобщее восхищенное внимание, хотя никто не проронил ни слова. На «Зеленой крыше» в «Пибоди» и в других люксорских ресторанах перед закрытием всегда исполняли государственный гимн, но ребята из госпиталя сидели как ни в чем не бывало — это считалось высшим шиком. Раз у тебя есть «Пурпурное сердце», вставать вовсе не обязательно, даже если играют гимн. Вдобавок, всем было известно, что у него повреждена нога.

Когда они с Фрэнсис вышли из спортивного зала, лил дождь. Прямо перед ними резко затормозил, качнувшись взад-вперед, малолитражный «додж». В нем сидела пожилая дама по имени Мэрилин Тот, секретарша адвокатской конторы. Всем было известно, что она лесбиянка, но вслух об этом не говорили. Лэндерс тоже знал ее всю жизнь. Она приехала, чтобы подвезти их, решительно заявила миссис Тот. Лэндерс удивленно уставился на нее. Плечи у нее были такие же, как у него, а сил, пожалуй, даже побольше, во всяком случае сейчас. Она могла запросто поколотить его, если б захотела, и она знала это. Фрэнсис Маккей покорно залезла на переднее сиденье. Лэндерсу было предложено сесть сзади.

— Куда вас подбросить? — не церемонясь, спросила Мэрилин Тот.

Лэндерс сказал, что, наверное, к «Сохатым». Когда машина остановилась перед клубом, Фрэнсис обернулась, чтобы попрощаться, но едва Лэндерс успел ступить на тротуар, как «додж» рванул с места и девушку качнуло назад. Озадаченный, оставшийся ни с чем, Лэндерс долго стоял под дождем и смотрел им вслед.

В тот вечер он напился больше обычного — если вообще можно было напиться больше, чем в прежние дни. Он хорошо помнил, как вышел, когда в три часа ночи клуб закрылся. Он хорошо помнил, как решил пройти к площади, чтобы закусить в ночном ресторане. Он помнил, как пересек под дождем голую, без единого деревца, лужайку перед зданием суда. Помнил, как наткнулся на старую бронзовую пушку времен Гражданской войны, установленную на мраморном постаменте посреди лужайки, и какой это было неожиданностью для него, словно она не стояла там всю его жизнь. Помнил, как обнял пушку, потерся щекой о ствол и уронил несколько пьяных слез — а может, это были дождевые капли? — по ветерану, который честно исполнил свой долг, а его бросили здесь одного мокнуть под дождем, и плесневеть, и стариться. Каждый год в День поминовения на лужайке рядами ставили белые кресты, а между ними — искусственные красные маки, много-много маков, и кто-нибудь декламировал «На полях Фландрии». Каждый паршивый божий год. А кто же напишет поэму о них? Как ее назовут? И кто будет декламировать?

Лэндерс помнил, как стоял посреди необъятной неподвижности и смотрел на мерцавшие сквозь моросящий дождь ресторанные огни. Больше он ничего не помнил. Когда он проснулся, голова раскалывалась от тяжести, а глаза слепило солнце, светившее в зарешеченное окно. Он был в камере городской тюрьмы. Дверь в камеру была распахнута. Рядом, на нарах, лежала его трость. Он вышел в коридор и крикнул:

— Эй, есть тут кто?

— Есть, есть, Марион! — донесся из дежурки голос начальника полиции.— Проснулся наконец? Иди сюда.

Начальник полиции, рослый швед Нильсен, сидел за столом. Вид у него был смущенный.

— Какого черта, что произошло? — спросил Лэндерс.

Бездельники, околачивавшиеся в комнате, заулыбались.

— Да ничего особенного, но ты же знаешь своего старика,— ответил Нильсен, словно оправдываясь.— Чарли Эванс, наш ночной патрульный, отвез тебя домой, а Джереми говорит: пусть сначала проспится в кутузке.

— Я что-нибудь натворил?

— Да нет! Просто зашел в ресторан, заказал яичницу с ветчиной и заснул, как мертвый, прямо за столом. Официант толкал тебя, толкал, но ты хоть бы хны. Вот он и позвал Чарли. Тот тоже не смог тебя добудиться и домой отвез. Только Джереми велел тебя сюда притащить.

— Что? Отец?

— Ну да. Зато хоть выспался как следует.— Нильсен улыбнулся.— Совсем неплохо выглядишь.

Лэндерс оглядел себя.

— Ну и видик. Ну, ладно. Сколько я должен, Фрэнк?

— Нисколько, штрафа не будет. А такси уже ждет, Марион.

Лэндерс пожал всем руки.

— Спасибо за гостеприимство.

В зеркальце заднего обзора он видел, как улыбается во весь рот шофер: ему, конечно, все было уже известно. Лэндерс сделал вид, что ничего не замечает.

Дома он принял душ, побрился и надел запасную форму. Мать плакала, умоляла одуматься, пыталась удержать его, но Лэндерс решительно набрал номер отцовской конторы.

— Слушай меня внимательно, сукин ты сын. Я хочу сказать... Не вешай, не вешай!..— заорал он, потом повернулся к матери.— Повесил трубку, гад! Хорошо, ты ему все передашь. Скажи ему, чтобы он забыл, что у него есть сын. Так и скажи! У Джереми Лэндерса нет больше сына Мариона. А я забуду, что у меня есть отец. Поняла?

— Марион, не надо! — запричитала мать.— Ну пожалуйста, не надо, Марион!

— Катитесь вы все! — огрызнулся он и схватил сумку.

На станции он битых полтора часа просидел на зеленой скамье, ожидая поезда. На перроне не было ни души. Лэндерсу не терпелось вернуться к Преллу, и Уинчу, и Стрейнджу, и ко всем остальным. Он вдруг подумал: как там ноги у Прелла — заживают? И когда они, черт побери, начнут лечить Стрейнджу руку?

Обратная дорога показалась Лэндерсу куда легче. Наверно потому, что он здорово разработал больную ногу за эти шесть дней. Он даже отважился ступить на переходную площадку между вагонами и прошел в вагон-ресторан выпить. Как и следовало ожидать, там было полно пьяных. Он сел со стаканом в уголке. Бегло мелькнула мысль о родных, бывших родных, и ему еще сильнее захотелось попасть поскорее в Люксор.

После того как Лэндерс доложил дежурному о прибытии из отпуска на четыре дня раньше срока, он узнал, что во время его отсутствия Март Уинч каждый вечер приглашал Кэрол Файербоу в город.

(Продолжение следует)

ЗЛОБИН ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1927 г.).

Советский литературный критик, переводчик, редактор. Пишет по проблемам зарубежной литературы, в частности по литературе США. В его переводе публиковались произведения Эдгара По, Джека Лондона, Джона Голсуорси, Теннесси Уильямса и других англоязычных авторов.

Из японской поэзии

Перевод с японского и вступление Т. СОКОЛОВОЙ-ДЕЛЮСИНОЙ

Освоение поэзии (да и в целом культуры) другой страны — процесс до некоторой степени парадоксальный. С одной стороны, всегда возникает желание найти в чужих поэтических образах нечто близкое, созвучное себе, с другой — ощутить новизну и необычность их национального звучания. На первый взгляд одно исключает другое, но на самом деле это не так, ибо истинное сближение только и возможно в результате проникновения в «чуждое», «отличное», то есть в то неповторимое своеобразие, которое обусловлено художественными традициями данной страны.

Поэтому ощущение близости приходит не через установление поверхностного сходства (которое к тому же слишком часто оказывается чисто случайным). Вхождение в иноязычную поэзию неизбежно связано с приобщением к определенной системе, в которой живет и развивается эта поэзия. Новизна и необычность могут вызывать интерес, но по-настоящему трогает нас и находит в нас отклик лишь подлинное, живое, то, что уходит корнями в духовную культуру народа.

Замечательно, что эта удивительная животворная сила национальных традиций ощущается и в тех случаях, когда все, казалось бы, говорит о полном от них отходе.

Свободный стих (дзиюси), с начала нашего века получивший распространение в японской поэзии, может на первый взгляд показаться полным отрицанием классических форм (танка, хайку), результатом исключительного влияния западноевропейской поэзии. Влияние это действительно было очень велико, но вряд ли только им можно объяснить распространение свободного стиха в Японии. Видимо, в самой поэтике японского стиха таились возможности, благоприятные для усвоения именно этой формы. И в самом деле, не соответствует ли именно свободный стих принципам «естественности» (дзинэн), «простоты» (собоку), игравшим весьма существенную роль в японской культуре? И не зря многие из современных японских поэтов, начавших с отрицания национальных традиций пришли в конце концов к признанию своей неразрывной с ними связи. «При всем моем преклонении перед западной поэзией,— писал Котаро Такамура, которого справедливо называют «отцом современного японского стиха» [1],— мои стихи — и это не вызывает никаких сомнений — имеют иные корни». Корни эти — в японской поэтической и культурной традиции, в основе которой — стремление проникнуть в глубинную гармонию образа через внешнюю произвольность, ассиметричность, непритязательность его художественного обличья.

Три японских поэта, представленных в этой подборке, принадлежат к разным поколениям, их жизненные пути различны, они не похожи друг на друга по характеру поэтического видения, однако читатель ощутит и внутреннюю созвучность их поэзии: их стихи в своих интонациях, в своей образности глубоко связаны с традициями японской культуры.

Есть еще одно обстоятельство, роднящее этих поэтов, несмотря на несхожесть их поэтических дарований. Ко всем троим могут быть отнесены когда-то адресованные Симпэю Кусано слова Котаро Такамура: «Быть поэтом —это не привилегия. Это — неизбежность».

---

[1] Стихи Котаро Такамура в переводе В. Марковой и вступление см. также в «ИЛ», 1980, № 7.

КОТАРО ТАКАМУРА

Живое

Надо всем потешаться? Или все принимать всерьез?
Скажешь: «Это вам не игра» — сочтут простаком.
Скажешь: «В мире все — лишь игра» — самому станет
грустно.

Я живой ведь, такой же, как вы.
Подобно газетным листам, подхваченным ветром,
Влекусь унылый, жалкий и бездомный.
О, дайте живому жить, как он хочет,
Пока не смоет его этот дождь...

Пришла зима

Пришла зима уверенно и властно.
Исчезли белые соцветия аралий,
И ветви гинко растопырились метлой.

Пришла зима — пронзительно-тревожная,
Зима, которую так ненавидят люди.
Пришла зима. К земле пригнулись травы, исчезли
насекомые.

Зима!
Приди ко мне, приди же, о зима!
Во мне ты силу обретешь, моею станешь пищей!

Проникни в поры, просочись, пронзи насквозь!
Зажги в душе огонь и снегом завали!
Пришла зима, блистая, как кинжал...

Осенняя молитва

Голос осени там, в вышине,— трепетно-звонкий.
Голубой и прозрачный воздух. Птицы летят.
Вдруг взыграет душа,
В сердце вольются светлые, чистые струи,
И, глаза распахнув, оно
Обретет невинность младенца.

Из путаницы сплетений вдруг возникает прошлое,
В мои жилы вливая живую кровь.
Осенним солнцем согретый, тихо вглядываюсь в него.

КОТАРО ТАКАМУРА (1883 — 1956).

Японский поэт и скульптор. Учился ваянию в США и Европе. Автор нескольких поэтических сборников, среди которых «Вехи» (1914), «Дикие звери» (1928), «Стихи к Тиэко» (1941), «Образцы» (1950) и др. Перу Котаро Такамура принадлежат также многочисленные эссе. В его переводах в Японии были изданы произведения Ромена Роллана, Э. Верхарна, У. Уитмена.

На русском языке стихотворения Котаро Такамура публиковались в «Иностранной литературе» (1980, № 7) и альманахе «Дневная звезда» (М., 1974).

Предлагаемые стихотворения взяты из сборников «Вехи», «Стихи к Тиэко», «Стихи Котаро Такамура» (1955).

Благословляю действие сокрытых сил земли
И вехи своего пути перебираю, стыдясь и трепеща.
И ревностно молюсь,
Не зная слов молитвы.
Струятся слезы.
Ослепленный светом,
Я вижу — падают на землю листья с веток,
Я вижу — пробегают мимо, шурша в кустах, какие-то зверьки.
Я вижу — облака плывут, под ветром гнутся травы.
Я вижу в этом четкий ритм причин и следствий,
И в сердце — благодарность и любовь,
И нестерпимое сознание вины.
Переполняют
Радость, горечь, страх — я падаю бессильно на колени.
Не зная слов молитвы, просто
Молюсь, с надеждой в небо устремляя взор.

Голубой и прозрачный воздух.
Голос осени там, в вышине — трепетно-звонкий...

Детский разговор

«В Токио нет неба»,— говорит Тиэко [1].
«Мне б увидеть настоящее небо», — говорит Тиэко.
Удивленный, поднимаю глаза:
Между нежными листьями вишен
Бесконечное, беспредельное,
Родное, прекрасное небо.
На горизонте в облачных размывах
Утренняя розовая влажность...
Но куда-то далёко глядя, говорит Тиэко:
«Там, над горой Ататара,
Каждый день голубое небо,
Настоящее небо Тиэко».
В разговорах о небе, как дети...

Тиэко играет с чайками

Безлюдно побережье Кудзюкури.
Тиэко одна на песке играет.
Следы, следы вокруг...
Слетаются к Тиэко чайки, друзья ее, зовут Тиэко:
Ти-ти-ти-ти-ти...
Что-то шепчет тихонько Тиэко,
Руки к ним протянув, зовет:
Ти-ти-ти-ти-ти...
Ракушки в руках у Тиэко, чайки к ним тянутся, горстью
Бросает ракушки Тиэко на песок.
Смотрят, столпившись, чайки,
Зовут по имени Тиэко:
Ти-ти-ти-ти-ти...
Дела людские отбросив, ушла навсегда Тиэко
В запредельный, извечный мир.
Фигурка ее одинокая скоро исчезнет вдали...
Сосновой пыльцою осыпанный,
Буду вечно стоять в этой роще,
Освещенной закатным солнцем,
Стоять и смотреть на нее...

[1] Жена поэта, безумие и ранняя смерть которой были большим потрясением в жизни поэта. *(Здесь и далее прим. перев.).*

Одиноко живу и сам готовлю себе пищу

Я не совершал еще ничего, достойного похвалы.
Да, ничего такого не в силах извлечь из памяти.
Нет у меня ни отца, ни матери, ни жены, ни детей.
Есть лишь щепки да глина, пыль да клочки бумаги.
Листья трав я срываю и кладу в свой котел.
Их съедаю, выданный рис припрятав.
В моей кухне огонь разжигает Рикю [1],
В кабинете — сидит неподвижно Риндзай [2].
В мастерской — бесконечно неспешен процесс созиданья.
Шесть десятков — не сон они и не явь.
За прикосновениями рук уходят в прошлое годы.
Дни и ночи приходят, как положено им приходить.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть... — говорит некий монах.

Сижу в одиночестве

Ночью неистовый ливень стеной окружает дом.
Я один, в опустевшем жилище не водятся даже мыши.
В руке моей — карп, его вырезать из дерева начал недавно.
Чешуя, касаясь ладони, странно ее холодит.
В углах темнеет, сгущается что-то,
Все ближе, ближе ко мне подступает.
Пристально смотрят глаза карпа.
Не убирая руки, задерживаю дыхание.
Прислушиваюсь к ночному летнему ливню.
Мне кажется, я где-то на неведомой далекой земле.
Мне кажется, я где-то в совершенно ином мире.

СИМПЭЙ КУСАНО

Дождь

Линия Ситодайра. По бумажным зонтам
Стучат струи дождя,
Дружно падающие из далеких небесных глубин.

[1] Рикю (Сэнсо Эки, 1522—1591) — один из основателей чайной церемонии.
[2] Риндзай (кит. Линьцзи, ? — 867) — патриарх одной из ведущих сект чань в Китае.

СИМПЭЙ КУСАНО (род. в 1903 г.).

Японский поэт. Учился в Китае, изучал китайскую классическую литературу. Первый поэтический сборник Симпэя Кусано «Сотый класс» вышел в 1928 году. Предисловие к нему было написано учителем поэта Котаро Такамура. Среди других сборников поэта наиболее известны «Лягушки» (1938), «Гора Фудзи» (1943), «Япония-пустыня» (1958), «Небо» (1961), «Бивни мамонта» (1966) и др.
Автор ряда статей о литературе. На русском языке его стихотворения публиковались в сборнике «Из современной японской поэзии» (М., 1981).
Стихотворения, вошедшие в подборку, взяты из сборника «Прекрасные виды» (1940), «Гора Фудзи», «Небо».

Стучат струи дождя, и зонты жмутся ближе, плотнее
к земле.
Жадно впитывает влагу дорога,
Зажатая яблоневыми садами.
Точка.
Точка.
Позывные дождя.
Туман, окутавший землю, устремляется вверх, к небу.

Камень

Дождями исхлестанный,
Одинокий,
Стоит камень,
Сохраняя в себе миллионы прошедших лет,
Посреди зыбкой,
Тускло мерцающей дымки.

Громко смеется Фудзи

Вдруг обрушить на Фудзи
Поток человеческих слов. Такие
Глупые мысли приходили ко мне в тот вечер.

Я шел вдоль трамвайной линии, откуда не видно Фудзи,
И вдруг услыхал
Чудовищный, оглушительный хохот.
Не смех, не гневный оклик, не крик угрозы.

Почудилось, что Фудзи, расколовшись,
Исторгла хохот — хриплый и раскатистый, похожий
На дикий клич, и содрогнувшись,
Я остановился.

Нелепыми гирляндами — трамваи.
Сквозь пыль и скрежет, пыль и скрежет, грязные
Гирлянды — символ нынешнего века.

Тут Фудзи захлебнулась в кашле, будто
Раздался хрип астматика-кита.
Вот-вот настигнет. Этот кашель рядом
Я слышал явственно.

Bering-fantasy[1]

1

Море вслушивается в плеск своих волн.
Небо всматривается в свои глубины.

Волна разбивается под натиском волны.
Небо теряется в беспредельности неба.

Море вслушивается в плеск бесплотных волн.
Небо вслушивается в голос бесплотной пустоты.

[1] Фантазия Берингова моря *(англ.)*.

2

Месяц по небу скользит.
Айсберг.

Всплеск веселья.
В волнах играющий
Кит.

3

На тихое лицо заснувшего моря
Опускаясь, мириады снежинок тонут.
Сверкающие сопутники, спешащие к смерти,
Оспаривают первенство друг у друга.
Смерти самой спокойнее,
Снежинки, снежинки
Тонут.

ТАКАЮКИ КИЁОКА

Неприятные обстоятельства

Из-за тайфуна остановился трамвай, я вышел на
незнакомой улице.
Забыв о работе, шагаю куда глаза глядят. Утренняя
прогулка.
Сколько идти мне до дома по пустынной, открытой ветрам
дороге?
Шел, шел и набрел наконец на остановку, ту, где сошел
с трамвая.

Друг против друга

Женщина, забыв обо всем, прихорашивается перед
зеркалом.
В его пространстве нет места ни для любовника, ни для
божества.
Через плечо улыбается той, в зеркале, думая об одном —
Как бы поймать ее пустой взгляд.

ТАКАЮКИ КИЁОКА (род. в 1922 г.).

Японский поэт и прозаик. Окончил отделение французской литературы университета Тодай. Автор нескольких поэтических сборников, первый из них, «Замерзшее пламя», вышел в 1959 году. Автор романов «Флейта и гобой» (1970), «Акация в Дальнем» (1971), «Зрачок моря» (1971) и др.
На русский язык переводится впервые. Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Картинки четырех времен года» (1966), «Стихи Киёока Такаюки» (1968).

Лунный свет

Сколько раз именно тебя выбирали, чтобы спросить
дорогу?
Днем — это извечный удел добросердечных людей.
Но вот — перекресток. Час ночи. Лунный свет.
Вдруг понял, что сам не знаю, где нахожусь.

Посредством слуха

Когда в унынии душа — не надо музыки.
Спеши туда, где есть лишь воздух, вода и камни,
Чтоб в одиночестве вкушать безмолвие. Издалека
К тебе придут слова, и сможешь жить.

В кафе

«Брошу службу и уеду в Париж. Муж давно зовет меня»,—
Молодая редакторша тихо призналась. В тот вечер
Стихи, что никак не писались, внезапно
Возникли во мне. Как робкая влюбленность.

Дрёма

Не просыпайтесь вечером, когда
Ласкающая тьма сплавляет все вокруг в эфемерно-далекое.
Не догоняйте неуловимо ускользающую тень
Томительной печали, вослед за сном приходящей.

Далекое расставанье

Тихая ночь. Скоро, может быть завтра, придет весна.
Ложусь рядом с маленьким сыном и в спящем лице
почему-то
Вижу, каким оно будет в миг моей смерти.
Вдруг отчетливо представляю себе его изумленье, печаль,
страх.

Печатка

Диковинная вещица, она у меня давно.
Печатка из слоновой кости — подарок матери
к шестнадцатилетью.
Пережившая и войну, и женитьбу мою, она
Словно палец шестой, плоть от моей плоти.

Неизвестному другу

Что для меня критика? Попытка
Рассказать о неясной еще самому любви к предмету.
Не приближайся ко мне. Не удаляйся от меня.
Стань там, откуда лучше меня видно.

Близится весна

Коричневый? Может быть, черный? Или в городе
безопаснее желтый?
Опережая время года, в универмаге цветут цветы.
Ранец для сына, поступающего в начальную школу. О да,
Как это было давно! Тогда от покупок чаще билось сердце.

Забавы песка

Долго, до изнеможенья, влекло вас морское теченье.
Волны в извечно ритмичном движенье бросали на берег.
Ветер сдувал, ливни мочили, солнце сушило
Брошенные на волю судьбы слабые крошки-песчинки.

В отдельности — не различишь — воплощенье свободы,
Вечно живой, пока существует жизнь.
Вместе — стирают следы человеческих войн и страстей,
Все исчезает, все тонет в нежно-жестокой сыпучей
трясине.

Зачем же песчаный берег, забавляясь, меняет грим?
Ветер погладит — полосатым узором украсится,
Дождик прибьет — в орнаменте причудливой кожи
гусиной.

О, запредельно непостижимая солидарность песчинок!
Шагаю вперед и вперед в глубоком раздумье,
В каждой песчинке видя голубой и далекий земной шар.

Дом моих грёз

Лишь иногда во сне вспоминаю
Маленький светлый дом, построенный лет двадцать назад
На клочке выжженного, заросшего сорняками
послевоенного поля.
Тихое счастье, обретенное и тут же забытое.

Ах нет, ничего этого ведь не было на самом деле.
Только мечты бестолкового молодого глупца
О собственном гнездышке
Для себя и беременной юной жены.

Почему же даже теперь мысль об этом домике грез
Заставляет вздрагивать во сне меня, имеющего
собственную квартиру?
Или это тоска по нищенской юности?

Снятся мне по ночам голубые циновки,
Ласточки на изгороди, желтые цветы за окном,
Дом, которого никогда не видел никто...

■

СОКОЛОВА-ДЕЛЮСИНА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА

Советский переводчик с японского. В ее переводе вышел сборник драм театра Но «Классическая японская драма» (1979), в сборнике рассказов японских писателей XX века напечатаны ее переводы рассказов Дадзая Осаму.

ЛИСАНДРО ОТЕРО

Генерал на коне

ПОВЕСТЬ-ПАМФЛЕТ

Перевод с испанского ЮРИЯ ДАШКЕВИЧА

I

В ту ночь генерал Анисето Мендоса спал беспокойно: виделись ему землетрясения, столь часто случавшиеся в его стране. Подземные толчки, сейсмические колебания да и вулканические извержения каждодневно отмечались в этой части Латиноамериканского континента. Здесь протянулись горные хребты Анд со своими огнедышащими жерлами — в западное побережье упиралась тихоокеанская зона вулканов, и каждый сказал бы, что масса раскаленной магмы бурлит с особенной силой как раз под землями беспрерывно потрясаемой республики Рио-Тинто.

Об этом размышлял генерал Мендоса, пока завтракал, машинально пережевывая кусок. Еще не рассвело, но он имел обыкновение подниматься до зари — и после ухода в отставку не расставался с армейскими привычками. Уже лет пять минуло с того дня, как генерал оставил военную службу, распрощавшись с поистине блистательной карьерой: ведь генералом он стал в двадцать лет! Правда, не очень-то благоволившая к генералу Мендосе судьба не дозволила ему завоевать лавры на ратном поле — своим продвижением по службе он обязан был лишь президентским декретам да благосклонности властей предержащих.

Ступив на политическую стезю, он был сенатором, председателем сената, трижды министром и два раза послом. А последние выборы вынудили его удалиться на свою асьенду в Тамбо.

Генерал завтракал в одиночестве, как всегда. Так же, как всегда, брился клинковым лезвием золингеновской бритвы, с которой не разлучался добрых три десятилетия. Чоло сварил ему яйцо вкрутую, подогрел пирожки, приготовил кофе. И как только послышался стук сапог генерала, спускавшегося по ступенькам лестницы из спальни, Чоло открыл двери кухни, держа в руках поднос.

Завтрак уже подходил к концу, когда в столовую вошел управляющий дон Абундио за распоряжениями на текущий день.

В это утро, все еще не оправившись от кошмара землетрясений, генерал ответил на приветствие дона Абундио неразборчивым бормотанием, и тот никак не мог понять, то ли это было обычное «доброе утро», то ли хозяин попросту поперхнулся кофе. Доложив о недавно приобретенных бычках и о жеребцах, отобранных для родео в Сан-Фелипе, дон Абундио осведомился: не пожелает ли генерал посетить

ЛИСАНДРО ОТЕРО — LISANDRO OTERO (род. в 1932 г.)

Кубинский писатель, публицист, дипломат. Образование получил в Гаванском университете и в Сорбонне. Участник подпольной борьбы против диктатуры Батисты. В литературе дебютировал сборником рассказов «Сигара для страстного четверга» ("Tabaco para un jueves santo", 1955). Автор романов «Ситуация» ("La situación", 1963; на русском языке издан под названием «Так было» в 1966 г.), «Страсти по Урбино» ("Pasión de Urbino", 1966), «В таком же городе» ("En ciudad semejante", 1970), сборников очерков «Куба: зона аграрной реформы» ("Cuba: Z.D.A.", 1960), «Хемингуэй» ("Hemingway", 1963), «В поисках Вьетнама» ("En busca de Viet Nam", 1970) и др. Повесть-памфлет «Генерал на коне» ("General a caballo") печатается по изданию Editorial Letras Cubanas, Ciudad de La Habana, 1980.

загон, чтобы взглянуть на животных до того, как их отправят на пастбище. Генерал велел подождать его — «поедем вместе»,— положил салфетку возле чашки и направился в библиотеку.

Всякий раз, переступая порог библиотеки, которой он так гордился, дон Анисето Мендоса вновь и вновь ощущал, как возвращаются к нему слава и блеск былых времен. На белых стенах просторного зала красовались фотографии в строгих черных рамках и почетные дипломы в позолоченном багете, с сургучными печатями и пурпурными лентами. Фотографии свидетельствовали о государственной деятельности генерала: президенты, которым он служил, надписывали для него свои портреты, на других снимках фигурировал он сам с коллегами по совету министров, а то с членами парламента во время заседаний либо позировал в посольском мундире с золотым позументом и треуголке с белым плюмажем — один или с главами иных государств. Дипломы вносили свои краски, удостоверяя его награды: Большой крест святого Хенаро, Академические пальмовые ветви, аксельбанты Лазурного агнца, Сиракузская звезда первой степени, командор ордена Малинсских монахов-терциариос, другие, не столь важные. Две стены были заняты дубовыми книжными шкафами, сверкали золотом инициалы, вытесненные на корешках кожаных переплетов. Генерал любил подчеркивать, что у него собраны труды чуть ли не всех национальных героев Латинской Америки, в его библиотеке можно было встретить все касавшееся Марти, Боливара, Сан-Мартина, О'Хиггинса, Сукре, Идальго, Бельграно, Артигаса, Паэса, Паулы Сантандера среди других. Годы назад дон Анисето Мендоса попытался внести и свой вклад в латиноамериканскую историографию, опубликовав книгу о значении Встречи в Гуаякиле[1]. После появления сего опуса дона Анисето на родной земле стали считать государственным мужем, политиком высокой культуры, общественным деятелем, причастным к словесности. Естественно, в той стране, где неграмотные составляют примерно семьдесят процентов населения, всякий, кто сумел так или иначе оттиснуть свое имя на обложке книги, завоевывал особый престиж.

Да, дона Анисето здесь почитали. По воскресеньям, лишь солнце клонилось к закату, выходили на прогулки по аллеям парка, соседнего с асьендой, супружеские пары — напудренные, благоухающие дешевым одеколоном женщины в нарядах из ярких набивных тканей и мужчины в импортных кашемировых костюмах,— тут же шествовал и генерал. В ореоле респектабельности он не спеша вышагивал, отвечая на поклоны легким кивком головы, прищурив глаза. Таков был ритуал, принятый всеми. Ответное приветствие дона Анисето расценивалось как знак открытого признания веса человека в обществе, а потому многие таили надежды: вдруг патриарх обратит и на них внимание, рассчитывая, что мановение его руки ниспошлет на них благодать. Обласканные его милостью выказывали своему благодетелю наинижайшее почтение, целуя его руку, робко прикасаясь к его одежде, будто стремясь причаститься его святости. И не было ничего удивительного в том, что на каждых выборах дон Анисето или кандидат, которому он покровительствовал, одерживали неизменную победу, да еще с сенсационным преимуществом, и сопернику не удавалось спастись от насмешек.

Повседневная жизнь на асьенде в Тамбо протекала в строгом соответствии с церемониалом некой абсолютистской монархии. За обедом сходились все члены семьи: три сына генерала со своими женами, восемь внуков и супруга — молчаливая, терпеливая донья Энграсия. Отборнейшего английского фарфора супница высилась посреди стола, и донья Энграсия массивным серебряным половником разливала первое — вначале мужу, который немедля принимался за еду, не дожидаясь, когда тарелки всех остальных будут наполнены. Затем донья Энграсия наливала суп сыновьям, дону Абундио и, наконец, невесткам и внукам. К обеду дон Абундио появлялся в местном крестьянском костюме, однако вместо обычной суконной блузы на нем красовалась куртка из белой замши, а на брюках сверкала серебряная вышивка. Время за обедом проходило в атмосфере безмолвного почитания хозяина дома, поскольку генерал запрещал всякие разговоры. Единственно кому разрешалось нарушать обет молчания, так это донье Энграсии, которая порой, и то шепотом, отдавала распоряжения служанкам.

Послеполуденные часы подчинялись зною, лени, сиесте — и только пение кана-

[1] Речь идет о встрече двух руководителей национально-освободительной борьбы в Южной Америке Симона Боливара и Хосе де Сан-Мартина 26—27 июля 1822 года в Гуаякиле (Эквадор).

реек на галерее в какой-то степени нарушало тишину. Вечером генерал ужинал, уединившись в зале верхнего этажа рядом со своей спальней. Чашка чаю, тосты с медом, несколько ломтиков сыра, кое-какие фрукты составляли его ужин. Зимними вечерами, прежде чем погасить свет после чтения, он приказывал принести ему чашку горячего и густого шоколада.

Нельзя сказать, что генерал преднамеренно придерживался строгих ограничений в своей жизни, однако он шел всегда своим путем, и этот путь не был легким. Его отец, рабочий канатной мастерской, умирая, оставил ему в наследство только свою поношенную одежду. Анисето вступил в армию новобранцем и вскоре же выделился своей дисциплинированностью, исполнительностью и исключительной трудоспособностью. Он, сдавалось, не знал усталости и лишь искал случая оказать какую-либо услугу начальникам, в том числе и чрезвычайного порядка, явно выходящую за рамки служебного долга, скажем, разделяя ложе супруги своего лейтенанта. По некоторым слухам, именно ей он был обязан своим первым повышением. Или, например, будучи капралом, он помог одному полковнику вывести из лагеря грузовик с медицинскими препаратами для продажи на черном рынке. Находясь тогда на посту, он пропустил машину, и позже полковник достойно отблагодарил его, повысив в сержанты.

Начав курс обучения, он проявил такое усердие на вечерних занятиях, что получил стипендию в кадетском корпусе, традиционно предоставляемую лишь сыновьям четырехсот семейств, заправляющих страной. Из корпуса он был выпущен младшим лейтенантом, а спустя несколько лет — на этот раз уже законным путем — дослужился до капитана. Участие в государственном перевороте, завершившемся полным провалом, принесло ему чин полковника. Тогдашний президент, которому посчастливилось не быть свергнутым, заблаговременно — до решающей минуты — достиг соглашения со своим соперником, поскольку не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы выстоять еще против одной попытки мятежа. Своих противников он наградил, и те перешли в стан его единомышленников и соратников. Так Анисето Мендоса добрался до командных высот и теперь принимал участие в политических интригах и государственных перетасовках.

Вместе с тем дон Анисето не забывал как следует обеспечить себе старость: военная пенсия не слишком-то велика. Еще будучи капитаном, он выгодно приобрел асьенду, переданную на торги ввиду истечения срока ипотеки. Используя свое положение, он приказал на этих землях провести маневры пехоты, тем самым воспрепятствовав другим конкурентам участвовать в торгах. После его производства в полковники президент республики презентовал ему управление таможней в Тамбо. А поскольку речь идет о морском порте, да к тому же в пограничном городе, то можно себе представить, как процветала там международная контрабанда. Дону Анисето текли проценты с пошлины на каждое изделие электропромышленности, ввозимое в страну.

В те годы, когда генерал заседал в парламенте, он стал тщательнее заботиться о собственной репутации и уже не позволял себе заниматься мелочами. Им была основана компания по гражданскому строительству, а через нее он заполучил немало правительственных заказов. Если какой-нибудь мост не выдерживал расчетной прочности из-за плохого качества железобетона, если какая-нибудь школа не досчитывалась одного класса, предусмотренного планом, то никому и в голову не приходило выражать неудовольствие. Тем более что уполномоченные по приему строительных объектов получали соответствующий процент комиссионных от суммы, установленной контрактом.

Вот так к закату своей жизни Анисето Мендоса оказался не только виднейшим военным и политическим деятелем, но и владельцем одного из крупнейших состояний в стране.

Этим утром, расположившись в кресле, покрытом шотландским пледом, генерал предавался раздумьям. Он вспоминал о своей прошлой славе и о долгих годах службы отечеству. Размышлял о сладости власти и горечи, причиняемой людьми. В памяти всплывали факты предательства и проявления неблагодарности, что порой выпадали на его долю. Волновали воспоминания о женщинах, которых он любил. Все чаще на этом этапе жизни он как бы подводил баланс, итог содеянному на земле. Его умозрительные упражнения как бы возмещали его пассивность. После

многих лет бурной деятельности покой на асьенде представлялся невыносимым. Внуки, сад, чистокровные скакуны, племенной скот, доклады о ходе сбора урожая, конечно, не могли удовлетворить того, кто ранее вел столь активный образ жизни.

Наконец он поднялся с кресла, решив направиться в патио, где его поджидал дон Абундио, но вошел Чоло и доложил, что генерала просят к телефону. Чоло включил телефонный аппарат в библиотеке и передал Мендосе трубку. Оказывается, с ним говорил адъютант генерала Пеньяльвера: шеф намерен нанести визит дону Анисето. Генерал Пеньяльвер отбыл из столицы более часа назад и, несомненно, с минуты на минуту должен приехать в Тамбо. Генерал Пеньяльвер просил передать дону Анисето, чтобы тот подождал его.

Криспуло Пеньяльвер был его другом еще с тех лет, когда оба одновременно поступали в кадетский корпус. Пеньяльвер — военная косточка. Пока Анисето Мендоса изучал труды по истории, философии и экономии, Криспуло интересовался лишь стратегией, логистикой, проблемами передислокации частей и соединений, вопросами наступления и обороны, баллистикой и артиллерией. Что касается политики, то его знания в этой области были более чем скромными. В его представлении сосуществование людей основывается на порядке, если же порядка нет, то возвращаются времена варварства. Нация — не что иное, как согласие интересов, обеспечивающее упорядоченное существование. Армия, по убеждению Пеньяльвера,— высший гарант порядка и основа основ организованной нации.

Генерал Мендоса начал строить всяческие предположения насчет нежданного визита. Пеньяльвер, являясь начальником генерального штаба, в тесных армейских кругах был известен своей антипатией к президенту Ортису и обвинял последнего в слабости перед нажимом более могущественной оппозиции. Чтобы удержаться на своем посту, президент пытался достичь перемирия, установив равновесие сил, прибегал ко всякого рода маневрам, к закулисным сговорам в парламенте, к салонным интригам, к жонглированию постами в правительственном аппарате, к сделкам, дипломатическим уловкам, переговорам. Однако оппозиция оказалась хитрой и энергичной, будоражила страну непрекращающимися протестами, создала обстановку напряженности и тревоги за судьбу нации, недоверия к способности исполнительной власти управлять государством.

Пеньяльвер — сторонник «твердой руки», сурового усмирения протестующих, быстрейшего восстановления порядка. Президент Ортис еще сопротивлялся. Снова и снова Пеньяльвер просил разрешения вывести войска из казарм, но всякий раз президент отказывал ему в этой просьбе.

Генерал Мендоса прикидывал: быть может, Пеньяльвер решился на свой страх и риск бросить танки на улицы? От него всего можно ожидать. Начальнику генерального штаба было уже за пятьдесят, но он сохранил прямую осанку, чему способствовали и его худощавость, и многолетний режим воздержания в условиях армейской жизни, занятия спортом, привычка переносить дожди и холода, верховая езда, экспедиции в горы. Это был не человек, а нерв и мускул. Склонный к насилию, он обладал сангвиническим темпераментом, что подтверждали вздувшиеся жилы на шее, готовые вот-вот вырваться из оков накрахмаленного воротничка кителя.

Генерал Пеньяльвер так быстро перешел к занимавшей его проблеме, что Мендосе ничего иного не оставалось, как опять опуститься в кресло. Вчера вечером на заседании совета министров, срочно созванном в связи с нараставшей волной забастовок, Пеньяльвер снова предложил ввести войска на заводы и фабрики и, кроме того, запретить профсоюзы. Президент Ортис возражал, но многие министры не поддержали главу государства. Аргументируя свою точку зрения, Ортис заявил, что переговоры с забастовочными комитетами значительно продвинулись и разрешения конфликта следует ожидать уже в ближайшие часы.

После заседания совета министров, как только президент Ортис удалился в свои личные апартаменты, министры окружили генерала Пеньяльвера. Во имя спасения родины пора действовать, заявили ему. Созерцанию, примиренчеству пора положить конец, наступило время решительных мер.

Прибыв в генеральный штаб, генерал Пеньяльвер вызвал к себе других военачальников. Все встали на его сторону. До государственного переворота оставались считанные часы. Полетели шифровки в гарнизоны, на которые мог рассчитывать Пеньяльвер. Был отдан приказ об аресте тех генералов, которые, как можно было предположить, не присоединились бы к выступлению. Предусмотрено занять теле-

фонную станцию, электростанцию, радиостанцию. Составлены решения о роспуске правительства, о введении цензуры печати. Был подготовлен еще один декрет, прерывающий деятельность парламента на сорок пять дней и объявляющий осадное положение в стране. Конституционные гарантии отменялись на тот же срок.

И вот тут-то возникла загвоздка: а кем заменить президента Ортиса? Многие офицеры называли имя генерала Пеньяльвера. Однако он, подчиняясь голосу разума, снял с себя такого рода ответственность. Пеньяльвер отдавал себе отчет, что в стране он не найдет опоры. Многие боялись одного его имени, народу же он был неизвестен, да и не обладал нужным даром божьим, чтобы руководить массами. Необходим был кто-то другой, кто разделял бы его точку зрения и в то же время имел бы опыт гражданской деятельности, пользовался бы престижем у политических деятелей, предпринимателей, дипломатов, журналистов. Долго не могли подобрать подходящую кандидатуру, пока сам Пеньяльвер не подбросил идею, которая, впрочем, родилась у него еще несколько месяцев назад, когда он прикидывал кое-какие планы, обдумывая возможности возникновения подходящей обстановки в стране, как это и подтвердилось ныне: следует призвать того, кто шпагой и пером уже доказал свои способности и мог бы обещать гарантии всем гражданам, а именно — генерала Анисето Мендосу. Кто другой будет лучшим кормчим на корабле в момент бури? Все офицеры единодушно приветствовали это предложение.

Остальное — как обычно. В шесть утра операция завершилась. Президента Ортиса препроводили в аэропорт, посадили в самолет, приказав доставить его в столицу соседней республики Сан-Никаринго. Пеньяльвер, удостоверившись в том, что полки в провинции его поддерживают, предстал перед генералом Анисето Мендосой и предложил ему взять на себя руководство объединенной и умиротворенной нацией.

Перед генералом Мендосой было напряженное, с впавшими глазами лицо старого друга. Генерал вполне отдавал себе отчет в том, что не располагает временем для трезвого анализа и каких-либо консультаций. Единственным поручительством по векселю был благоразумный и расчетливый характер Пеньяльвера: тот никогда не бросился бы в авантюру, если бы не был уверен в успехе. У генерала Мендосы оставалось три пути: слава, изгнание или отставка. Президентство — мечта, от которой он давно уже отказался, считая ее невыполнимой. И вот, когда кресло главы государства казалось совершенно недосягаемым, этот пост шел ему в руки, причем без каких-либо усилий с его стороны.

Анисето Мендоса встал, сделал несколько шагов к дубовому книжному шкафу. Его мучил вопрос: а сам Пеньяльвер? Разве удастся полностью взять в свои руки бразды правления, если этим постом он, Анисето Мендоса, обязан только ему? До какого предела Пеньяльвер захочет использовать его в качестве подставного лица, резервируя для себя реальную власть в стране, а ему, Мендосе, оставляя номинальное представительство, символы власти и протокольные функции? Ведь рано или поздно придется убрать Пеньяльвера, разумеется, не сразу, а как только почувствуешь себя в седле. Быть может, именно об этом думает сейчас и Пеньяльвер? Сколько же из офицеров, поддерживающих теперь начальника генерального штаба, перейдут на сторону Мендосы в случае конфронтации? Если принимать пост, то надо постараться выиграть время и убрать со сцены своего друга-соперника.

Пеньяльвер достойно ждал, придерживая за козырек кепи с пятью звездами; он сидел на краю кресла — колени вместе — и был готов вскочить при первом слове Анисето.

— Ну и,— спросил он,— что решаешь?

Мендоса подошел к нему. Пеньяльвер поспешно подтянулся, он хотел стоять наравне с собеседником в момент исторического ответа. Мендоса положил руку ему на плечо и, пристально глядя в упор, произнес:

— Если родина во мне снова нуждается, а мои друзья меня призывают, то... выполню мой долг!

Анисето Мендоса опять оседлал коня.

II

На пути в город они по сути не обменялись и словом. Мендосе не хотелось о чем-либо расспрашивать, чтобы не выдать свою заинтересованность, а Пеньяльвер, озабоченный своим продолжительным отсутствием в столице в столь критический

момент, размышлял о том, как все развернется дальше. Две машины с офицерами военной контрразведки их эскортировали не отставая.

Солнце едва пробивалось сквозь утреннюю дымку, когда они прибыли в Дом пряностей — под таким древним названием был известен президентский дворец, здесь в колониальные времена размещалось это заведение; позднее здание перестроили и расширили.

Перед дворцом четыре танка наводили орудия на площадь Независимости и авениду Четвертого июня. Охрана у подъездов была усилена, а на всех углах временно установлены пулеметы за мешками с песком.

Двойные ворота главного подъезда распахнулись перед ними, и автомобиль въехал в крытый внутренний проезд, где часовые взяли на караул, как только дежурные офицеры скомандовали «смирно». Они поднялись по застланной ковром лестнице в сверкающий позолотой Протокольный зал, поспешно его пересекли. Миновали салон Президентского кресла и вошли в зал заседаний совета министров.

Генералы и полковники, включенные в правительственную хунту, быстро поднялись со своих мест, щелкнули каблуками и отдали честь. На первый взгляд они казались усталыми. Адъютант президента положил на стол библию, и генерал Анисето Мендоса принес присягу перед богом, конституцией и верховными властями отечества достойно выполнять свой долг. Тотчас же подписал акт о принятии на себя полномочий. С этого момента он — президент республики.

Члены хунты уселись вокруг длинного стола — первое заседание нового правительства началось. Прежде всего Мендоса осведомился о том, лояльны ли новому правительству все гарнизоны, все части вплоть до полков. Он расспрашивал о положении в каждом из воинских подразделений: кто командует, каково отношение к перевороту, какими силами и средствами располагает, возможны ли выступления протеста. Затем последовали еще более глубокие вопросы: он потребовал, чтобы ему охарактеризовали политическое лицо каждого военачальника, каким состоянием он владеет, если владеет им, его родственные либо дружеские связи с руководителями свергнутого режима. Многих он знавал лично и мог бы обойтись без этих сведений, но в данном случае его интересовала больше позиция отвечающего. Далее он пожелал связаться по телефону с генералами, находящимися в провинциях, и накоротке побеседовал со своими старыми друзьями. От них он также потребовал подробных отчетов, дал оценку положения, серьезность которого и заставила его взять на себя ответственность за судьбы государства, обрисовал царивший в стране хаос и меры, которые придется принять для ее возрождения.

Закончив телефонные переговоры, Мендоса удалился в рабочий кабинет составить обращение к народу, которое надлежало передать по всем радиостанциям страны. Явно желая ублажить Пеньяльвера, он включил в текст обращения некоторые положения его скудной философии: порядок — прежде всего, армия — основной оплот гражданского сообщества. Хунта гарантирует неприкосновенность частной собственности и выполнение обязательств по международным соглашениям. Бог, отечество и семья — девиз ее деятельности. Национализации предприятий будет положен конец. Отчужденные фабрики возвращаются их прежним владельцам. Осуществление аграрной реформы на некоторое время приостанавливается, пока не будет произведена проверка, насколько юридически правомерно была осуществлена конфискация земель у законных владельцев.

Он громко диктовал, а его секретарь стенографировал. Дело близилось к завершению, как вдруг Мендоса заметил, что в спешке, с какой покинул асьенду в Тамбо, не успел приодеться должным образом: на нем все еще были вельветовые штаны, пиджак из твида и гетры, подходящие для какого-нибудь образованного фермера, но отнюдь не отвечающие его нынешнему положению. Пришлось послать Чоло за военным мундиром и орденами.

Затем президент возвратился в зал заседаний совета министров. Пока по радио передавалось его обращение к народу, он занялся двумя другими вопросами: назначением министров и проблемой забастовки, которая косвенно послужила причиной падения его предшественника. Первый вопрос не потребовал много времени для разрешения: почти все члены хунты, непосредственно связанные с командными должностями в войсках, были назначены на вакантные посты. Что же касается забастовки, то тут мнения членов хунты разошлись. Кое-кто посчитал необходимым ввести воинские части на предприятия. Другие утверждали, что поскольку виновный

в создавшемся ненормальном положении президент уже свергнут, то появилась возможность прийти к соглашению с национальным забастовочным комитетом.

И как раз в эту минуту Анисето Мендоса обнаружил отсутствие в зале заседания генерала Пеньяльвера. Тут же он попытался вспомнить, с какого момента не видел его: да, сразу же после принятия присяги. Он послал адъютанту записку с запросом о Пеньяльвере. Ответ не заставил ждать: генерал Пеньяльвер вернулся в генеральный штаб. «Ну что ж, действует правильно,— подумал Мендоса,— армия сейчас — самое главное. А может, уже началось и в силе другой порядок — мне остается второстепенное, побочное, несущественное?»

Чоло вернулся с его мундиром. Тем временем доложили, что посол Соединенных Штатов Америки прибыл во дворец и просит аудиенции. Странно, посол действует вопреки протокольным нормам, но ведь, собственно, вразрез всему развертывались и события. Генерал Мендоса зашел в лифт, скрытый за деревянными панелями зала заседаний совета министров, и поднялся в предназначавшиеся ему личные апартаменты президента на третьем этаже. В холле его уже поджидал Чоло с чемоданом.

Эти апартаменты он помнил. Был здесь однажды, когда участвовал в предыдущем государственном перевороте, и тогдашний президент республики призвал его, чтобы объявить о прощении, и даже в подтверждение этого предложил ему какую-то синекуру. Тогда-то президент и принял его здесь, подчеркнув дружеский, даже интимный характер встречи. Он вспомнил и эту кровать под балдахином, и эти гобелены на стенах, и эти кресла, обитые бархатом багряного цвета; не забыл он и ковров в национальном стиле, вытканных искусными ковровщицами из Сакраменто. В ту пору апартаменты показались ему притягательными, но недоступными и даже заманчиво таинственными: хранилище секретов, бесед, таинств ночей любви на протяжении всей истории жизни государства. А теперь все здесь принадлежало ему, он, и только он мог пользоваться этими апартаментами по своему усмотрению и без каких-либо ограничений. Его охватило чувство еще не вполне осознанного удовлетворения.

Вместе с Чоло он прошел в соседнюю гардеробную — небольшое помещение, уставленное шифоньерами с широкими зеркальными дверцами. Анисето Мендоса наряжался осмотрительно и величественно, как для коронации: брюки с красными лампасами, голубой мундир с золотыми аксельбантами, трехцветный шарф на поясе. И уже в апогее самолюбования на плечах укрепил эполеты с пятью звездами, свидетельствовавшие о его высоком военном ранге. На грудь он прицепил лишь один орден — Большой крест святого Хенаро. И опять полюбовался собой в зеркале.

Как-то некий французский писатель, посетивший эту страну, по возвращении написал в парижской газете, что офицеры здешней национальной армии выглядят опереточными солдатиками. Такое сравнение вызвало большой шум, его сочли оскорблением нации, и министру иностранных дел Франции пришлось принести извинения, просить забыть об этом инциденте. Увидев себя в излучающей сияние форме, Мендоса невольно вспомнил о том случае. Конечно, то было абсолютно необоснованным оскорблением.

Мендоса спустился по потайной лестнице, ведущей прямо в его рабочий кабинет. Нажал на кнопку звонка, вмонтированную в письменный стол. Незамедлительно появился адъютант, поспешивший выслушать приказание. Спустя минуту в кабинет вошел американский посол — респектабельным видом, седеющими висками в тон бледно-голубой сорочке и серым фланелевым костюмом он очень напоминал своего шотландского предка, из него так и выпирало самодовольство многоопытного профессионального дипломата, от него прямо разило аристократом из Джорджтауна. Естественно, он слыл светским человеком. Аккуратно посещал все приемы, даже те, где его присутствие отнюдь не было обязательным. И поныне не упускал случая пофлиртовать с красотками помоложе. Типичный продукт государственного департамента. Темными же делами занимался в посольстве мистер Моррис, прикомандированный ЦРУ (а мистер Моррис, интересы которого отличались широким диапазоном — от джентльменского соглашения — конечно, это эвфемизм! — до взятки, стал ближайшим и отличнейшим другом генерала Пеньяльвера).

Посол начал с того, что выразил полную удовлетворенность своего правительства событиями, происшедшими накануне вечером и явившимися оздоровляющим фактором в нынешней обстановке анархии. Но вот забастовка... да, забастовка вызывает острейшее беспокойство североамериканских предпринимателей, тех людей, которые в

течение многих лет содействовали прогрессу Рио-Тинто, вкладывая огромные капиталы на благо ее национального развития. И если сегодня здесь существует то, что можно назвать промышленностью, так этим страна всецело обязана бизнесменам Соединенных Штатов. К сожалению, их усердие не получило еще соответствующей компенсации. Приход генерала Мендосы к власти вызывает надежду на более благоприятные перспективы. Правительственная хунта могла бы восстановить порядок, привести в действие производственные силы. Вашингтону хотелось бы знать, до каких пор будет продолжаться забастовка. Ведь это безумие повлечет потерю многих миллионов долларов.

Дон Анисето Мендоса слушал внимательно, но вскоре, посчитав монолог посла чересчур затянувшимся и уклончивым, прервал его: «Какова позиция вашего правительства в вопросе признания хунты?»

В ответ прозвучал безапелляционный голос дипломата, уже имевшего опыт, как действовать в подобных случаях: Вашингтон выражает признание тем правительствам, которые выполняют внешнеполитические обязательства перед ним и подтверждают свой подлинный контроль над страной. Что касается первого условия, как показалось послу, он уловил позитивную нотку в тексте обращения к народу, переданного только что по радио. Насколько реально выполнение второго условия, покажет то, как быстро правительство сможет справиться с забастовочным движением.

Генерал Мендоса всегда испытывал чувство почтения перед Соединенными Штатами Америки. Его сыновья воспитывались в Гарварде и Уэст-Пойнте. Кроме того он знал, что в его стране сколько-нибудь стабильное правительство не может существовать без признания государственным департаментом США. Зная точку зрения членов хунты, он уже заранее принял нужное решение. Однако сейчас хотелось разыграть роль уступающего нажиму со стороны дипломата — так стартовать выгоднее. И, выслушав соображения посла, он заявил, что, пожалуй, тот может довести до сведения своего правительства решение о вводе войск на предприятия, охваченные забастовкой.

— В таком случае,— удовлетворенно ответствовал посол,— не будет ничего удивительного, что в кратчайший срок я смогу объявить вам о благожелательном отношении моего правительства к новому режиму.

Встреча завершилась крепким рукопожатием и сердечными улыбками. Генерал даже настоял на том, чтобы проводить посла до коридора.

Затем Анисето Мендоса направился в зал заседаний совета министров. Некоторые члены хунты, измученные бдением, дремали в креслах. Другие прилегли на диванах Протокольного зала. И совсем немногие просматривали документацию, надеясь скорее войти в курс дела. Мендоса отдал распоряжение о незамедлительном созыве заседания и огласил свое решение: в течение ближайших шести часов воинским подразделениям занять предприятия, а в качестве временных администраторов назначить командиров частей, выполняющих данный приказ.

Вернувшись в свой рабочий кабинет, он было хотел узнать, чем же занимается Пеньяльвер, но адъютант доложил о прибытии министра внутренних дел. Пришлось принять полковника Обрегона.

Полковник уже давно чувствовал себя глубоко уязвленным. На протяжении многих лет ему задерживали и повышение в чине, и представление к наградам — со временем его раздражение нарастало и превратило полковника в вспыльчивого и сумасбродного деспота. Особую неприязнь у него вызывали штатские, которые так неуклюже вели государственные дела. Если бы не они, в стране все было бы неизмеримо лучше, а кроме того, и он был бы уже генералом.

Лицо полковника избороздили глубокие морщины, спускавшиеся от крыльев носа к уголкам губ. А теперь морщины казались еще более глубокими, явно из-за напряжения последних часов. Без какого-либо вступления он положил на письменный стол список имен, аккуратно напечатанный на электрической машинке. Пятьсот двенадцать имен видных левых политических деятелей, профсоюзных руководителей, представителей культуры, специалистов, студенческих вожаков. Сливки национальной интеллигенции.

— И что же? — спросил его Мендоса.

— Прошу разрешения немедленно арестовать этих людей,— заявил полковник.

Генерал Мендоса взял листки бумаги, поднес к глазам. Внимательно прочел имена. Он понимал, что такого рода действия означают переход к открытой дикта-

туре и неизбежно обострят положение в стране, вызовут недовольство населения. И все же не мог не упустить представляющуюся возможность разделаться с остатками оппозиции. Обрегон присовокупил:

— Генерал Пеньяльвер согласен.— Полковник особым тактом не блистал.

Мероприятие сразу потеряло цену в глазах Мендосы: назревало именно то, чего он так опасался. Уйдя в казармы, Пеньяльвер собирался оттуда править страной, а его, Мендосу, отодвинуть по сути на лакейскую роль послушной марионетки. Президент было загорелся желанием отвергнуть предложенные меры и даже выступить против главнокомандующего. Но у Пеньяльвера — войска! У Мендосы же не было сил, на которые можно бы опереться. Консервативная партия против штыков? Он снова бросил взгляд на документ, в конце листа увидел свою фамилию, а над ней свободное место для подписи. Взял авторучку и резким движением начертал буквы своей фамилии, да так, что проткнул пером бумагу, а последний росчерк завершился кляксой. Полковник Обрегон даже вытянулся по стойке «смирно», узрев проявление такой решимости со стороны президента.

Анисето Мендоса отдавал себе отчет в том, что, пока не будет располагать поддержкой хоть какой-то части вооруженных сил, он не сможет почувствовать себя независимым от своего опекуна. Надо прощупать армию. Генерал Чавес перспективен. Пользуется репутацией идеолога, теоретика. А почему бы не назначить его министром просвещения?

Генерал Чавес, войдя в кабинет, приветствовал президента по уставу и занял кресло, указанное главой государства. Мендоса начал издалека, по-журналистски: если через лет пятьдесят спросить какого-нибудь школьника, смог бы он дать, скажем, три характеристики нынешнему правительству? Если спросить его, каковы исторические первопричины движения офицеров, приведшего к власти генерала Анисето Мендосу, то каков был бы ответ школьника? Другими словами: что останется от нас в учебниках истории? Как о нас будет вспоминать родина? Взяв в руки бразды правления, мы совершили серьезный шаг, который скажется на будущем. Следовательно, нам необходимо принимать стратегические решения, четко определить общую суть нашей деятельности.

Чавес ответил без запинки:

— Если мы будем придерживаться мнения полковника Обрегона, все будет решено ликвидацией примерно пяти тысяч лиц, от них все зло.

Для Обрегона существовали лишь две категории людей: правители и управляемые, причем последние подразделялись на мирных граждан и бунтовщиков.

У правителей есть свои обязанности, и главная из них — гарантировать права достойных граждан. Как только в стране будет налажен порядок, каждый член хунты сможет сколотить собственный капиталец и станет волей-неволей поддерживать статус, защищающий почтенных лиц — собственников и коммерсантов.

Однако существует еще одна концепция, которая, на взгляд Пеньяльвера, отталкивается от посылки, что порядок — высшее благо республики: прежде всего следует изъять из общества бунтарей, кроме того, кое-что сделать и для народа, поддержать здоровые силы нации, разрешить даже прибавку к жалованью низшим слоям населения.

Президент спросил:

— А каково ваше личное мнение?

— Нужно быть слепцом, чтобы не видеть: народ голодает,— ответил Чавес.— Недовольство масс бесспорно. Лично я не разделяю ни ту и ни другую из концессий. С каждым днем все более углубляются различия между индустриальными странами и странами, которые экспортируют сырье. Техническая мощь первых возрастает в геометрической пропорции, а цены на сырье остаются неизменными, хотя промышленные товары стоят все дороже. Это привело бедные страны к еще большей нищете, а богатые к еще большему обогащению.

Мы — страна бедная, оказавшаяся на пороге революционных потрясений. Вопрос заключается в том, не следует ли пожертвовать частью, чтобы спасти все. Если в иные времена земля была нашим богатством, ныне все иначе. Сегодня спасение — в развитии промышленности. Ради того, чтобы уменьшить напряженность в стране, следует провести аграрную реформу. Смягчая недовольство низших классов, мы подрываем базу любого революционного выступления. Марксисты говорят об альянсе рабочих и крестьян. А нам следовало бы разжигать вражду между ними. Пусть

крестьянин занимается своей землей и не суется в город. «Союз ради прогресса»[1] покровительствует аграрной реформе. Многие конституционные правительства в мире уже убедились, насколько необходима аграрная реформа.

— В итоге, отвечая на ваш вопрос,— заключил Чавес,— я считаю, что наше правительство должно быть аграрным, посвятить себя земле и крестьянам.

Такая перспектива дону Анисето Мендосе показалась интересной, хотя, что касается его лично, то она, чего доброго, будет угрожать асьенде в Тамбо, но ведь все можно уладить. Весь вопрос в том: не окажутся ли землевладельцы более могущественным противником, более серьезным препятствием, чем, быть может, чернь? По теории Чавеса, этого быть не должно. Его тактика проще: если в бою хочешь выиграть, нужно быть готовым принести в жертву батальон или два. Яичницу не изжаришь, не разбив яйца.

Так или иначе, подумал Мендоса, с этим человеком полезно поговорить. Он не принадлежит к подпевалам Пеньяльвера или Обрегона. Понятно, не будет он послушным и ему, Мендосе, но, быть может, удастся найти в нем союзника? В армии Чавес пользовался престижем, за ним шли многие офицеры со своими частями и подразделениями, а мысли его отнюдь не были безрассудными. Вот тут-то и открывался путь.

По красному телефону позвонил полковник Обрегон. Прямой провод, к которому нельзя было подключиться для подслушивания, соединял президента с министерством внутренних дел. Обрегон говорил не спеша, прямо-таки с чувством удовлетворения, хотя полученная им информация была далеко не из приятных. Выполняя его приказ, войска начали занимать фабрики, однако натолкнулись на стойкое сопротивление рабочих. Одновременно многочисленная демонстрация вышла на улицы столицы. Несколько автомашин подожжено, камнями забросали посольство Соединенных Штатов. Колонна демонстрантов продвигается по авениде Четвертого июня, угрожая вылиться в митинг на площади Независимости, прямо под балконами президентского дворца. Обрегон запросил разрешения пустить в ход специальную гвардию для разгона демонстраций. И еще он хотел выслать несколько бронетранспортеров, расположить их в парке напротив Дома пряностей.

— Делайте все необходимое,— разрешил Мендоса,— но без эксцессов.

Президент приоткрыл окно и пальцем слегка отвел жалюзи. Действительно, издалека доносился гул голосов. Взглянув вниз, он увидел, как президентская охрана с автоматами в руках занимала огневые позиции перед дворцом. Вернувшись к столу, он выдвинул верхний ящик правой тумбы — там лежал браунинг, верный Чоло положил оружие так, чтобы легко было его взять.

Спустя полчаса ему позвонил Обрегон. Демонстрация разогнана, однако агрессивно настроенные бунтари оказали сопротивление, осмелились стрелять по блюстителям общественного порядка. В результате стычек, согласно оперативной сводке гвардии, двое убитых, двенадцать раненых, семьдесят восемь бунтовщиков задержано.

— Вы, полковник, уверены, что они стреляли первыми? — спросил президент.

Разумеется, полковник никогда не разрешал гвардии открывать огонь первыми. Но первый залп, бахвалился он, остановил всех сразу же. Демонстранты рассыпались по городу и теперь маленькими группками собираются в рабочих предместьях. С крыш нескольких домов на силы общественного порядка опрокидывали жестянки с отбросами и нечистотами. А подобные безобразия скоро будут устранены. На некоторых перекрестках воздвигнуты баррикады, однако по его приказу танки сметут и эти препятствия. Большая часть указанных в списке подозреваемых в причастности к мятежу уже находится под арестом.

Только президент положил телефонную трубку, как ему доложили о прибытии генерала Пеньяльвера, которого на этот раз сопровождал дон Салустио Эрсилья, председатель консервативной партии.

— Президент,— обратился к нему Пеньяльвер,— я решил побеспокоить вас, поскольку, по моему мнению, в столь критический час мы не можем не выслушать достопочтенного общественного деятеля, неизменно отличающегося самоотверженностью и самоотречением во имя интересов государства.

---

[1] «Союз ради прогресса» — программа правительства США, направленная на то, чтобы воспрепятствовать укреплению экономической и внешнеполитической самостоятельности государств Латинской Америки.

Дон Салустио извинился за то, что не успел поздравить нового президента, тем более, как он подчеркнул, что их связывают узы личной дружбы и общность идеалов. И тотчас же высказал свою озабоченность мерами, принятыми против демонстрантов.

Подобные методы вызывают серьезную тревогу среди населения. Тревога эта усилилась в связи с волной арестов, что обеспокоило даже самых решительных единомышленников. Естественно, он — приверженец политики «жесткой руки». Власть не удержишь нежными ласками, однако также неопровержимо и то, что благоразумие — достоинство мудрых, а эксцессы с одной стороны неизбежно ведут к эксцессам с другой, и уже потом не знаешь, до чего доведут.

Пеньяльвер прервал поток его красноречия. Он, конечно, полностью согласен с доном Салустио. Даже некоторые офицеры генерального штаба высказывали свою озабоченность. И потому он просит президента Мендосу обратить внимание на слова блистательного лидера консервативной партии.

Дон Салустио Эрсилья продолжил свою речь.

Всем известна близость консерваторов к армии, и он прибыл сюда не для того, чтобы повторять азбучные истины. Самое главное заключается в том, что выступление патриотических сил, предпринятое вчера на рассвете, встречено консервативной партией с благожелательностью и надеждой. После происшедшего, однако, можно было предвидеть значительно большие беспорядки, а по мере нарастания насилия, репрессий больше могут потерять обеспеченные слои. Почтительнейшим образом он ходатайствует перед президентом о том, чтобы привлечь гражданских лиц к участию в правительстве, дабы придать режиму известную конституционность. А какая же политическая сила лучше консервативной партии, основывающейся на долголетнем опыте, сможет оказать поддержку в этот час национального кризиса?

«Игра ясна,— подумал Мендоса,— Пеньяльвер науськивал Обрегона, свою охотничью собаку. Потом они разошлись, и Пеньяльвер стал союзником консерваторов. Ложный шаг. Нельзя отстранять военных от власти. С другой стороны, это позволило бы Пеньяльверу с новой силой предпринять наступление. Конечно, такое решение он может приписать президенту и восстановит против него генеральный штаб. Заручившись поддержкой консерваторов, он приобретает то, чего ему недоставало: престиж среди старых политиканов, который смягчит его репутацию казарменного деспота и поможет проникнуть в среду государственных деятелей. А потом ему будет легче убрать президента, восстановить на постах военных и продолжать кокетничать с политическими партиями. Что можно было бы предпринять сейчас? Выступить против — значит показать себя гориллой, сторонником насилия». Он потерял бы поддержку политиканов, которые увидели бы, что перед ними захлопнуты двери к власти. К тому же он еще не рассчитывает на безусловную солидарность вооруженных сил. А свергнуть его могут и гражданские лица. Придется, видимо, уступить.

— Вы не представляете себе, дон Салустио, насколько мне приятна встреча с вами. Настолько, что, если бы вы не изъявили желания встретиться со мной, я сам бы вас пригласил. Я и мысли не допускал, что мое правительство может функционировать, не достигнув взаимопонимания с теми, кто столько раз доказывал свою преданность национальному делу. Хотя, к несчастью, рабочие демонстрации и были разогнаны с чрезмерной строгостью, но я все-таки решил прислушаться к советам моих ближайших сотрудников и прежде всего нашего дорогого друга генерала Пеньяльвера.

Дон Салустио медленно обернулся, чтобы видеть реакцию Пеньяльвера и попытаться найти в том или ином жесте генерала ключ к сказанному. А Мендоса между тем продолжал:

— Я был намерен пригласить представителей консервативной партии, и, поверьте, для меня лестно просить вас принять пост премьер-министра в моем правительстве. В случае вашего согласия я бы рекомендовал без промедления сформировать кабинет из виднейших деятелей вашей партии.

— Принимаю,— последовал лаконичный ответ, а вслед Эрсилья добавил: — В данный критический момент я могу лишь молить господа бога, дабы придал он сил духу моему для выполнения той важной миссии, что возлагается на меня.

— Не ожидал иного от прославившегося своей самоотверженностью сеньора Эрсильи,— ввернул реплику Пеньяльвер, опережая Мендосу.— И все же хотел бы я пояснить... никак не могу припомнить, когда это я беседовал с президентом Мен-

досой насчет мер по преодолению нынешнего кризиса? Когда принимались эти решения, я находился в генеральном штабе.

— И однако,— заметил Мендоса,— полковник Обрегон мне передал, что ваше согласие имелось.

— Может быть, в общих чертах я говорил с полковником о вероятных мерах, хотя конкретно и не высказывался по этому поводу. Должно быть, полковник ошибся.

— Возможно,— заключил Мендоса, не желая загонять в тупик Пеньяльвера при первой же стычке.

От дона Салустио Эрсильи, ветерана с тридцативосьмилетним стажем политической деятельности, участия в правительствах и парламентских дебатах, не ускользнули оттенки противоречий; для себя он сделал вывод, что трещина по всем признакам будет углубляться, а потому впредь следует ее использовать.

Все простились друг с другом самым сердечным образом, условившись, что часом позже состоится церемония назначения на пост дона Салустио Эрсильи.

III

Генерал Мендоса проводил их взглядом и, удостоверившись, что они спускаются по Лестнице Почета, решил поразмяться. Он углубился в устланный коврами и затененный гардинами дворцовый лабиринт. Проходил мимо старинной, потемневшей мебели, как бы совершая некий ритуал воспоминаний, и постепенно окружавшая атмосфера настраивала его на определенный лад.

Он пересек Церемониальную столовую с креслами в стиле королевы Анны, соседнюю курительную комнату с живописным потолком, отделанным в стиле «мудехар»[1], миновал внутреннюю часовню с ее знаменитым в стиле «платереско»[2] алтарем и вышел в Посольский зал. Вот здесь, рядом с массивным великолепным диваном, убили дона Гаспара де ла Уэрту.

Вернулся в галерею. Вдоль длинного белостенного коридора с зеркально отблескивающим мраморным полом пролегла полоса красного ковра, направляющая того, кто вступит сюда, следовать мимо портретов бывших президентов республики.

Первым в массивной раме из тщательно отделанного черного дерева висел портрет дона Бернабэ Брассака, негра-раба, который в свое время поднял восстание на одной из асьенд севера страны и призвал всех негров освободиться от оков рабства. Разгромив испанские войска, он объявил о создании государства, в которое входили три провинции, ограниченные естественной линией обороны по берегам полноводной реки Ламас.

Провозгласив себя королем, Бернабэ I направил своих гонцов в европейские дворы, и те откликнулись — помогли отразить все попытки испанского капитан-генерала перейти реку. Позднее он предпринял вторжение на юг и со своими одетыми в лохмотья, голодными соратниками разжег пламя мятежа по всей стране, вынудив капитан-генерала покинуть эти земли.

Именно тогда он что-то прочел о Французской революции и, прибыв в столицу, отрекся от ненадежной короны, возвестил о создании республики с не слишком-то оригинальным девизом «Свобода, Равенство, Братство», и так он превратился в первого президента, разместившегося в Доме пряностей — на третьем этаже до сих пор сохранились нетронутыми его апартаменты с обитыми пурпурным шелком стенами и обширными шкафами, где красуются треуголки с плюмажем.

Освободившиеся рабы, однако, вновь взбунтовались, убедившись, что опять попали в прежнее ненавистное им подневольное положение. Брассак отправился в поход во главе карательной экспедиции и бесследно исчез в сельве. Наиболее просвещенные сограждане созвали народный совет, из богатых коммерсантов избрали нового президента. С тех пор республика не претерпевала каких-либо государственных изменений, хотя и не переставала служить поводом для треволнений креольской аристократии, не желавшей признать, что Отцом отечества был всего-навсего негр, да еще раб.

Рядом с портретом Брассака возвышалась статуя дона Альфонсо Итурральде де Туэсты — шпага в руке, обезглавленная тирания у ног. Однако никому и никогда не удалось разузнать, участвовал ли дон Альфонсо хоть в какой-то войне, тем

[1] Стиль испанского зодчества XI—XVI вв.

[2] Архитектурный стиль испанского Возрождения.

более обезглавливал ли тиранию, даже не было достоверных сведений, вытаскивал ли он шпагу из ножен, кроме как в спортивных целях.

Дон Альфонсо, разбогатевший помещик, гордился тем, что, будучи седовласым старцем, еще до того, как стал президентом, женился на очаровательной пятнадцатилетней девушке. Лавиния, дочь состоятельных родителей, участвовавших в провозглашении независимости государства, была верна дону Альфонсу, пока — уже восемнадцатилетней — не увлеклась молодым лейтенантом драгунского полка, которого гостеприимно принимала на своем ложе. За лейтенантом последовали другие офицеры, и вскоре пребывание в ее объятиях признали непременным условием для повышения в чинах и продвижения в военной карьере. Оппозиция всячески насмехалась над ней, однако дон Альфонсо отвергал любые толки на этот счет, полагая их злым вымыслом врага. Своим любовникам Лавиния обычно дарила камею с собственным изображением, так что прошло не много времени, и личико сладострастницы приобрело бо́льшую популярность, чем физиономия ее почтенного супруга.

Дон Альфонсо заинтересовался вербовкой китайцев в качестве рабочей силы для своей страны, его суда пересекали Тихий океан, чтобы достичь берега далекого Гонконга и возвратиться с живым грузом. Все члены семейства Итурральде де Туэсты достаточно нажились на этой выгодной операции, а сам дон Альфонсо к тому же привык покуривать опиум, чему его научили капитаны парусников. Умер он от апоплексического удара во время торжественного банкета в Церемониальной столовой после того, как, влив в себя три литра красного вина, проглотил кусок холодного поросенка, две дюжины куропаток, три лангуста да еще жареную рыбу дорадо. Благодаря стараниям историков, школьники в часы классных занятий повторяли имя Итурральде как одного из просвещеннейших столпов отечества.

Далее висел портрет Гаспара де ла Уэрты — по его аскетическому лицу можно представить, какой режим он ввел в государстве.

Отец, простой плотник, заставил его поступить в семинарию, конечно, не от избытка религиозных чувств, а потому, что священничество считалось почитаемой и прибыльной профессией. Из семинарии дона Гаспара изгнали не столько за зловредное, высказанное им на уроках богословия инакомыслие, сколько за попытку полакомиться цыпленком из курятника прелата. Тогда он нанялся юнгой на корабль, объездил весь свет, а вернувшись домой, занялся торговлей китовым жиром в порту Касканте, нажив изрядный капиталец. Вступив в партию умеренных, он начитался Руссо, президентом был избран в год Великой засухи, принесшей страшнейший голод стране. Люди переполняли церкви, вымаливая дождь, и дон Гаспар, вспомнив, как потерпел фиаско, будучи семинаристом, всю вину за бедствие взвалил на иезуитов, грешащих против господа бога. Он приказал изгнать иезуитский орден из страны, конфисковав имущество иезуитов в пользу республики.

Вспыхнули религиозные войны, продолжавшиеся семь лет. Сожженные монастыри, изнасилованные монахини, закрытые церкви, арестованные священники — таков итог тех лет. В пяти провинциях католики подняли мятеж — дон Гаспар ответил своеобразной демонстрацией, въехав на лошади в кафедральный собор, там набросил лассо на статую Христа и на позор своим противникам потащил ее за собой на Главную площадь.

Мятежники, одержавшие победу, штурмовали столицу. Как только последний гренадерский полк потерпел поражение, дон Гаспар засел, будто в окопе, в Доме пряностей. К ночи победители с факелами, веревками и лестницами появились под балконом дворца. Президент де ла Уэрта сам стрелял из мушкета по нападавшим. Двери главного подъезда были выбиты тараном, дико оравшая толпа ворвалась во дворец, понеслась по лестничным переходам, запакостила ковры, порвала гобелены и, наконец, обнаружила дона Гаспара в Посольском зале. Он упал от удара кинжалом в поясницу — свидетели утверждали, что этот удар нанесла монашенка ордена Милосердия. Его так искромсали ножами, что и узнать было нельзя. Какой-то иезуит отсек ему ударом мачете голову, насадил ее на пику и выставил в окно на обозрение толпы, сгрудившейся внизу.

Дон Присцилиано Горрин Матиенсо заслужил почести быть увековеченным в бронзовой конной статуе. Даже близкие его друзья не могли понять, как это произошло,— ведь было общеизвестно, что данный президент страдал от геморроя и пользовался лишь автомашиной со специально устроенным сиденьем. Едва приняв высокий пост, он начал военные действия против соседней республики, утверждая, что по

ночам соседи передвигают пограничные столбы. После пятидесяти трех сражений он овладел алмазными копями Сомоано, к чему и стремился. А позднее посвятил себя управлению страной «совместно с народом», как он подчеркивал во всех своих речах, непременно их начиная обращением: «Мой дорогой сброд!».

Вообще-то он был превосходным оратором и на политических собраниях привлекал внимание наибольшего числа слушателей, чего никто из других лидеров не мог себе и представить. Как истый демагог, он не носил галстука, целовал при публике детишек, ласкал собак и, демонстрируя дворцовую филантропию, раздавал беднякам монетки в виде высшей милости. Каждый день он принимал обездоленных и, думая совсем о другом, прикидывался терпеливо слушающим. Утешал весьма туманными побасенками (побасенки он очень любил, неустанно читая и перечитывая «Дон Кихота»), кое-кому порой обещал немного деньжат. Время от времени, ближе к вечеру, тем, кто не имел крыши над головой, он предоставлял жилье и, конечно, не упускал случая по этому поводу произнести еще одну речь. Фотография, на которой был запечатлен он, вручающим ключи немногим счастливчикам, на следующий день появлялась во всех газетах. Его последователи носили синие рубашки и объединялись в отряды, которые высокопарно назывались «Народными легионами», правда, более известны они были как «Горриновские голодранцы».

Летисию, жену его, охватила страсть коллекционирования бриллиантов. Тиары, ожерелья, колье, браслеты стекались с невероятной быстротой в ее сейфы — подобного не было даже у супруги конкистадора, захватившего копи Сомоано. Летисия совершила длительную поездку по Европе, где унижала королев и герцогинь блеском своих драгоценностей. По возвращении она потребовала для себя выстроить на побережье виллу с мраморными ваннами и кранами из золота.

Правление дона Присцилиано стало вызывать возмущение четырехсот семейств, посчитавших, что режим открыто угрожает им, поскольку «Народные легионы» устраивали ночные факельные шествия, а дон Присцилиано увеличивал жалованье своим приспешникам, то и дело твердил о важности введения социального обеспечения. Аристократы вступили в сговор с армией, группа офицеров решила свергнуть правительство с помощью «коммандос» в синих рубашках, которые должны были атаковать Дом пряностей, разыгрывая выступление народных масс, после чего, дескать, ради восстановления порядка в действие вступила армия.

Дону Присцилиано стало известно о заговоре, но он и пальцем не шевельнул, чтобы предотвратить его или подавить, поскольку значительно раньше увлекся черной магией и считал себя надежно защищенным неземной властью от посягательств сил мира сего. Некий негр из племени мандинга по имени Белиаль обычно колдовал в личных апартаментах президента на третьем этаже. Духовная субстанция Бернабэ Брассака претворялась в саламандру, а уж негр Белиаль знал, как обеспечить поддержку делу горринистов.

Когда заговорщики напали на дворец, старый Белиаль осыпал пеплом саламандры президентское кресло, однако это, увы, не остановило мятежников. Они разыскали почивавшего дона Присцилиано, до смерти избили его палками и, чтобы подтвердить факт якобы народной кары, труп сволокли по лестницам и повесили на фонаре площади Независимости. Кто-то нашел и старого Белиаля, раскроил ему череп ударом дубины, а затем колдуна вздернули на соседнем фонаре. Старухи после передавали, что страждущая душа негра Белиаля носилась над Домом пряностей до рассвета.

Донья Летисия провела эту ночь на своей вилле, пересчитывая бриллианты.

Вспомнившему эти истории Анисето Мендосе страшно захотелось было бросить все, приказать Чоло собрать чемоданы и уехать в Тамбо, однако вовремя на ум пришла старая восточная пословица: тигра безнаказанно не оседлаешь. Да и к прежнему уже нет возврата. Расстрел, тюрьма или изгнание оставались теперь единственными и для него возможными альтернативами, если он не удержит власть в своих руках.

Будто по вызову хозяина, в президентский кабинет вошел Чоло, минуя адъютанта, поскольку доставлял генералу сообщение строго личного характера. Речь шла о донье Росе Солиситаде, испрашивавшей аудиенции. Имя Росы вызвало ностальгические воспоминания у генерала, и он отдал тотчас же распоряжение Чоло впустить ее.

Донья Роса показалась розой, много лет покоившейся меж страницами книги, настолько она стала уже увядшей, высохшей. Для Анисето Мендосы, знавшего ее

в расцвете юности, появление Росы напомнило былую страсть, сжигавшую его, в ту пору молодого офицера. Целых три года длилась их связь, и покинул он Росу не без душевных страданий. До него донеслись слухи, что у нее родился сын, который мог быть его сыном. Однако она отрицала это. А теперь, после стольких лет разлуки, Роса, всхлипывая, опустилась на колени перед президентом, целовала полы его мундира. Анисето Мендоса взял ее под руки, помог подняться, предложил свой платок. Затем подвел ее к софе, сел рядом, приняв вид благожелательно настроенного, отзывчивого человека.

Юношу погубили сумбурные идеи, в университете он читал какие-то странные книги и теперь вот арестован. Быть может, он участвовал в демонстрациях? Его арестовали дома? Нашли много бумаг Федерации университетских студентов. Освободить, отменить приказ об аресте, о судебном преследовании! Ведь это сын — наш сын! Ты всегда отрицала... не хотела, чтобы я знал?.. Разговор продолжался в таких лирических тонах, словно на экране телевизора разыгрывался рекламный диалог, оплаченный фирмой туалетного мыла.

Президент встал, широкими шагами прошелся по комнате. Значит, в самом деле— его сын? Все военные хитрости хороши, раз ведут к успеху. В нашем мире лишь поражение непростительно. Как бы то ни было, Роса Солиситада заслуживала всяческого внимания. Он позвонил Обрегону. Так или иначе жизнь юноши в опасности — для Обрегона невиновных не было. По требованию прокурора следствие завершится, а далее — военный трибунал. На свободу, да, на свободу! Обрегон на другом конце провода хранил молчание. Быть может, президент недостаточно хорошо разобрался — речь идет об угрозе безопасности государства! Президент настаивал. Однако новое следствие невозможно, доказательства очевидны, неоспоримы. Анисето Мендоса вспомнил, что он — генерал, и тон его голоса уже не оставлял места сомнениям: если через полчаса этот парень не будет дома, потребую вашей отставки.

Президент вернулся к софе, снова сел рядом с Росой Солиситадой. Он хотел бы подробнее расспросить о мальчике, хотя, учитывая нынешнее собственное положение, проще было бы затребовать дело-формуляр из министерства внутренних дел. Ему не понравилась позиция Обрегона. Что это — забыл о субординации? Груб и нагл. Следует отделаться от него при первом же благоприятном случае, но прежде надо разыграть его карту против Пеньяльвера.

Опять заговорили о мальчике. Хотелось бы познакомиться с ним. Мелькнула мысль о еще неиспользованных возможностях власти, благодаря которым можно вызволить сына. Сомнений нет. Он, конечно, узнает своего отпрыска. Есть черты, которые передаются из поколения в поколение. Революционер? Всего лишь неугомонный возмутитель спокойствия. Угроза установленному порядку? Один из тех, кто покушался на стабильность нации? Поговорил бы с ним — вразумил бы. Благоразумие побеждает всегда.

Он простился с Росой Солиситадой на галерее, обещав ее вскоре навестить. Чоло уже поджидал женщину возле статуи Итурральде де Туэсты — его голова на уровне обезглавленной тирании,— чтобы вывести через потайную дверь.

А президент направился в зал заседаний совета министров в надежде встретиться там с доном Салустио Эрсильей. Снова позвонил полковник Обрегон: сеньор Эрсилья как только вышел из дворца, вступил в контакт с синдикатами. Если господин президент позволит сказать, переговоры с мятежниками — опасный путь, даже могут быть восприняты как признак слабости. Если господин президент пожелает, в его распоряжение может быть доставлена магнитофонная лента беседы сеньора Эрсильи с мятежниками. А ведь единственный язык, доступный пониманию мятежников, единственные средства убеждения — это ударные части, слезоточивые газы.

Сеньор Эрсилья, будучи премьер-министром, располагает более благоразумными возможностями противостоять кризисной ситуации, так полагает президент. У нас есть время уточнить его намерения, поскольку он уже находится на пути во дворец.

Пеньяльвер прибыл первым. Как зодчий нового альянса, он не терял ни минуты. Вслед приехал дон Салустио в сопровождении своих соратников по партии: важные господа, строго — даже мрачно — одетые, пожилые, однако их глаза все более искрились торжеством по мере приближения к президентскому креслу.

Церемония присяги прошла довольно быстро, и сразу же открылось первое заседание нового кабинета. Полковник Обрегон письменно просил извинения за свое от-

сутствие, ссылаясь на то, что серьезность обстановки не позволяет ему пренебрегать выполнением собственного долга.

Дон Салустио подтвердил: да, он установил контакт с забастовочным комитетом и нашел, что те готовы пойти на перемирие. Создана согласительная комиссия — обсудить вопросы о повышении ставок жалованья, о новом законе, увеличивающем размеры пенсий. Генерал Мендоса попросил министра финансов доложить о выпуске денежных знаков и мерах предотвращения инфляции.

Речь вовсе не идет о том, чтобы полностью удовлетворить все требования, пояснил дон Салустио, увеличим лишь на шесть процентов. С другой стороны, чтобы гарантировать частную собственность, у него есть проект закона, снижающего налоги на национальный капитал, а иностранные капиталовложения освобождающего от налогов на десять лет.

По предложению генерала Пеньяльвера, необходимо было использовать передышку и распустить синдикаты. Президент тут же отметил про себя, что Пеньяльвер подвергся чрезвычайному нажиму, если он так отмежевался от своих новых союзников. Угадывалась хватка Обрегона. Вероятно, полковник, недовольный присутствием в составе кабинета гражданских лиц,— уступка! — хотел заставить их пойти на самые решительные меры по ликвидации кризиса, а это бы несомненно укрепило позиции горилл из генерального штаба.

Дон Салустио немедля высказал свое несогласие. При всем уважении к генералу Пеньяльверу, он все же считает необходимым указать ему, что его идея вызвала бы лишь обострение конфликта между рабочими и предпринимателями, и еще неизвестно, кто бы больше пострадал, возможно, последние. Его же намерением — такова и платформа партии — было защищать собственность, стимулировать ее развитие. Снижением налогов промышленники с избытком компенсировали бы запрошенное синдикатами.

Пеньяльвер не настаивал. Было ясно, что он лишь хотел потрафить офицерам, ропот которых слышался все громче и громче. А после он объяснит в генеральном штабе, что гражданские члены правительства просто не разбираются в ситуации. Президент закрыл заседание, одобрив мероприятия, предложенные доном Салустио.

Прощаясь с министрами, он протягивал руку одному за другим и четко произносил имя каждого. За годы своей политической деятельности он твердо усвоил, что нет более приятного звука для человеческого слуха, чем собственное имя.

IV

Когда Плинто Эстрада, испанский конкистадор из Кадиса, прибыл в Рио-Тинто, здешние земли представляли собой непроходимую девственную сельву, изобиловавшую кокосовыми пальмами, банановыми деревьями, каучуконосами и пробковыми дубами, а лианы сплетали непролазные зеленые кольчуги. В реках кишели крокодилы и пираньи; боа толщиной в древесный ствол, заглотав дикого кабана, спокойно дремали в свою сиесту; макаки раскачивались на ветвях, беспрерывно трещали попугаи, а по ночам горели свирепые глаза пум, подстерегающих жертву. Питоны, гремучие змеи, гадюки шелестели меж пожухлых листьев, среди камней притаились смертоносные красные скорпионы, от яда их не прожить и двух минут. Пещеры были забиты ушастыми вампирами, которые высасывали кровь уставшего скитальца, надеявшегося найти там убежище. На скалах, окружавших вулканы, гнездились кондоры и стервятники, по горным тропинкам карабкались викуньи и альпаки. И ко всему этому людское воображение добавляло полугрифов-полуконей, химер, гарпий, гидр и фурий, принимавших самый причудливый облик в темноте. По ночам путники, добравшись до первой лесной лужайки после утомительного перехода, сбросив плащи на землю, разжигали костер и тревожно прислушивались к голосам джунглей, а на черном небосводе вдалеке сверкали Альдебаран, Сириус, Ригель, Бетельгейзе, созвездия Волосы Вероники, Райская Птица, Северная Корона. Это были единственные минуты для размышлений, творческих раздумий, данные людям как вознаграждение за тяготы суровой жизни. Ведь каждый день жизни надо было отвоевывать у враждебной природы.

Плинто Эстрада был подлинным основателем нации задолго до Брассака, до Итурральде де Туэсты, Уэрты и Присцилиано Горрина. Предводитель Плинто, как прозвали его в народе, определил географические границы национальной территории. Брассак смог создать государство лишь потому, что до него жил и действовал Плинто.

Сумрачный край Рио-Тинто, входивший в вице-королевство Новая Эстремадура, став одним из владений — энкомьенд его католического величества, преображался было в очаг распространения христианской веры, а позднее эти земли, достигнув несравненного процветания, обрели статус генерал-капитанства и сумели отделиться от вице-королевства. Авантюра негра Брассака превратила Рио-Тинто в монархию, а креольские плантаторы учредили здесь республику.

Захватнические операции Плинто отличались неистовостью и строгой последовательностью. Каждодневное наступление на природу привело к ошеломляющему открытию величественного Бангора. Знакомство было несколько огорчительным, поскольку на пришельцев обрушился град копий, отравленных ядом кураре. Индейцы племени напотеков заняли первую линию обороны. Однако вид лошадей и огнестрельное оружие повергли их в суеверный страх и вызвали панику. Затем выступили наводившие ужас караманчели, знатоки законов математики и астрономии, создавшие этот удивительный город.

Бангор предстал драгоценностью, вырубленной из камня посреди непроходимых зарослей. Широкие проспекты вели к храмам, отражавшимся в каналах, воды которых стекали в близлежащее озеро. Самым высоким зданием был королевский дворец, перед ним — целая система террас, лестниц и садов, окруженных стеной, на барельефах которой была воссоздана история нимф и людей-обезьян. Согласно легенде, праматерью неведомой цивилизации была обезьяна, на золотой колеснице спустившаяся с солнца и сотворившая свиту человекообезьян, выполнявших гражданские и религиозные обязанности и забавлявшихся в компании девушек, увенчанных диадемами наподобие солнечных лучей; обнаженные, они играли в дворцовых садах. В то время, когда Плинто прибыл в Бангор, священнослужители для отправления литургии все еще надевали маски, воспроизводящие черты антропоида.

Его императорское величество Гоуро Манкан вначале пытался оказать отчаянное сопротивление. Засады, подстроенные им, и дождь стрел нанесли изрядные потери небольшой экспедиции Плинто, однако техническое превосходство огнестрельного оружия, а также союз, заключенный Плинто с племенем напотеков, привели к окончательному поражению караманчелей.

Гоуро Манкана за руки и за ноги привязали к четырем лошадям, и те, подгоняемые воинами, под страшный хруст костей, разорвали тело венценосца. Плинто устроил пиршество во дворце и, к ужасу военачальников и священнослужителей, сожрал сваренную с солью правую руку Гоуро Манкана, всех убедив, что ему перешли могущество и воинская доблесть бывшего монарха.

К уже совершенному по распространению христианской веры было добавлено нечто особенное: в алтарях он воздвиг кресты, на которые взбирались выточенные из дерева обезьяны. Индейцы опускались на колени перед богом-обезьяной, поклонялись и новым для них крестам. Прошло какое-то время, и образ обезьяны из алтарей исчез, а караманчели продолжали отправлять культ креста, на который теперь было прибито изваяние белого человека. С тех пор так и привыкли они к христианству.

Экспедиция Плинто заинтересовалась заготовкой пряностей: аниса, майорана, имбиря, гвоздики, тмина, шафрана, которые обильно произрастали в этих землях. Когда в Бангоре было найдено серебро, увлеклись и этим металлом. Реликвии и драгоценные изделия стали переплавлять в слитки. Под воздействием огня, раздуваемого огромными кожаными мехами, в тиглях расплавлялись свидетельства творческого вымысла многих поколений серебряных дел мастеров. Сверкающие ручьи жидкого металла сбегали в формы, а затем на хребтах мулов слитки пересекали сельву по дороге к галеонам, отправлявшимся в Испанию. Исчезли изделия ювелирного искусства, изящные филиграни и безделушки, предметы культовых обрядов, украшенные уникальными орнаментами. Сияние серебра придавало сил людям, пробуждало новые желания. Подвергая пыткам караманчелей — отрезая им уши и языки, выжигая глаза,— прокладывая раскаленным железом путь к богатству, совсем близко от Бангора завоеватели открыли сказочные серебряные копи. Излучающие свет жилы чистого серебра без всяких примесей — серебра, которое можно было использовать тотчас же, как только кусок его отрубят киркой,— вознаграждали за все невзгоды и лишения, явились истинным подарком утомленным воинам.

Предводитель Плинто заставлял индейцев добывать металл в адских условиях: удушающий жар в копях, ядовитые испарения, частые обвалы, работа от зари до зари, горстка риса на пропитание, в редких случаях — и это был настоящий праздник — ку-

сочек рыбы, протухшей за время, пока ее везли с далекого побережья. Когда вспыхнула эпидемия «черных нарывов», индейцы умирали сотнями. Всех умерших не было возможности захоронить, трупы складывали поленницей и разжигали огромные костры, которые пылали среди леса, распространяя вокруг отвратительную вонь горелого сала. Целый год прошел, пока не исчезла чума.

Каторжная жизнь на копях, мученические страдания от болезней превратили выживших в бледные тени, у людей выпадали волосы, зубы, бедолаги блуждали по улицам Сан-Педро де Бангор, выпрашивая хоть немного маиса. Даже катышки листьев коки с золой не могли придать им жизненных сил. И тогда Плинто начал ввозить африканских рабов. Но серебро иссякло в копях. Жилы, казавшиеся неисчерпаемыми, перестали отличаться чистотой металла, а затем и его количеством, пока вовсе не истощились.

Плинто вернулся к своему первоначальному промыслу, вновь принялся за сбор пряностей, которые отправлял на баржах по реке Ламас до Сан-Педро. Как раз в ту пору и была основана лавка пряностей, впоследствии преображенная в президентский дворец.

Другим увлечением Плинто стал каучук. Сокровища, добытые под землей, оказались жалкими в сравнении с тем, что он сумел выжать из растительного царства джунглей. Медленно вытекал из надрезов сок, молочного цвета капли скатывались по желобку, наполняя подставленные глиняные кувшины, а затем—превращенные в каучуковые шары, их погружали на речные суда, увозившие груз в порты,— с этим источником благополучия даже серебро не шло ни в какое сравнение.

Новый приток щедрот природы побудил Плинто выстроить для себя резиденцию в сельве, и постепенно среди высоченных кокосовых пальм, под крики и визги беззаботных макак стало вздыматься поражающее, потрясающее, ослепляющее и впечатляющее строение, прорывая сети лиан, вьющихся и ползущих растений в поисках свежего воздуха, вытесненного у земли удушливыми миазмами болот. В этом дворце насчитывалось тридцать девять жилых помещений, не считая приемных, столовых, прихожих, кучерских, курительных комнат, а также салонов, галерей, вестибюлей, библиотек, порталов, подвалов, складов, винных погребов. Все строительные материалы были получены из Европы, оттуда же прибыли архитекторы и производители работ. Этим и объяснялся внешний вид дворца. Верхние этажи увенчивались мансардами с жалюзи во французском духе. Вход в парк открывала широкая галерея со сводами из розового камня, покоящаяся на пилястрах, облицованных голубыми изразцами. Из цветов, предохраняемых штакетником, были созданы арабески в виде геометрических фигур, окружавшие беседку для интимных встреч в центре парка, другой достопримечательностью выглядел трехъярусный фонтан, позволявший и на верхних этажах наслаждаться освежающим перешептыванием водяных струй.

Дворец был тщательно и со вкусом обставлен: хрустальные люстры из Венеции, китайский фарфор, персидские ковры, резьбой отделанные бюро, индийские ширмы, шкурой викуньи обитые диваны, кресла из палисандрового дерева. Гардины с вышитой каймой и бахромой перехватывались шнурами с золотой нитью и свисающими кистями. Желая поразить приглашенных, Плинто выстлал пол бального салона серебряными монетами. Узнав об этом, капитан-генерал запретил ему использовать столь необычайный и дорогостоящий паркет — ведь гостям волей-неволей приходилось топтать лик испанского короля. Тогда Плинто распорядился вылущить монеты и укрепить их опять в полу, но уже ребром, что, само собой разумеется, потребовало увеличить их количество в десятки раз. В резиденции хватало и слоновой кости, и перламутра, уж не говоря о парче, шелке или серебре, золото ослепляло чуть не на каждом шагу, ходили слухи, что в подвалах Плинто хранил множество слитков из сокровищ караманчелей.

Для личного удовольствия и развлечения своих друзей он приказал соорудить небольшой театр, размещенный во дворце таким образом, что прямо из парадного банкетного зала можно было пройти в партер. Это миниатюрное сооружение на тридцать кресел располагало всем тем, что включал и настоящий большой театр: сцену и яму для оркестра, главный занавес и кулисы, рампу и механизмы для передвижки декораций, просцениум и ложи, и даже суфлерская будка торчала перед подмостками. Вершиной экстравагантности выглядели клавикорды, установленные на особом помосте рядом со сценой. Чтобы вдохнуть жизнь в театрик, из Европы пригласили труппу итальянских комических артистов. Вместе с актерами на том же корабле прибыли вместительные баулы с европейской одеждой для рабочих сцены, охранников и налож-

ниц. Из баулов вынимали лифчики, накидки, кринолины, отделанные камкой камзолы, батистовые сорочки, атласные туфельки. В тот вечер, когда дебютировали комики, Плинто Эстрада от души хохотал в своей почетной ложе, потешаясь над отечественными писаками и переписчиками, над телохранителями и содержанками, разодетыми на манер европейского двора.

Однако сельва не позволяла безнаказанно нарушать свой покой и мстила дворцовой роскоши, вторгнувшейся туда, где ей не положено быть. В один прекрасный день неожиданно исчезла цветочная клумба, став жертвой ненасытных термитов. В музыкальной шкатулке можно было встретить красного скорпиона, а по арабескам ковров зачастую ползали ядовитые змеи. В открытые окна врывались ветви ближайших деревьев, некоторые вьющиеся растения отважно направляли свои усики к золотым шнурам на гардинах. Спустя несколько месяцев листва уже преграждала доступ солнечным лучам. Корни раскалывали каменный фундамент, расшатывали стены, лианы заплетали входы и выходы. Люди как-то обнаружили и ушастого вампира, прицепившегося к балке. То и дело приходилось подстригать деревья, ремонтировать помещения, и уже было ясно, что стоит зазеваться, как природа опять возьмет свое — то, что несколько лет назад, совсем немного лет, у нее было отобрано.

Вознамерившись отблагодарить небо за выпавшее на его долю благоденствие, предводитель Плинто построил в Бангоре пышный храм с колоколами серебряного звона. Украшать его поручили некоему индейцу-напотеку, по прозвищу Заячья Губа: на верхней губе у него зияла расщелинка. Многие годы посвятил он тому, чтобы населить боковые алтари мадоннами, покрыть резьбой деревянный амвон, хоры и главный алтарь. После того как его начала одолевать проказа, он стал трудиться по ночам, скрываясь от людей, при свечах работая долотом и стамеской, передвигаясь с помощью своих культей по холодным каменным плитам пола. Никто, конечно, в ту пору и представить себе не мог, что пройдут какие-то века и творения Заячьей Губы станут целью паломничества искусствоведов, исследователей, критиков, которых не остановит долгий путь ради того, чтобы их увидеть. Храм в Бангоре будет объявлен памятником национальной культуры. Однако в те времена Заячья Губа был всего-навсего малоизвестным индейцем-поденщиком... На страстной неделе Плинто вступал в новый храм под балдахином, эту привилегию предоставил ему монашеский орден псалмопевцев в знак благодарности за сооружение святилища в гуще сельвы. Что же касается Заячьей Губы, то, как говорят, от него забеременела одна из наложниц предводителя, взятая им насильно, и Плинто приказал подвесить его за руки на колокольне и держать там, пока не испустит дух. С тех пор, опять же говорят, серебряные колокола перезванивают сами по себе каждую скорбную пятницу...

Генерал Мендоса, отдыхая на веранде, углубился было в далекое прошлое своей страны, перелистывая толстый том в кожаном переплете красно-фиолетового цвета, взятый в личной президентской библиотеке на третьем этаже, когда по коммутатору ему доложили, что его хотел бы видеть полковник Обрегон. Президент пригласил его подняться.

Как всегда, появление полковника предвещало новые неприятности. На этот раз речь пошла о политическом похищении. Управляющий компании «Проутиэн машинери» рано утром выехал на своем «мерседесе» из собственного дома по улице Акаций. На улице Магнолий ему путь преградил какой-то грузовик, и из автомашины, следовавшей за грузовиком, выскочили четверо молодых людей в белокурых париках, на лица были натянуты женские чулки, исказившие черты до неузнаваемости. Они пригрозили управляющему автоматами, заставили его пересесть в их машину и вмиг исчезли из города. Почти одновременно в оффис компании «Проутиэн» поступило сообщение о том, что похитители требуют в обмен за управляющего освободить из тюрем нескольких политических заключенных. И как раз — в тот же час — студенты устроили демонстрацию в центре города, требуя прекратить пытки, которым якобы подвергаются арестованные. Обрегон пояснил: похищение осуществлено, судя по методам, Движением национального освобождения, а что касается обвинений в применении пыток, так это всего лишь пропагандистский маневр. Чтобы получить показания, его подчиненные пользуются обычными в этих случаях приемами — служба контрразведки знает свое дело. Конечно, это не бал дебютанток, его парни, бывает, действуют грубовато, а иногда, должен признать, выходят из рамок, но не настолько, чтобы можно было сожалеть. Заключенных кормят, дают им спать, разрешают встре-

чи с адвокатами, а это уже значительно больше того, что им положено. И если президент позволит, он справится с демонстрантами. Суток не пройдет, как управляющего отыщут; и никаких переговоров с Движением национального освобождения!— с преступниками переговоров не ведут. Президент с ним согласился.

После ухода Обрегона генерал Мендоса в тишине личных апартаментов стал анализировать создавшееся положение. Появились малые симптомы большого недовольства. Приближался час политических перемен. Обеспокоенная общественность с удовлетворением восприняла бы весть о смене правительства и забавлялась бы, перебирая имена новоиспеченных министров; наступил бы период доверия к новой администрации, что позволит выиграть время. А вместе с тем удалось бы обойти генерала Пеньяльвера и приобрести новых союзников, которые с его именем связывали бы свои мечты о власти.

Взяв со столика аппарат, он набрал пять цифр телефона дона Габино Мендеса.

Вслед за конкистадором Плинто на сцену вышел негр Брассак со своим мимолетным королевством, затем последовала республика землевладельцев и прославленных президентов Альфонсо Итурральде де Туэсты, Гаспара де ла Уэрты и Присцилиано Гори Матиенсо, но, кажется, никто из них не был столь оригинален, как дон Никомедес Бастиан.

Генерал Мендоса продолжал листать красно-фиолетовый том, содержащий столь удивительные откровения национальной истории. Нет, это не учебник!

Сан-Педро де Бангор утверждался как столица Рио-Тинто, а дону Никомедесу Бастиану не терпелось посмотреть на мир вскоре после того, как он взял власть в свои руки. Особенно привлекал его Париж, там он арендовал целый этаж в отеле «Руайяль», где расположился со своей свитой из самых верных караманчелей и с наложницами, которых привез сюда для тех ночей, когда скажется тоска по родине и чужие ароматы уже не будут удовлетворять; бывают моменты, признавался он, когда крепкий запах подмышек вспотевших мулаток возбуждает более, чем аромат французских духов от ухоженного тела.

Администрация отеля уже через несколько дней представила дону Никомедесу протест в связи с тем, что он взял за привычку устраивать петушиные бои в Императорских апартаментах, что привело к порче дорогой мебели. Затем дону Никомедесу, отличному наезднику, вздумалось практиковаться в своем любимом виде спорта, и каждый день он занимался верховой ездой в Булонском лесу; однажды, возвращаясь по авеню Фош, он въехал в «Руайяль» с заднего двора и приказал караманчелю, служившему ему за конюха, отвести коня в оранжерею орхидей. Администрация «Руайяля» поняла, что оказалась на пороге одного из серьезнейших кризисов, когда дон Никомедес перешел к занятиям с бичом, стегая копию Ники Самофракийской, установленную на четвертом этаже. С каждым ударом бича отлетали куски гипса, и спустя несколько дней крылатая Победа, потеряв остатки своей величественной прелести, приобрела вид неуклюжего птенца, неспособного перелететь даже через низкую изгородь. Затем последовали танцульки. Набив себе оскомину от томных вальсов, которые никак не могли удовлетворить его ностальгию по гитарам и маримбам родного края, он в один из дней пинками выгнал музыкантов, обычно игравших на вечеринках с танцами, подкатил пианино к окну и выбросил его наружу. К счастью, не было жертв, однако слухи об этой расправе над изысканным инструментом попали на страницы газет, и таким образом стало многим известно, как глава одного латиноамериканского государства проводит досуг в Париже. Тогда дон Никомедес увлекся живыми картинами при участии балерин из кабаре «Амбигю», взрывы оглушительного хохота — особенно в момент, когда исполнялся номер с шампанским из туфельки,— вызывали серьезное беспокойство клиентов, еще остававшихся в «Руайяле». Администрация облегченно вздохнула, как только с наступлением осени дон Никомедес отправился восвояси.

По возвращении в Рио-Тинто президент Бастиан узнал о мятеже и о том, что повстанцы захватили его летний дворец. Напотеки бродили по опустевшим усадьбам, изобретая новое применение незнакомым предметам: пуншевые бокалы баккара служили для экскрементов, банановыми шкурками забивали ящички инкрустированных консолей, справляли нужду в серебряные супницы, ножами разрезали полотняные

скатерти, чтобы сделать из них набедренные повязки,— и это свидетельствовало о прогрессе тех, кто не пользовался уборными и не прикрывал свою наготу.

Главарем нового, очередного выступления был крестьянин по имени Викториано Галата. Тогда у власти находилось еще правительство Итурральде де Туэсты, именно он начал ввоз в страну китайцев, тем самым решив проблему дешевой рабочей силы. Тогда же «Американ раббер компани» получила концессию на девяносто девять лет, по которой ей передавалось сорок девять процентов площади страны для эксплуатации каучуконосов. Караманчели — люди более слабого здоровья и менее подготовленные для суровой борьбы за жизнь — почти полностью вымерли после конкисты, но еще оставались свирепые напотеки, хотя их много полегло на каторжных работах в серебряных копях предводителя Плинто. По настоянию миссии Соединенных Штатов была создана комиссия по делам индейцев, которой надлежало определить зоны, где могут обитать напотеки. От них хотели избавиться, согнав в одно место, чтобы больше земель досталось «Американ раббер». Сам Итурральде де Туэста получил солидный пакет акций этой компании и возглавил деятельность комиссии. Прибегли к двум видам операций: окружали и поджигали индейские деревни, самих индейцев собирали в длинные караваны и направляли к берегам реки Ламас, а там кавалерия загоняла их в воду, где кайманы и пираньи уже не теряли времени. Другой прием, более изысканный, заключался в следующем: был объявлен званый обед с жареной свининой и щедрым угощением писко [1]. Напотеки прошагали десятки лиг [2], чтобы попасть на пиршество. Когда праздник был в разгаре, появились стрелки, посланные Итурральде, и залпами в упор покончили с гостями, включая женщин и детей. Только рассеялся дым от стрельбы и стихли крики ужаса, надсмотрщики компании ударами мачете прикончили тех немногих, кто еще выказывал признаки жизни. Вся земля без промедления перешла в собственность компании, в соответствии с решением комиссий по делам индейцев, установившей наличие пустошей. Спустя несколько лет «Американ раббер» владела уже семьюдесятью процентами территории Рио-Тинто. Кое-какие министры выступили было, по суждению Итурральде, с ошибочными, националистическими высказываниями против передачи земель во владения Соединенных Штатов. Одни из них получили пакеты с акциями и затихли, у других обстреляли дома, двери и окна разлетелись в щепки, гончарные изделия рассыпались на куски от первых же пуль, и этого оказалось достаточным, чтобы недовольные отказались от глупых размышлений.

Привезли передвижные бараки, прибыли безработные из столицы, приехали китайцы из Кантона, пришли кое-какие обезземеленные караманчели, вконец укрощенные лишениями, и возникли особые районы компании, в которых появились огороженные зоны, где всегда газоны зеленели ярче, кокосовые пальмы изгибались с удивительным изяществом, а за белыми шале, в которых жили гринго, виднелись плавательные бассейны. Ночи напролет гринго пили виски и резались в карты — пораженные караманчели знакомились через щели в заборах с новейшей цивилизацией.

Когда индейская территория была аккуратно разбита на квадраты согласно тщательно разработанным рекомендациям «Американ раббер компани», приступили к плану освоения земель белых крестьян. Выселяли, сжигали шалаши и хижины по всему северу-востоку Рио-Тинто. Отец Викториано Галаты сопротивлялся и был поднят на штыки, а мать забрали в качестве армейской судомойки, и она, уже как солдатка, должна была спать с каждым, кто пожелает. Викториано в ту пору был почти ребенком, пришлось ему жить на попечении дядей в соседней деревне.

Как раз тогда вспыхнуло восстание в горах Эль-Сискеро. Конституционалистская армия, тогда ее так называли, была разгромлена огнем старых маузеров, высовывавшихся меж лиан и деревьев. Два полка месяцами выслеживали в горах повстанцев, которые объявлялись внезапно и, осыпая градом стрел, отравленных кураре, стреляли из духовых ружей. Североамериканская миссия запросила прислать крейсер для защиты жизни и поместий своих сограждан, постоянно живущих в этой стране. Крейсер прибыл. Высадившийся экспедиционный корпус под командованием опытного генерала Кешинга в течение нескольких месяцев прочесывал горные районы. Многие солдаты морской пехоты подхватили желтую лихорадку, а заодно и венерические болезни, но ни одного повстанца так и не видели. Тогда как сам генерал

[1] Спиртной напиток.

[2] Старинная мера длины в Латинской Америке — около пяти километров.

Кешинг нажил себе шелушащуюся мозоль на заду — чересчур много времени провел в седле, к тому же бесполезно, после пришлось уносить его на носилках. Прошло несколько месяцев, и корпус должен был ретироваться: обманувшись в своих надеждах, удирали во всё лопатки участники экспедиции, больные, потерявшие воинскую выправку, с видом карнавальных пачкунов от зноя, царившего в джунглях Рио-Тинто. Немало скабрезных песенок было спето в народе о доблестном Кешинге и гонорее, как говорят, выбившей его из седла,— тем и закончился поход. Партизанские отряды, только что организованные, вскоре рассеялись, но в горах Эль-Сискеро по-прежнему оставалась группа, как утверждало правительство, разбойников. Зато любой крестьянин, измученный непосильными условиями жизни, преследуемый и голодный, знал, что надо идти в Кордильеры, там всегда можно найти радушный прием.

Вернувшись из Парижа, дон Никомедес Бастиан убедился, что новое выступление партизан, теперь уже в сельве по берегам реки Ламас,— лишь новая глава в истории сведения старых, нерешенных счетов. На этот раз напотеки были союзниками белых крестьян. На этот раз у них был и вождь: Викториано Галата.

Волнение вспыхнуло в деревнях вокруг Эль-Сискеро. Галата и его молодые друзья писали на стенах лозунги, нападали на часовых, отбирали у них карабины и патроны. Забрав кое-какое оружие, они уходили в горы.

Нападение партизан на большую каучуковую плантацию близ Бангора вылилось в крупный конфликт. Разгромив охрану, они подожгли здания. На всей территории остались лишь дымящиеся столбы да почерневший от огня мусор. Воинские части предприняли преследование, но дон Никомедес Бастиан понимал, что разумнее нанести удар по более слабому звену цепи, и бросил карательные силы против напотеков. Возглавив колонну из трех полков, дон Никомедес, верхом на муле пересекая джунгли, продвигался к реке Ламас. Охота за напотеками была в высшей степени жестокой, будто Бастиан задумал устроить примерную резню, которая устрашила бы туземцев, заставив их навсегда отказаться от выступлений против столичной власти. На протяжении многих дней каратели без передышки рубили головы, вешали, расстреливали, душили. Было столько трупов, что хоронили их, оставив руку убитого на поверхности, дабы легче было сосчитать,— лес рук казался роковым знамением, а один из последователей Галаты позже заметил, что погибшие продолжали с того света приветствовать борьбу живых. Дону Никомедесу нравилось подвешивать повстанцев за ногу к подходящему суку и ударом мачете вспарывать живот, а кишки обматывать вокруг шеи казненного наподобие галстука. Некоторым несчастным в последние минуты жизни еще удавалось видеть, как свиньи пожирали их внутренности. Самой страшной для напотеков карой была кастрация: ведь они верили в переселение душ, а значит, оказались перед угрозой потерять свою мужскую силу в будущей жизни. Дон Никомедес знал это, и его болезненному воображению не было предела. Кроме того, он устраивал игры в мяч, используя отрубленные головы напотеков. Ужасом он переполнил джунгли, однако еще держались защитники Эль-Сискеро. И помогла дону Никомедесу только случайность.

Викториано Галата полюбил красивую девушку, деревенскую учительницу. Наедине они предавались любви в лесу, а партизаны с ружьями в руках и перекрещенными на груди лентами патронов охраняли на отдалении их покой. Когда Мария де лас Мерседес забеременела, Викториано хотел переправить ее в горы, но ему отсоветовали — полная лишений жизнь в горах не подходила для беременной. Дон Никомедес Бастиан, заботившийся о своих доносчиках — подкупы, щедрая оплата за полезные для него сведения, которые он получал из каждого селения,— знал о любви Галаты, о том, что он ждет ребенка, и самым тщательным образом подготовил западню.

Галата предпочел жениться на Марии де лас Мерседес еще до рождения ребенка. Выбрали церковь, в которую редко кто заглядывал, обдумали и время свадебной церемонии — полдень в середине недели. Уговорили священника, заручившись его молчанием, а Мария де лас Мерседес сама сшила себе белое подвенечное платье, чтобы никто не мог догадаться о предстоящем. В день, назначенный для бракосочетания, Викториано выкупался в реке, надел чистую рубашку и распорядился коня украсить сбруей, отделанной серебром. В сопровождении преданных ему соратников он спустился с гор к церкви, расположенной в долине. Дон Никомедес, следивший за приготовлениями к свадьбе Викториано, расставил сети. Викториано Галата и его спутники только миновали кладбище, как из-за каменной ограды засевшие там стрелки расстреляли жениха и его друзей. И все же крестьяне поныне не верят, что Галата погиб. Они

убеждены, что он скрывается в Эль-Сискеро, и потому Company не может чувствовать себя спокойно, не удастся гринго присвоить эти земли — Викториано следит за ними с горных вершин.

V

Дон Габино Мендес его ждал. Генерал Мендоса решил принять посетителя в своем официальном кабинете. Не следовало сразу ослеплять его блеском власти.

— Вы, дон Габино, не представляете, насколько мне приятна эта встреча. Я и мысли не допускал, что мое правительство может существовать и действовать без поддержки тех, кто уже подтвердил свою исключительную верность национальному делу. К несчастью, вначале мне пришлось пригласить консервативную партию, которая далеко не на уровне исторических обстоятельств. Поверьте, сколь почетно для меня просить вас принять пост премьер-министра моего правительства, а по принятии этого поста немедля сформировать кабинет с участием виднейших деятелей христианско-демократической партии.

— Принимаю,— последовал краткий ответ.— В этот момент испытаний прошу господа бога придать мне сил, дабы выполнить важную миссию, порученную мне.

— Я не ожидал иного от столь достопочтенного общественного деятеля, всем известного своей самоотверженностью и самоотречением в пользу интересов отечества.

Тотчас же дон Габино Мендес посоветовал президенту включить в состав кабинета двух членов конгрегации святого Петра, что облегчило бы достижение некоторой договоренности с его партией. Они — прекрасные организаторы и если не располагают достаточным опытом политической деятельности, зато выдвинулись на ниве бизнеса, возглавляя две значительнейшие компании в национальной промышленности: «Меридиан лимитед» и «Фармер энд Лорд компани». Речь идет об идеологах новой волны католицизма, выступающих за взаимопонимание между работодателями и рабочими.

— Вы понимаете, дон Габино, коммунистов я не приемлю, пусть даже они и умеют молиться,— заявил дон Анисето.

— Не в том дело,— настаивал дон Габино,— поверьте, это полезный союз. Они будут помогать своей логикой и своим религиозным орденом, а их поддерживают значительные силы католицизма.

Дон Анисето в конце концов согласился.

Президент пригласил дона Габино Мендеса вместе с членами нового кабинета позавтракать. Неплохо увидеть лица тех, с кем придется работать. После этого он позвонил дону Салустио Эрсилье и сообщил ему, что пересмотрел свое прежнее решение и посчитал возможным отклонить его услуги в качестве премьер-министра, однако надеется на поддержку консервативной партии на новом этапе, ознаменовавшемся возмутительнейшими событиями, ставящими под удар будущее нации. Дон Салустио в полном замешательстве от имени своей партии заверил президента в лояльности.

Слуги в накрахмаленных белых блузах и белых перчатках вначале разнесли виски и портвейн. Свежеиспеченные министры, представленные доном Габино, приветствовали генерала Мендосу. Завязалась ни к чему не обязывающая светская болтовня, когда президента известили, что его просит к телефону генерал Пеньяльвер. Нужно действовать осторожно: тигр разъярен. Пеньяльвер говорил короткими фразами. Скрывал свое возмущение. Он только что узнал на улице о сформировании правительства. Мендоса хотел было пуститься в объяснения, но посчитал, что ни одно из них не удовлетворит Пеньяльвера.

— Поговорим попозже, лично,— сказал он ему.

За устрицами дон Габино набросал в общих словах платформу своего правительства: жилища и школы — две извечные мечты народа, два остро ощущаемых пробела в национальной жизни. Увеличить число учителей, основать центр по подготовке преподавательского состава. Министр общественных работ подготовит план строительства новых школ. Университетская реформа. Современный университет — это не очаг схоластики, а двигатель дальнейшего развития. Следует включать в правительство свежие силы — подобрать из потока талантов, выпускаемых университетом.

Пока разделывались с бифштексами по-бургундски, новый министр иностранных дел высказал свои идеи, ранее обсужденные им с доном Габино. Следует находиться на равной дистанции от блоков обеих супердержав, приблизиться к третьей позиции. Тем не менее, вполне естественно, не следует забывать, что мы являемся западной, де-

мократической и христианской нацией, нас объединяет общность культур, общность систем управления государством, мы неизменно принадлежим свободному миру и, конечно, выступаем против «железного занавеса». Во всяком случае третья позиция — всегда выгодный элемент во внешнеторговых делах. С другой стороны, Соединенные Штаты ценят наше участие в Объединенных Нациях, мы отдаем им свой голос, но не бесплатно, не безвозмездно.

Пока наслаждались розовым виноградом с дворцовых лоз, дон Габино коснулся наиболее щепетильной из всех тем: проблемы министра внутренних дел. Серьезный национальный кризис, волнения в низших социальных слоях населения, студенческие демонстрации, забастовки рабочих, а тут еще, как назло, похищение управляющего американской фирмы «Проутиэн» — все это свидетельствует о банкротстве полковника Обрегона. Если позволит сеньор президент, то он счел бы возможным предложить новую кандидатуру на пост министра внутренних дел, который позаботится о национальной безопасности.

Дона Анисето поразила отвага в постановке такого вопроса: любое правительство, задевающее интересы армии или полиции, ставит под удар собственное существование.

Бестию побеждают хитростью, а не силой. Подлинной опасностью был не Обрегон, а генерал Пеньяльвер. Будучи командующим вооруженными силами, он располагал высшей властью. Именно Пеньяльвер мог бросить вызов. Он сам не взял в свои руки президентский пост в момент военного переворота только потому, что еще не чувствовал себя государственным деятелем и не опирался на какую-либо из политических партий, да и сподвижники не признавали в нем дарования правителя. Но тот момент уже миновал. Пеньяльвер теперь утвердился на своем месте. Он вел переговоры с партиями. Встречался с американским послом. Беседовал с архиепископом. Удалившись в казарму, он ласкал стволы пушек и баюкал танки. Подстерегал удобную возможность. Не выбьешь Пеньяльвера из седла, сам окажешься без президентского кресла. И предложение дона Габино следовало бы направить по другому руслу: не Обрегон, а Пеньяльвер должен уйти в отставку. Конечно, говорить об этом в присутствии стольких свидетелей не благоразумно.

После завтрака президент дал аудиенцию послу Соединенных Штатов. Тот привез приятные вести: его правительство извещало официально генерала Мендосу о признании возглавляемого им режима. Дон Анисето, преисполненный благодарности, опустил глаза. Посол также желал выразить свое удовлетворение по поводу назначения нового кабинета во главе с доном Габино Мендесом. Он всегда находил взаимопонимание с христианско-демократической партией, заслуживающей всяческого уважения. Однако он не может не обратить внимание президента на некоторые тревожные факты. Например, исчезновение управляющего «Проутиэн» и самое серьезное — нет успехов в его поисках. С разрешения президента он готов направить экспертов высшего класса в помощь сотрудникам полковника Обрегона. В североамериканских школах полицейских наук есть весьма и весьма опытные специалисты. Мендоса быстро сообразил: все, что в этот момент укрепляет позиции Обрегона, поможет спровоцировать его столкновение с Пеньяльвером. Он немедленно согласился с послом, и гринго ушел довольный.

Никаких колебаний, не то Пеньяльвер поставит его к стенке — генерал Мендоса очень хорошо знал своего противника. Чтобы снять с поста командующего вооруженными силами, необходимо опереться на министра внутренних дел. Полицейские силы и специальные службы располагали значительной огневой мощью, хотя и несравнимой с армейской, зато они более подготовлены для операций в условиях мятежа. На всякий случай было бы полезно отделаться и от Обрегона, использовав для этого армию. Сначала А против Б, а затем Б против А. Таков был один из уроков «Государя»[1] — отмеченного Наполеоном труда, который можно было найти на полках библиотеки третьего этажа.

А благоприятный случай вскоре представился: не потребовалось вызывать полковника Обрегона, он сам явился со срочным докладом. Не проронив ни слова, он протянул президенту прокламацию. Без очков Мендоса обычно не читал. Но то, чего этот документ касался, как рассказали ему, надлежало прочесть. Манифест Движения национального освобождения — протест против попыток христианско-демократической партии внести замешательство в ряды рабочего класса, обещая ему крохи вместо окончательной свободы, которую рабочий класс смог бы завоевать собственными сила-

[1] Имеется в виду труд итальянского политического мыслителя и писателя Никколо Макиавелли (1469—1527).

ми. Движение национального освобождения выступало против классового мира. Его цель — упразднение буржуазного класса и создание государства рабочих и крестьян.

— Московское золото,— заявил Мендоса.— Надо кончать с ними!

Но этого мало. В горах Эль-Сискеро совершено нападение на пост пограничной заставы. На рассвете его атаковала группа партизан и, захватив большое количество оружия и боеприпасов, исчезла. Это означало, что в стране появился очаг подрывной деятельности.

Первое все же было первым. Мендоса придерживался своего. Такая нетерпимая ситуация требовала серьезных перемен: Пеньяльвер должен уйти. Обрегон, не веря своим ушам, поднял брови. Социал-демократы требовали отставки командующего вооруженными силами? Обрегон широко раскрыл глаза, но принял смиренную позу. С другой стороны, уж слишком много лет Обрегон пребывает в полковниках и, похоже, наступал час принять ему генеральский чин. Как поступить в этих обстоятельствах? Обрегон ответил сразу же. Уже много лет ждал он этого момента. Так или иначе, он всегда будет на стороне конституционного режима, охраняющего мир и порядок в стране. Мендоса предупредил: в случае столкновения следует вывести бронетранспортеры и танки на улицы и обезвредить мятежные гарнизоны, если таковые будут. Естественно. Как обычно, необходимо взять под контроль средства коммуникации: радио, телеграф, телефон. Да, в его распоряжении есть все необходимое для выполнения задачи. И надо поспешать, учитывая, что генерал Пеньяльвер может отказаться подать в отставку. Понятно. А потому вызвал дона Габино, чтобы разъяснить ему ситуацию.

Адъютант доложил: архиепископ Алиосио Дидельфо ожидает президента в Зеленом салоне — там хранилась большая коллекция малахитовых ваз. Его преосвященство протянул президенту руку, и тот поцеловал кольцо прелата. Монсеньор Дидельфо был озабочен: республиканские устои расшатываются, завоевания отцов родины в опасности. Брассак, Итурральде де Туэста, де ла Уэрта, Горрин, Никомедес Бастиан — столько выдающихся деятелей, отдавших лучшее в своей жизни, свой талант созданию нации, покоя не могут обрести в могилах. Похищения, забастовки, демонстрации, протесты — ведь это анархия!

Мендоса в беспокойстве поджал губы. Так с президентом не говорят. Ему была явно неприятна попытка представлять панораму внутреннего положения страны в таком свете. Почти что оскорбительна. Но вместе с тем он не мог противиться церкви накануне удаления генерала Пеньяльвера. Врага лучше иметь одного.

Архиепископ продолжал: форма подчас обусловливает суть; он не сторонник государственного переворота, важно придерживаться уже установленного. Чернь поднимает голову — нужно быть слепцом, чтобы этого не видеть. Он не хотел бы, чтобы президент ошибочно истолковал его слова, он высоко ценит генерала Мендосу, всегда питал к нему глубокие симпатии как к политику, своими действиями генерал подтверждал не раз, что, будучи верным сыном церкви, относится с уважением и к ее земным сокровищам, однако происходящие события — симптом тяжелого заболевания нации. Его также беспокоило присутствие в составе правительства некоторых министров — известных представителей церковных кругов, национальный кризис может скомпрометировать их. Церковь отнюдь не намеревается стоять в стороне, нет, она и впредь будет помогать всем, чем может, и все же их участие, столь явное в событиях, может принести отрицательные результаты. Все должны знать, что эти министры действуют как частные лица, но церковь не представляют. И ошибки их, промахи следует отнести на личный счет этих министров. Священнослужитель, вмешивающийся в политику, перестает быть полезным для миссионерской деятельности. Стремление участвовать в делах преходящих может лишь нанести ущерб проповедыванию евангелия.

Генерал Мендоса обещал переговорить с доном Габино, на этом встреча закончилась.

Спустя полчаса Пеньяльвер уже был политическим привидением, живым покойником, has been [1], призраком с прошлым. Вмешательства министра внутренних дел не потребовалось. Немедля был подписан декрет, присваивающий чин генерала полковнику Обрегону.

Мендоса открыл для себя, что Пеньяльвер не пользовался в армии той поддержкой, которой бахвалился, да и престиж его, и влияние не имели определения в пре-

[1] Здесь: бывший человек *(англ.)*.

восходной степени. Генеральный штаб согласился с этой переменой и подтвердил свою лояльность президенту. Никто из генералов не забыл, что Мендоса из своих: вышел из военных. А они всякий раз понимали друг друга.

Наступил очередной этап. С христианскими демократами у власти и генералом Пеньяльвером в отставке Мендоса почувствовал себя значительно увереннее — хозяином своих официальных полномочий. Все же оставались нерешенными серьезные проблемы, с прежней силой дававшие о себе знать на улице,— чернь выводила из терпения. Анисето Мендоса ясно представлял, как будет действовать правительство дона Габино: реформы, утешения, аспирин, ртутные мази там, где требуется решительная, твердая воля, которая, как бы сказал генерал Чавес, сумела бы уступить тактически, чтобы выиграть стратегически. Когда корабли становятся жертвами бури, сначала надо выкинуть за борт балласт и уже в крайнем случае полезный груз, чтобы спасти судно. Левоцентристский румб был бы неплох в данное время. Максимум благоразумия: вовремя принять меры, чтобы сдержать возрастающий прилив недовольства толпы, либо открыть клапан парового котла во избежание взрыва. Всюду предусмотрительность. Иногда выпуск пара ускоряет взрыв. В момент передышки явно неоценимой была бы радикально-демократическая партия. Мендоса готов даже побороть некое личное отвращение к ней. РДП была традиционным противником его в годы деятельности в конгрессе, он сталкивался с немалыми трудностями — парламентскими западнями, интригами своих последовательных врагов. И все-таки каким-то чутьем, чуть не животным инстинктом, спасавшим его при крутых политических поворотах, он улавливал, что в данный момент такой шаг был бы наиблагоприятным.

Генеральный секретарь радикально-демократической партии инженер Луис Сантасилиа — маньяк организованности, человек, родившийся для жизни в условиях великой демократии Севера, которой он так восхищался. К своему несчастью, он увидел свет в малоразвитой стране и никогда не мог примириться с подобной несправедливостью судьбы. В строительном предприятии, которым он руководил, каждый этап сооружения здания предварялся статистическими сведениями, планами, схемами, выводами, чертежами, меморандумами, кибернетическими манипуляциями и дополнительной документацией. Его приводила в отчаяние отсталость архаичных, заржавелых правительственных конструкций. Недоразвитость вызывала у него озабоченность не своими последствиями для низших слоев, а несовершенством для высшего. Его приводили в восторг вычислительные машины и телевизионная информация. Его постоянно тревожил технологический разрыв между индустриальными и аграрными странами. Частенько он говаривал, что Рио-Тинто не сумеет благоустроиться, пока государственная администрация не будет столь же действенна, как администрация «Дженерал моторс». Себя он считал прогрессивным человеком, сыном своего времени, он играл в теннис и был членом бангорского яхт-клуба. Его супруга изучала социологию, проводила с точки зрения антропологии исследования культуры караманчелей. В политическую деятельность он был вовлечен против собственной воли, под нажимом со стороны тестя, патриарха радикалов, но, окунувшись в политику, он обнаружил, что это его поле действия, такое же, как и бизнес. Если когда-нибудь он придет к власти, то его правительство будет правительством технократов. Он считал кабинет Кеннеди высшей ступенью, достигнутой западной цивилизацией, и сожалел, что у того не хватило времени полностью осуществить «план Камелот» [1]. Поэтому его не удивило приглашение генерала Мендосы прибыть во дворец. Он был уверен, что рано или поздно такой час наступит.

— Вы, инженер, не представляете,— сказал президент,— насколько мне приятна эта встреча. Я и мысли не допускал, что мое правительство может существовать и действовать без участия тех, кто уже подтвердил свою исключительную верность национальному делу. Консервативная и христианско-демократическая партии далеко не на уровне исторических обстоятельств, которые мы переживаем. Поверьте, сколь почетно для меня просить вас принять пост премьер-министра моего правительства, а по принятии этого поста немедля сформировать кабинет с участием виднейших деятелей вашей партии.

— Принимаю,— последовал короткий ответ инженера.

---

[1] Операция ЦРУ, направленная на укрепление позиций США в странах Латинской Америки.

VI

Дон Фаустино Гусман Валье сменил дона Никомедеса Бастиана. Смена президентов отличалась необыкновенной простотой: Гусман Валье предложил дону Никомедесу выбрать одну из двух возможностей: подать в отставку с президентского поста и покинуть страну, либо... и он положил на зеленое сукно карточного стола два заряженных пистолета. Так начался один из наиболее памятных периодов национальной истории.

Дон Фаустино обладал несравненными особенностями. Первым шагом его правительства было подписание финансовой и налоговой реформ, носивших во многом бесспорно «персоналистский» характер. Он приказал изъять из обращения банкноты старого образца и выпустить новые, на которых красовался бы лик его старшей дочери. Уплата налогов должна была производиться по чеку, выписанному прямо на его имя и направленному в президентский дворец. Сборщиком налогов он назначил консула Соединенных Штатов, заявив, что американцы лучше всех разбираются в денежных делах. Убедившись, что и эти меры не принесли ожидаемых прибылей, он начал штамповать фальшивые денежные знаки, используя технику, поставленную ему мастерами из чикагской мафии. Гордыня обуяла его настолько, что он возжелал чеканить свои монеты из чистого золота, дабы они выделялись своим высоким качеством. А поскольку их реальная стоимость превысила запасы государственной казны, то вскоре он увидел себя на краю банкротства.

Тогда дон Фаустино принялся за политические реформы. В соответствии с законом члены его партии получили право голосовать дважды. И на первых же выборах число голосов, поданных за президента, утроило население в стране. Такую процедуру он назвал избирательной демократией. Министры узнавали о том, что они смещены со своих постов, читая утренние газеты, поскольку дон Фаустино, оберегая себя от неприятных бесед с ними по такому поводу, предпочитал посылать сообщения в печать.

Затем его внимание привлекло состояние здравоохранения и общественных работ. Им была монополизирована продажа хинина, а чтобы приумножить прибыли, он приказал хинин смешивать с мукой. И как следствие этого Рио-Тинто пало жертвой невиданной эпидемии; североамериканскому правительству пришлось прислать сюда группу врачей, лишь только оно убедилось, что добыча каучука стала сокращаться. Дон Фаустино построил длиннющее шоссе, которое, как оказалось, никуда не вело, зато министр, обративший внимание на то, что шоссе связывало все асьенды диктатора, лишился своего портфеля и был сослан консулом в Рейкьявик.

Декретом Гусмана Валье были учреждены два больших национальных праздника. Одним был день рождения его супруги, другим — 4 июля, День независимости Соединенных Штатов. Через каждые четыре года устраивались шумные пиршества в день принятия власти североамериканским президентом. По убеждению дона Фаустино, такое торжество сразу же и еще более укрепляло прекрасные отношения Рио-Тинто с новым главой Соединенных Штатов.

Дон Фаустино испытывал определенную слабость к членам своей семьи. На всех почтовых марках помещалось изображение его августейшей матушки. Своего внука через четыре месяца после рождения он зачислил капитаном, а в девять лет от роду повысил до генерала армии. В день рождения ребенка праздновался День вооруженных сил. А в день именин бабушки проводился большой парад всех трех родов войск. Реки, горы и города он переименовал, назвав их именами членов своей семьи.

Его внешнеполитические отношения также были не без шипов. Как-то однажды он пригласил посла Испании и потребовал от него, чтобы испанское правительство присвоило ему, дону Фаустино, дворянский титул. А поскольку пришедший в замешательство посол возразил, ссылаясь на убедительные аргументы, то на следующий же день дон Фаустино вызвал к себе командующего войсками и приказал расстрелять всех без исключения членов дипломатического корпуса. Нунцию Ватикана с трудом удалось добиться отмены этого решения президента Рио-Тинто. Несколько погодя он предложил британскому посланнику выпить индейскую чичу [1], посланник заявил, что предпочитает чай. Взбешенный президент отказ посланника счел оскорблением нации и заставил его опорожнить галлон чая, после чего дипломата провезли по столичным улицам на осле, посадив лицом к хвосту. Гусман Валье испытывал особую

[1] Алкогольный напиток, приготовляемый из маиса.

страсть к помпе и для своей личной охраны скопировал форму гвардейцев Букингемского дворца. Несчастные часовые Дома пряностей обливались потом в своих тропиках под высокими меховыми шапками северных широт. Однажды во время приема во дворце дон Фаустино посчитал, что посол Франции недостаточно почтительно его приветствовал, так он наподдал французскому дипломату пониже спины. Воспылав желанием лично заняться дипломатической деятельностью, президент отбыл в соседнюю республику Сан-Никаринго. Уже многие годы никарингане оспаривали в интересах своей внешней торговли полосу территории Рио-Тинто, которая обеспечила бы им выход к морю. Ни одно из правительств Рио-Тинто не шло на уступки. Во время визита Гусмана Вальe эта проблема встала с особой остротой. Как только Гусман Вальe вышел на балкон правительственного дворца, собравшаяся толпа разразилась выкриками: «Хотим порт! Хотим порт!» Гусман Вальe жестом успокоил крикунов. Все ждали от него исключительно важного заявления. И тогда он громко задал вопрос, сделавший его знаменитым, но и навсегда ненавистным человеком в Сан-Никаринго: «А зачем вам порт, если у вас нет моря?»

В те годы он принял специально введенный для него официальный титул Примаса Освобождения, однако его политические противники, отправленные им в изгнание, тут же перекрестили его в Примата Угнетения. Номер своего «роллс-ройса» 000—001 он заставил отлить из золота.

Культура им понималась весьма своеобразно. Наивысшее эстетическое наслаждение он получал от прослушивания пианолы, стоявшей в президентском кабинете, кто-то из адъютантов менял ролики, а дон Фаустино каблуком отбивал ритм. По его требованию в Рио-Тинто были выписаны из-за границы новейшие типографские машины, чтобы... отпечатать жизнеописание президента, сотворенное учителем истории местного лицея. В этой же типографии начали печатать единственную в стране газету, а редактировать ее пригласили некоего француза, понимавшего в грамоте, за что и гарантировали ему жалованье. Болезненная чистоплотность дона Фаустино была известна всем, он даже издал распоряжение, согласно которому двадцатью ударами бича наказывался, предварительно закованный в колодки, каждый осмелившийся бросить на улице окурок. Он считал, что, запретив входить в таверну в набедренной повязке, уже тем самым насаждал цивилизацию. Из других его мер цивилизаторского порядка следует упомянуть борьбу с грабителями. Поскольку налетчики, подкарауливавшие путников на дорогах, обычно избивали палками всех, кто не имел с собой денег, Гусман Вальe запретил гражданам отправляться в путь, не захватив по меньшей мере пятидесяти песо, чтобы избежать избиения.

Дон Фаустино, конечно, был весьма набожным человеком. Зачастую он присутствовал при богослужении, однако заранее никогда не было известно, в какой день, в какой церкви это произойдет. Пока он слушал мессу, его охранники с автоматами в руках отсиживались в исповедальнях.

Пытался он основать и торговый флот, и первое — единственное — судно, спущенное на воду, было окрещено его именем — «Фаустино Гусман Вальe». Совершая свой второй рейс, судно попало в тайфун в Китайском море и затонуло вместе со всем грузом. Из явного тщеславия дон Фаустино прилагал все усилия к тому, чтобы судно, носившее его имя, вызволить из пучины и вновь пустить в плавание, средств было затрачено в три раза больше, чем потребовалось бы на строительство нового, и все впустую.

Он нажил сказочный капитал, забрав в свои руки монополию на каучук, дерево, кофе, табак, ром, бананы, арахис, хенекен, пиво и скотоводство. Все области национальной экономики очутились под его контролем. И вместе с тем он проявлял высшую щепетильность по отношению к финансовым операциям своих министров: по его убеждению, все они залезали в карман государства, а значит, обворовывали его. Он лично проводил ревизию бухгалтерских книг и сурово наказывал любого за малейшую провинность. Невероятное количество денег было им переведено на секретные счета в швейцарских банках. Если же он хотел облагодетельствовать одного из министров, то разрешал ему растратить некую достаточно скромную сумму.

Тридцать четыре года длилось его правление, а он не проявлял и капли усталости. Помимо католической религии, он исповедовал культ бога Гефеста из древнегреческой мифологии и приказал во всей стране воздвигнуть в его честь храмы, дабы содействовать развитию промышленности и приумножению трудолюбия сограждан. Его религиозное восприятие жизни проявилось особым образом, когда он распустил

комиссию, изучавшую проблему углубления русла реки Ламас: он посчитал, что если бы господь бог захотел превратить эту реку в судоходную, то сам бы так и сделал. Он также поклонялся солнцу и уверял, что солнечные лучи излечивают большинство болезней, и в те годы многие в Рио-Тинто потеряли зрение, взяв себе за правило смотреть на небесное светило.

И как никто, он умел воздавать почести своим сиятельным предшественникам. Это при его правлении была установлена конная статуя Присцилиано Горрина Матиенсо. Однако дон Фаустино так никогда и не узнал, что его эмиссары, посланные в Париж заказать Бурделю [1] статую, порастратили за игорными столами в притонах большую часть казенных денег и в каком-то из провинциальных городков приобрели за треть цены конную статую маршала Бернадота [2], которая затем и была торжественно установлена в Центральном парке Сан-Педро де Бангор. Согласно выраженному доном Фаустино пожеланию, на пьедестале высекли любимое изречение красноречивого трибуна, каковым был дон Присцилиано: «Дайте мне балкон, и страна пойдет за мной».

В последние годы правления Гусмана Вальe выросла и значительно укрепилась оппозиция его режиму, да и диктатор к этому времени достаточно почерствел. Ему пришла в голову идея чистоты расы, он решил устранить метисацию, а потому предпринял политику геноцида в отношении напотеков, сведшего в могилу двадцать тысяч человек. Им была организована военизированная бригада, головорезы которой в гражданском платье дубинками разгоняли демонстрации и митинги.

В ту же пору он попытался разделаться и со своими политическими противниками, организуя покушения, настолько тщательно подготовленные, что когда жертва падала под пулей, то за углом поджидала санитарная машина, чтобы увезти труп на вскрытие, часовня была готова для заупокойной мессы, похоронное бюро обеспечивало катафалк и венки, украшенные лентами с именем погибшего и даже — это была вершина профессиональной заботы! — был подписан документ, предоставлявший пенсию будущей вдове. Оппозиция провела целую серию уличных демонстраций с участием матерей погибших. В пику протестовавшим дон Фаустино подстроил выступление целого батальона проституток из квартала Ла-Виктория, выкрикивавших проправительственные лозунги. А в качестве премии за эту акцию, в насмешку над светским обществом, был дан прием в честь владелиц домов терпимости столицы.

Испытывая чувство искреннего восхищения перед Наполеоном, Гусман Вальe повсюду разослал своих соглядатаев. От них ему стало известно о заговоре в военно-воздушных силах, только что созданных. Маршал военно-воздушных сил, его кузен, хотел было провести процесс в военном трибунале, оформить следствие, назначить обвинителей и защитников. «Ты не знаешь, как нужно обделывать подобные дела»,— сказал ему дон Фаустино. Он отправился на аэродром и приказал построить в ряд мятежных летчиков, окружить их станковыми пулеметами, а у ног заговорщиков вылить несколько канистр высокооктанового бензина. Бензин подожгли, и каждый, кто пытался выскочить из огня, падал под пулеметными очередями. «Я же предоставил им возможность выбора»,— объяснял дон Фаустино свой особенный стиль казни. Наиболее щекотливым эпизодом в его правлении считался так называемый «заговор апостолов». Двенадцать генералов подготовили переворот с целью свергнуть Гусмана Вальe. Один из них, по-видимому рассчитывая не только спасти собственную жизнь, но и заслужить высокие награды, донес дону Фаустино о заговоре и попросил прощения за свой столь серьезный проступок. Дон Фаустино вызвал охрану и приказал без всяких разговоров расстрелять этого генерала около дворца. Генерал в полном замешательстве, ничего не понимая, умолял разъяснить, чем же вызвано столь жестокое решение. Дон Фаустино заявил: остальные одиннадцать еще ранее донесли о заговоре, а поскольку этот генерал оказался последним среди сознавшихся, следовательно, он первым заслуживает смертной казни.

Гусман Вальe умер, став жертвой покушения; он был сражен пулеметной очередью в тот момент, когда покидал имение одной из своих любовниц в окрестностях Сан-Педро. Несколькими днями раньше, отвечая на вопрос американского журналиста о том, какой политике он следовал в борьбе с оппозицией, дон Фаустино

---

[1] Эмиль Антуан Бурдель (1861—1929) — французский скульптор.

[2] Жан Батист Бернадот (1763—1844) — маршал Франции, участник наполеоновских войн, родоначальник королевской династии Бернадотов в Швеции.

заявил: «У меня нет врагов, я их всехрасстрелял»,— и эта полная заблуждения фраза осталась последним его свидетельством перед историей.

VII

Чоло поспешно семенил к нему, как всегда прихрамывая и как всегда исполненный благоговения перед хозяином — вестник, особо доверенное лицо, курьер тайных сообщений,— семенил по затененной галерее, уставленной вазонами с гелиотропом и жимолостью, соединяющей помещения третьего этажа.

Дон Анисето отдыхал, тихо покачиваясь на малаккской качалке, перелистывая вечернюю газету, рядом — красный телефон для переговоров чрезвычайной важности.

— Дон Абундио прибыл,— доложил Чоло.

— Что? Когда? — с беспокойством спросил дон Анисето.

Дон Абундио с веревкой в руке поджидал его в вымощенном брусчаткой патио Дома пряностей. Он привел лошадей, которых отобрал для участия в харипео — конном празднике в Сан-Фелипе. Дольше держать их здесь уже было нельзя. Дон Анисето согласился. Конюхи распахнули ворота. Стремянные вывели за уздечки нескольких жеребцов. Раза два или три их провели перед генералом Мендосой. Все как на подбор креольские буланые. Подковы скользили по брусчатке. Генерал заметил, что одна лошадь хрипит. «Вот та, отведи ее в сторону, у нее астма, не выдержит. Остальные хороши. Отлично выглядят, выиграют в родео».

Адъютант по гражданским делам приблизился к президенту: его хотел видеть премьер-министр. Креольских лошадей увели, и появились рысистые жеребцы, которые то и дело вскидывали головы, беспокойные, не хотевшие закусывать удила. Инженер Сантасилиа приветствовал президента почтительно и вместе с тем несколько панибратски — таков его стиль общения с капитанами промышленности. Дон Анисето показал на лошадей: эти не годятся, слишком запальчивы, надо еще поработать с ними, с подобными капризами принесут больше вреда, чем добра. Сантасилиа уловил намек. И, однако, тотчас же подал реплику:

— Иногда от такого пыла больше пользы, чем от вымуштрованных кляч.

— Бывает,— согласился дон Анисето,— бывает.

Сантасилиа продолжал развивать свою мысль. Государство купило акции основных монополий; по его мнению, в некоторых областях производства требуется переход к государственному капитализму. Частные предприниматели станут пользоваться полными гарантиями, хотя и будут приняты отдельные меры, которые, может быть, обеспокоят недальновидных. Он подумывал предложить совету министров замораживание заработной платы на пять лет, что помогло бы ликвидировать инфляцию в два раза быстрее. На что Мендоса заметил: хоть и повысится курс валюты, зато сократится внутренний рынок, уменьшатся суммы капиталовложений. Сантасилиа отдает себе отчет, что подобный шаг довольно жесткий, но так или иначе его необходимо сделать: на протяжении ряда лет страна жила, не считаясь с национальными ресурсами, и настает момент приспособиться к такому уровню жизни, который соответствует нашим возможностям. Поскольку залезли в долги, пора положить предел расточительности, иначе — новая девальвация. С другой стороны, он подумывал стимулировать капиталовложения путем предоставления очередных налоговых льгот иностранному капиталу. Такие льготы уже вводились.

Дон Анисето не спускал глаз с аллюра рысаков, он следил за скоординированными движениями передних ног и лопаток, наблюдал, как под блестящей кожей переливаются мускулы. Было бы полезно ему почитать манифесты Движения национального освобождения, в них говорится, что экспорт капиталов мультинациональных корпораций во многом превышает отечественные капиталовложения, что правда — то правда. Если ввести налоги на извлечение прибылей, это тоже бы сдерживало иностранные корпорации. Мы оказались в порочном кругу, заключил генерал Мендоса и распорядился увести лошадей. Дон Абундио доложил, что это все, что отобрано для Сан-Фелипе; оставались еще чистокровки да кое-какие местной породы. Сантасилиа продолжал: предваряя такую возможность, он попросил кредитов в «Уорлд бэнк», а чтобы получить их, заручился поддержкой у американского посла. Положительный ответ Вашингтона получен полчаса назад.

Душа Анисето Мендосы радовалась при виде чистокровок: «Взгляните на этих, инженер, взгляните, какая стать!» Все развивается, все приобретает надлежащие

размеры. Чтобы завоевать уважение, надо уметь выжить. Вот эти животные пятьдесят миллионов лет назад имели рост лисицы, а теперь смотрите, сколько в них могущества. Проанализируйте роль лошади в истории и как тягловой силы, и как соратника в военном деле, и весь этот сказочный вклад сделан травоядным, почти что слепым, не обладающим разумом и живущим каких-то два десятка лет животным. Однако лошадь сумела выжить. Бронтозавры и игуанодонты исчезли с лица земли, потому что чрезмерно выросли и поглощали пищу только ради того, чтобы стоять на своих лапах. «Постарайтесь выдержать, инженер, постарайтесь выдержать и не усложняйте жизнь чрезмерно».

Сантасилиа, поблагодарив за совет улыбкой, продолжал свой доклад: министром сельского хозяйства он назначил генерала Чавеса, этим он не только польстил военным, но и постарался использовать его склонность к нововведениям. Аграрную реформу уже начали осуществлять, ограничив латифундистов шестьюстами гектарами земли, зато отдано им в безраздельное пользование все, во что ими вложены деньги: система орошения, сельскохозяйственный инвентарь, скот, техника. Но если крестьянин получит необработанную землю, как он сможет управиться с ней, не имея каких-либо ресурсов? — спросил Мендоса. И тотчас же вспомнил идеи Чавеса: нужно пожертвовать землевладельцами, чтобы спасти промышленников, нужно отделить крестьян от рабочих. «Союз ради прогресса» довершит остальное. Фидель Кастро угрожает со всех сторон. Лучше выбросить балласт с корабля, чем утонуть.

Ему нравились жеребцы и других пород, но до сих пор не удавалось пополнить ими конный двор, приходилось довольствоваться креольскими да чистокровными, что составляли его золотой фонд. И все же отбор был в свое время проведен строжайший от трех племенных и сорока трех королевских кобылиц из конюшен Карла I Английского. А в его конюшнях были потомки знаменитых производителей, клички которых известны: Турок из Байерли, Араб из Дарли, Бербер из Годолфина. Лошади зарегистрированы в «Генеральной книге конского воспроизводства» — нечто вроде «Готского альманаха» четвероногих.

Мендоса хотел кое-что прояснить. Обрегон ему уже вручил доклад о средствах массовой коммуникации. «Рио-Тинто — родина, которую основал Брассак»,— провозглашали правительственные радиостанции, этими словами начиная и заканчивая свои передачи. «Наша земля — прежде всего»,— взывали телевизионные информационные выпуски. «Мы обрели нашу национальную судьбу»,— подчеркивали передовицы в газете «Вестник радикал-демократов». «Приближается решающий, окончательный момент нашего освобождения, будущее блестяще!» — повторяли ораторы этой партии. А со стен кричали лозунги: «Хлеб без крови — для всех», «Свобода, демократия, национализм», «Мы против тоталитаризма». И пока все это происходило, социалистическая печать континента утверждала, что сотни арестованных томились в застенках службы политической контрразведки. Представитель правительства, однако, уверял: речь идет о закоренелых преступниках, рецидивистах. Что же означала вся эта тарабарщина?

Мендоса выговорил дону Абундио — ему показалось, что некоторым разгоряченным животным тот дал воды. Нет-нет, этого не было. Осторожнее с маисом в режиме питания: конь от маиса жиреет, слабеет. В политике тоже полезно следовать девизу коннозаводчиков: доброго коня надо кормить только отборным, и конь будет отборным. Дон Абундио продемонстрировал других коней: изумительный белый, сливки и металл, белоснежные чулки до колен; другой — в яблоках; буланый — очень горяч. Однако, заметив у холки последнего небольшую язвочку, дон Анисето вышел из себя. Быть может, слишком затянули подпругу? Как так, не разглядели? Абундио, видимо, манкирует своими обязанностями.

Речь идет о создании некоего стереотипа, объяснял инженер. Перед необъятностью задач, что стоят перед страной, необходимо укреплять национальное самосознание.

Неожиданно нагрянул Обрегон. Обменявшись приветствиями, Сантасилиа воспользовался перерывом в беседе и простился, оставив президента наедине с суперцербером. Будучи осторожным человеком, Обрегон поспешил передать главе государства сообщение, которое не могло не вызвать озабоченности. Пеньяльвер проводит какие-то совещания на своей вилле поблизости от Жокей-клуба. Дон Анисето прищурил глаза — безошибочный признак того, что он весь в напряжении, начеку: что за совещания? Кто в них участвует? Вилла Пеньяльвера — старинный особняк в нор-

мандском стиле, окруженный со всех сторон ухоженным английским парком с каменными скульптурами вдоль дорожек, посыпанных мелким гравием. Сам Пеньяльвер посоветовал генералам, приезжавшим на эти совещания, не пользоваться собственными машинами, чтобы нельзя было установить личность прибывших по автомобильным номерам. Командующий вооруженными силами понятия не имел об этих совещаниях. Хотя в поле внимания военной разведки попали эти сборища, но никто не придавал значения присутствию на них старого генерала Пуги. Обрегон же в своем рвении, казалось, готов был вылезти из собственной кожи. Он понимал, что возвращение Пеньяльвера означало бы его конец. Нормандский дом находился под тщательнейшим наблюдением. Фотографировали каждую автомашину. Своего офицера Обрегон послал в качестве слесаря якобы проверить водопровод, и тому удалось вмонтировать микрофон в коробку электросчетчика. От одного из участников совещаний — полковника, давнего друга — Обрегон заполучил сведения, в самых мельчайших подробностях обрисовавшие происходившее.

Пеньяльвер рвал и метал, призывал к немедленному выступлению, апокалипсически вещал о катастрофе, к которой ведет неумелое управление генерала Мендосы государственными делами. Генералы еще не решались действовать, но Пеньяльвер постепенно завоевывал позиции, воздействуя на умы, добиваясь единомыслия в оценках. И предпринимал еще кое-что. Раз в неделю Пеньяльвер пересекал на автомашине границу, останавливаясь в небольшом пансионе в горах. Там происходили его встречи с некими иностранцами. Поздно вечером он возвращался домой. Одно было ясно: он располагал весьма большими средствами. Вполне возможно, что американцы вели двойную игру: поддерживали президента Мендосу и готовили ему замену. А вот дурак Пуга ничего не делает, взорвался Мендоса. Он выдвинул Пугу, ценя в нем равнодушие к политическим интригам, но нельзя же доводить до такой степени: патологическое безволие и флегматичность последнего благоприятствуют заговору против него, Мендосы.

Они проходили под арками колоннады, окружающей вымощенное брусчаткой патио дворца. Дон Абундио увел лошадей. Обрегон сообщил еще о новом событии: на одной из национальных авиалиний во время полета был захвачен самолет и угнан за границу. Похоже, что это дело рук членов Движения национального освобождения, однако, если бы это было и не так, политически выгоднее приписать это им. И наконец, последнее. Партизаны Эль-Сискеро совсем обнаглели. Они атакуют пограничные посты и небольшие гарнизоны. Укрепили свою базу в Кордильерах и теперь угрожают плоскогорью. Он хотел бы просить мистера Морриса прислать специальную миссию «зеленых беретов», подготовленных школой в Зоне Панамского канала.

Возвращаясь в свой кабинет, Мендоса прошел мимо включенного телевизора в кабинете адъютанта по гражданским делам. На экране виднелся Сантасилиа, обращающийся к нации. Генерал остановился, чтобы послушать: «Наша страна находится на пороге блестящего исторического момента. Мы боремся за демократию против тоталитаризма. Коммунисты-антипатриоты, следуя указаниям Кремля, хотят создать в стране беспорядок, вызвать разруху, что благоприятствовало бы планам установления их мирового господства. Необходимо всем спокойно трудиться, не щадя своих сил, во имя нового национального процветания, которое, конечно, еще не за углом, но к которому мы продвигаемся неуклонно. Необходимо оставить в стороне личные и партийные интересы и посвятить себя общей цели возвеличения отечества».

Мендоса прошел в свой кабинет. Уселся в кресло, обитое кожей бронзового цвета, попросил Чоло принести ему чашку кофе и предался размышлениям. Пожалуй, не следует прочно связывать свою судьбу с технократами из радикально-демократической партии. Их позиция достаточно шаткая, и при своем падении они могут увлечь за собой и его. Замораживание заработной платы непопулярно, уж тогда вовсе не удастся обуздать Движение национального освобождения. Пеньяльвер увлечен заговором. Партизаны приумножили свои силы. А похищение самолета — вообще дело невиданное в Рио-Тинто, скандал... вызовет тревогу во всех слоях населения. Пора отделаться от радикал-демократов, пусть Сантасилиа занимается своим кибернетическим мессианством.

VIII

Чоло прошептал ему, что донья Энграсия приехала во дворец и ждет его в саду. Она прибыла сюда, чтобы взять на себя командование кухней, навести порядок в ме-

ню супруга-президента. Кроме того, она вызвала падре Контестадо, и в эту минуту оба сидят в саду в качалках, болтают уже более часа. Дон Анисето выслушал сообщение, прищурил глаза и молча, жестом, дал Чоло понять, что тот может удалиться.

Падре Контестадо был исповедником доньи Энграсии. Он оказывал на нее значительное влияние в духовных, да и светских делах. Дон Анисето, правда, не позволял ей вмешиваться в дела государственные, однако существовала некая смежная область для ее филантропии и светской благотворительности; в том, что касается домашнего очага, семейного планирования, покровительства церкви, прав женщин, тут донья Энграсия действовала по-своему, но это уже не интересовало супруга.

Толстый итальянец, родившийся в Португалии, падре Контестадо, казалось, беспрерывно потел, из-за этого всегда держал в руке смятый платок, он хоть и предчувствовал, что умрет от инфаркта в один прекрасный день, но никак не мог смириться с этой мыслью. Он живо интересовался состоянием сердцебиения, тахикардией, стеснением в груди, спазмами сосудов в левой руке и тем не менее не переставал поглощать каждодневно обильную трапезу, не прерывая свои постоянные странствия. Ныне его занимали проблемы, связанные с Хуаном Сантосом, об этом он хотел бы перемолвиться с доньей Энграсией. Вначале он немало времени посвятил тому, чтобы метать громы и молнии в адрес правительства радикально-демократической партии. Да, в состав кабинета входят католики, но это не добропорядочные католики. Они лишь компрометируют церковь, но не правят от ее имени. Чему они служат? Однако сейчас его особенно заботит дева Теодора, последовательница Хуана Сантоса, которая занимается своими глупостями в сельве близ Бангора.

Хуан Сантос, негр из Дагомеи, был пеоном на асьенде. Он хорошо помнил культовые обряды своей далекой родины. Он помнил и то, насколько лучше была его жизнь, когда он свободным бродил по джунглям, и насколько все изменилось, когда, закованного в кандалы, его привезли сюда, заставили жить и работать в условиях хуже каторжных. Какой-то проповедник научил его читать и подарил ему Библию. А познакомившись с Библией, Хуан Сантос решил, что негры в Америке похожи на людей, изгнанных со своих земель за грехи. Наступит день крушения Вавилона, и все они вернутся в африканский рай, чтобы там вновь обрести счастье. Белые сгинут, провалятся в тартарары, их поглотит морская пучина — грозное чудовище, и навсегда они останутся в его чреве. Своими идеями он поделился с другими рабами, которым очень по душе пришлась такая проповедь, обещающая блага в будущем. Хуану Сантосу помогали в его проповеднической деятельности архангелы Михаил и Гавриил, которые ему постоянно сопутствовали. Умер Хуан Сантос уже много-много лет назад.

А теперь появилась некая дева Теодора, она подстрекает напотеков отделиться от святой матери-церкви, жаловался падре Контестадо. Донья Энграсия обозревала южный сад дворца и прикидывала в уме, что здесь нужно переделать. Всюду царил беспорядок. Никто не заботился о планировке сада, о подстрижке деревьев, не было симметрии, не чувствовалось аранжировки. Несомненно, садовник здесь неумел, да и архитектор неопытен. Следует обратить внимание на композицию партеров, цветников. Вот, например, на том повороте очень нарядно бы выглядел газончик из разнотравья — тимьяна, розмарина, укропа, петрушки, майорана, чемерицы. Газончик придал бы всему оттенок сельской непритязательности.

От всех бед негры находили спасение в сумасшедших плясках до головокружения, до пароксизма до прострации. Свои культы они отправляли под открытым небом, принося в жертву баранов на священном камне, от которого разило зловоньем разлагающейся крови. В забытье экстаза они бежали от тягот этого мира — в ожидании избавления. Так существовали они до того, как начались безумства Тупинамбы, ученика Хуана Сантоса. Тупинамба, появившийся среди обездоленных, призывал их не платить подати белым и даже не работать на белых. Землевладельцы учинили великую бойню. Тупинамба кончил свою жизнь на виселице, но вдруг появился индеец Тариха который поднял на восстание племя чирикагуас. Тариха обещал рай на земле. За рекой Ламас, ближе к сердцу Амазонии, нужно найти землю обетованную, где произрастают диковинные деревья и приносят богатые урожаи. Там все люди питаются фруктами и медом, вечно молоды, не страдают от болезней, а мудрые пророки ими руководят. Тариха утверждал, что сам бог открыл ему, будто все обитатели той чудесной земли спасутся в день Страшного суда, когда с неба обрушится огненный ливень и перепуганные стада утонут в собственных нечистотах,

а люди от страха превратятся в камни, и тот, кто не поверит Тарихе, погибнет без искупления. И легковерные зачастую пускались в далекий путь, надеясь обрести благополучие, однако так и не нашли его. Тогда неизвестно откуда пришел Родриго Ягуаригуай и объявил, что он-де обручен с девой Марией, а потому в силах защитить всех от пуль белых. Родриго Ягуаригуай рассчитывал на поддержку племени чочапойяс. Толковали о том, что он властен над женщинами и смертью, способен повлиять на урожай, а если хорошенько подует, то уничтожит вселенную.

Все это очень хорошо, говорила донья Энграсия, но она хотела бы знать, почему не использован вон тот холм, чтобы завершить панораму у южного фасада дворца. Весенние бутоны и свежая листва придали бы всему особую окраску. Под окнами можно было бы разбить розарий, а вон там, рядом с никому не нужным мостом через песчаную яму, устроить бассейн с лотосами, ирисами и водяными лилиями.

О Родриго Ягуаригуае рассказывали ужаснейшие вещи. Стволам деревьев он придавал людское подобие, создавая таким образом рать, которая пугала армию конституционалистов. Дьявола он мог преобразить в ангела, чем приводил в замешательство христиан. Родриго вещал, что он снизошел в этот мир, дабы отвоевать имперский трон Солнца, и уверял, будто бы знает, где спрятаны сокровища инков. Убит он был одним из своих последователей, который, охваченный сомнениями, действительно ли Родриго бессмертен, раскроил ему голову камнем. Его приверженцы со своими женами, детьми и стариками, прихватив кое-какую утварь в переметные сумы, одержимые непоколебимой идеей и ведомые Тарихой, многотысячной колонной ринулись на поиск земли обетованной, совершив переход длиной в семьсот лиг, горя желанием основать новый город, который назвали бы Новым Иерусалимом, как поучал их Сантос. Все дальше и дальше углублялись они в сельву, и с тех пор никто и никогда не слыхивал о них, а многие скорбели, что не ушли вместе с ними, полагая, что те в самом деле основали Новый Иерусалим и преблагополучно поживают себе, питаясь медом и фруктами, где-то там, посреди пышной растительности, обретя вечную молодость.

А ко всему тому, продолжала размышлять донья Энграсия, следовало бы добавить гроты и каскады, пагоды и ручейки. Конечно, нужно развести и орхидеи. Зимний сад, пожалуй, лучше построить как можно дальше, в глубине, чтобы не нарушать тщательно рассчитанную перспективу. Может быть, стоило бы устроить сад камней и песка, на японский манер.

Больше всего теперь его заботила дева Теодора, поскольку речь идет об инсургентке, твердил свое падре Контестадо. Она утверждает, будто республика — дело рук антихриста, и нужно восстановить монархию, как это уже сделал однажды раб Брассак,— все вполне понятно: Теодора негритянка, и ей хотелось бы возродить господство соплеменников. Ее сторонники предаются пляскам и пению, забросив работу. Теодора уверяет, что ей удалось схватить комету за длинный искрящийся хвост и засунуть ее в кувшин, откуда она выпустит ее лишь в тот день, когда начнется восстание против белых.

Донья Энграсия наконец вняла словам падре. А что бы сделать? Если Теодора — добрая девушка, то есть возможность наставить ее на путь истинный. Если бы падре Контестадо захотел бы привести эту негритянку во дворец, она поговорила бы с ней, дала бы ей нужный совет. Могла бы выдать замуж — и очень даже удачно. Падре Контестадо не отвечал.

IX

Генерал Мендоса окинул взглядом Авелино Лосано, генерального секретаря социалистической партии. Тот осмелился явиться перед президентом республики без галстука — главе государства это явно не понравилось. Мендоса только намеревался сделать ему предложение политического характера, а Лосано его опередил: реформизмом радикально-демократической партии явно не разрешишь существующий кризис. Обанкротились также консерваторы и демо-христиане. Единственная партия, которая действительно представляет народные массы,— это социалистическая. Перед лицом национального кризиса он предложил дать ему возможность применить на практике установки своей партии.

Мендоса подумал: конечно, выглядит это весьма наивно, даже смешно. Но Лосано, очевидно, рассчитывал на то, что президент оказался в тупике и что ему придется прибегать к отчаянным мерам: либо ожидай нового государственного переворота, либо вручай власть социалистам. Лосано понимал, что буржуазия никогда не уступит своих

позиций без сопротивления, однако сейчас речь шла не о действительно радикальных мерах, а лишь о пакте с правительством — полезнее разделить власть ради того, чтобы попытаться вылезти из ямы. Мендоса прикинул: эти социалисты по сути не были слишком-то социалистами и ранее не раз шли на всякие компромиссы, ими еще можно манипулировать, не такой уж твердый орех эта социал-демократия. А при столкновении интересов всегда под рукой находилось что-то спасительное. Наступил момент, когда уже нельзя ограничиваться припарками, придется прибегнуть к серьезной хирургической операции. Авелино Лосано воспользовался случаем, чтобы известить президента о волнениях на предприятиях, где создаются пролетарские административные советы с целью захватить в стране промышленность, руководить ею. Как только Лосано стал нажимать, навязывать свою кандидатуру в состав правительства, Мендоса предпочел обратиться к идее применения силы: раз это мятеж, то войска займутся усмирением. Мендоса принимал в расчет и другой выход из положения — собственную отставку. Но это опасно: чего доброго социалисты могут устроить публичный процесс против него, припомнив все прежнее. Пусть будет, что будет, но в седле держаться надо.

— Вы не представляете себе, насколько мне приятна эта встреча,— заявил генерал Мендоса.— Я и мысли не допускал, что мое правительство сможет существовать и действовать без тех, кто подтвердил свою исключительную верность национальному делу. Остальные политические партии далеко не на уровне исторических обстоятельств, которые мы переживаем. Поверьте, сколь почетно мне просить вас принять пост премьер-министра моего правительства и возглавить кабинет национального альянса, призывая к участию в нем другие представительные политические группировки. Попытаемся вместе предпринять последнее усилие во имя спасения родины.

— Хорошо,— просто ответил Лосано, не поддерживая высокопарный тон дона Анисето.

Кабинет национального альянса — так он был наименован — собрался два часа спустя в зале совета министров Дома пряностей. Лосано уже заранее провел рекогносцировку среди тех, кто мог бы занять основные министерские посты, и потому убедить их принять портфели было достаточно легко. На этом же заседании была одобрена национализация некоторых служб общественного пользования: железных дорог, городского транспорта, водопровода. Но когда перешли к обсуждению национализации электрической и телефонной компаний, то возникли настолько глубокие разногласия, что пришлось рассмотрение вопроса отложить. Основное расхождение мнений основывалось на оценке позиции, которую заняло бы правительство Соединенных Штатов, если заденут интересы «Бонд энд Шиэр» и «ИТТ — Интернэшнл телефон энд телеграф корпорейшн». Однако сошлись на том, что будет проведена широкая пропагандистская кампания, и, надо полагать, это обеспечит всенародную поддержку мероприятиям нового правительства.

И все-таки дон Анисето столкнулся с большими трудностями. Радиостанция консервативной партии разразилась комментариями, содержащими яростную критику. Времена свободы и демократии окончились, отечество утратило свои наиболее дорогие ценности, марксистский тоталитаризм угрожает национальной независимости. Явно было видно, что консерваторы хотели сохранить свои традиционные позиции, какими бы ни были обязательства перед правительством. Положение усложнялось. Коммунистическая партия в опубликованном заявлении разоблачала правительство национального альянса как новую попытку реакции обмануть народ лживыми мерами, якобы направленными на удовлетворение требований трудящихся.

Американский посол явился во дворец, не испрашивая аудиенции. Его правительство глубоко озабочено происходящими событиями. Национализация служб общественного пользования предвещает худшие бедствия, другие экспроприации, что не может содействовать улучшению отношений между обоими государствами. Добрые друзья ему подтвердили, что ныне изучается вопрос о национализации промышленности каучука и плантаций Бангора. В течение десятилетий бангорские плантации, как и каучуковая промышленность, были основным источником благополучия страны. И нормальный производственный процесс в этой области мог быть нарушен непродуманными мерами. Да и вся техника, автоклавы, формы для вулканизации североамериканского производства требовали запасных частей, а также технического контроля специалистов из Соединенных Штатов.

Посол полагал, что североамериканские поставщики вряд ли будут намерены впредь высылать оборудование и специалистов в эту страну, узнав о несправедливом отношении к некоторым родственным предприятиям и фирмам, а тем более, если будут затронуты их собственные интересы. Иными словами, производство каучука пойдет под откос, в худшем случае прекратится, что грозит национальным бедствием. С другой стороны, он хотел уведомить президента о том, что кредиты, которые предоставил «Уорлд бэнк» правительству сеньора Сантасилиа, пересматриваются советом директоров и, возможно, будут аннулированы. Правительство Соединенных Штатов всегда было расположено помогать развивающимся странам, но когда те проявят известную зрелость. Правительство Соединенных Штатов уже подтверждало свое желание увеличивать контакты, получив соответствующие гарантии, именно этим целям служит Межамериканский банк развития. Но экспроприация нанесет ущерб тысячам мелких акционеров — плоти от плоти американской нации, сущности ее демократической системы. Посол не был даже уверен в том, что это отвечает интересам народа Рио-Тинто, поскольку правительство, намеревающееся осуществить такого рода мероприятия, народом не избиралось.

Мендоса понял, что янки наносит удар кинжалом прямо в сердце — ставит под вопрос законность его правительства.

Посол принял более строгую позу, разняв закинутые было одна на другую ноги, как бы подчеркивая, что хотел бы продолжить беседу в конфиденциальном плане. Представлялась еще одна возможность. Престиж президента ни в коей мере не пострадает, равно как и не будет ослаблено его влияние на вооруженные силы, являющиеся основным оплотом демократии в нынешней ситуации. Экономическая дестабилизация скажется вскоре же, и достаточно интенсивно, а пропагандистская битва сметет все разумные критерии, философские концепции. И это будет подходящий момент для того, чтобы круги демократического направления смогли бы вмешаться во имя защиты свободы от марксистского тоталитаризма. Генерал Мендоса тогда произнесет волнующую и разоблачительную речь с большого балкона Дома пряностей и подаст в отставку с поста президента, передав власть вооруженным силам.

Дон Анисето пребывал недвижим в кресле, силы его покинули. Пуга? Но Пуга — дурак, которого никогда не интересовала проблема власти. У посла, однако, было свое мнение.

— Не ошибайтесь в оценках людей, мой генерал.— С этими словами он простился.

Встреча была тревожным знаком. Что-то на кухне уже жарилось. Президент направился было на крышу дворца — проверить зенитные установки, когда попросил аудиенции генерал Пуга. Пуга был спокоен, хотя и бросалась в глаза его озабоченность. Меры социалистического правительства вызвали взрыв воодушевления, бурных проявлений толпы. На улицах беспрерывно идут демонстрации. Возбужденная чернь бросилась ниспровергать все и вся. Нет, это не поможет разрешению кризиса.

Мендоса в полном замешательстве выслушивал рассуждения генерала Пуги. Почему вдруг этот апоплексический, изнуренный бык позволяет себе высказываться столь свободно, с каких пор этот пресный, холодный пирог, без перчинки, заимел собственное мнение. Всем он был известен как приспособленец, как безынициативный, равнодушный ко всему, нудный служака, неторопливо шагающий по лестнице выслуги лет. А теперь внезапно начал рассуждать.

— Позволите глоточек? — попросил генерал Пуга. И сам Мендоса поднялся, не вызывая лакея, зашел за бюро, скрывавшее бар, чтобы налить ему виски. А заодно и себе.

Пуга начал излагать свои взгляды. Люди в мире не равны, и если некоторые обладают значительно большими способностями, совершенно справедливо их талант компенсируется богатствами мира. Во многих случаях собственность есть продукт упорства, бережливости, самопожертвования, а социалисты неизменно подрывают, уничтожают основные принципы христианской цивилизации. Всегда существовала правящая элита. И всегда будет существовать. Иерархии основываются на естественном различии в способностях, а также в наследовании, что вполне законно. Массам свойственно поддаваться коллективным эмоциям, но массами легче управлять, чем отдельными индивидами. Повторение нужных лозунгов и девизов эффективнее воздействует на массы, но не на рассудительность индивида. Слабым суждено быть побежденными. В борьбе за существование выживают наиболее способные. Обо всем этом можно про-

честь у разных авторов — нового ничего нет, это высшая истина. В политике следовало бы почаще вспоминать принципы некоего азиатского мастера партизанской войны: знаешь врага — знаешь самого себя, знаешь поле битвы — обойдешь наиболее укрепленные позиции противника, бей по слабым, используй дезинформацию, старайся захватить врасплох,— и тебе победа обеспечена.

Мендоса вспомнил, что еще Клаузевиц утверждал, что для достижения победы вовсе не обязательно уничтожать армию противника. Он вспомнил и о партизанах Эль-Сискеро: да, а как обстоит дело с антипартизанскими операциями?

Пуга доложил, что из форта Брэгг прибыла североамериканская военная миссия. Прежде всего она занялась локализацией и изоляцией партизанского очага, а также поисками мест, где партизаны лечат своих раненых. Кроме того, она наметила в некоторых селениях расположить огневые позиции, приступила к проведению в жизнь кое-каких проектов социального характера: осуществить аграрную реформу, открыть школы и больницы, чтобы привлечь симпатии крестьян. Развила бурную пропагандистскую кампанию. Нужно добиться того, чтобы партизаны не чувствовали себя среди народа как рыба в воде. Необходимо укрепить доверие к правительству и нейтрализовать повстанцев. Нужна перепись населения, чтобы установить местожительство граждан, выделить мятежников, уточнить некоторые неизбежные миграции нелояльных к режиму элементов, а также окончательно перешедших на сторону врага. Необходимо ввести контроль над распределением продуктов, чтобы они не поступали к партизанам, этими продуктами следует поощрять людей, преданных правительству. Через несколько недель североамериканцы перейдут к операциям по очистке местности от сил противника. Уже собрана достаточная информация, среди крестьян завербовано несколько доносчиков.

Пуга самоуверен. Партизаны будут уничтожены в течение каких-нибудь трех месяцев. Командующий армией залпом осушил бокал, даже хлопнул им о соседний столик и перешел к главной теме, которая его более интересовала:

— Анисето, партизаны — одна из двух проблем, стоящих перед нами. Если мы позволим им еще благоденствовать, то вскоре от нас ничего не останется.

— А какая другая проблема?

— Другая — это ты. Нужно, чтобы ты ушел.

Удар генералом Мендосой был принят без видимой реакции, однако в груди у него похолодело. Так вот что готовилось?! Он тотчас же рассчитал возможности выхода из положения: прибегнуть к помощи Обрегона либо пойти навстречу требованиям Пуги, присоединиться к перевороту.. Не важно что, но только не потерять самообладание, все что угодно, лишь бы не загнали в угол. Вначале прикинул насчет Обрегона: этого не позволили бы офицеры министерства внутренних дел. Генерал Обрегон располагает достаточной огневой мощью, чтобы противодействовать любой угрозе со стороны армии.

Пуга, не моргнув глазом, ответил ему, что полчаса назад бронетанковый полк вышел из казарм в направлении штаба генерала Обрегона, в министерстве внутренних дел. Полк должен был уже занять огневые рубежи, и в любой момент может зазвонить красный телефон для переговоров чрезвычайной важности. И телефон зазвонил.

Начиная терять уверенность в том, что он сможет контролировать положение, генерал Мендоса поднял телефонную трубку. На проводе был генерал Обрегон: похоже, в армии что-то происходит, напротив министерства уже расположилась колонна танков.

Пуга диктовал президенту:

— Скажи ему, Анисето, с минуты на минуту к нему прибудут офицеры моего генерального штаба, чтобы потребовать от него отставки. Посоветуй ему не сопротивляться.

Мендоса так и сделал — и положил трубку. Следовало бы начать переговоры. В конце концов чего они хотят? Сместить правительство национального альянса, выкинуть в окно социалистов? Это легче легкого. Уже назначали и смещали четыре кабинета.

— На этот раз, Анисето, все пойдет дальше. Мы должны преобразовать основы государства.

Опять зазвонил телефон. Говорили из центрального комитета социалистической партии. Премьер-министр Авелино Лосано только что арестован. Поступают многочисленные сообщения о том, что и другие видные члены центрального комитета социалистической партии также арестованы. Мендоса положил трубку, не ответив. И продол-

жал настаивать: среди своих всегда можно достичь взаимопонимания. Он сделает все, о чем его просят. По сути у всех одни и те же интересы. Все прошли одну и ту же офицерскую школу, у всех за спиной одна и та же военная карьера.

Пуга подчеркнул: почти. До сих пор. А в будущем он, генерал Пуга, встанет у кормила власти, тогда как Анисето Мендоса вернется в свое имение.

— Тебе повезло больше, чем другим президентам,— заметил Пуга.— Тот, кто взгромоздился на седло, может свалиться, могут быть травмы. Вспомни своих предшественников — Гаспара де ла Уэрту, Горрина Матиэнсо, Никомедеса Бастиана, Гусмана Валье. Ты понимаешь: я мог бы приказать расстрелять тебя тотчас же в патио дворца. Но не хочу, все же мы вместе учились, были друзьями. Предоставляю тебе шанс... Твое время истекло.

Дон Анисето подошел к двери, приоткрыл ее. Чоло стоял в коридоре наготове.

— Уложи чемоданы, мы уезжаем,— сказал ему Мендоса.

X

По дороге на асьенду Тамбо донья Энграсия сидела рядом с ним в машине, погруженная в глубокое молчание, такое глубокое, что дон Анисето мог себе представить, сколь велик ее укор: удержаться у власти всего один день! Она так и не успела перепланировать сады Дома пряностей.

Они проезжали мимо жалких хижин напотеков. Время от времени им встречались колонны военных транспортеров, на которых с винтовками в руках сидели новобранцы. На осуществление переворота были брошены все силы. А Чоло, восседая около шофера, едва сдерживал свою радость: они возвращались в Тамбо и он сможет теперь отправиться в Сан-Фелипе на конный праздник.

Дон Анисето велел шоферу включить радио. Послышался голос диктора, читавшего декрет о создании «группы репрессий против коммунистической деятельности», которая сокращенно будет называться ГРПКД. Генерал Обрегон, к сожалению, трагически погиб в результате автомобильной катастрофы. Сообщалось также, что генерал Мендоса возвращается к своей гражданской жизни, от которой был оторван этим утром вопреки своему желанию. Архиепископ Алоисио Дидельфо вскоре обратится к нации со словами приветствия новому правительству. Североамериканский посол посетил дворец, чтобы известить президента Пугу о признании его правительства Соединенными Штатами. Генерал Чавес занял пост министра внутренних дел. Затем диктор начал читать декрет, по которому все политические партии объявлялись распущенными, находящимися вне закона.

«Пуга, видимо, удержится»,—подумал Мендоса. Все это и должен был бы сделать он, Анисето Мендоса. Лишь одна услышанная информация была приятна: генерал Пеньяльвер выслан в соседнюю республику Сан-Никаринго.

На пороге дома асьенды их уже поджидал дон Абундио, как всегда с веревкой в руках. Известие о событиях он слышал по радио, и помещение было готово принять хозяев.

Генерал Мендоса сразу же направился в библиотеку. Здесь, среди символов своей былой славы, он почувствовал себя спокойнее. Конечно, теперь, после всего происшедшего можно добавить к своим титулам, что он еще и экс-президент республики. Он окинул взглядом награды, книги, переплетенные в кожу и с золотыми инициалами на корешках. Конечно, это был чересчур бурный день в его жизни, и, быть может, подобная рысь не по его годам. Он почувствовал себя усталым — поскорее бы лечь отдохнуть.

Чоло принес ему стакан горячего молока. Дон Анисето выпил молоко не торопясь, готовый погрузиться в сладкий сон.

— Знаешь что, Чоло,— сказал он слуге, ожидавшему у двери хозяина, чтобы проводить его в спальню,— нынешней ночью землетрясения мне уже не приснятся.

ЮСУФ АЛЬ-КУАЙИД

Война на земле Египта

ПОВЕСТЬ

Перевод с арабского В. КИРПИЧЕНКО

Офицер

Слава аллаху, я не знал этого человека, никогда прежде не видел его лица. Сам я лишь позавчера прибыл в госпиталь, сдал документы, представился начальству. А сутки спустя на меня возложили эту тяжкую миссию, от которой, как я понимаю, все постарались уклониться. Я тоже хотел было отказаться, но хорошо ли начинать службу с конфликта? Тем более, когда я докладывал о своем прибытии начальнику госпиталя, первое, о чем он спросил,— кадровый я военный или из запаса. Стараясь, чтобы голос мой звучал как можно естественней, я ответил:

— Из запаса, эфендим.

Выражение его лица стало не очень-то обнадеживающим, на нем явно читалось недоверие. Мне было сказано: транспортировка тел погибших по месту жительства для передачи родственникам — моя непосредственная обязанность как офицера службы социального обеспечения. В отделе социального обеспечения госпиталя кроме меня числились еще двое: девица в чине младшего лейтенанта и женщина в звании капитана. Конечно, ни той, ни другой не поручишь транспортировку покойников. Получив необходимые распоряжения, я вышел от начальника, и мне сразу бросилось в глаза, что перед дверью анатомического театра никого не было. Последние два дня здесь постоянно толпились люди, приехавшие забрать тела своих погибших родичей, и это производило на меня гнетущее впечатление. Но сегодня там было пусто. Прочитав в выданных мне бумагах адрес погибшего, я понял: за ним никто не приехал, потому что он не был каирцем. Я отправился в канцелярию госпиталя, представился начальнику ее — майору и попросил выделить мне людей для сопровождения. Нажав кнопку звонка, майор вызвал сержанта и приказал ему обеспечить сопровождающих. Пока мы ожидали, я спросил майора, не знает ли он, где находится деревня, значившаяся в документе. Он отрицательно помотал головой.

— Придется расспрашивать всех встречных,— сказал я.

Вернулся сержант и сообщил, что один солдат, друг покойного и самый близкий ему человек, просит разрешения сопровождать тело.

— Почему же он сам не пришел? — спросил я.

— Он здесь, ожидает у входа.

В этот момент в комнату вошел молодой солдат в полевой форме. Отдав честь мне и майору, он сказал, что настоятельно просит разрешить ему поехать вместе с нами в деревню погибшего.

— Ты его односельчанин? — спросил начальник канцелярии.

— Нет.

— А чем вызвана такая просьба?

— Особыми обстоятельствами.

Окончание. Начало см. в № 6.

Майор не возражал, но тут возникло затруднение: солдат был приписан к полевому сортировочному госпиталю номер один и подчинялся его командованию. Сюда он прибыл в командировку — получить партию медикаментов. Можно ли отложить их отправку на фронт до его возвращения? Медикаменты, за которыми он приехал, пояснил солдат, только что отправлены, а следующая партия задерживается на три дня. К тому же он выразил согласие ехать и без официальной командировки. Майор не возражал, но я колебался: как бы лишний человек в машине не вызвал придирок со стороны дорожной полиции. Правда, он единственный был знаком с погибшим, а возможно, и знал дорогу в его деревню. Лучше иметь его под рукой, чем плутать бог знает по каким проселкам; тем более в деревню мы приедем скорее всего ночью. Такое задание было первым в моей практике, и хотелось успешно с ним справиться. Начальник канцелярии выделил мне еще одного солдата, сержанта, шофера и механика на случай поломки в пути, всем им оформили командировки. Мы с солдатом, другом погибшего, вышли из канцелярии. Выглядел он совсем убитым, наверно, подумал я горюет по товарищу. Кто знает, быть может, тот скончался у него на руках. Легко ли пережить такое. Мы присели, ожидая остальных. Я взглянул в лицо солдату, оно, как мне показалось, выражало не только горе, но растерянность и даже страх. Руки его дрожали. Он хотел что-то сказать, но не решался. Вообще-то я человек общительный и легко схожусь с людьми, но для него я был чужим, да еще офицером. Охваченный непонятной тревогой, он нервно потирал руки с такой силой, что они побелели.

— Что-нибудь не в порядке? — спросил я.

Он открыл было рот, но слова замерли у него на губах. Настаивать я не стал, если у него на душе какая-то тяжесть, решил я, рано или поздно он ею поделится. Потом уже, приехав в деревню и узнав всю историю, я упрекал себя за то, что не выслушал его, не поддержал. Хотя это все равно ничего бы не изменило и не спасло. Дело-то оказалось слишком серьезным. Я подозвал сержанта, который должен был ехать с нами, приказал ему проверить, все ли документы погибшего в наличии.

— Не забудьте фотографии Мысри, сделанные в части,— сказал друг убитого.

— Какого Мысри? — спросил я.

— Погибшего.

В документах значилось другое имя, но я решил: наверно, так называли его друзья.

— Это что, уменьшительное имя?

Тут он, словно спохватившись, пробормотал:

— Да нет, это я так.

Тогда я не придал значения его словам. Но когда мы подъезжали к деревне, он предупредил меня: не надо, мол, упоминать имя Мысри; и я понял, нет, здесь что-то не так.

Я еще раз поднялся в канцелярию узнать, есть ли у них точные инструкции применительно к подобным случаям. Долго ли что-нибудь напутать и попасть впросак. Нет, объяснили мне, никаких инструкций на этот счет не имеется и лучше всего расспросить людей, выполнявших уже такие поручения. Одна из сидевших в канцелярии женщин предложила мне взять перо и бумагу и записать за ней все — слово в слово. У меня, стал заверять я ее, прекрасная память и записывать нет нужды.

— Все говорят то же самое,— сказала она,— а потом многое забывают и путают.

Пришлось подчиниться.

«Десять заповедей относительно достойного погребения погибших на фронте,— стал писать я под диктовку.— В случае гибели солдатского и унтер-офицерского состава соблюдается следующий порядок:

(Как я узнал позднее, для погребения офицеров существует другой, особый порядок.)

1. Проверить наличие свидетельства о смерти, отпечатанного на бланке управления печати вооруженных сил и содержащего все необходимые сведения. Свидетельство подписывается очевидцами и заверяется штабом части, где служил погибший. В свидетельстве указываются день, час, место и обстоятельства смерти.

2. Если по причине военных действий свидетельство о смерти не могло быть получено, специальная комиссия выдает заменяющий его документ, куда вносятся те же сведения.

3. Получить адрес погибшего на официальном бланке, заверенном ответственным лицом, имеющим офицерский чин. Адрес — единственная гарантия быстрейшего нахождения родственников погибшего — берется из самых последних по времени реги-

страционных журналов, лучше всего из заполненных непосредственно перед началом боевых действий. Он, как правило, самый точный.

4. Получить финансовое распоряжение погибшего, заполненное его рукой. Если в деле имеется несколько распоряжений, действительным считается заполненное последним.

5. Получить личные вещи погибшего, согласно официальной описи, для вручения их лицу, названному в финансовом распоряжении. Указанное лицо обязано расписаться в получении вещей в той же описи.

6. Получить денежные суммы, предназначенные для похорон и выплаты единовременного пособия — они определяются специальной инструкцией — с последующей передачей их родственникам погибшего.

7. Получить, на основании свидетельства о смерти, разрешение на погребение.

8. Убедиться в том, что тело приготовлено для погребения и находится в плотно закрытом гробу.

9. Явиться по месту жительства погибшего к местным властям, затем к родственникам. Перенесение гроба с военной машины на кладбище совершается в присутствии родных и представителя власти. Крышку с гроба снимать запрещается.

10. По возвращении в часть офицер службы социального обеспечения составляет подробный отчет, в котором излагает также свои советы и рекомендации на будущее».

Внимательно перечитав записанное, я вызвал выделенного мне в сопровождение сержанта и приказал ему побыстрее получить разрешение на погребение, а сам отправился в финансовую часть за деньгами. Солдату я поручил выправить пропуск для автомашины и накладные на бензин. Встретиться договорились у входа в анатомичку через два часа. Выйдя из здания госпиталя, я очутился на многолюдной улице. Тысячи людей спешили куда-то по своим делам, и я вдруг почувствовал, как бесконечно далеки их заботы от наших. Вспомнил, что договаривался вечером после ифтара[1] встретиться с друзьями, поделиться с ними своими первыми впечатлениями от службы в армии. Конечно, теперь уж мне с ними не встретиться — тут и чудом не обернешься до ифтара. Решил позвонить одному из приятелей, отложить встречу, не объясняя, конечно, причин. Это не тема для телефонного разговора, а потом, пусть думают, будто у меня какие-то особо важные дела. Встреча была назначена в Агузе[2], я там с тремя приятелями снимал меблированную квартирку. Одного из нашей компании, как и меня, призвали в армию, второй — единственный сын у родителей, имевших помимо него несколько дочерей,— не подлежал призыву. Четвертый сумел освободиться от армии, не хочется и говорить, какими путями. Телефона в квартире не было. Каждый из нас пользовался ею по своему усмотрению, следовало лишь заранее предупредить остальных. Позвоню кому-нибудь на обратном пути, подумав, решил я, а сейчас лучше схожу домой за сменой белья, полотенцем и бритвой. И снова передумал. Мне говорили, что процедура передачи тела родственникам занимает самое большее час, а может и меньше. Да и кто станет удерживать человека, доставившего в гробу тело любимого сына.

Я вспомнил свою возлюбленную, пышную блондинку, с которой мы проводили очаровательные вечера в квартирке, в Агузе, заранее предупредив приятелей, чтобы нас не тревожили. Они обычно многозначительно подмигивали, желая мне приятно провести время. Воспоминание это раздражило, даже рассердило меня. Предупредить ее о моем отъезде было невозможно, а не явившись на условленное свидание, я неизбежно навлеку на себя упреки и буду вынужден долго объясняться и просить прощения. Потом я махнул на все рукой и пошел по своим делам. В кабинетах, где я побывал, восседали гражданские и военные чиновники, отгороженные от посетителей роскошными письменными столами. Ноги их утопали в мягких коврах, заглушающих все звуки. Возле столов стояли электрические или газовые камины, излучавшие тепло и уют. То и дело звонили телефоны и начинались разговоры о здоровье, о личных делах и ценах на мясо, давались обещания похлопотать о том о сем, выяснялся курс доллара на черном рынке и решался вопрос, где лучше провести вечер. Предъявляя документы, гласившие, что один из сыновей Египта отдал за него свою жизнь, я надеялся: уж к ним-то отнесутся со вниманием, постараются облегчить мне не слишком-то приятную задачу. Но, к моему изумлению, чиновник, сидевший за зарешеченным окошечком, проглядев поданные ему документы, а затем глянув на часы, сердито буркнул:

[1] Первая вечерняя трапеза (после захода солнца) в рамадан.

[2] Район в Каире.

— Поздно приходите.

Снова просмотрев бумаги, он вернул их мне, сказав, что печать на свидетельстве о смерти неразборчива и ее следует проставить заново. Я возразил: ведь часть находится на передовой.

— Ну и что? — процедил он сквозь зубы.

Со времени смерти, стал объяснять я, прошло уже три дня. Но чиновник, не слушая, указал мне на дверь справа от него: там, мол, сидит начальник, которому и надо изложить дело. Начальник перебирал длинные четки, губы его беззвучно шевелились, бормоча что-то известное лишь ему одному. На мои слова он ответил не сразу. Продолжая правой рукой перебирать четки, он протянул левую за документами. Долго читал их, шевеля губами, потом сказал, имея в виду чиновника:

— Он прав.

После долгой, утомительной и бесполезной дискуссии он, учитывая особые обстоятельства, пошел мне навстречу и велел написать расписку в том, что печать на свидетельстве о смерти подлинная. Моя подпись под этим документом возлагала на меня всю ответственность в случае, если бы печать оказалась подложной. Совершенно обессиленный, я вернулся в госпиталь и, дожидаясь своих подчиненных, оформлявших другие документы, успел позвонить одному из приятелей и предупредить о том, что не явлюсь на вечеринку.

Наконец собралась вся группа. Мы погрузили гроб в кузов автомашины, туда же уселись механик и двое сопровождающих. Друг погибшего сел между мною и водителем. Время приближалось к полудню. Выезжая из Каира, мы прикинули, что будем в деревне после ифтара. Чтобы, как водится, поесть в час ифтара, придется остановиться где-нибудь по дороге, скорее всего в Танте. Ощупав карманы, я убедился, что записка с адресом при мне. Путь предстоял долгий, машина далеко не новая, тряская. Когда мы выехали на шоссе Каир — Александрия, бледное желтое солнце светило нам прямо в лицо. Ехали мы медленно. Шофер, оправдываясь, расхваливал свою колымагу: она-де запросто обгонит любую другую машину. В доказательство он ткнул пальцем в спидометр, последняя цифра на шкале равнялась ста шестидесяти километрам в час, и, вздохнув, объяснил, что командир транспортной части во избежание аварий, тем более что автострады всегда перегружены, приказал поставить ограничитель скорости. Теперь из машины не выжмешь больше шестидесяти в час.

Прислонясь головой к стеклу дверцы, я задремал, убаюканный неспешной ездой. Сидевший рядом солдат вроде тоже уснул. Но нас тотчас растолкал шофер, прочитавший нам целую нотацию о том, как надлежит вести себя, сидя рядом с водителем автомашины, мчащейся по шоссе. Сонливость пассажиров, сказал он,— главная причина чуть ли не всех аварий. Лично он во время поездок требует, чтобы с ним непрерывно беседовали и развлекали его разными историями. Чем разговорчивей собеседник и занимательней его байки, тем меньше хочется спать. Упаси только бог от разговоров о науке и политике — сразу же сморит сон. Ну а как быть, спросил я, если рядом нет словоохотливого пассажира? Шофер засмеялся, сбавил скорость, снял с головы каскетку, повесил ее на переключатель скоростей и, завершив тем самым торжественные приготовления, начал долгий и обстоятельный рассказ. Водительскому делу он учился у шофера, работавшего в свое время в английских военных лагерях, тот наставлял его: если случится ехать без пассажиров и от долгой тряски станет клонить ко сну, есть одно испытанное средство — разговаривай с самим собой. Так он и делает — рассказывает себе старые бабушкины сказки, разные непотребные истории и анекдоты. А когда их запас иссякает, он переходит к следующему этапу—насвистывает знакомые несложные мотивчики или поет во весь голос. Мне скоро наскучило его слушать, хоть рассказ его и был довольно забавен. Чтобы прервать его, я спросил: как же быть, если все попытки прогнать дремоту окажутся тщетными? Вопрос мой, заметил шофер, весьма серьезен и свидетельствует о редком для офицера уме. Когда все средства исчерпаны, пояснил он, остается последнее. Знаете какое? Я, конечно, не знал. Ладно, заявил он, так и быть, он откроет мне этот секрет: самое распоследнее средство — дергать себя посильнее за волосы. Правой рукой он держит баранку, а левой во всю мочь дергает себя за чуб.

Разглагольствования шофера оборвал стук из кузова, сидевшие там требовали остановки. Мы вышли из кабины. У выпрыгнувших из кузова сержанта, механика и солдата лица были красные и потные, они заявили, что задыхаются, от гроба идет тошнотворный запах. Тут я понял, каково сидеть рядом с телом человека, скончавшегося

три дня назад, которое лежало сперва в полевом лазарете, а потом в госпитале. Еще утром от солдата, заведовавшего анатомическим театром, я узнал, что помещение это совершенно не приспособлено для хранения трупов, хотя и используется уже много лет, через него прошли тела погибших на четырех войнах, которые вел Египет. Мы присели на обочине передохнуть. Шофер долил воды в радиатор. Всю оставшуюся дорогу он по-прежнему говорил без умолку. Только теперь — о своих многочисленных поездках: он перевез на своем веку великое множество покойников, и погибших на войне, и умерших от болезней. Хвастовство его было невыносимо. Главным своим достоинством он считал железные нервы. Шофер, ездивший до него на этой машине, свихнулся от такой работы и загремел в психушку. Уж больно тяжело действовал на него вид родичей покойного во время передачи им тела и на похоронах. А он как-никак ездит четвертый год, и гнусная работенка эта совершенно не повлияла на его психику. Вспомнив о погибшем, которого мы везли, шофер спросил, что это за место куда мы едем,—городок или деревня? А когда я ответил, что деревня, он со знанием дела заявил: мол, деревенские жители — люди благородные и горе свое переносят хотя и тяжело, но с достоинством.

Солнце клонилось к закату. Радио у нас не было, но когда движение на шоссе вдруг прекратилось и дорога обезлюдела, мы поняли: азан[1] уже прозвучал и наступило время ифтара. Остановились мы в первом же встречном городке. Идея утолить голод в местном ресторанчике меня не вдохновляла. Оба солдата отправились на базар и вскоре вернулись с провизией. Мы уселись прямо возле машины, поели, напились чаю, принесенного из ближайшей кофейни. Один из солдат и механик попросили разрешения сходить в кофейню выкурить трубку наргиле. Я отпустил их, но велел не задерживаться. Вскоре мы снова ехали по шоссе. Тьма быстро сгущалась. Друг покойного стал припоминать приметы, по которым нам следовало ориентироваться. Я очень боялся заблудиться и проехать то место, где мы должны были свернуть на проселочную дорогу. По словам солдата, поворачивать надо было у железнодорожного моста, неподалеку от станции, возле которой стояло здание начальной школы. За школой находились дома рабочих-железнодорожников, а перед ними — переезд, он-то и вел на проселок. Съехав с шоссе, мы оказались как бы в другом мире, нас окружал кромешный мрак. Пришлось остановиться. Друг погибшего отправился к переезду, где горел фонарь, освещавший небольшое пространство вокруг и кучку людей, пивших чай. Он спросил мужчину в железнодорожной форме, как проехать к нужной нам деревне. Железнодорожник вместо ответа ткнул рукой в сидевшего рядом феллаха и объявил, что тому здорово повезло: он, мол, родом из этой деревни и давно сидит здесь, ожидая, кто бы подбросил его до дома. Мы же, по всему видать, добрые люди и держим путь в столь благословенный час не иначе как с благородной целью. Вот мы и подвезем феллаха, а он укажет нам дорогу. Феллах поднялся с земли, отряхнул галабею. Железнодорожник предложил нам чаю, но мы отказались. Рассыпаясь в благодарностях и твердя, что, видать, само небо послало нас ему в эту пору, феллах залез в кабину.

— Далеко ли ехать? — спросил я.

— Близко.

— Сколько километров?

Но у него были свои представления о расстоянии.

— Пешком — два часа, а на машине — четверть часа.

В разговор вмешался шофер: как подсказывает его богатый опыт, заявил он, речь идет примерно о десяти километрах. Я спросил феллаха, почему он не пошел пешком. Плохо ли прогуляться по свежему воздуху? Сразу видно, вы не из деревни, засмеялся в ответ крестьянин. Вы, городские, привыкли, что у вас всю ночь светят огни и вооруженные полицейские на каждом углу охраняют прохожих, дома и лавки. А в деревне, как он выразился, волки и собак загрызают. Я не понял, что он хотел сказать. С тех пор как он помнит себя, пояснил феллах, все было тихо-спокойно и люди ничего не опасались. Но в последнее время объявились бандиты, они грабят и убивают. И случаев этих немало. Кто б мог подумать, что настанут такие времена! Феллах мне понравился: вроде добрый человек. Но всеми неприятностями, случившимися потом, мы обязаны ему. Едва он закончил рассказ о разбойничьих шайках, в кабине воцарилось молчание, нарушаемое лишь гулом мотора и скрипом нашей колымаги, еле двигавшейся по немощеной дороге. Внезапно феллах обернулся ко мне:

---

[1] Призыв к молитве.

— А к кому вы едете в нашу деревню?

Я назвал имя отца погибшего, значившееся в документах и хорошо мне запомнившееся после многократного их чтения.

— Это наш омда,— сказал феллах,— он сейчас на месте.

Шофер, который должен был непременно встрять в любой разговор, показал рукой назад, на кузов машины, и сообщил феллаху:

— Вот, приказал долго жить.

Крестьянин, в ужасе всплеснув руками, воскликнул:

— Избави аллах... кто?

— Да сын омды.

— Но ни один из его сыновей не лечился в городе. Что, несчастный случай?

— Какой еще случай! — рассердился шофер.— На войне погиб!

— На войне? — недоверчиво переспросил феллах.

— Слава аллаху, дошло до тебя наконец!

Феллах долго и напряженно думал, потом развел руками:

— Как же так? Ведь у омды нет сыновей в солдатах.

Впервые нарушив молчание, друг погибшего спросил феллаха:

— А ты почем знаешь?

— Да чего тут знать? Я уверен!

— И мы тоже уверены.

Последовала тревожная пауза. Феллах беспокойно ерзал на сиденье, потом, словно размышляя вслух, сказал:

— Нет, из взрослых сыновей омды ни один не служил в армии. Младший сын его — единственный, которого должны были призвать.

— Когда ты видел его последний раз?

— Нынче утром, сам здоровался с ним.

Друг погибшего с горечью произнес:

— Быть может, у омды есть еще один сын, которого вы не знаете...

Феллах уловил в его тоне насмешку и угрюмо ответил:

— Кто его знает, может, сын омды волшебник и способен являться в двух местах сразу. Ведь мы живем во времена чудес!

Так я оказался втянутым в самую что ни на есть странную историю. Когда крестьянин, сев в машину, пустился в рассказы, я думал: бог с ним, это поможет нам скоротать время. А обернулось все вон какой неразберихой — поди теперь выпутайся. Но если я не управлюсь с порученным мне делом, это явно отразится на моем будущем. Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, я назвал крестьянину имя погибшего.

— Шалопай! — воскликнул крестьянин, и впервые в его голосе прозвучала явная неприязнь.— Так называют в деревне младшего сына омды,— добавил он.

— Это его ты встретил сегодня утром?

— Его самого. Как же он мог погибнуть на войне?

— Он погиб заочно,— медленно произнес друг погибшего,— погиб по доверенности.

Феллах, конечно, не понял его слов.

Я приказал остановить машину. Спустился на землю, велел сойти феллаху, а шоферу сказал, чтобы не выключал фар. Достал документы, еще раз перечитал имя погибшего, название деревни, должность отца. Все верно, сказал феллах, но парень, числящийся погибшим, жив и здоров. Мы вернулись в машину и тронулись дальше. Шофер пытался прервать гнетущее молчание, заявив, что подобная история с ним уже однажды случилась, но я прикрикнул на него, и слова застряли у него в горле. Я приказал ехать побыстрее и в последний раз спросил феллаха:

— Ты уверен?

Ждать мне осталось недолго, отвечал он, в деревне я смогу лично познакомиться с погибшим и убедиться, что тот находится в добром здравии. Я обратился к другу погибшего и спросил его, те ли документы мы везем с собой.

— В деревне увидим,— загадочно ответил он.

Нервы мои были на пределе. Перед отъездом из госпиталя я специально интересовался тем, какие осложнения могут возникнуть и как мне действовать в различных случаях. Но мне и в голову не могло прийти, что покойник, тело которого я везу в гробу, окажется жив. Я снова остановил машину, слез, подошел к задней двери ку-

зова и приказал сержанту приподнять гроб. Он удивился такому приказу. Хочу убедиться, сказал я, что там действительно находится тело. С трудом приподняв гроб, сержант проворчал сердито: я, мол, могу быть спокоен, тело на месте, да и кому придет в голову красть покойника. Оборвав его, я велел передать мне личные вещи погибшего. Сержант протянул сверток. Порывшись, я нашел среди документов гражданское удостоверение личности, протянул его феллаху. Он поднес его к самым глазам и, вглядевшись, с удивлением протянул:

— А-а, так это фотография Мысри, сына сторожа омды.

Читать феллах не умел, поэтому я прочел имя, значившееся в удостоверении.

— Имя-то сына омды, а фотография сына сторожа,— заключил феллах.

Мысли мои смешались, я не знал, как быть. Решил было вернуться в госпиталь, но запах, шедший от трупа, остановил меня. Когда феллах поднял руку, указывая на огни приближающейся деревни, я принял решение. Въехав в деревню, мы остановились у дома омды. Вошли на подворье. В маленькой комнатке, где находился телефон и хранились винтовки, нам сказали, что омда молится вместе с сыновьями. Феллах, приехавший с нами, ненадолго исчез, потом вернулся и шепотом сообщил мне: меньшой сын омды дома. Я послал за ним. Явился изнеженного вида юноша. Как тебя зовут?—спросил я. Он назвал имя, значившееся в моих документах. Я попросил предъявить удостоверение личности. Отец забрал для чего-то, сказал парень, месяца три назад и никак не отдает. На вопрос о его отношении к воинской повинности парень отвечал: насколько ему известно, он получил отсрочку до окончания учебы. А где документ об отсрочке? — спросил я. Отец отнес его в школу.

— Сам-то ты видел свидетельство об отсрочке? — спросил друг погибшего.

— Да нет, слышал о нем, а видеть не видел. Но оно, конечно, получено, раз я не попал в армию.

Тут появился омда вместе со старшими сыновьями и несколькими сторожами. Поздоровались. Я предъявил свои документы и сообщил о цели приезда. Поразительно, но мое сообщение явно не произвело на омду никакого впечатления. Он хотел одного: чтобы мы оставили ему все документы, вещи и тело и поскорей убрались восвояси. Раздраженный, я спросил:

— Погибший действительно ваш сын?

Омда ничего не ответил. Друг погибшего сделал мне знак выйти и лишь теперь, во дворе дома омды, рассказал мне всю историю.

— И ты знал об этом еще до поездки?! — воскликнул я.

— Знал еще раньше, чем он погиб.

Я едва не ударил его. Почему он не предупредил меня перед отъездом из Каира?! С какой целью? Думал, что действует в интересах погибшего и его родных? Хотел доказать свою верность памяти друга? И поэтому настаивал на поездке с нами? Видя мое волнение, солдат стал успокаивать меня: главное, мол, сейчас — правильно повести себя в этой сложной обстановке. Омда очень силен, и мы должны быть осторожны и хладнокровны. Сам он весь подобрался, словно готовясь к бою. Но вдруг появился старый феллах с изможденным лицом, на плече у него была винтовка. И сразу все изменилось. Громко рыдая, он подошел ко мне и сказал:

— Я отец погибшего.

Трудно описать, в каком положении очутился омда. Это был скандал. Ведь все произошло в присутствии многих людей, а вокруг дома собралась чуть ли не вся деревня. Омда пытался увести меня внутрь дома, но я отказался. Тогда, потребовал он, надо немедленно ехать на кладбище; я и на это не согласился. Омда заявил, что мое поведение грозит крупными неприятностями: я собрал толпу народа, а вокруг рыщут всякие шайки и, того и гляди, воспользуются случаем. Нельзя забывать — страна переживает тяжелый момент, мы находимся в состоянии войны, и он, омда, слагает с себя ответственность за возможные последствия инцидента, возникшего по моей вине. Я уже готов был отдать ему тело, документы и вещи и скорее бежать подальше от этой деревни. Меня колотила нервная дрожь, в горле комом стояли слезы. Но тут вмешался друг погибшего и предложил мне сходить в полицейский участок. Омда завопил с возмущением: он-де представитель власти в деревне и уполномочен решать все возникающие проблемы. Идти в полицию без его разрешения мы не имеем права. У меня было три выхода. Первый — отправиться в полицейский участок, ведавший этой деревней. Второй — обратиться в военную полицию, что вообще-то мы, как военнослужащие, обязаны были сделать. Но как среди ночи отыскать

ближайший пункт военной полиции? И наконец, третий выход — мы могли вернуться в Каир и доложить о происшествии начальнику госпиталя. Я был в растерянности. Но жители деревни решили все за меня. Пока я разговаривал с омдой, кто-то обежал все дома и предупредил народ. Я слышал доносившиеся из толпы крики о мщении, о земле, об аграрной реформе, которую свели на нет; слышал проклятия в адрес омды и призывы немедленно обратиться в полицию. Тут кто-то подошел к омде и шепнул ему, что надо действовать, пока не поздно. Но прежде чем омда двинулся с места, я со своими людьми был уже на улице. Нас окружило людское море, с трудом мы пробрались к машине. Отовсюду слышались голоса, призывавшие нас поспешить, пока подручные омды не напали на нас. Дело ясное, все доказательства налицо, впервые омда оказался в положении обвиняемого. Если я оставлю ему тело, отвечать мне придется перед всем миром. Я поставил уже ногу на подножку автомашины, когда ко мне подошел человек и сказал: омда послал в армию вместо своего сына сына сторожа, мы только сейчас узнали обо всем и дела этого так не оставим.

— Доколе будем молчать? — спросил он.

Человек этот, по всему судя, был грамотным.

— Даже на войне жульничают! Всю страну загадили — землю, воду, воздух. Людей извели. А мы терпим, молчим. Но коль уж речь идет о защите Египта — тут дело другое!

Теперь мне стала ясна вся картина преступления. Почудилось даже, будто руки мои обагрены кровью юноши, лежавшего в гробу. Да, надо действовать. Здесь преступление особого рода — не воровство, не убийство, не денежный подлог. Преступлению этому имени еще не найдено: ведь нигде — ни в Египте, ни в любой другой стране такого еще не бывало. Нет, нельзя сидеть сложа руки! Если у нас существуют такие омды, где гарантия, что это не повторится? Кто же тогда будет защищать Египет?

На улице появился омда со своими людьми, вооруженными винтовками и палками, но их отделяло от нас целое человеческое море. Друг и отец погибшего влезли следом за мной в кабину. Не знаю уж, как мы там все разместились. Отец продолжал тихо плакать. Солдат, друг его сына, успокаивал старика: мы с ним заодно, мы его не оставим и клянемся, правда восторжествует. Мало-помалу старик успокоился, хотя мне по-прежнему были видны две блестящие полоски, оставленные слезами на его морщинистом лице. Я приказал шоферу трогаться. И словно по мановению волшебной палочки толпа расступилась перед машиной. Все, кто мог, забрались на подножки и бампер, загородив водителю обзор. Мы с трудом заставили их потесниться. Другие, помогая тяжелой машине сдвинуться с места, толкали ее сзади. Наконец мы тронулись. Тут загремели выстрелы. Не знаю, чего хотели стрелки — задержать машину или рассеять толпу. Мы отправились в полицейский участок.

Дежуривший в участке офицер был примерно моего возраста, и на погонах его тоже красовались две звездочки. Он оказался каирцем, хоть и не из моего района. Кратко объяснив ему все, я предложил начать расследование. Силы уже покидали меня, и, наверно заметив это по моему виду, офицер приказал принести мне чаю. Уточнив кое-какие подробности, он сказал: положение сложное и надо связаться с маамуром [1]. Вскоре появился маамур вместе с чиновником прокуратуры. Разложили документы, приготовили перья и приступили к делу. Я услышал обращенный ко мне вопрос:

— Повторите, пожалуйста, все, что вы рассказали.

И я стал говорить...

Следователь

Есть какая-то непонятная притягательность в полуночном часе, отделяющем день минувший от нового, о котором мы еще ничего не знаем, кроме его числа. Медленно звучат двенадцать ударов. В воздухе пахнет холодом приближающейся зимы. Последние ночи рамадана. Покуда никто еще не стал свидетелем ночи судьбы. А ведь осталось всего две ночи. Потом начнется праздник, и надежды людей так и не сбудутся. В полночный час я готовлюсь ко сну. Не знаю, скоро ли удастся закрыть глаза и отрешиться от гнетущих дневных мыслей. Но в конце концов сон придет. Только уснуть мне не дали. Прибежал посыльный из участка: меня вызывают по важному делу. Я подумал: а был ли случай, чтобы меня вызвали не по важному делу? Спросил посыльного, провел ли дежурный офицер предварительное расследование. Он от-

[1] Начальник полицейского участка.

ветил: пока состоялся только устный разговор, потом дежурный вызвал маамура, а тот приказал послать за мной и одновременно уведомил о случившемся военного советника округа.

Натягивая мундир, я продолжал расспрашивать посыльного, что там случилось: убийство, кража, нападение, массовая драка? Он и сам толком не знал, видел лишь, как примерно час назад к участку подъехала военная машина, привезла тело погибшего. В машине находились офицер и несколько солдат. Приехали они из ближней деревни. Услышав эти подробности, я заторопился и через несколько минут вышел на улицу. Обычно в нашем маленьком городке жизнь замирает после десяти часов вечера. Но сейчас по случаю рамадана на улицах было оживленно. В участке я застал дежурного офицера, маамура и сотрудника уголовного розыска. Дело, по их словам, было ясное. Я попросил дежурного офицера рассказать мне обо всем подробно. Молодой офицер, очень взволнованный, был чересчур многословен. Раз уж в нашей повести ему не отведена специальная глава, где он мог бы высказаться подобно мне и всем говорившим до меня, я изложу его рассказ так, как услышал его, со всеми подробностями, не имеющими прямого отношения к делу. Вот что рассказал мне молодой офицер:

— Я дежурил по участку. Дел у меня особых не было. Да и какая у нас работа в рамадан, после ифтара. Прозвучал призыв к вечерней молитве, я стоял у окна, прижавшись носом к стеклу. Вскоре оно запотело от моего дыхания, и я стал выводить на нем буквы. Тут-то я и увидел черный фургон, в каких перевозят обычно покойников. Он ехал медленно, то возникая в свете фонарей, то вновь растворяясь в темноте. У входа в участок машина остановилась. Я увидел на ней военный номер. Выйдя из комнаты, я остановился на пороге. Дверца кабины отворилась, на землю сошел молодой офицер, младший лейтенант, за ним солдат в полевой форме и старый феллах. Из кузова выпрыгнули еще солдат с сержантом и человек в штатском. Судя по их виду, приехали они издалека. Я понял, мне предстоит работа, которая заполнит собой пустоту долгой ночи. Погода стояла холодная, но лица приезжих блестели от пота. Поздоровавшись со всеми, я предложил им сесть. Офицер, усевшись передо мной, помолчал, потом заговорил, и я понял, что имею дело с немыслимым, беспрецедентным случаем. Но здесь замешан омда, а это человек, которого боится вся округа. Я растерялся, не зная, как себя вести перед лицом таких обстоятельств. Слава аллаху, маамур живет рядом с участком — вон его дом напротив. Я решил позвонить ему и попросить указаний. Маамур в это время играл в шахматы со старшим сыном. Я извинился за беспокойство и доложил ему о случившемся. Он тоже сперва смутился, но потом приказал мне действовать в законном порядке, обещав прийти без промедленья. Я ознакомился с документами и вещами погибшего, послал за вами. Тут подошел и маамур.

Для начала я снова снял показания с армейского офицера. Он сообщил, что прибыл из Каира передать тело погибшего на фронте его родным, но, как оказалось, человек, носящий имя погибшего, жив и здоров, а погиб совсем другой, пошедший в армию вместо этого, живого. От усталости офицер еле ворочал языком, лицо его было покрыто пылью и потом. В глубине души я усомнился в его словах, но он стоял на своем и резко спорил со мной, когда я пытался ему возражать. Затем я перешел к сопровождавшим его людям. Усадил перед собой друга погибшего. Он рассказал мне всю историю от начала до конца. Но я никак не мог поверить и спросил, не сохранились ли у него какие-либо старые документы погибшего на имя сына сторожа, скажем, удостоверение личности или школьный аттестат. Он попросил разрешения поискать в вещах, взял в руки воинское удостоверение, раскрыл его и вынул тщательно сложенный листок бумаги. Потом расправил его и положил передо мной. Это был аттестат об окончании школы второй ступени. Рядом с аттестатом друг погибшего положил удостоверение. Документы эти отражали вечное противоречие между лицом и изнанкой жизни. Воинское свидетельство официально удостоверяло: владелец его — сын омды, призванный на военную службу. А извлеченный из него аттестат доказывал, что вместо сына омды в армию пошел сын сторожа, хотя здесь именно тот случай, когда никому и ни под каким видом не дозволено передоверять свои обязанности другому. Это было первое непреложное доказательство. В школьном аттестате значился номер удостоверения личности Мысри и дата его выдачи. В другом удостоверении, найденном мною в вещах погибшего, я увидел фотографию Мысри и имя сына омды. Номера и даты выдачи удостоверений личности были разными, хоть их и выписывало

одно и то же бюро записи актов гражданского состояния, бюро нашего маркяза. Это лишь утвердило мое желание во что бы то ни стало докопаться до истины. Я почувствовал себя окончательно взбодрившимся, сонливости как не бывало. Снял китель, повесил на вешалку. До этого я работал, что называется, вполсилы, дело было еще неясным. На листке бумаги я записал имена лиц, которых необходимо было выслушать:

1. Отец Мысри, ночной сторож на пенсии.
2. Омда деревни.
3. Младший сын омды, имя которого носит погибший.
4. Уполномоченный по мобилизации, который оформлял документы погибшего на призывном пункте маркяза.

На другом листке я написал список требуемых документов:

1. Анкеты, на основании которых бюро записи актов гражданского состояния маркяза выдало два удостоверения личности, а также приложенные к ним фотографии (одна наклеивается на удостоверение, вторая хранится вместе с анкетой в бюро).
2. Копии свидетельств о рождении погибшего и сына омды.
3. Справки об отношении обоих к военной службе и все документы, связанные с мобилизацией.
4. Свидетельства об образовании того и другого.

Потом сделал еще одну пометку:

«Расследование всех обстоятельств дела вести в контакте с сотрудником уголовного розыска».

Спустя некоторое время после начала следствия маамур предупредил меня, чтобы я избегал спешки и до прибытия военного советника округа проявлял величайшую осторожность. Я поинтересовался, при чем здесь военный советник. Раз дело имеет военный, а возможно и политический аспект, ответил маамур, его вмешательство необходимо. Мне самому дело представлялось совершенно ясным. Так я и сказал маамуру, добавив, что буду продолжать следствие, а военный советник, когда приедет, подскажет, что еще надо сделать. Я вернулся к делам, но вскоре опять появился маамур с напоминанием о покойнике: его надлежит похоронить или, если это необходимо следствию, передать в распоряжение судебного врача. Я спохватился, что забыл о покойнике. Вызвал привезшего его офицера, проглядел документы, касающиеся его гибели, и разрешил хоронить, ограничившись внешним осмотром тела судебным врачом, а также фотографированием лица. Фотографии имели большое значение для дальнейшего хода следствия. Но возник вопрос, как хоронить погибшего, если о случившемся знает вся деревня? Как избежать возможных неприятных инцидентов? Маамур снова посоветовал дождаться приезда военного советника и узнать его мнение. Если я не возражаю, сказал мне маамур, то он считал бы целесообразным отвезти тело в больницу маркяза, нехорошо оставлять его в машине. Я согласился. Действительно, оставляя гроб в машине, мы как бы проявляли неуважение к человеку, погибшему защищая землю нашей страны и нас самих. К сожалению, как выяснилось потом, тут я допустил ошибку, но это уже другая тема. Явились вызванные свидетели, я стал выслушивать их показания. Не буду останавливаться на этом, все сказанное ими вы уже прочли в предыдущих главах, а повествователь, дорожащий вниманием читателя, не имеет права повторяться. Некоторые свидетели признались без труда. Рассказ подлинного отца погибшего невозможно было слушать без глубокого волнения. Омда ни в чем не признавался. Мне не удалось вытянуть из него ни слова, которое пролило бы свет на его роль в этой истории. Я устроил ему очную ставку со сторожем, предоставил все имеющиеся у меня документы. Напомнил о возвращении ему земли, в которую входил и участок, арендуемый сторожем. Это, заявил омда, не имеет никакого отношения к делу. Иногда он не находился, что ответить, но держался твердо. В глазах его не было видно и следа раскаяния, голос звучал уверенно. Вместе со словами до меня доносился запах куриного, а может, индюшачьего мяса — короче, того самого мяса, которое складками отложилось на лице, руках и всем теле омды. На мой вопрос об отношении его сына к воинской службе омда ответил: сыну дана отсрочка до окончания учебы. Я потребовал предъявить соответствующий документ. Документ, по его словам, находился в школе. Я спросил, какое учреждение выдало разрешение на отсрочку. Тут он впервые смутился, говоря, что получил его в Александрии. Я положил перед ним воинский билет, удостоверяющий, что сын его находится в настоящее время на военной службе. Снова заминка,

омда не знал, что сказать. Допрос его был настоящим поединком, состязанием на выносливость. Мы кружили один вокруг другого. Не раз я приширал его к стене. Казалось, ему некуда деваться. Но он не признавался. Чего он медлит? — думал я, сказал бы лучше правду, не изводил ни меня, ни себя. И все же омда явно чего-то ждал, не теряя надежды выкрутиться из сложного и щекотливого положения. Я нервничал. А он вел себя так, словно ничего серьезного не произошло. Во все время следствия в голове у меня вертелся вопрос: какой же хитрец придумал всю эту комбинацию? Проделано все было необычайно ловко, не считая мелких погрешностей, которые вряд ли давали возможность раскрыть дело до конца. И все же я добрался до этого хитреца. Свидетели называли его маклером. В конце концов он предстал передо мной. Производил он впечатление человека, махнувшего на все рукой, и особых хлопот мне не доставил, откровенно признался во всем содеянном. При этом неоднократно и, по-видимому, искренно повторял: мол, это было его последнее дело, он и сам решил поставить точку на такого рода делах. В свое оправдание маклер заявил, что удивлен проводимым расследованием. Ведь что произошло на самом деле? Один порядочный и благородный египтянин решил оказать услугу другому египтянину. Разве вам не приходится на каждом шагу слышать, как люди говорят друг другу: ради тебя я готов жизнь отдать. И разве само государство, в официальном порядке, не призывает нас жертвовать собой ради сограждан и единоверцев и не изъявляет готовности платить нам за пролитую кровь, если мы не желаем проливать ее добровольно? Именно это и имело место. Сын сторожа решил взять на себя гражданский долг сына омды. Он согласился на это совершенно добровольно. В противном случае ему ничего бы не стоило отказаться. Кто мог его заставить? Следует прояснить и еще один момент, о котором омда, человек скромный и щепетильный, не хочет говорить вслух. Интерес в этом деле был взаимный. Я имею в виду материальную сторону. Послав сына в армию, сторож получал двойную компенсацию: твердо оплачиваемую должность, хоть он, как вы знаете, на пенсии, а закон строго-настрого запрещает получать одновременно пенсию и зарплату. В данном случае омда не только шел навстречу сторожу, но и покрывал его как нарушителя закона, подпадающего под санкцию египетского уголовного кодекса. Тот же омда, не забудьте, несет ответственность за соблюдение закона, а следовательно, ставит под удар и себя. Вдобавок сторож получил участок земли размером не менее пяти федданов. Справедливые постановления, принятые недавно в Египте, со всей ясностью предписывают вернуть землю, конфискованную по закону об аграрной реформе, прежним ее владельцам. Омда после долгих лет нужды и лишений получил назад свою землю и имеет полное право сам ее возделывать, подтверждая тем самым справедливость нынешних и беззаконие прежних порядков. Представьте себе радость омды, к которому вернулась насильственно отнятая у него собственность. Но он лишил себя этой радости и по доброй воле оставил землю сторожу, то есть нарушил недавние справедливые постановления. А оставил он землю в уплату за услугу, которую сын сторожа сам вызвался оказать, никто его не упрашивал. Служба в армии была заветной мечтой сына сторожа. Клянусь, он сам говорил мне об этом. Он намеревался пойти добровольцем, не знаю уж, по какой причине ему было отказано. Парень был честолюбив. А бедняков честолюбие, как правило, не доводит до добра. Он строил далеко идущие планы, мечтал в один прекрасный день стать офицером, украсить свои погоны орлом и звездочками. Потому и пошел. С корыстной целью и по собственной инициативе. Отчего же спрашивают за это с омды, вся вина которого в том, что он помог египетскому гражданину воплотить в жизнь давнее его намерение. Учтите, он и омда, и отец — лицо одновременно общественное и частное. Как представитель власти, обязанный блюсти интересы своих подопечных, он обязан помогать им в осуществлении их планов. Оказав содействие сыну сторожа, он выполнил свой официальный долг. И, наконец, еще один, последний, довод, он, думаю, убедит вас окончательно: ведущееся расследование лишено всяких оснований. Отец омды тоже был омдой, и отец отца, и дед деда — все были омдами. Это исключает всякие сомнения в благородстве его происхождения. Ну а сторож и сын его принадлежат к простонародью, которому сон, как говорится, заменяет ужин. Они работают на земле омды. А владелец земли властен и над теми, кто на ней работает. Стало быть, сын сторожа — собственность омды, и тот волен распоряжаться им по своему усмотрению. Я протестую против расследования, поскольку оно игнорирует реальное положение вещей. Вот в чем суть дела, вот что должно сейчас обсуждаться: если сын сторожа погиб вместо сына омды,

кого из них следует считать отдавшим жизнь за родину? Тут необходима консультация в высших инстанциях, возможно, придется запросить фетву[1]. Надо порыться и в исторических источниках: имели ли место прецеденты подобного рода. Когда решится, кто же принес себя в жертву, сын сторожа, пошедший добровольно на фронт, или сын омды, уполномочивший другого занять его место, окончательно прояснится и следующий вопрос, а он неизбежно возникнет в ближайшие дни: кому должны быть выплачены деньги за погибшего — омде или сторожу. Официально эта сумма, весьма значительная, причитается омде. Но и сторож имеет на нее право. Наверно, разумнее всего было бы воззвать к совести омды и предложить ему отдать деньги или их часть сторожу. Возможно, поделить сумму пополам. Все случившееся нельзя квалифицировать как преступление и нарушение закона. Ведь вы вправе уполномочить другое лицо голосовать вместо вас на выборах, а участие в выборах — это ли не высокий гражданский долг! Почему же нельзя доверить другому и сражаться вместо вас на войне? Впрочем, все это дело прошлое. Что случилось, того не вернешь. Сейчас нас должно занимать другое: кто получит деньги. И незачем копаться в прошлом. Один человек сослужил другому службу, пролил за него свою кровь. Какое до этого дело правительству? Нам говорят: мол, времена бюрократической рутины кончились, наступила эра свободы. А значит, каждый волен распоряжаться своею жизнью и кровью. И если некто пожертвовал жизнью ради другого, при чем здесь прокуратура? Решите только, кому получать деньги, и считайте: ваш долг исполнен.

Но омда, возразил я маклеру, не отдал землю сторожу и даже прибег к незаконным формам эксплуатации. Предоставил отцу погибшего три феддана на условиях испольщины. Тут маклер с возмущением заявил: это-де неправда от начала и до конца, а лицо, сообщившее мне подобные сведения, интриган и клеветник. Сведения, отвечал я, получены мною в ходе следствия, и их подтвердил сам сторож. Все это происки врагов омды, возопил маклер, да они никак не могут простить ему возвращение земли и стремятся напакостить всеми возможными способами.

В конце концов я отпустил хитроумного маклера, защищавшего не столько омду, сколько себя самого, но его речи о завтрашнем дне и предстоящей выплате денежной компенсации не давали мне покоя. Я не мог собраться с мыслями: ведь выяснить подробно все, что произошло, еще не самое трудное. С делами куда посложнее я столкнусь завтра. Да, очень важно установить, кто же, собственно, воевал, погиб и внес свой вклад в победу. Но главное — решить, кому должны быть возданы почести и уплачены деньги. Вот что мучило меня неотвязно. Все нити дела были в моих руках. Надо было мысленно сплести их в единое целое и зафиксировать все на бумаге. Я снова принялся за документы. Начал со свидетельств о рождении. Только в них и отмечалось единственное совпадение между сыном омды и сыном сторожа: оба родились в один день и в одной деревне. Все прочие документы указывали, что жизнь их шла совершенно разными путями. Сын сторожа преуспевал в учении, но из-за отсутствия средств не мог завершить образования. Сын омды по нескольку лет сидел в каждом классе. В анкетах, заполненных для получения удостоверений личности, разные сведения и разные фотографии, на одной — лицо сына омды, на другой — сына сторожа. Различным было и их отношение к военной службе: сын сторожа не подлежал призыву, как единственный сын в семье; сына омды должны были призвать и действительно призвали — в документах значилась дата призыва и подтверждалось, что он явился на призывной пункт и его отправили в Александрию, об этом свидетельствовал корешок проездного удостоверения с соответствующим номером. Отпечатки пальцев на документах также принадлежали разным людям. Все сходилось. Оставалось лишь добиться признания от омды, а он, по существу, приперт к стенке. Из показаний маклера явствовало: главное действующее лицо во всей этой истории — омда, а маклер просто его соучастник.

Я снова вызвал омду, предъявил ему все собранные мною улики, и старые и новые. Омда не дрогнул и ни в чем не сознался. Пытаясь воздействовать на него, я прибег к последнему средству, приказав арестовать его сына и маклера. Омда бушевал, возмущаясь арестом сына, но так и не проронил ни слова в признание своей вины. Было ясно: он ждет откуда-то помощи и спасения. Я решил прервать на время следствие, передохнуть после проделанной неимоверно трудной работы, ожидая пока результатов параллельных расследований, которые проводились по моей просьбе уго-

[1] Решение муфтия, должностного лица, выносящего суждения по религиозно-юридическим вопросам.

ловным розыском. Некоторое время спустя у меня появился сотрудник уголовного розыска, он должен был представить письменный отчет для приобщения его к следственному делу. Но вместо этого он устно доложил: главный, мол, факт подтвердился, сын сторожа был послан в армию вместо сына омды. Что же до остального, он просит меня больше не тратить зря силы на разбирательство, ибо дело все равно не получит дальнейшего хода. Как ему удалось выяснить, у омды сильная поддержка и надежные связи в самых высоких сферах. Что бы мы ни обнаружили, какие бы доказательства ни представили, дело ни в коем случае не будет передано в суд. Его прекратят либо по просьбе истинного отца погибшего — якобы во имя сохранения в чистоте памяти героя,— либо по прямому указанию свыше. Насчет второго варианта сотрудник уголовного розыска оговорился: это-де его личное предположение. Никто ему ничего не говорил, но сам он именно так понимает ситуацию. Я предложил ему все же кратко изложить результаты проведенного им расследования в официальном протоколе, а протокол направить мне через маамура. Я уж сам решу, что предпринять. Когда я поинтересовался, где находится омда, мне сказали: он поехал к себе в деревню отдохнуть, но готов явиться в любое время, машина у него всегда под рукой. В случае необходимости можно ему позвонить.

Каждый день ко мне приходили феллахи с жалобами на беззакония и притеснения со стороны омды. Я втолковывал им, что веду следствие по совершенно конкретному делу и не могу отвлекаться по любому из поводов, не имеющих прямого отношения к делу Мысри. Феллахи уверяли: мол, дело Мысри — лишь одно из многих тысяч проявлений самоуправства омды. Разница лишь в том, что оно получило огласку, а другие так и остались неизвестными. Среди феллахов запомнился мне один юноша, он утверждал, что все злоупотребления омды суть преступления политические и мы неправы, подводя их под статьи уголовного кодекса. Множество лазеек, имеющихся в законе, позволяет омде уйти от ответственности. Кто знает, может, оно и так. Перечень преступлений омды велик, для него потребовалось бы отвести целую главу, тем более, уверен: в своем рассказе омда ни словом о них не обмолвился. Беседуя с феллахами, я убедился: все они боялись омду. Мне пришлось дать слово, что имена их нигде не будут фигурировать. Знать их буду только я. Для меня они представляли как бы резерв свидетелей обвинения, который может потребоваться в борьбе с омдой.

Приехали военный советник округа и уполномоченный военной полиции. Я воображал, будто цель их приезда — в сотрудничестве со мной установить истину. Оказалось, это вовсе не так. Уполномоченный военной полиции с ходу заявил мне протест: я открыл следствие по делу, связанному с армией, не поставив в известность военную полицию, а только она одна правомочна в таких делах. Офицер и солдаты, сообщил он, которые давали мне показания, понесут за это ответственность. Законы военного времени неукоснительно требуют, чтобы любое расследование с участием военнослужащих проводилось в присутствии представителя армии. В соответствии с законом следствие будет проведено заново органами военной полиции. Я решительно возражал: преступление совершено здесь, в деревне, а не в армии, и следствие должно быть продолжено и доведено до конца.

Неожиданно свыше поступило указание: следствие прекратить и считать его несостоявшимся, тело предать земле. Похороны состоялись незамедлительно, без моей санкции. Я был весьма раздосадован тем, что погибший был погребен не как сын сторожа Мысри, а как сын омды, вот уж сущая нелепость: ведь человек, носящий это имя, по-прежнему живет и здравствует. Кто же, спрашивается, похоронен? И куда подевался Мысри? Кстати, вопрос об исчезновении Мысри возник не в связи с похоронами, а гораздо раньше. Проводя расследование, я обнаружил, что с момента своего отъезда в армию под именем сына омды Мысри как бы прекратил свое существование. И пусть он служил, воевал и погиб, но после смерти не имеет даже права на память. Когда я пытался заговорить об этом с военным советником, он отмел все мои доводы, заявив, что наша страна переживает переломный в своей исторической судьбе момент. Впервые за всю свою историю — с древнейших времен — арабы одержали победу. Инцидент с Мысри может бросить нежелательную тень на эту победу, которой Египет, да и все арабы дожидались тысячи лет. Представьте только, какой крик поднимут враги Египта, если им станет известна история с Мысри. И потом, настолько ль она значительна и заслуживает ли такого внимания? В ходе развития государств и обществ тысячи индивидуумов гибнут и уничтожаются ради существова-

ния целого и продолжения жизни. Не хватит ли с Мысри и того, что он пролил кровь за родину, неважно, под каким именем. Главное — он пожертвовал собой во имя блага отечества и своих близких. А как это произошло, дело второе. Не забывайте, под каким девизом сегодня живет Египет: «Все и вся — воедино!». Все в одном! А значит, отдельная личность растворяется в массе. И хорошо бы молодежи поскорее усвоить этот патриотический завет.

Я возражал против прекращения следствия. Будучи следователем, я вообще не представлял себе, как можно считать дело несостоявшимся. Ведь мой единственный профессиональный долг — раскрытие истины. А в данном случае я расследовал дело совершенно особого рода и готов был расшибиться в лепешку ради выяснения истины. Но она словно играла со мной в прятки, стоило мне приблизиться к ней вплотную — она ускользала и снова начинались блуждания в тумане неопределенности. Ощущение собственного бессилия давило на меня свинцовой тяжестью. Мне осталось рассказать вам самое главное, а на это нужно еще решиться. Тут обиняками да отговорками не отделаешься. Так вот... Я продолжал вести дело, возился с допросами, документами, отчетами, как вдруг меня вызвал к себе большой начальник. Я обрадовался, ну, думаю, наконец-то дело дошло до слуха ответственных лиц. А значит, оно действительно важное, теперь-то уж попранная справедливость восторжествует, а виновного постигнет заслуженная кара. Бросил я все дела и поспешил к большому начальнику. Он прислал за мной роскошную машину. В ней был телефон молочно-белого цвета, боковые стекла опускались и поднимались нажатием кнопки. Воздух внутри машины был какой-то особенный, прохладный и благоуханный. Я спросил шофера, в чем тут секрет. Не утруждая себя ответом, он указал рукой на небольшой мудреный ящик, вделанный в приборную доску. Я не понял, что же это такое, и переспросил. Шофер небрежно обронил заграничное словцо:

— Кондиционер...

Ясно, значит, воздух в машине искусственный. Он удивительно бодрил; откинувшись на сиденье, я стал размышлять о предстоящем разговоре. Я чувствовал себя окрыленным. И в самом деле, думал я, мы живем в золотой век. Самое высокое начальство интересуется мнением простых людей. А это ли не главное качество руководителя — следить, чтобы справедливость соблюдалась даже в отношении самых незаметных граждан? Недаром говорится: справедливость — основа правления, и поистине справедлив тот правитель, который глаз не сомкнет, пока меж его подданных есть хоть один голодный, нагой или бездомный. Что же до дела, которым я занимаюсь, то оно способно растрогать и камень. Речь ведь идет о крови, пролитой во имя защиты родины. И кровь эта еще не высохла. Когда мы прибыли к большому начальнику, я не сразу понял, кабинет ли его есть продолжение автомобиля, или автомобиль — передвижная часть кабинета. Тот же свежий, благоуханный воздух, те же мягкие цвета. Большой начальник встретил меня довольно сдержанно. Не знаю, такова ли его обычная манера обхождения с людьми, или он держался так только со мной. Я молчал, ожидая его вопросов и собираясь доложить, что расследование мною почти закончено и остается лишь добиться признания омды. Впрочем, признание его не столь уж и важно, свидетельские показания полностью изобличают его, особенно показания маклера, прямого соучастника омды. Я решил заранее попросить большого начальника, когда он даст мне возможность высказаться, чтобы суд состоялся как можно скорее, желательно в ближайшие десять дней, и чтобы приговор был самым суровым, ибо дело касается защиты родины. Большой начальник поднялся с места, вышел из-за своего роскошного письменного стола, подошел к окну и отдернул штору. Стоя ко мне спиной, он разглядывал маленькую площадь, куда выходило окно, и улыбался — видимо, его забавлял вид прохожих, ежившихся от непривычного еще зимнего холода. Потом, погасив улыбку, начальник обернулся ко мне.

— Когда вы закончите дело? — резко спросил он.

Я выпрямился на стуле, откашлялся и едва открыл было рот, как он недовольно бросил:

— Что ж вы молчите? Отвечайте, следствие закончено?

— Не хватает лишь последнего звена, признания главного обвиняемого по делу,— я старался говорить спокойно.— Рассчитываю добиться его сегодня, самое позднее завтра.

— Вам трудно заставить его признаться?

— Он от всего отпирается, несмотря на показания свидетелей.

— Что же вам даст его признание?

— На суде — а я прошу назначить суд как можно скорее — отсутствие признания обвиняемого может быть сочтено недоработкой следствия. И тогда судья вправе потребовать повторного следствия. А это внесет в дело ненужную путаницу.

— Вы говорите: суд? — удивленно спросил большой начальник.

— Конечно,— простодушно ответил я,— по окончании следствия прокуратура передаст дело в суд.

— Какое дело?

— Дело погибшего, которое я расследую.

— Которого же погибшего?

— Мысри, сына сторожа.

— Мысри, говорите?

— Но ведь он пошел в армию вместо сына омды.

— Какого омды?

— Да омды их деревни. Говорят, у него большие связи, но вина-то его доказана.

— Доказана чем?

— Документами, показаниями свидетелей, вещественными уликами, установлением личности жертвы...

— Какой еще жертвы? — он почти кричал.— О чем вы говорите?!

Я решил не отвечать. Ситуация была абсурдной. Я только старался в душе понять, чего же именно добивается большой начальник. Может, он вызвал меня по ошибке вместо кого-то другого? Странная слабость охватила меня. Я словно очутился в безвыходном тупике. Мне хотелось закричать, вскочить с места, кинуться на начальника. Но этот огромный роскошный кабинет и меры предосторожности, предшествовавшие моему визиту сюда, машина, охрана, сама таинственная личность начальника парализовали меня. Я ведь толком даже не знал, над кем он начальствует, что возглавляет. Когда мне передали его вызов, я пытался расспрашивать, кто же он, человек, с которым я встречусь. Мне отвечали кратко — большой начальник. Ткнув пальцем в мою сторону, начальник сказал, как отрезал:

— Слушайте! Никакого дела нет и не было. Феллахи в деревне подшутили над вами, сочинили историю наподобие полицейских романов. Сын сторожа пошел в армию. А чтобы скрыть свое низкое происхождение и выдать себя за сына благородных людей, с самого начала сообщил о себе фальшивые данные, назвался сыном омды. Под этим именем и погиб. Все произошло по его собственной инициативе. Усвоили? Никакого дела нет. Парень погиб. Это, конечно, звучит трогательно, и он, как погибший в сражении, заслужил место в раю. Но прежде чем погибнуть, он набедокурил, побуждаемый тщеславием, пошел на обман. Только нас уж это никак не касается. И вообще по чьему указанию вы приступили к расследованию? Что? Дело было передано в прокуратуру полицией на основании заявления граждан? С точки зрения процедуры все это правильно. И все же вы совершили ряд грубейших ошибок. Взялись за дело, с самого начала зная, что оно не гражданское, а военное. А поскольку армия имеет свою полицию и судебные органы, дело это исключительно в их компетенции. И наконец, самое важное: разве вам не известно, что военные суды руководствуются не уголовным кодексом, а особыми законами? Вы же приступили к расследованию, даже не попытавшись связаться с компетентными армейскими органами, хотя это было вашей прямой обязанностью. Да, я признаю, вами двигало патриотическое чувство и сознание служебного долга. Совершено преступление, полагали вы, и сочли делом чести раскрыть его. Все это так. Но допустимо ли, чтобы следствие по такому делу велось гласно и все кому не лень были в курсе происходящего? Не думаю. Тут я с вами категорически несогласен. Мало ли дел, требующих закрытого следствия?! Война, на которой погиб Мысри, все еще продолжается. Мы согласились на прекращение огня, но лишь до определенного срока. Все наши земли должны быть освобождены. А значит, мы по-прежнему находимся в состоянии войны. И стало быть, в стране сохраняется чрезвычайное положение. Вы должны, вы обязаны были позаботиться о тайне следствия. Вам известно, что едва ли не у каждой египетской семьи сын на войне? Представьте себе состояние людей, видящих, как тело погибшего на фронте возят туда-сюда и не разрешают хоронить, потому что следствие должно установить личность погибшего и решить, кому положено получить за него деньги. Тайна следствия в подобном случае — такой же патриотический долг, как и участие в бою. А кто,

я вас спрашиваю, может гарантировать, что эта война для нас последняя? Способны вы или кто другой в этом поручиться? Ясно одно: рано или поздно мы снова будем воевать. Но ведь тогда ваше расследование может иметь самые дурные последствия. Став достоянием общественного мнения в Египте и за его пределами, эта история бросит тень на нашу победоносную войну и на наших героев. Кто здесь окажется в выигрыше? Сторож и его сын? Жертвовать всем во имя отечества — долг каждого египтянина. Сторож пожертвовал сыном — честь ему и хвала. Мы долго обсуждали все обстоятельства дела. Некоторые требовали наказать вас за допущенные серьезные ошибки. Но я вас отстоял. Только потому, что убежден в искренности ваших намерений и уверен: вы исходили из лучших побуждений.

Вот вам мое решение: считать следствие не имевшим места, все документы передать лично мне. Я уже отдал соответствующие распоряжения всем участвовавшим в расследовании ведомствам.

Он сделал театральный жест рукой и объявил:

— Вы свободны.

Невидимая рука открыла снаружи дверь. Начальник указал на нее, и я понял: мне предлагают выйти. Ноги едва держали меня. Я сразу отправился к себе в прокуратуру и убедился, что распоряжения большого начальника уже исполнены. Скорее всего чиновник, приезжавший за мной, привез и инструкции. Во исполнение их маамур отпустил подследственных и свидетелей и освободил из-под стражи сына омды. У меня осталось только следственное дело, перед отъездом я спрятал его в надежном месте. Собрав бумаги, я решил хранить их до встречи с моим непосредственным начальством, ведь я обязан доложить ему обо всем и получить указания. Сам-то я не сомневался: следствие, несмотря ни на что, должно быть доведено до конца. Все его нити в моих руках. Должно быть доведено до конца — в этом-то вся закавыка. Но кто из нас может это сделать? Во всяком случае, не я. Отправляясь домой перед завтрашней встречей с начальством, я сложил в портфель все документы — надежней всего держать их при себе. Вдруг в кабинет вошел отец погибшего, сторож. Его словно подменили. Мы, сказал он, ничего не сможем сделать против омды. Нет, возразил я, справедливость для всех одна, и никто в нашей стране не посмеет сейчас поставить себя над законом. Мне было и смешно и грустно, ведь человек, стоявший передо мной, явно не понимал смысла моих слов. Я спросил старика, кто сказал ему, что мы бессильны против омды. Оказалось, таково было общее мнение. Он и пришел-то ко мне, ослушавшись приказа господина маамура, запретившего ему покидать деревню и появляться в маркязе. У сторожа были две просьбы: пусть ему отдадут тело сына, чтобы он мог как должно похоронить его; и еще он хочет получить причитающиеся ему за сына деньги. Больше ему ничего не нужно. Я полностью сознавал справедливость этих его просьб, но мог ли я отдать соответствующие распоряжения без санкции маамура? Я отправился к маамуру. Едва я заговорил с ним о деле, в глазах его вспыхнули гнев и возмущение: что за чушь, зачем возвращаться к старому — с этим покончено раз и навсегда! С трудом дослушав меня, маамур заявил: нелепая история эта надоела ему, она отравила для него всю радость победы над врагом. Да, по закону тело погибшего положено передавать родным. Но здесь случай беспрецедентный. В законе ни о чем подобном не сказано. Кому надлежит передать тело? Омде? Но воспротивится сторож, у него на руках доказательства, что погибший — его сын. И старика поддержит вся деревня. Ситуация может выйти из-под нашего контроля. А если отдать тело сторожу, придется принимать меры против омды и его сына. И опять всплывет дело, насчет которого нам даны самые недвусмысленные указания — считать его не имевшим места. Значит, разумнее всего повременить и тело никому не отдавать. Пусть страсти поулягутся и люди остынут. А потом отдадим тело тому, кто действительно имеет на него право. А пока мы захоронили убитого в надежном месте, известном мне лично. Поверь, если мы передадим тело сейчас — неприятностей не оберемся, и притом нешуточных. Как я поеду в деревню с трупом? Поди знай, чем все это обернется. Ну а по второй просьбе сторожа я проконсультируюсь с кем надо и выясню, как тут быть. Тут маамур поднял трубку стоявшего у него на столе телефона и шепотом, чтобы я не расслышал, попросил соединить его с секретариатом какого-то ответственного лица. Начал он с извинений и обещаний: мол, беспокоит по этому делу в последний раз. На другом конце провода, вероятно, не поняли, о каком деле он говорит, поскольку маамур вынужден был пояснить: речь идет о ложном утверждении сторожа, будто его сын погиб вместо сына омды. Я раскрыл было рот, желая попра-

вить маамура, но он сделал мне знак молчать. Собеседник его, видимо, разразился длинной тирадой, после чего маамур снова стал клясться, что беспокоить его по этому поводу больше не будет. Положив трубку после разговора, он утер со лба обильный пот и сообщил мне: высокопоставленное лицо выразило недоумение, почему к нему обращаются с таким вопросом. Раз принято решение считать следствие не имевшим места, деньги должны быть выплачены отцу погибшего, имя которого указано в документах, то есть омде. Сторожу без согласия омды не выплачивать ни миллима. Да и в случае согласия деньги может получить только омда, а он уж передаст их сторожу. Я пытался возражать, спорить — бесполезно. Указания сверху были безапелляционны. Маамур и я связались с омдой и спросили: намерен ли он отказаться от причитающейся ему суммы или хотя бы их части в пользу сторожа. К моему удивлению, омда категорически заявил: пусть деньги эти для него, богатого человека, безделица, он ни за что от них не откажется, ибо не желает попасть в расставленную нами ловушку. Отказ от денег был бы равносилен признанию вины. Он может лишь обещать из полученных денег уделить малую толику сторожу — как помощь или милостыню, и не одному сторожу, а многим беднякам и неимущим, чтобы и этот его поступок не был воспринят как признание. Больше он ни о чем говорить не желает. Я собрался было выйти из кабинета маамура, спеша передать сторожу слова омды, но маамур остановил меня и пригласил сторожа к себе. Старый феллах приветствовал его как самую важную персону на свете. Следуя полученным указаниям, маамур вежливым тоном уведомил его, что тело сына ему в настоящий момент выдано быть не может, но он, маамур, лично гарантирует: это будет сделано спустя некоторое время. Что же касается денег, мы договорились с омдой — он поступит по совести и не оставит сторожа в нужде. Омда — человек порядочный, блюдет обычаи, на него можно положиться.

Старый сторож вытянулся во фрунт, отдал честь и как автомат произнес:

— Слушаюсь, господин маамур.

Потом, пятясь, стал отступать к двери, наткнулся спиной на ширму, едва не уронив ее, но быстро обернулся и успел ее подхватить. Когда я вернулся к себе в кабинет, сторож ждал меня у двери. Заклинаю вас, говорил он, скажите, где тело моего сына. Пришлось поклясться, что тело ему отдадут, как только поулягутся страсти. Но, уговаривая старика, я поймал себя на мысли, что и сам-то не знаю, куда задевали тело. Старик поделился со мной опасениями, что омда не даст ему ни миллима. И тут — голос мой, к собственному моему удивлению, зазвучал решительно и твердо, как в былые, давно минувшие дни,— я сказал: послушай, омда отдаст тебе все сполна, а если нет, он будет иметь дело со мной, у меня найдутся средства заставить его повиноваться. Сторож горячо поблагодарил меня, а я был счастлив, доставив старику хоть минуту радости, хоть и понимал, что не в силах выполнить обещанное. Распрощавшись, он ушел немного успокоенный, но спокойствие это было обманчивым, как свежая краска, которой покрыли ветхую, покосившуюся развалюху. Я сел и задумался. Кто, как не я, виноват во всем случившемся? Я был главной пружиной в деле. И должен, обязан был, действуя на свой страх и риск, довести дело до конца. Снова эти слова — должен, обязан... я позабыл, что не отношусь к числу тех, кто вправе употреблять их. Даже отдай я необходимые распоряжения, кто бы стал их выполнять? Но если бы я хоть попытался, это позволило бы мне сохранить самоуважение.

Возвращаясь домой, я немного успокоился. По крайней мере, думал я, мне удалось сберечь все материалы следствия, и я сохраню их во что бы то ни стало. Неспешная прогулка в ночной тишине напомнила мне, каким счастливым я возвращался, бывало, домой, удачно завершив дело. Шагая по безлюдным улицам, я повторял присказку, слышанную еще в детстве от матери:

— Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец!.. Вот и сказке...

Потом запнулся. И вдруг громко спросил самого себя:

— А конец ли сказке?

И коль уж я задал себе этот вопрос, то дождусь на него ответа — исчерпывающего и окончательного. Пусть сейчас я такого ответа дать не могу, но я буду искать долго, неуклонно, упорно. И если сам не найду ответа, выпущу мой вопрос на волю, пусть обойдет всю землю египетскую и ищет ответа. Только найдет ли?

■

Литературное наследие

ЖАН МОРЕАС

Стансы

Перевод с французского и вступление М. КУДИНОВА

Жан Мореас. Гравюра Феликса Валлотона.

В литературной жизни Франции конец XIX века был отмечен шумным появлением на свет новых школ и направлений.

Привлекая к себе внимание заинтригованной публики, в газетах и журналах печатались манифесты и полемические статьи, отвергались прежние авторитеты и прославлялись новые имена. Впоследствии одни из них заняли в истории литературы почетное место, другие исчезли без следа, третьи, хотя и были с течением времени отодвинуты на задний план, все же остались в памяти французского читателя.

К какой же из этих трех категорий принадлежит Мореас, с которым предстоит теперь познакомиться и нашему читателю?

Прижизненная слава его была так велика, что Л. Н. Толстой назвал его имя в своей работе «Что такое искусство?» (1897), а в приложении поместил стихи Мореаса в подлиннике. В ряду поэтов, художников и композиторов, которыми, по словам Толстого, «восхищаются люди нашего времени и общества», имя Мореаса стояло рядом с именами Бодлера и Верлена. И хотя Толстой не разделял этого восхищения своих современников, интересен сам по себе факт, что Мореас оказался в столь блестящей (на наш современный взгляд) компании.

О том, как сложилась его судьба в литературе, и пойдет у нас разговор.

Жан Мореас родился в 1856 году в Афинах, в семье юрисконсульта. По национальности грек, он с детства получил французское воспитание и владел французским языком как родным. Его настоящая фамилия Пападиамантопулос; Мореас — его литературный псевдоним. Свой первый юношеский сборник стихов он опубликовал в Афинах на греческом языке, включив в него несколько стихотворений, написанных по-французски.

Студенческие годы Мореас провел в Париже, посещая занятия на юридическом факультете; потом скитался какое-то время по европейским странам, пока окончательно не обосновался в 1882 году во французской столице. С этого времени, по словам Аполлинера, встречавшегося с Мореасом в последние годы его жизни, «биография Мореаса сливается с историей современной литературы».

Живя в Париже, Мореас начал печатать свои стихи в небольших журналах, не отвергавших с порога произведения молодых авторов. В 1884 году вышел его первый

ЖАН МОРЕАС — JEAN MORÉAS (1856 — 1910).

Французский поэт. Автор стихотворных сборников «Большой и малый Сирт» ("Les Syrtes", 1884), «Кантилены» ("Les Cantilènes", 1886), «Страстный пилигрим» ("Le Pelerin passionné", 1891), «Стансы» ("Les Stances", 1899 — 1901 — 1906) и др.

Публикуемые переводы из сборника «Стансы» осуществлены по изданию "Les Stances". Paris, 1923.

стихотворный сборник на французском языке, через два года — второй. На Мореаса обратили внимание. Его стихи отличались от поэзии господствовавших в последнее двадцатилетие парнасцев, признанным главой которых считался Леконт де Лиль. (Первый выпуск «Современного Парнаса», объединивший весьма не похожих друг на друга поэтов и давший название этому направлению, был опубликован в 1866 году.)

В стихах первых двух сборников Мореаса чувствовалось влияние Верлена, почти неизвестного в ту пору французским читателям. В том же 1884 году, когда вышел первый сборник стихов Мореаса, Верлен опубликовал отдельным изданием свои очерки «Про́клятые поэты», где речь шла о непризнанных, несущих на себе «проклятие» безвестности поэтах: Корбьере, Рембо и Малларме. Позднее он написал еще об одном «про́клятом», о «бедном Лелиане», как он называл самого себя. Очерки привлекли внимание публики к имени Верлена. Заговорили и о Малларме, чему весьма способствовал нашумевший роман Гюисманса «Наоборот», опубликованный тоже в 1884 году (герой романа увлекается поэзией Малларме, открыв ее для себя в редких или уже забытых изданиях). Так три почти неизвестных до этого поэта оказались в близком соседстве. Критики отметили в их стихах то, чего мог не разглядеть не очень искушенный читатель: отход от канонов Парнаса. Если Леконт де Лиль, выступая против романтизма, утверждал, что «личная тема и ее слишком частые вариации» изжили себя, если он отрицал исповедальность в литературе и провозглашал культ бесстрастности и объективизма, то теперь в поэзии появилась и «личная тема», и субъективизм, и взволнованность интонации. Все это напоминало возврат к романтизму, отвергнутому Парнасом. Поэтому в одной сенсационной статье, опубликованной в популярной газете «Тан», в статье, высмеивавшей поэзию Верлена, Малларме и Мориаса, было прямо сказано, что их творчество являет собой упадок (декаданс) «истощившего свои силы романтизма». Таким образом, в своем первоначальном смысле «декаданс» подразумевал только упадок романтической традиции. «Нет! Не упадок, а возрождение»,— отвечали защитники нового направления в поэзии. Звучало это не очень убедительно, и слово «декаданс» начало прочно входить в обиход, явно раздражая тех, кого стали называть декадентами.

В 1886 году, вскоре после выхода своего второго сборника стихов, Мореас напечатал в газете «Фигаро» статью под названием «Символизм», которая была воспринята как литературный манифест. Введенное им первым в оборот слово «символизм», облетевшее потом всю Европу, Мореас впервые произнес несколько раньше, в пылу газетной полемики, когда им было предложено переименовать декадентов в символистов.

Основной пафос статьи в «Фигаро» определялся уверенностью ее автора в том, что Парнас изжил себя. Много места уделено в ней проблеме стихотворной формы: Мореас, в противоположность парнасцам, призывает к большей свободе в стихосложении. Называет он и имена тех, кто, по его мнению, стоял у истоков нового направления: это прежде всего Бодлер, потом Верлен и Малларме. (Кстати сказать, их стихи когда-то публиковались в «Современном Парнасе».) Однако положительная программа символизма, призывающая к поискам скрытых за каждым явлением первоначальных Идей, изложена в самой общей форме. Возможно, прав современный поэт и литературный критик Пьер Сегерс, когда говорит, что Мореас, отрицая доктрину Парнаса, «ратовал за чистый лиризм, который одно время, и в первую очередь он сам, путали с символизмом».

После опубликования статьи в «Фигаро» Мореас становится знаменитостью. Анатоль Франс назвал его даже «Ронсаром французского символизма» и вместе с тем «символистским Дю Белле». (Напомним, что живший в XVI веке Ронсар считался главой Плеяды, а Дю Белле написал трактат, воспринимавшийся современниками как манифест возглавляемых Ронсаром поэтов.) Интересно, что в статье Франса о Мореасе больше всего места уделено проблеме классического французского стихосложения и отступлениям от его канонов в стихах Мореаса. Но что такое символизм и как он преломился в творчестве поэта, Франс обходит молчанием. И, видимо, не без основания: сами стихи повода к этому не давали или почти не давали. Поэтому не таким уж неожиданным выглядит последующий разрыв Мореаса с символизмом. В 1891 году он направил письмо в редакцию «Фигаро», которое, будучи опубликовано, стало рассматриваться как программный документ группы поэтов, возглавляемых Мореасом. Эта группа получила название «романская школа». В своем письме, обратившем на себя внимание публики, «Ронсар символизма» объявлял всенародно о том, что символизм умер, и провозглашал возврат к «подлинному классицизму». По словам Мореаса, греко-латинское начало, которое лежит в основе французской литературы, разрушалось и романтизмом, и Парнасом, и символизмом. Поэтому все они должны быть отвергнуты во имя торжества средиземноморской культуры.

Одно из основных положений «романской школы» — необходимость самого строгого соблюдения правил классического стихосложения. У Мореаса в его поэтической практике к этому в основном и свелось его увлечение неоклассицизмом. Видимо, поэтому книга стихов «Страстный пилигрим», опубликованная им в том же году, что и письмо в «Фигаро», одними критиками рассматривалась как завершающая символистский этап, другими — как торжество идей «романской школы».

Последний период в творчестве Мореаса связан с созданием книги «Стансы». Книга эта создавалась на протяжении многих лет; I и II части были опубликованы в 1899 году, III-V — в 1901, VI — в 1906 и последняя — посмертно.

По объему это небольшая книга, состоящая из коротких стихотворений в 8—12 строк. Хотя критика по инерции и пыталась связать ее с «романской школой», проблемы «подлинного классицизма» и «средиземноморской культуры» вряд ли волновали ав-

тора этого сборника лирических стихотворений, окрашенных в исповедальные тона. Впервые здесь в полной мере проявилась личность поэта, благодаря чему «Стансы» и сохранились в литературе, в то время как другие его книги теперь позабыты. Недаром в статье, посвященной памяти Мореаса и напечатанной на следующий день после его смерти (он умер 30 марта 1910 года), Аполлинер выделяет «Стансы» из всего, что было им создано. («Это — его шедевр», «книга редкого совершенства»). Через год Аполлинер опубликовал очерк о Мореасе, где он рассказывает о своих встречах с покойным поэтом и воссоздает его образ. Как и в первой статье, настойчиво подчеркивается, что Мореас в конце жизни получил права французского гражданства,— обстоятельство, глубоко волновавшее самого Аполлинера (он стал французским гражданином также незадолго до своей смерти). Но не только сходство в личных судьбах определяло его интерес к старшему собрату по перу: среди юношеских стихов Аполлинера есть и такие, которые написаны под несомненным влиянием «Стансов».

Хотя в наше время книги Мореаса во Франции не переиздаются, в антологиях французской поэзии нередко можно встретить его короткие стихотворения, названные им стансами. И если некоторые из них все же запали в душу читателя, в поэзии «это тоже много».

■ ■ ■

Не говорите: жизнь — веселый пир людской;
Так думает глупец, и речь его ничтожна.
Не говорите: жизнь наполнена тоской;
Лишь духом ослабев, сказать такое можно.

Нет! Радуйтесь весне среди цветов и трав,
Печальтесь, если ждут утраты и тревога...
Все беды выстрадав, все радости познав,
Скажите: то был сон, но это тоже много.

■ ■ ■

О море, чью печаль я разгадать не мог!
Меня окутаешь ты в легкие туманы,
И буду я ступать на влажный твой песок
И позабуду вдруг и города и страны.

О волны грустные! В нетронутой глуши
На скалы и пески ложась в изнеможенье,
Дано ль вам укачать печаль моей души,
Что ищет красоту в приметах пораженья?

■ ■ ■

О чем я думаю? О вздыбленной волне,
О ярости пучин, о мгле на небосклоне,
О чудищах морских, о рыбаке в челне,
О пляске Нереид и грозном Посейдоне.

Я думаю о тех, кто месит грязь дорог,
О тех, кто рубит лес, кто мокнет на причале,
О старце думаю, что в хижине продрог,
И о моей душе, и об ее печали.

■ ■ ■

Излюбленный приют бессонницы моей,
О близким ставший
Париж мой! Ветер твой играет все сильней
С листвой опавшей.

Не за горами час, когда, смущая слух,
Но скрыт глубоко,
В мое окно крылом вдруг постучится Дух
Числа и срока.

Ни дружбы, ни любви... И, отвращая взгляд
От лампы мрачной,
Я поздней осени вдыхаю аромат
И дым табачный.

■ ■ ■

Забыв о трауре дождливых этих дней,
Ты, солнце Осени, вдруг вспыхнуло несмело
Над тусклою водой, над немощью ветвей
И, озарив цветник, в глаза мне посмотрело.

Что, солнце, хочешь ты от нас? Увянут пусть
Цветы последние, пусть листья опадают,
Пусть воды хмурятся, пусть боль моя и грусть
Питают мысль мою и дух мой укрепляют.

■ ■ ■

Париж, похожи мы! Скользнут лучи на миг
По небесам твоим и вдруг исчезнут снова...
То сходство с Севером, чей затуманен лик,
То южные края, где небо бирюзово.

Смертельно грустен я — и в то же время рад,
Мне все грозит бедой — и все сулит удачу,
Печаль улыбкою мой озаряет взгляд,
И радости мои на мир взирают плача.

■ ■ ■

Как долго мрак ночной держал меня в плену!
Как опьянял меня!
Я бодрствую и жду, взор устремив к окну,
Жду наступленья дня.

Пусть явится скорей, пусть в душу мне войдет
Всей ясностью своей,
Как проникает свет сквозь толщу мутных вод,
Сквозь мглу густых ветвей.

Взгляни в мои глаза, о наступивший день,
Взгляни и сделай так,
Чтоб я забыл, что ты — еще одна ступень
Туда, где вечный мрак.

■ ■ ■

Когда же, наконец, порвав привычек сети,
Сбежав от маеты и скуки городской,
Я гладь озерную увижу на рассвете,
В разбуженном лесу вновь обрету покой?

Когда я, наконец, тебя увижу снова,
О море, колыбель дней детства моего,
И чайки закружат у берега крутого,
И терпкой свежестью обдаст меня всего?

Нет! Ранняя зима приковывает к дому,
И о дарах весны уж поздно вспоминать...
Плоды осенние не я собрал. Другому
Мои созревшие колосья пожинать.

■ ■ ■

Как я от осени устал и от Парижа!
Как я томлюсь порой,
Когда пусты поля, и облака все ниже,
И ветер сам не свой.

Отвергнет ли Париж, поняв, чего я стою,
Меня в какой-то миг?
Ноябрь устлал мой путь опавшею листвою
И в сердце мне проник.

■ ■ ■

Прощайте! Дан сигнал. Пары разведены.
Причал или вокзал — неважно... Прозвучали
Слова прощания, как тихий плеск волны,
Бегущей к берегу или в морские дали.

Весенние цветы раскроются для вас,
Осыпется листва под ветром непогоды...
В мгновенье первое или в последний час
Прощайте! Все пройдет: и радость, и невзгоды.

■ ■ ■

Лишь тени прошлого со мною заодно.
Я сам свой худший враг, и нет иной мне доли.
Слетаясь, вороны клюют мое зерно,
И пожинать не мне, хотя вспахал я поле.

Но я не жалуюсь... Что значит Аквилон,
И оскорбления, и зависть, и наветы!
Коснуться лиры мне позволил Аполлон,
Я звуки чистые исторг из лиры этой.

■ ■ ■

Вдали поет петух. Светлеет постепенно:
То новый день грядет.
Последние огни роняют свет на стены
Близ городских ворот.

Париж! Моей души ты колыбель вторая...
Еще все спит вокруг,
Когда я бодрствую и слышу, замирая,
Тревожный сердца стук.

Чего все ждет оно, ни в пепел лет не веря,
Ни в пройденность пути?
Зачем надеется, что сможет, как деревья,
Ожить и расцвести?

■ ■ ■ .

Погожим, ясным днем над нивою зеленой,
Где злаки, чуть склонясь, колышутся слегка,
Вы проплываете в лазури монотонной,
Вы белым парусам подобны, облака.

Но изменились вдруг, не зная постоянства;
Грядущая гроза вам мрачность придает...
Вы — как моя душа, о странники пространства!
Она подобна вам, и кто ее поймет?

■ ■ ■

Когда осеннее придет похолоданье,
И желтая листва усеет гладь пруда,
И будут к мельнице, застывшей в ожиданье,
Одни лишь сквозняки слетаться иногда,—

Я побреду туда, на камень сяду, глядя
На этот мертвый пруд, и будет видно мне,
Как отражение мое на темной глади
С лучами тусклыми погаснет в глубине.

■

КУДИНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (род. в 1922 г.).
Советский поэт и переводчик. В его переводе опубликованы сборники стихов французских и бельгийских поэтов: Гийома Аполлинера, Блэза Сандрара, Жака Превера, Робера Десноса, Рэмона Кено, Жана Тардье, Андре Френо, Мориса Карема, Норжа и др. «Иностранная литература» напечатала его переводы из Жерара де Нерваля (1974, № 1), Тристана Корбьера (1976, № 8), Норжа (1978, № 9), Констана Бюрнио (1980, № 9), Артюра Рембо (1981, № 8) и др.

Анкета ИЛ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАЛАНТА

СЛОВО — ПИСАТЕЛЯМ МИРА

В этом номере Дениза Левертов, Гюнтер Гёрлих, Луиджи Малерба, Альфредо Варела, Патрик Д. Смит и Ян Солович отвечают на вопросы нашей анкеты:

1. Как отражаются актуальные проблемы современности в Ваших творческих замыслах? Над чем Вы сейчас работаете?

2. Как может служить произведение искусства, литературы сохранению мира на земле?

ДЕНИЗА ЛЕВЕРТОВ (США)

1. На многие из недавно написанных мною стихов легла тень атомной катастрофы, под угрозой которой мы живем, и даже те стихи, что, казалось бы, не имеют отношения к этой теме, окрашены чувством тревоги. Я работаю сейчас над либретто для оратории композитора из Бостона Ньюэлла Хендрика. Она будет посвящена борьбе с тиранией в Сальвадоре. О том, что происходит в Сальвадоре, говорится и в двух моих более коротких поэмах. Кроме того, я выступаю с чтением своих стихов — это мой вклад в «Кампанию за замораживание атомных вооружений».

2. Произведения искусства и литературы, когда они будят чувства прекрасные, добрые, могут предостерегать от опасности — подобно Кассандре или Иеремии. Они могут пробуждать в людях и жалость, и страх, и сострадание; они могут пробуждать или возвращать людям утраченную было любовь к жизни, к нашей матери-Земле.

И если говорить о том, как искусство и литература могут служить сохранению мира, становится ясно, что все эти возможности художественного слова здесь небесполезны. Так я думаю.

Denise Levertov

ГЮНТЕР ГЁРЛИХ (ГДР)

Охотно отвечаю на вопросы журнала, чью работу очень высоко ценю.

1. Вот уже много лет я рассказываю истории о своих современниках и соотечественниках — полные противоречий, богатые конфликтами. Главное для меня — возможности, открывающиеся перед людьми в условиях реального социализма на немецкой земле. И то, как мы строим социализм у нас в стране, какие качества человек приобретает в ходе этого строительства. Это актуальные проблемы моей литературной работы. Я не могу вместе с тем обходить печальное, тяжкое, но не хочу преуменьшать и прекрасное новое.

Сейчас я работаю над повестью, в которой женщина после двадцати лет брака уходит из семьи — не потому, что появляется другой или другая, а потому, что муж ее,

Продолжение. Начало см. в «ИЛ» № 4, 5, 6.

преуспевающий руководящий работник, с годами усвоил холодный, отвлеченный подход к людям. Этой утраты человечности она перенести не может.

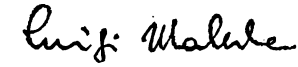
2. Литературное произведение, повествующее о человеке, ставящее в центр его стремления, его счастье, его работу, само по себе уже несет миротворную силу. В высшей степени активно служат миру и книги, беспощадно изображающие войны, изобличающие их причины.

Я желаю «Иностранной литературе», всем товарищам в редакции и впредь успехов в работе.

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА (ИТАЛИЯ)

1. Этот вопрос справедливо задают писателям всякий раз, когда в мире назревает социальная, политическая или военная драма, всякий раз, когда грохот зловещих орудий ненависти и хаоса грозит заглушить звук слов. Собственно говоря, для литературы благие намерения писателя не так уж и важны, ибо в самóм его творчестве всегда отражаются, прямо или косвенно, сложности и проблемы эпохи. Если же в произведениях эта сложность и эти проблемы не отражены, значит, автор не болеет бедами своего времени и он не истинный писатель, а продавец слов либо шарлатан. Порой писатель непосредственно вмешивается в злободневные политические или социальные события. Но в этом случае его послание к людям обесценивается сразу после того, как оно опубликовано. Для себя лично, как и для других писателей, я считаю наиболее важным творческий процесс, тот вклад, который мы вносим в созидание необъятного здания коллективного воображения. Из этого кладезя фантазии, сознательно или подсознательно, беспрестанно черпают вдохновение все, кто пытается отыскать луч надежды в окружающей нас мрачной действительности. Сейчас я пишу роман, в котором стараюсь найти объяснение для других, и прежде всего для себя самого, тому несвойственному, как мне кажется, прежним временам, а в наши дни прямо-таки чудовищно распространенному чувству, которое упрощенно можно было бы назвать «желанием убивать».

2. Писатели и вообще деятели культуры по самой своей сути, призванию, традициям — сторонники мира, даже в том случае, когда они не выходят на площадь и не принимаются рвать на себе волосы и если прямо не выступают по проблемам мира. Свой вклад в защиту его они вносят уже своим творчеством. А вот политические деятели и военные, которые, безусловно, представляют определенные экономические, идеологические либо территориальные интересы, нередко решают прибегнуть для осуществления своих замыслов к такому крайнему средству, как война. Сейчас следует обращать внимание прежде всего на политических деятелей, так как именно они, из добрых или злых побуждений, в целях нападения или защиты, своими решениями могут поставить под угрозу существование всего человечества. Писатели своими произведениями способны будоражить совесть читателей, но среди них, увы, почти не встречается военных или политических деятелей. Поэтому ни одному из писателей никогда не удавалось помешать возникновению войны. Однако, если политические идеалы совпадут с литературными, в мире многое изменится к лучшему.



АЛЬФРЕДО ВАРЕЛА (АРГЕНТИНА)

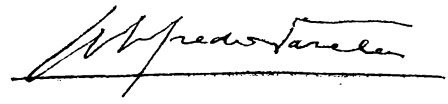
1. Увы! Уже давным-давно я забыл, что такое «творческий досуг», время, когда создаются литературные произведения. Меня полностью поглотила — и это понятно в наш бурный и вместе с тем столь многообещающий век — общественно-политическая деятельность, которую мне никак не удается сочетать с литературным трудом. Впрочем, может быть, я просто не очень-то дисциплинированный и собранный писатель? Сейчас я работаю только в области журналистики, не так давно написал брошюру об опасности гонки ядерных вооружений, о новом этапе развертывания широкого движения за мир во всем мире, которое может эту гонку остановить и обеспечить сосуществование всех народов в обстановке разрядки и плодотворного мира.

Конечно же, у меня есть творческие планы. Но пока они не осуществлены, предпочитаю о них не говорить...

2. Видный аргентинский деятель культуры, мой товарищ Эктор Агости в книге «Идеология и культура» говорил, что писатель, даже если он не ставит перед собой политических целей, все равно «погружен» в свое время, «вылеплен» своим временем, выражает свое к нему отношение и действием, и отказом от такового. Писатель вовсе

не создает чего-то, находящегося вне общества и эпохи, ибо литература — «действенный элемент в процессе созревания общественного сознания». Именно поэтому, я считаю, в наши дни писатель разными способами — и своими произведениями, и своей гражданской деятельностью — может способствовать этому «созреванию общественного сознания» широких народных масс. В его силах помочь им понять, какая угроза нависла над надеждами и самой жизнью человечества, как нужно действовать, чтобы эту угрозу устранить.

Разумеется, художник вправе избрать «непрямые» художественные формы, интимную тональность, фантастическую манеру повествования. Но каким бы ни был творческий метод писателя, важно, чтобы он с гуманистических позиций обличал все, что подавляет человека, и воспевал то, что, по словам мадам де Сталь, «делает его лучше». Такой человек сможет стать светлым героем современности, приблизить торжество мира, без которого нельзя себе представить и существование культуры.



ПАТРИК Д. СМИТ (США)

1. За годы своих занятий литературой я не написал ни одного «придуманного» произведения. Все пять моих романов основываются на событиях реальной жизни. Я верю, что по-настоящему долговечные литературные произведения отражают противоречивые порывы человеческой души. Я не хочу сказать, что в литературе нет места для романов, в основе которых лежит вымысел, они имеют право на жизнь. Люди любят развлечься, и им бывают нужны книги самые разнообразные. Но есть писатели — и я принадлежу к их числу,— подчиняющие перо разоблачению несправедливости, они показывают, насколько опасны иные пути, которыми следует сейчас человечество.

По моему мнению, одной из жизненно важных проблем нашего времени стало неразумное разрушение окружающей среды во имя «прогресса». Многие самые живописные районы Флориды уже залиты бетоном, в них поднялись торговые центры, жилые дома, и когда сооружались эти здания и прокладывались шоссе, никто не подумал об ущербе, который будет нанесен грядущим поколениям. Все деревья оказались вырубленными, дикие животные ушли, цветы исчезли... Но если мы в конце концов полностью уничтожим мир природы, мы уничтожим и себя, ибо природа и человек неразделимы — у них одна судьба.

О разрушении окружающей среды, о несчастьях и ущербе, которые оно приносит многим людям, написаны два моих романа — «Навеки остров» и «Аллапатта».

Как писатель, я также обеспокоен судьбой «париев общества», например, сезонных рабочих, и написал роман «Энджел-Сити, или Ангельский город» для того, чтобы показать лишения и отчаяние этих людей... Надеюсь, что, открыто обличая несправедливость, помогаю устранять ее из нашего общества.

Я только что закончил большой роман, в котором прослеживается судьба трех поколений первых поселенцев, приехавших во Флориду в 1854 году; повествование доводится до сегодняшних дней. В романе показаны огромные трудности, с которыми сталкивались люди в ту раннюю пору, пытаясь покорить девственную природу, и как они, несмотря ни на какие преграды, твердо решили выстоять. Они проявили стойкость и целеустремленность, каких не встретишь уже в нынешнем обществе. В конце романа повествуется также о том, как земля, которую любили и за которую боролись пионеры, сейчас разрушается «прогрессом».

В ближайшем будущем я собираюсь написать еще два романа, где снова речь пойдет об угрозе, нависшей над окружающей средой.

2. По моему мнению, голос литературы выделяется среди многоголосья других видов искусства. Это — голос народов, не правительств; в большинстве случаев именно действия правительств, а отнюдь не простых людей, сеют вражду между народами. Если мы будем говорить друг с другом на языке литературы, то сможем сделать очень многое для обеспечения мира во всем мире.

На земном шаре — ни в моей стране, ни в любой другой — не существует места, где бы совсем не было несправедливости или трудностей, и государственные проблемы кажутся порой мелкими по сравнению с каждодневной необходимостью поиска «хлеба насущного», с которой сталкиваются люди, стремящиеся выжить. Когда литературное произведение побуждает к состраданию, возникает желание помогать, а не ранить друг друга. Нужно понять, что в конце концов мы не такие уж разные: мы одинаково любим и мучаемся, нам знакомы счастье и горе, повсюду мы наблюдаем, как подрастают наши дети и как они уходят из дома, унося с собой частичку нас самих; и все мы живем и умираем, все мы братья и сестры в коротком путешествии, имя которому жизнь. Если каждый осознает это, тогда никому не придет в голову причинять вред другому. Подлинная литература как раз об этом и должна говорить с людьми.

Я отдаю себе отчет в том, что мою точку зрения на литературу разделяют не все писатели у нас в стране, кое-кому она может показаться слишком приземленной. Сегодня писатели охотно создают произведения, которые, как они знают, будут рас-

проданы и принесут им славу и богатство, и очень немногие пишут о людях растоптанных, отчаявшихся и обездоленных. Я знаю, что, публикуя романы, повествующие о человеческой несправедливости и разрушении природной среды, я никогда не буду обласкан славой, осыпан деньгами и удостоен литературных премий, ибо подобные произведения, кажется, давно вышли из моды. Было время, и, может быть, оно снова придет, когда наша литература служила отражением действительности. Но сейчас я часто чувствую себя странником, одиноко бредущим по каменистой дороге, ведущей в никуда. Несмотря на это, я буду использовать все свои творческие возможности для создания произведений, которые помогли бы сделать этот мир прекраснейшим местом для жизни.

Если мои незатейливые романы тронут всего лишь одно человеческое сердце в каком-нибудь отдаленном уголке мира и вызовут в читателе чувства братства, дружбы и понимания, тогда все разочарования, муки, которые испытываешь, работая над дорогой для тебя книгой, в конце концов не напрасны.

ЯН СОЛОВИЧ (ЧССР)

1. Написать пьесу для театра, если автор выносил ее в себе и все досконально продумал,— вопрос нескольких месяцев. Для меня это не тяжкий труд, а радостная работа, о которой я всегда мечтаю. Как отмечает критика, все мои пьесы актуальны. Действительно, если драматург живет проблемами современников и поддерживает с ними постоянный контакт, у него устанавливается с окружающим миром обратная связь.

Так получилось, что недавно по телевидению, которое дает возможность драматургу встретиться с самым широким кругом зрителей, были показаны одна за другой две мои пьесы — «SOS, или Совершенно особая ситуация» и «Осторожно! Ангелы!». Меня порадовало, что я получил много писем, и главным образом от молодых людей, которые быстро и искренне отреагировали на эти пьесы, написали мне о том, что их взволновало. Я рад, что они поняли вопрос охраны памятников старины не как проблему тех, кто этим занимается профессионально, но как дело, касающееся каждого из нас. Прекрасно, когда люди не остаются безразличными к тому, что видят, слышат, читают, когда они задумываются над интересующими их вопросами, хотят глубже изучить проблему, высказывают свою точку зрения. В таких контактах со зрителями, в возможности непосредственного влияния на их мысли и поступки я вижу важную часть своей работы. И хотя некоторые критики смотрят на так называемые публицистические пьесы, обращенные к актуальным гражданским проблемам дня, как на нечто преходящее, ограниченное временем, меня это не огорчает. Я никогда не думал, что пишу для вечности, я пишу для людей, с которыми вместе живу, во имя эпохи, участником которой являюсь. Я не смог бы написать пьесу, на которую зрители или читатели прореагировали бы только через десять лет, то есть если бы только через десять лет они смогли понять, что такого глубокомысленного хотел сказать им автор.

В словах, обращенных к зрителям моей последней пьесы «Право на ошибку», я признался, что сюжет ее вынашивал уже давно, но мне казалось, что тема не столь уж актуальна. А теперь, напротив, кажется, что я немного запоздал. Будем ли мы располагать завтра достаточным количеством чистой воды, незагрязненного воздуха, того, что необходимо для нормальной жизнедеятельности человеческого организма,— вот основной этический вопрос для человека наших дней, человека, своей повседневной деятельностью создающего предпосылки для сохранения всего этого. Угроза наступления экологической катастрофы — актуальнейшая проблема, и художественное осмысление ее требует раскрытия нравственных черт нашего современника, постоянно обязанного чувствовать ответственность за свои поступки, какое бы общественное положение он ни занимал.

Эти вопросы волнуют меня и сейчас, когда я думаю о новой пьесе, писать которую собираюсь начать в ближайшее время.

2. В слове скрыта самая большая энергия, известная человечеству,— энергия человеческого духа. Слово создавало культуру, оно приводило в движение народы, борющиеся за равноправие и братство. А сегодня, в эпоху небывалой спекуляции словом, мы, писатели, призваны вернуть ему первоначальный смысл и силу. События настойчиво требуют от каждого человека гражданского мужества и активности. Только духовное единство миллионов людей способно противостоять ядерному безумию и сохранить жизнь на Земле. Это мысль, высказанная Федором Абрамовым на съезде советских писателей. И я полностью с ней согласен.

(Продолжение следует)

Критика

Ц. КИН

ПОРОЧНЫЙ КРУГ НАСИЛИЯ

Люче д'Эрамо и ее роман об итальянских террористах

В августе 1981 года у меня дома раздался телефонный звонок. В трубке прозвучал незнакомый женский голос: «Вы говорили обо мне на конференции в журнале «Иностранная литература». Я — Люче д'Эрамо».— «Люче? Откуда вы звоните?» — «Я в Москве и хочу вас видеть»,— сказала она. Люче д'Эрамо в Москве — удивительно. Конференцией она назвала наш «круглый стол», посвященный итальянской литературе 70-х годов [1]. Имя д'Эрамо было тогда произнесено, хотя и вскользь. Материалы «круглого стола» перепечатал полностью один итальянский журнал, откликнулись и некоторые газеты. Люче д'Эрамо в Москве. Как неожиданно и как хорошо.

Люче передвигается только в специальном кресле на колесах: у нее парализованы ноги. Нет, не тяжелая болезнь. И не просто несчастный случай. Это произошло незадолго до окончания войны, 27 февраля 1945 года, в Германии. Бомбой разрушило дом, и двадцатилетняя Люче д'Эрамо собрала группу из одиннадцати добровольцев, чтобы попытаться спасти оставшихся под развалинами людей. Но рухнула стена, несколько спасателей погибло, а Люче с переломом позвоночника и страшными ранениями попала в госпиталь, ее считали безнадежной и положили в палату для умирающих. Но свершилось чудо: после семнадцати операций она выжила; только вот ноги... Девушке помогла редкостная сила воли, она хотела жить. И она была беспредельно активно добра: помогала умирающим соседям по палате, разговаривала с ними, вселяла в них надежду — делала все, чтобы облегчить им предсмертные страдания.

Как она попала в гитлеровскую Германию? Отец Люче занимал крупный пост в последнем правительстве чернорубашечников, девушке шел девятнадцатый год, она верила фашистской демагогии, хранила у себя портреты Муссолини и Гитлера. Но все-таки в душе у нее возникали смутные сомнения. Вспоминаются замечательные стихи русского поэта: «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Люче убежала из дома и отправилась в немецкий «трудовой лагерь», чтобы убедиться лично, на самом ли деле нацисты такие звери, как о них говорят. Все оказалось еще страшнее. Девушка была смелой и безрассудной, умной и наивной, великодушной и способной на опрометчивые поступки. В лагере ей сначала не верили, считали чуть ли не провокатором. Не станем говорить обо всем, что тогда пережила Люче,— о побеге, о том, как она позднее сблизилась с подпольной интернациональной группой, подружилась с русской военнопленной Грушенькой, о концлагере Дахау. Скажем только, что Люче д'Эрамо дорого обошлись заблуждения юности, ей выпало обрести трагический личный опыт, чтобы понять суть добра и зла, глубокий смысл человеческой солидарности. Ей помогли товарищи, помогло поразительное мужество и способность быть беспощадной к самой се-

[1] См. «ИЛ», 1980, № 3. Реальность и мифы: итальянская литература 70-х годов.

КИН ЦЕЦИЛИЯ ИСААКОВНА.

Советский критик, литературовед, публицист. Автор книг «Миф, реальность, литература» (1968), «Итальянские светотени» (1975), «Италия на рубеже веков: судьбы людей и теорий» (1978), «Итальянские мозаики» (1980), «Италия начала XX века: судьбы людей и теорий» (1980) и многих статей по вопросам итальянской литературы и культуры, публиковавшихся в журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

бе. Она стала убежденной и страстной антифашисткой.

Прошли десятилетия. Эта хрупкая, изящная женщина, обреченная, как считали, на неподвижность или, во всяком случае, на пассивное существование, оказалась неутомимой труженицей. Она написала автобиографическую книгу «Отклонение», имевшую громкий успех [1], у нее заслуженная репутация серьезного литературоведа, она выступает в периодической прессе. И много путешествует.

О поездке в Советский Союз Люче мечтала давно. С ней вместе приехала молодая парижанка Коринн Лика, преподаватель Сорбонны, переводчица произведений многих хороших итальянских писателей, в том числе и Люче. Она и Коринн посетили Москву и Ленинград, осмотрели музеи, церкви и другие достопримечательности обоих городов. Милиционеры на руках внесли кресло с Люче в Мавзолей, когда она захотела увидеть Ленина. Обо всем этом Люче д'Эрамо рассказала в интервью нашему радио. Она говорила о доброте людей, не знавших, кто она такая, не понимавших ее языка, просто помогавших без сентиментальности и риторики, когда нужно было помочь. Люче говорила и о политике, об опасности американских военных баз, размещенных в Италии (она публично высказывалась на эту тему и на родине), говорила о борьбе за мир.

Пока Люче была в Москве, ее роман готовился к печати, и мы много говорили о нем с Люче. Когда появляется книга на модную тему, возникает чувство неловкости: а вдруг окажется, что это «книга-товар». Но можно рассуждать и иначе: тема в конечном счете определяется социальной реальностью, нравственным состоянием общества. Если исходить из такой посылки, возникает возможность четко разграничивать произведения актуальные, насыщенные мыслью и тревогой, и произведения псевдохудожественные, авторы которых, цинично используя интерес читателей к определенной теме, выпускают эффектные однодневки.

В последние годы Италию (да и Запад в целом) серьезно заботит проблема терроризма. Как и каждое социальное явление, его следует рассматривать в рамках исторического времени и в контексте происходящих в обществе процессов, классовой борьбы, борьбы идей.

Разумеется, в небольшой статье невозможно дать развернутый анализ природы терроризма, мы, естественно, ограничиваемся лишь некоторыми суждениями.

Италия переживает многолетний и многоплановый кризис, вину за который несут правящие классы. Вот некоторые его аспекты (в том числе и психологические, важные для понимания феномена терроризма): все еще сохраняющееся социально-экономическое неравенство между Севером и Югом страны и связанная с этим внутренняя иммиграция, массовая безработица среди молодежи (в первую очередь — образованной), неуверенность в завтрашнем дне, острейшее недовольство действительностью. Кризис социальный, политический и духовный неизбежно приводит в Италии к обострению всех противоречий, к радикализации масс (особенно это касается молодежи) и вместе с тем — к созданию в стране крайней нестабильности, необычной даже для Запада обстановки, благоприятствующей расцвету терроризма.

С большой горечью приходится сказать правду: итальянский народ уже заплатил и продолжает платить дорогую цену за то, что буржуазное общество оказалось не в состоянии (а может быть, не захотело) противостоять грозным симптомам, которые уже можно было уловить. Ведь не сразу начались убийства, не сразу стали холодно и цинично обсуждать, кто должен стать очередной жертвой террора: судьи, врачи, журналисты, студенты, профессора...

Ясно, что в нашу эпоху политизации сознания идеи имеют громадное влияние — идеи подлинно высокие и, к сожалению, идеи аморальные, ложные. Последние особенно губительно воздействуют на молодых, еще не вполне сформировавшихся в духовном и нравственном отношении людей. И в этой связи нельзя не упомянуть об ответственности интеллигенции. Можно ли, например, не возмутиться, когда такой большой писатель, как Моравиа, публично говорит, что насилие отвечает эстетическим стремлениям молодежи, насилие поэтизируется.

Думаю, итальянская демократическая интеллигенция и партии рабочего класса, хорошо знающие, что такое неофашизм, даже отчасти растерялись, когда на политической авансцене возникли группы и организации, объявлявшие себя «революционными», но в противовес партиям рабочего класса и профсоюзам. Иногда ограничивались этикеткой «красный фашизм», иногда, напротив, едва ли не заигрывали со студентами, а порою и молодыми рабочими, которые, выступая против капиталистической системы, «подверстывали» под эту систему всех, кто отрицал необходимость насилия. Верно и то, что в запутанном феномене ультракрасного радикализма было нелегко разобраться. Там намешано многое. Взять хотя бы состав участников движения.

В рядах крупнейшей ультралевой организации Италии — «Бригате россе» («Красные бригады») — мы обнаруживаем людей самого разного толка. Среди них есть фанатики, слепо верящие в то, что только они и являются революционерами; есть обманутые (а иногда хотевшие быть обманутыми), политически незрелые люди; есть засланные провокаторы, агенты секретных служб и, надо полагать, ЦРУ; есть уголовные элементы и садисты. Есть и другие отличительные черты ультралевых организаций. В них, например, силен католический компонент, многие молодые участники движения выросли в традиционно-католических семьях. Кроме того, есть разные поколения ультралевых...[1]

После убийства Альдо Моро и пережито-

[1] Об этой книге и о злоключениях Люче д'Эрамо в гитлеровской Германии написал Л. Вершинин в «Литературном обозрении», 1981, № 9.

[1] Автору статьи принадлежит ряд работ, исследующих социальные корни, эволюцию, идеологию итальянских неофашистов и ультралевых экстремистов. Отошлем читателя к статье Ц. Кин «Ультракрасные и ультрачерные», впервые опубликованной в 1977 г. и вошедшей затем в ее книгу «Итальянские мозаики» *(прим. ред.)*.

го шока проблематикой терроризма в Италии стали заниматься всерьез: социологи, психологи, врачи, педагоги, философы, историки, публицисты анализируют эту реальность. Пытаются разобраться: *кто, что* и — главное — *почему*. Почему именно в Италии, почему, несмотря на то, что органы власти активизировались и многое раскрыли, возникают все новые группы? Сошлюсь на один обстоятельный труд — «Доклад о терроризме». Это результат серьезной работы: 553 страницы, множество имен, цифр, таблиц. Исследование ведется, как принято говорить в Италии, по горизонтали и по вертикали. Составитель тома Мауро Галлени, классифицируя факты, рассматривает их во времени и в пространстве. Взят период от 12 декабря 1969 года, когда взрыв бомбы в здании сельскохозяйственного банка в Милане положил начало стратегии напряженности, направленной на подрыв демократических республиканских основ, до конца 1980 года.

Мы читаем: «С 1969-го по 1975 год действовал почти исключительно черный терроризм. Но начиная с 1976-го в преступлениях и насилиях преобладает красный» [1]. Надо добавить, что существуют и непрестанно усиливаются (это доказано) взаимосвязь и переплетение «ультракрасных» и «ультрачерных» организаций. Чем дальше, тем больше они контактируют и действуют совместно с мафией, с уголовным миром — причем разработано, кто чем занимается.

Социолог Франко Феррароти считает одной из отличительных черт итальянского терроризма его молодежный облик. За период, взятый Мауро Галлени, убито 362 человека. Из них 60 студентов, 65 полицейских (тоже почти все молодые, вчерашние крестьянские сыновья), много молодых и среди убитых рабочих и служащих. Автор предисловия к «Докладу о терроризме» сенатор Пеккьоли пишет, что средний возраст как лидеров, так и исполнителей террористических актов «колеблется от семнадцати до двадцати пяти лет». Трагические цифры...

Естественно, что тема «ультра» стала одной из преобладающих и в художественной литературе. Об этой проблеме мы говорили с Люче в Москве и немножко спорили. Настоящий разговор о ее книге был тогда невозможен: я еще не знала текста.

Когда осенью 1981 книга вышла в свет, многие критики писали, что это первый итальянский роман о терроризме. И напрасно писали. Во-первых, Люче д'Эрамо не нуждается в рекламе. Во-вторых, это просто неверно. Вспомним роман «Запад» (1975) Фердинандо Камона. Кстати, в свое время я статье «Ультракрасные и ультрачерные» я много спорила с ним из-за трактовки истории, точнее — философии истории. Роман интересный, но Камон фактически предрекает гибель Европы и всей нашей цивилизации, с чем ни один марксист не согласится. Потом Альберто Моравиа написал роман «Внутренняя жизнь» (1978), где героиня Дезидерия — террористка. Роман, по-моему, очень плохой: смесь идеологии и сексуальных извращений, и все это под диктовку Голоса, учащего Дезидерию «революционности». О книге Моравиа мне тоже пришлось резко высказаться в статье «Романы трагического года» [1]. Не стану перечислять всех, кто в Италии выбрал темой своих книг феномен терроризма,— таких писателей немало. Мы сосредоточимся лишь на романе Люче д'Эрамо — и не просто из уважения к личности автора, а потому, что это настоящая, серьезная литература.

Люче озаглавила свою книгу «Nucleo Zero». Почти половина названий ультрарадикальных и террористических «правых» и «левых» организаций в Италии начинается словом «nucleo». Из всех возможных при его переводе синонимов мы выбираем слово «группа». Итак, «Группа Ноль». В тексте фигурирует организация, названная «Колонне россе» («Красные колонны») — на самом деле это «Бригате россе». Сокращенно «Колонне россе» будем называть КР. Наименования других групп Люче тоже изменяет лишь слегка: так, когда мы встретим «траншеистов», нам ясно, что подразумеваются участники организации «Прима линеа».

В одном интервью Люче призналась, что «жила вместе со своими персонажами много лет». Она имела в виду, конечно, не личные контакты с террористами, а то, что словно «вжилась» в их сложный мир за долгие годы увлеченной работы над книгой. В самом деле, первый вариант романа был готов еще в 1974 году. Тогда он назывался «Сквозь стены»; фраза эта, кстати, сохранилась, но уже не является ключевой. Вообще же текст так переработан, что самой Люче кажется: совсем другая книга.

В первоначальном варианте писательница основывалась на опыте первых лет «ультракрасного» движения, в то время убивали только «ультрачерные». Но когда началась коренная переработка романа, возникли новые проблемы. «Бригате россе» тоже начали убивать. «Прима линеа» выдвинула идею о необходимости установления тесных связей с уголовными преступниками, находящимися в тюрьмах, так как они — «подходящие союзники для борьбы против системы». Наконец, остро встал вопрос о роли масс-медиа: надо или, напротив, не надо предавать гласности чудовищные требования террористов. Это важно для конструкции романа, каким он вышел в свет.

Люче д'Эрамо тщательно изучала материалы о деятельности террористов, документацию, анализировала и размышляла. Она, совершенно справедливо, ничего не хотела упрощать. Изображая вымышленную «ультракрасную» организацию «Группа Ноль», Люче поместила ее во вполне отчетливые временные и географические рамки. Время действия — ноябрь и декабрь 1980 года, через тридцать месяцев после трагедии Моро, но прямых ссылок на это в романе нет. Место действия — Рим, и даже уже: пиацца Болонья и рабочее предместье столицы. Писательница так точна, что роман кажется одновременно и художественным и научным произведением, автор — и «выдумщик», и психолог, и социолог. Не ограничиваясь созданием образов, Люче сообщает нам почти анкетные данные обо всех своих персонажах.

«Группа Ноль» — роман действия и роман

[1] A cura di Mauro Galleni. Rapporto sul terrorismo. Milano, 1981, p. 440.

[1] См. «Вопросы литературы», 1979, № 1.

идей. В тексте нет никаких пустот, все сжато, напряженно, лаконично, спрессовано — таков стиль книги. Это — эстетическое кредо Люче д'Эрамо, но и ее этическое кредо нам ясно: она верит в то, что пишет. Иначе не могла бы поступать такая женщина: слишком много горя она испытала, слишком много видела плохого и хорошего, фальшивого и настоящего, чтобы думать о моде, о светском и коммерческом успехе. Она пишет, выполняя гражданский долг, она хочет внести личный вклад в борьбу с насилием и терроризмом.

Группа Ноль создана в 1976 году, когда появилось множество организаций такого типа — вспомним «Доклад о терроризме» Галлени. В группе всего десять участников, из них восемь заняты собственно «работой», а двое «промывкой» [1] добытых преступными средствами банкнот и разными организационными делами.

Роман начинается с описания исключительно дерзкого тройного ограбления, произведенного почти синхронно. Ограблены банк, почтовое отделение и ювелирный магазин на пиацца Болонья. Действие развивается динамично, рассчитаны не только минуты, но и секунды, члены группы действуют согласованно и уверенно. Все проходит успешно.

Операция тройного ограбления (такого еще не бывало!) — триумф создателя и идеолога Группы Ноль доктора философии Джованни Детторе. Мне он представляется трагической фигурой. Когда-то Детторе принадлежал к КР, на его «личном счету» несколько убийств. Но наступил момент прозрения, когда отвратительная практика КР, кровь и грязь стали ему нестерпимы. Детторе порвал с КР и создал Группу Ноль, отрицающую террор. Какова же программа этой организации? Разумеется, Детторе считает себя и своих товарищей революционерами и верит, что в энный час все они, не прибегая к убийствам, сыграют большую роль в антикапиталистической борьбе и в достижении победы. Пока же члены группы собирают деньги — они понадобятся для революции: чтобы победить, надо иметь фонды. И людей.

Вот как представляет себе положение вещей Детторе. В его группе первоначально было три человека: он сам, его подруга, журналистка Лоренца Валло и врач Паоло Пазини, служащий в квестуре. Спустя четыре года, то есть в 1980-м,— уже десять. Если принять тот же принцип прироста членов группы (то есть умножать на три каждые четыре года), рассуждает Детторе, то в 1988 году их будет девяносто, а в 2024-м — миллион семьдесят тысяч восемьсот десять человек. Безумие? Разумеется. Беда в том, что вариант Детторе, его представление о революционной борьбе не более абстрактны и абсурдны, чем многие подлинные документы «ультракрасных» организаций. С этим согласится всякий, кто читал теоретические документы тех же «Бригате россе» — поразительно жесткие, догматические и притом не лишенные риторики.

Группа Ноль действует в условиях строжайшей анонимности, диаметрально противоположно тактике КР. Сам Детторе бросает преподавание философии. Отныне он владелец небольшого предприятия, расположенного в удобном месте. Лоренца Валло, чьи статьи были популярны во время движения контестации [1] конца 60-х, больше не пишет, а зарабатывает на жизнь переводами. Когда-то Лоренца, умная, холодная, смелая женщина, тоже принадлежала к КР. Правда, она не убивала, но в ее квартире дважды содержались в заключении похищенные КР люди. Такие квартиры террористы называют «народными тюрьмами», а суды над похищенными — «народными судами».

В группе есть еще один интеллигент: молодой математик Стефано Бранди, некогда бывший учеником Детторе в лицее. Это фанатик, обладающий столь острым умом и таким динамизмом, что Детторе в его присутствии чувствует себя человеком другого поколения. Две супружеские пары — Мартано и Донати — люди из народа. В руках Маризы Мартано по существу сосредоточены все связи. Верная жизненной правде, Люче должна была ввести в организацию «католический компонент»: ее Мариза воспитывалась в монастыре и ревностно молится всем святым. Мариза — домашняя работница с почасовой оплатой, она обслуживает и Лоренцу и Стефано Бранди — так ей легче исполнять роль связной. Члены группы встречаются раз в месяц у Детторе. Все остальное общение по телефону. Телефонный шифр прекрасно разработан — он основан на чередовании звонков и пауз между ними. Это чередование создает нервный, напряженный ритм романа, заставляет волноваться и читателей, уже знающих, что такое «семь + пауза + семь», и так далее.

Один из узловых моментов книги — столкновение между Детторе и Бранди. Оно происходит на собрании группы. Надо принять решение: оставаться ли в строгой изоляции, как было до сих пор, либо (на этом настаивает Бранди) установить контакты с КР. Для Детторе КР — «банда убийц и доносчиков», он отказывается считать ее членов товарищами. Бранди произносит программную речь, обращаясь к Детторе: «... что мы делали эти четыре года? Совершали ограбления. Хорошо хоть, что ты называешь вещи своими именами, исключив из нашего лексикона слово «экспроприация». Оставим эвфемизмы классовому обществу. Но уж не хочешь ли ты заставить меня поверить, что считаешь ограбления революционным актом? Это наш способ финансировать организацию. Это дело. Пока что мы деловые люди, создавшие себе экономическую базу. У нас есть сеть бензозаправочных станций, несколько домов, клиника, мастерская по пошиву так называемых театральных костюмов. От дальнейшего перечисления наших капиталовложений я тебя избавлю... Так вот, мы, собравшиеся здесь, спрашиваем тебя: до каких пор мы будем проводить время, собирая деньги, которые, может быть, в один прекрасный день (кто знает!) позволят нам вступить, наконец, в бой на нашем естественном поприще — политическом и социальном? Если никто не знает, что мы существуем, как должен поступить тот, кто хочет

[1] Так называют особые банковские махинации, после которых похищенные банкноты вновь могут быть пущены в обращение.

[1] Контестация (от итал. contestazione) означает: оспаривание, неприятие, протест, бунт.

порвать с идеологией капитализма и присоединиться к нам, а не, скажем, к колоннистам или траншеистам? Совершенно верно, революция не продукт рекламы, но это также и не искусство хорошо грабить, перекладывать чужие деньги в наши кассы. Или ты предлагаешь капитализировать революцию?» [1]

Бранди одерживает победу, ему поручают начать переговоры с КР. Лоренца тоже поддерживает Бранди, происходит личная драма: разрыв между нею и Детторе — «не по личным мотивам», уточняет он. Но с Лоренцей связаны всякие сложности. За десять лет до описываемых событий она выступала в суде, а ее противником был известный юрист. Погиб строительный рабочий. Защищая интересы его вдовы против фирмы, где он работал, Лоренца произносила пламенные политические речи, далеко выходящие за пределы судебного разбирательства, то есть «использовала трибуну». А опытный и циничный адвокат, подкупив свидетелей и саму вдову, выиграл дело.

Случается так, что этот адвокат Дженнаро Ди Биазио настойчиво ищет встреч с Лоренцей, и ей по ряду причин не удается отказать ему. Они ужинают в ресторане как раз в день тройного ограбления: для нее это своего рода алиби. Ди Биазио все время заводит разговоры о терроризме, но Лоренца делает вид, что совершенно перестала интересоваться политикой. Однако в квартире Лоренцы (я опускаю развитие фабулы) адвокат обнаруживает на потолке пятно от сырости очень странной формы. А потом узнает, что именно такое пятно видели двое, содержавшихся в «народной тюрьме». Догадавшийся обо всем адвокат приходит к Лоренце и говорит, что она и ее товарищи хуже бесов Достоевского. Потом он выдает ее полиции, но Лоренце удается бежать из Рима. Она успевает предупредить друзей: полиция напала на след Группы Ноль, сомнений быть не может.

Но история Лоренцы меркнет в свете чрезвычайного события: похищен Джакомо Перрино, глава крупнейшей фирмы «Ротат». Писательница намеренно поместила эту фирму в Милан — с тем чтобы не возникло ассоциаций со всемирно известной фирмой «Фиат», чьи основные предприятия расположены в Турине. И все же прототип «человека с серебристыми волосами» легко угадывается: это патрон «Фиата». Перрино, потомственный крупный буржуа, не какой-нибудь нувориш, держится с достоинством: он не разрешает себе бояться смерти. Его похищение — первая совместная акция Группы Ноль и КР. Вместе с Перрино читатель попадает в «народную тюрьму». Интуиция и талант Люче д'Эрамо здесь проявились с особой силой: «народная тюрьма» действительно описана впервые, и как бы изнутри, и, вероятно, достоверно. Наступает один из важнейших моментов романа: происходит столкновение двух концепций — террористов из КР и противника террора Стефано Бранди. Он не хочет убивать, не хочет рекламы, комедии опубликования коммюнике... Его противник, лидер КР Луиджи Тозон, ведет себя так, как ведут себя «Бригате росе»,— их образ действий в подобных случаях известен.

Тем временем полиция и в самом деле напала на след Группы Ноль: Детторе вызывают в квестуру, и он умирает там от разрыва сердца. Доктору Пазини приходится констатировать смерть друга. Он сообщает товарищам о случившемся и скрывается: хочет сделать себе пластическую операцию, а затем вернуться и продолжать борьбу. Все это влияет на судьбу похищенного Перрино: его смерть предрешена. Перрино убивают. Мало того: в него стреляет член Группы Ноль Бруно Кáнтора, до того занимавшийся лишь операциями с деньгами. Столкнувшись лично с кровавой практикой КР, глубоко потрясенный, Бранди роняет горькие слова: «Мы — пародия». Он понимает теперь, что совместные действия его группы и КР, за которые он прежде ратовал, не имеют ничего общего с революционной борьбой.

Отвратительная логика и инерция терроризма определяют дальнейшее. Ритм романа становится лихорадочным, хотя повествование остается по-прежнему строгим и сдержанным,— Люче д'Эрамо не из тех авторов, кто ищет эффектов. Раненная в перестрелке с опознавшим ее полицейским, гибнет Лоренца. Сражен полицейской пулей Марио Донати, скандировавший, обращаясь к толпе: «Товарищ Джованни Детторе покончил самоубийством в квестуре!» (Он не верил в разрыв сердца.) Весь рабочий район собирается на демонстрацию в знак протеста против гибели Марио Донати. Его жена арестована во время стычки с полицией. Супруги Мартано уезжают куда-то в глушь, решив организовать там Группу Один. Стефано Бранди заболел, но у него уже возникли новые контакты, и он надеется создать Группу Два. Телевидение сообщает, что застрелен лидер КР Луиджи Тозон...

Роман закончен. Но теперь начинается мой спор с Люче д'Эрамо. Она совершенно права, не желая ничего упрощать. Она совершенно права, не желая демонизировать своих героев. Она стремилась увидеть в них людей, хотела понять, понять до конца, и поэтому проникнуть в мысли, в сердце, в подсознание своих персонажей. Но мне кажется, что именно эта установка невольно привела к некоторому смещению акцентов в романе. Не будем несправедливы к писательнице: ей удалось показать разницу характеров Детторе, Бранди, Пазини, Марио Донати, удалось придать каждому из них своеобразие, индивидуальность. Но в изображении Люче д'Эрамо все они в конечном счете — идеалисты. У Джованни Детторе руки по локоть в крови, но ведь он порвал с КР и стал принципиальным противником террора, придумал новую, утопическую форму антикапиталистической борьбы — накопление миллиардов для часа Х. Стефано Бранди — фанатик, но не он ли сказал: «Мы — пародия»? Лоренца Валло могла бы сделать блестящую карьеру журналистки, но она отказывается от всего личного ради того, во что верит. Мы знаем: есть среди них и такие. Но *такие* далеко не все. Ведь в Италии несколько тысяч ультралевых (о цифрах спорят, но, вероятно, это соответствует истине). Итальянская печать дает о них богатую информацию, известны их реальные биографии.

[1] Luce d'Eramo. Nucleo Zero. Milano, 1981, p. 126.

Конечно, нельзя требовать от писателя фотографирования действительности, одного лишь точного воспроизведения фактов. Люче д'Эрамо не занимается документальной прозой, она написала роман, а это совсем другое дело. Но ведь это роман идей, роман философский. И от человека, которому хотелось и удалось понять феномен, мы вправе ожидать еще чего-то, кроме того, что написано.

В каком-то высшем смысле все участники Группы Ноль оказываются чистыми. Да, писательница противопоставляет им КР, и это важно, но мне кажется, что в справедливом желании понять Люче д'Эрамо их не осуждает, а жалеет. Она совершенно не оправдывает их, тут сомнений нет. Но, не оправдывая, более того — обрекая их на разгром, она все-таки оставляет для них какое-то жизненное пространство. Она как бы предупреждает нас: да, так и будет, возникнет Группа Один, Группа Два... Да, наверное, возникнут: ведь кризис в Италии не преодолен, социальные противоречия остры, взаимопереплетения «ультракрасных», «ультрачерных», мафии, масонов из П-2, уголовников налицо. Все правда. Но во мне это вызывает однозначную реакцию: чувство тревоги, боли и отвращения, я не способна жалеть террористов.

А что в душе Люче? 25 февраля 1982 года она писала мне о том, как трудно почти синхронно изображать происходящие события. «По-моему,— признавалась Люче,— фантазия — это не только область мечтаний, это инструмент познания. При помощи воображения можно проникнуть в такие аспекты действительности, которые не поддаются контролю при помощи других средств. Но это трудно, это рискованно». И далее в том же письме говорится: «Думаю, что мало кто на свете является столь решительным противником так называемой «вооруженной борьбы», как я... Похищения людей и ограбления не приближают время, когда наступит социальная справедливость, а, напротив, лишь усугубляют то зло, которое хотели бы истребить».

Люче получила много писем от читателей, высказывавших примерно одно и то же: ее роман — как бы «прививка», которую делают, чтобы предупредить заболевание. И в то же время немало интеллектуалов в Италии думают, что она стоит на позиции: «Все понять — значит оправдывать». С присущей ей прямотой и честностью писательница спрашивает: не значит ли это, что роман не удался? Нет, роман отвечает высоким литературным требованиям. Один из известнейших итальянских режиссеров Карло Лидзани хочет ставить фильм по этой книге, и фильм может получиться отличный, поскольку «Группа Ноль» — роман действия, и действия динамичного. Но ведь это, повторяю, и роман идей. Может быть, в нем не хватает того, что так ясно, так недвусмысленно выражено в частном письме Люче, не хватает нескольких страниц философской публицистики, что ли.

Люче д'Эрамо ненавидит насилие в любых проявлениях. Когда-то двадцатилетняя девушка помогала умирающим, обреченным людям. Но эти люди были жертвами страшной войны, тогда удивительная, почти евангельская доброта Люче была великолепной. Сейчас умная, зрелая женщина хочет с максимальной частностью разобраться в природе «насилия, идущего снизу». Для нее террористы — люди, попавшие в тупик, отчаявшиеся, опустошенные, цепляющиеся за иллюзию. Повторяю уже сказанное: есть и такие. Но есть другие, и других больше, и надо найти в себе силу произнести не в душе своей, а громко, в книге слова неприятия и слова осуждения. Иного выхода просто нет, в этом долг писателя-гуманиста.

Упоминавшаяся уже автобиографическая книга Люче д'Эрамо обращена к прошлому. «Группа Ноль» посвящена нашим дням, трагическим событиям, происходящим в Италии. Но Люче, вопреки всему, оптимистка, она верит в лучшее будущее. Она писала мне: «В новом году я предоставляю «Группу Ноль» ее собственной судьбе и приступаю к новой работе, которой поездка в Москву и в Ленинград дала неожиданный толчок».

Нам остается от души пожелать успеха замечательной женщине и талантливой писательнице Люче д'Эрамо.

◆

Критика

АРСЕНИЙ ГУЛЫГА

ПОИСКИ ПУТИ

Заметки с Международной книжной ярмарки во Франкфурте

По приглашению издательства «Инзель» [1] я прилетел во Франкфурт-на-Майне 15 октября. Накануне здесь открылась Международная книжная ярмарка 1981 года. Уже прозвучали приветственные речи окончилась торжественная часть и началась деловая.

По дороге от аэродрома, в машине, которую ловко, минуя заторы, вел встретивший меня сотрудник издательства, я начал расспрашивать его о ярмарке. Кого из крупных немецкоязычных писателей можно здесь увидеть? Приехал ли Томас Бернгард? Из крупных приехал Вольфганг Хильдесхаймер. Бернгарда нет. Жаль.

Мне хотелось расспросить Бернгарда о его пьесе «Иммануил Кант». Прочел я ее в прошлом году, и она вызвала у меня недоумение Автор перенес Канта в наши дни. Действие происходит на океанском лайнере: вместе с женой, слугой и попугаем философ направляется в Америку, чтобы получить диплом почетного доктора Колумбийского университета, а заодно и подвергнуть операции слепнущие глаза. Канту оказывают знаки заслуженного внимания, наряду с самыми почетными пассажирами он обедает за одним столом с капитаном корабля. Однако в Нью-Йорке вместо делегации Колумбийского университета философа встречают санитары и отправляют его в психиатрическую больницу.

Антиамериканский памфлет? Для заокеанских бизнесменов и гангстеров философ — всего лишь полоумный, которого как можно скорее надо упрятать в лечебницу для душевнобольных?

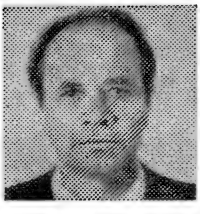
Антиамериканские настроения сегодня сильны в ФРГ Западным немцам надоела американская опека, идущая вразрез с их национальными интересами, и они не прочь лишний раз показать свое культурное превосходство. Но в данном случае, увы, автор руководствовался иными мотивами.

Вчитываясь в то что произносит бернгардовский Кант, понимаешь, что и в самом деле говорит маразматик. О Канте известно, что в самые последние свои годы он действительно страдал старческим слабоумием. Но, произнося имя Канта, мы думаем о другом — о его свершениях в философии; в сегодняшних нравственных исканиях он напутствует нас своим учением о категорическом императиве, требующем безусловного следования моральному долгу. А в пьесе Бернгарда попугай повторяет бессмысленно: «Императив, императив, императив».

«Зачем все это?» — спрашивал я критиков, с которыми встречался во Франкфурте. Пожимали плечами: «Какое-то недоразумение», «Бернгард — позитивный циник, для него нет ничего святого, кроме самой святости, больше всего он не терпит святош», «С Кантом носятся, но кто знает его? Для большинства он такой, каким выведен в пьесе», «Мир сошел с ума и сам Кант в подобном мире должен быть сумасшедшим».

Журнал «Кант-штудиен», посвященный кантовской философии, откликнулся на пьесу Бернгарда язвительно, рецензией всего в несколько строк, которая заканчивается следующей ее оценкой: «Невольная автокарикатура комедианта Томаса Бернгарда, заблудившегося в вершинах Канта». Пока

[1] Книга А. Гулыги «Кант», посвященная родоначальнику немецкой классической философии, выпущена в переводе на немецкий язык западногерманским издательством «Инзель» *(прим. ред.)*.



ГУЛЫГА АРСЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1921 г.).

Советский критик и литературовед-германист, доктор философских наук, автор многих работ по эстетике, истории философии, искусства и литературы. Его книга «Кант» вышла в серии «Жизнь замечательных людей» (1977, 1981).

его пьесу, появившуюся в 1978 году, не решился поставить ни один театр.

Впервые книжная ярмарка во Франкфурте была проведена в 1949 году. Тогда в ней приняли участие двести издательств. На нынешней, тридцать третьей по счету, представлены пять тысяч сто фирм из пятидесяти семи стран, выставлены двести восемьдесят тысяч книг, из них восемьдесят одна тысяча новинок.

Размах огромный. Однако, сравнивая 1981 год с предыдущим, знатоки отмечают падение читательского спроса. Тем не менее министр экономики Отто Ламбсдорф, открывая ярмарку, говорил, что печатному слову не угрожает конкуренция других средств информации: никакие телепередачи и видеомагнитофоны не заменят чтения, «Будденброки» всегда будут лежать перед нами в виде книги. И хотя стране в целом грозит хозяйственный спад, он не коснется ни производства, ни сбыта книжной продукции.

Оптимистически настроен и доктор Зигфрид Унзельд глава издательского комбината «Зуркамп» — «Инзель» (это одна фирма, имеющая два лица: под грифом «Зуркамп» выходят главным образом серийные издания — новинки художественной литературы и гуманитарного знания, а также собрания сочинений, «Инзель» выпускает несерийные книги, художественные издания, детскую литературу). Доктор Унзельд — не просто коммерсант, это широко образованный литературовед (диссертация о Гессе, книги о Гёте и Рильке). В ходе ярмарки его издательство проводит пять мероприятий: встреча литературных критиков (с чтением новинок), два приема для прессы (один посвящен кубинской литературе, другой — книге о немецких писателях-антифашистах, эмигрировавших из гитлеровской Германии в Советский Союз), прием для иностранных издательств, встреча с владельцами книжных магазинов. Душа всех мероприятий — сам Унзельд, он произносит вступительное слово, приветствует и представляет гостей, острит и никогда не забывает о деле. «Зуркамп» и «Инзель» издают триста сорок названий в год, Унзельд знакомится со всеми рукописями. Каждая минута у него на счету. Во время ярмарки он почти не спит, в конце ее он сляжет в постель от переутомления, но пока полон сил и в ходе одной из наших (всегда кратковременных) бесед четко обрисовывает обстановку.

По его мнению, падает спрос на легкую беллетристику, «чтиво». Установлено, что житель ФРГ в среднем ежедневно проводит сто сорок три минуты перед телевизором и пятнадцать — за чтением. И «Зуркамп» и «Инзель» ориентируются не на «середняка», а на подготовленного читателя. На него жаловаться не приходится: хорошая книга находит спрос.

— Знаете ли вы разницу между бестселлером и «лучшей книгой»? — спрашивает меня Унзельд.

Я не знаю, и он объясняет мне. Бестселлер — это то, что лучше всего продается. Списки бестселлеров ФРГ еженедельно публикует журнал «Шпигель». Списки «лучших книг» ежемесячно (с 1975 года) сообщает юго-западное радио. «Лучшую книгу» определяет компетентное жюри из двадцати семи литературных критиков.

Конечно, здесь возможны просчеты, вкусовщина и просто безвкусица, дань моде, политической конъюнктуре и иные коллективные аберрации оценок. В этом я убедился, просмотрев списки «лучших книг». Достаточно сказать, что нет в них ни одного произведения советских авторов (хотя они переводятся и пользуются успехом, а «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского стал даже бестселлером).

И все же списки «лучших книг» дают представление о том, что сейчас читают в стране. Здесь мы встречаем знакомые имена: Петер Хандке, Мартин Вальзер, Гюнтер Грасс, недавно скончавшийся Петер Вайс (Генрих Бёль промелькнул лишь раз, его повесть «Поруганная честь Катарины Блюм» заняла в марте 1975 года... десятое место). Есть и имена новые.

Фридрих Кристиан Делиус, известный ранее как поэт, дебютировал в качестве прозаика, его «Герой внутренней безопасности» оказался на первом месте среди «лучших книг» марта 1981 года. Роман воссоздает атмосферу осени 1977 года, когда террористами был похищен и умерщвлен известный промышленник Ганс Мартин Шляйер. Герой романа, ближайший помощник похищенного магната (все имена в книге вымышлены), обеспокоен судьбой шефа. Потом, однако, выясняется, что на самом деле его волнует собственная судьба, а точнее — собственная карьера: как бы новый босс не отодвинул его в сторону. Получив повышение, он успокаивается. А о жертве похищения все постепенно забывают. Какие выводы сделали власть имущие? Усилили меры собственной безопасности, усложнили систему пропусков, увеличили броню кабинетов, установили видеокамеры, фиксирующие наличие в помещении посторонних, глушители, препятствующие подслушиванию. Никаких изменений в образе жизни, в образе мыслей, в образе управления не наступило, и это тревожит автора. Канва действительных событий служит ему материалом для социальной критики.

Роман Делиуса я получил со стенда издательства «Ровольт». В павильонах ярмарки книги не продаются, но охотно раздаются заинтересованным лицам (журналистам, специалистам, представителям деловых кругов) Меня интересует биографический жанр, и у стенда издательства «Зуркамп» мне вручают новый презент — книгу В. Хильдесхаймера «Марбот».

«Марбот» тогда только что вышел и еще не получил оценки жюри юго-западного радио, но написанный перед этим «Моцарт» Хильдесхаймера[1] занял в ноябре 1977 года в списке «лучших книг» второе место.

«Сэр Эндрю Марбот,— говорится в издательской аннотации на суперобложке,— герой данной биографии, вплетен в историю культуры начала XIX столетия». Он, оказывается, встречался с Гёте, Шопенгауэром, Платеном, Байроном, Леопарди, следил за их творчеством, одобряя и критически его оценивая. Главным предметом его изучения была живопись.

[1] Об этом романе см. рецензию Ю. Архипова в «ИЛ», 1979, № 3, с. 262—264. (Здесь и далее — прим. автора статьи.)

Итак, биография ученого. На фронтисписе портрет Марбота работы Делакруа (из Национальной библиотеки в Париже). Среди других иллюстраций — картины Джотто, Боттичелли, Рембрандта, которые разбирает Марбот, портреты родителей героя — леди Кэтрин и сэра Фрэнсиса Марбота (хранятся в известных собраниях).

Эндрю Марбот — теоретик, предвосхитивший фрейдовские идеи. А сам — носитель эдипова комплекса. Хильдесхаймер приводит (в переводе на немецкий и частично в английском оригинале) письма леди Кэтрин своему сыну из коих явствует наличие инцеста. Последнее обстоятельство, видимо, заставило Марбота покинуть родные места и пуститься в странствование по Европе, завершившееся добровольным уходом из жизни. Посмертно вышел его труд «Искусство и жизнь».

Автор знакомит нас с документальной записью бесед Марбота с Гёте, отзывами Гёте о Марботе, письмом к нему Оттилии Гёте. Во Флоренции Марбот встречался с Шопенгауэром. Последние записи Марбота — дискуссия с Шопенгауэром, запрещавшим самоубийство. Марбот пытается оправдать принятое им и вскоре осуществленное решение.

К книге, как полагается в научно-художественном жанре, приложен указатель имен. Вот Кант — на странице такой-то приведена цитата из его произведений, вот Гегель — на странице такой-то сказано, что он не видел подлинников Джотто, а судил о них по гравюрам. Я хочу уточнить дату смерти отца Марбота и, к своему удивлению, не нахожу в индексе сэра Фрэнсиса. И леди Кэтрин там нет. И Эдуарда Реншоу, автора книги «Английская художественная критика в XIX веке», называвшего Марбота гениальным дилетантом. Во власти иллюзии, я листаю энциклопедию Брокгауза, но не нахожу там этих имен, как и имени самого Эндрю Марбота.

Все оказывается мистификацией. И портрет работы Делакруа, и шокирующий инцест, и беседы с Гёте. Чистый вымысел. Аккуратная подделка.

Я дважды слушал выступления Хильдесхаймера с чтением отрывков из «Марбота». Аудитория, которая ничего не подозревала, реагировала сдержанно: добротная проза, и все тут. Зарубежных издателей доктор Унзельд предварительно ввел в курс дела, и когда Хильдесхаймер на безупречном английском языке стал излагать содержание книги, в зале не смолкал смех. Искусство допускает обман, но реципиент (в данном случае читатель) должен хотя бы догадываться, что его обманывают.

Хильдесхаймер говорил мне, что не приемлет современной технической цивилизации, в городе ему тяжело, он живет в тихой швейцарской деревушке. Он влюблен в прошлое и считает, что в «Марботе» удалось воссоздать культурную атмосферу минувшего века. Что касается вымышленной биографии и подделки под научность, то не он первый. Швейцарские психологи еще семь лет назад выпустили сборник статей памяти своего (никогда не существовавшего) коллеги Эрнста Августа Дэлле.

По просьбе Хильдесхаймера издательство «Ганс Хубер» прислало мне эту книгу — «Дихотомия и двойственность. Основные проблемы психологического познания». Коллективный труд семнадцати авторов, среди них есть известные. Книга снабжена всеми атрибутами научности: ссылками на авторитетные источники и полемическими выкладками, схемами, рисунками, таблицами, математической символикой; к каждой статье приложен список использованной литературы, а в самом конце — «полная библиография» трудов Дэлле. Но вот в тексте упомянут ученый труд «Общество между материнском бюстом и отцовским чувством» («Gesellschaft zwischen Mutterbrust und Vaterlust»). Тут уж и профану становится ясно: «психологи шутят».

Впрочем, достается и философии: Дэлле — создатель «душевной логики», он перебросил мост от современного мышления к досократикам. Гераклит говорит: «Все течет». для Дэлле логика — «учение о том, что остается, утекая».

Пародия — древнейший литературный жанр. Книга о Дэлле свидетельствует о расширении его границ: объектом пародии стала наука пародистами — сами ученые. Возвращаясь к «Марботу», должен, однако, сказать, что в книге Хильдесхаймера пародийное начало приглушено. Это скорее тонкая стилизация, вызывающая не смех, а улыбку. Автор сбивает читателя с пути в расчете на то что тот сам его отыщет. Поведав вымышленную биографию, писатель надеется вызвать интерес к подлинной истории. Прием не новый, и называется он остранение (очуждение). Прием не новый, но рискованный: весь вопрос в том, всегда ли он уместен. В «Канте» Бернгарда он обернулся, например, явной бестактностью.

Петер Вайс известен советскому читателю своими пьесами «Марат-Сад», «Дознание», «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился»[1], прекрасно переведенными на русский язык покойным Львом Гинзбургом. В 1981 году Вайс закончил трехтомный роман «Эстетика сопротивления», книга заняла первое место в списке «лучших книг» и была отмечена премией телевидения ФРГ. Вручение премии состоялось в Кёльне сразу после закрытия Франкфуртской книжной ярмарки. Вайс прилетел из Стокгольма, где он постоянно жил и сразу же убыл обратно.

Строго говоря, «Эстетика сопротивления» не роман И, разумеется, не трактат по эстетике, хотя рассуждения об искусстве занимают в книге значительное место. Это хроника антифашистской борьбы, репортаж, в котором мелькают имена и события. Тысяча страниц текста без единого абзаца — создается впечатление, что автор собрал материал но еще не обработал его. И это после десяти лет кропотливого труда, о котором свидетельствуют записные книжки Вайса, изданные одновременно с романом.

Рассказ ведется от первого лица. Рассказчик — ровесник новой эпохи. «Когда Ленин в восемь часов вечера, сопровождаемый

[1] «Дознание» опубликовано в «ИЛ», 1966, № 5 под названием «Судебное разбирательство»; пьеса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился» — в 1968, № 12.

рабочим Рахья, в парике и очках, надвинув на лоб старую кепку и намотав до подбородка шарф, отправился в Смольный, моя мать лежала в предродовых схватках в клинике на берегу Везера; в полночь, когда Ленин снял грим, в комнате в конце коридора на втором этаже института благородных девиц рядом с актовым залом, где толпились в драных солдатских шинелях делегаты съезда Советов, и когда прогремели выстрелы шестидюймовых орудий «Авроры», мой отец все еще беспокойно ходил по вестибюлю а в десять минут третьего, в ночь на восьмое ноября, когда Антонов-Овсеенко — узкоплечий, в фетровой шляпе и пенсне каким я, называвший его крестным отцом, потом однажды увидел его в окне в Альбасете,— арестовал Временное правительство в Зимнем дворце, когда провозглашен был переход всей власти в руки рабочих, солдат и крестьян, появился на свет я и лежал вымытый, в пеленках». О писателе Вайсе известно, что он родился на год раньше Октябрьской революции. Следовательно, лирический герой — не автор. Вайс родом из семьи коммерсанта и долгое время сторонился политики. Герой— сын социал-демократа, рабочий, активный участник коммунистического движения. Следовательно, роман — биография, которую в лучшем случае хотел бы иметь писатель.

Перед читателем проходят картины берлинского политического подполья в первые годы после захвата власти фашистами, антифашистская эмиграция в Праге, испанские события, рабочее движение в Швеции. Рассказывая обо всем этом, автор далеко не всегда оценивает события с учетом нынешней исторической перспективы. Он пишет много лет спустя после победы над фашизмом но некоторые страницы его звучат растерянно, как будто он и сегодня живет настроениями тех, кто растерялся в те годы. Иное звучит и просто кощунственно. Например, сопоставление вторжения гитлеровского вермахта в Польшу с освободительной миссией советских войск в Западной Украине и Белоруссии.

Перу Вайса принадлежит пьеса «Троцкий в изгнании», справедливо подвергшаяся критике в советской печати. «Впоследствии Петер Вайс признал ошибочность своей пьесы,— говорится в «Истории литературы ФРГ»[1],— ибо она, как он констатировал, невольно бросала тень на советскую действительность в целом. Он настоял на изъятии пьесы из репертуара некоторых театров. Однако ряд идей, в ней прозвучавших, оказался весьма существенным для автора и в дальнейшем».

В «Эстетике сопротивления» автор не скрывает симпатий к Троцкому. Явной клеветой звучит утверждение, которое особенно пришлось по вкусу рецензенту журнала «Шпигель», будто коммунистическая партия «уничтожала своих творческих мыслителей и давала место только шаблону».

К счастью не эти и им подобные места определяют лицо романа. В целом это книга борьбы. Апогей — в третьем томе, где рассказывается о действиях антифашистских групп в гитлеровской Германии в годы войны. Их немного, но они спасают честь нации.

Описывая казнь одиннадцати антифашистов, членов группы «Красная капелла», автор поднимается до подлинно трагического пафоса. Здесь исчезает утомительная скороговорка, в которой перемешаны разные слои повествования, рассказчик уходит в сторону, и сам автор с проникновенной точностью воспроизводит детали смертной казни в застенке Плётцензее. Трех женщин гильотинируют, восьмерых мужчин вешают. Прежде чем удавить жертву, палач вежливо просит открыть рот, чтобы внести в реестр количество золотых зубов — они не должны пропасть.

В своих искусствоведческих экскурсах Вайс старается исходить из принципов «сражающейся эстетики». За ломкой художественных форм он видит ломку устоев старого общества. «Мы рассматривали картины Макса Эрнста Клее, Кандинского, Швиттерса, Дали, Магритта как устранение визуальных предрассудков, молниеподобное освещение распада и гниения, паники и развала, мы различали, где была атака на отжившее и погибающее, а где — лишь беспардонность обеспечивающая сбыт».

Но вот проблема (Вайс лишь ставит ее в своей книге): почему как раз представители гибнущего капитализма, респектабельные буржуа выступают в роли меценатов «левого» искусства а революционным массам оно остается чуждым, просто-напросто неизвестным? «Рабочие и солдаты в ноябре семнадцатого не видели этих художественных устремлений и не слышали о них».

Борющиеся массы не обладают соответствующим уровнем образования, им можно простить отсталость и воспитать так или иначе их вкус. Все дело, однако, в том, что и вожди пролетариата не принимали «авангардизма». Маркс, Энгельс, Ленин, читаем мы в книге Вайса, «были традиционалистами в отношении идеала прекрасного... Они были противниками путчей бланкистского, прудонистского бакунинского толка, и как они не принимали экстремистского радикализма и авангардистской риторики, так предпочитали устоявшихся классиков таким мятущимся натурам, как Гёльдерлин, Новалис, Клейст или Бюхнер, французские прозаики были им ближе, чем Рембо, Верлен, Бодлер, они стояли на стороне мелодичных симфоников, атональная музыка должна была бы их раздражать».

Оставим на совести героя романа и автора адекватность характеристик художественных вкусов Маркса, Энгельса и Ленина. Важно отметить другое: хотел ли того Вайс или нет, в приведенной цитате содержится ответ на поставленную проблему: «экстремистский радикализм и авангардистская риторика» действительно недопустимы ни в жизни, ни в искусстве, все это чуждо народу, чуждо подлинной революции и ее

[1] См.: «История литературы ФРГ». Ред. коллегия: Д. В. Затонский, Н. С. Павлова, И. М. Фрадкин (отв. секретарь). М., «Наука», 1980. Выпущенная Институтом мировой литературы им. А. М. Горького как непосредственное продолжение пятитомной «Истории немецкой литературы», эта книга дает обстоятельный анализ развития западногерманской словесности с конца второй мировой войны и до середины 70-х годов.

подлинным вождям. Подлинное надо отличать от мнимого, наносного, порожденного издержками времени.

Вопрос о назначении искусства, его роли в жизни общества — вопрос не одной только формы, а формы, взятой в единстве с содержанием. Ломать форму можно и во имя революции и во имя реакции, и ради «беспардонности, обеспечивающей сбыт». А ныне то, что некогда называлось «авангардом», все более становится художественным «арьергардом», устаревает, теряет свою привлекательность даже для интеллигентских кругов Запада. Налицо определенный возврат к традиции, к классике. Но это разговор уже не об «Эстетике сопротивления», а о других книгах и о другом писателе.

Петер Хандке, лауреат Бюхнеровской премии (высшая литературная награда в ФРГ) и премии Кафки (высшая награда в Австрии), находится в центре сегодняшних литературных споров [1]. Он начинал как «авангардист», в 70-е годы стал пересматривать свои художественные принципы и сейчас стоит на реалистических позициях.

В 1981 году вышли две книги Хандке — «Детская история» и «Путями Деревни», завершившие его тетралогию «Медленное возвращение домой». В тетралогии нет ни единого сюжета, ни единого героя, нет даже жанрового единства, только идейное, выраженное в названии.

Первая часть озаглавлена, как и вся тетралогия, «Медленное возвращение домой». Это повесть. Ее герой Зоргер работает геологом где-то за Полярным кругом, на Аляске. На чужбине ему становится тошно, и он возвращается восвояси.

Вторая часть тетралогии Хандке «Уроки гряды Сент-Виктуар» — философско-искусствоведческое эссе. Эстетика созидания. Рассказ ведется от автора, но читатель предупрежден: «Зоргера, геолога, я превратил в самого себя». Писатель вернулся из заморских стран в Европу, в родную природу, в родную культуру.

Применительно к живописи, о которой рассуждает автор, это означает поворот от формалистических устремлений к классике. У сюрреалистов Кирико, Эрнста, Магритта нет пейзажа в привычном смысле. Путь Хандке лежит от Сезанна к Курбе и Рейсдалю. По имени горной гряды Сент-Виктуар в Провансе, где жил и творил Сезанн, он и назвал свою книгу.

И еще одно имя всплывает в памяти автора (воспоминание о поездке в Советский Союз?) — Пиросмани. «Грузинский художник бродил по стране, зарабатывал на жизнь тем, что писал вывески для трактиров, а последние дни своей жизни провел «неузнанным» в чулане, который, по моим представлениям, находился «под лестницей».

И уже новая ассоциация возникает у писателя: «неузнанным», «под лестницей» скончался Алексей, человек божий, герой житийного повествования; сын богатого римлянина, он покинул отчий дом, жену, богатство и после многих лет скитаний на чужбине вернулся восвояси, поселился среди прислуги и умер, так и не открывшись близким. «В дедушкином доме была деревянная лестница, под которой находилась каморка без окон. В таком помещении «под лестницей», как мне тогда казалось, и лежал святой Алексей, вернувшийся неузнанным издалека, в победном трепете своей сокрытости (который был мне знаком)».

Из подобных ассоциаций, воспоминаний о пережитом, размышлений и новых впечатлений рождается книга о гряде Сент-Виктуар, историю написания которой Хандке излагает внутри самого повествования. И логично встает перед автором, родившимся и ныне проживающим в Австрии, вопрос: кто же он такой, где его родина?

«Мой отчим родом из Германии. Его родители переехали в Берлин перед первой мировой войной. И мой отец — немец, он родом из Гарца (где я никогда не был). А все предки моей матери — словенцы. Мой дед в 1920 году голосовал за присоединение южноавстрийских земель к нововозникшей Югославии, и за это те, кто говорил по-немецки, грозили его убить. Моя мать девочкой играла в самодеятельном словенском театре. Она всегда гордилась, что знает этот язык, ее словенский помогал нам после войны в Берлине, куда вступили русские войска. Первым моим родным языком, видимо, был словенский. Сельский парикмахер потом мне рассказывал, что, когда я впервые пришел к нему стричься, я ни слова не понимал по-немецки и мы говорили с ним по-словенски. Я этого не помню и язык забыл полностью. (Я всегда считал, что родом из других мест.) В школьные годы на австрийской земле возникла у меня тоска по дому, по Германии, по большому городу, каким был для меня послевоенный Берлин. Когда я узнал о третьем рейхе, я понял, что ничего более злого никогда не было, и вел себя в соответствии с этой мыслью, хотя уже ребенком понимал, что Германия и фашизм не одно и то же.

Потом почти десять лет я провел в различных местах Федеративной Республики, которые показались мне светлее и просторнее, чем родимый край. Я и сейчас охотно могу себе представить свою жизнь там, ибо знаю, что нигде нет такого количества «упрямцев», которые ежедневно лакомятся литературой нигде нет такого многочисленного потаенного народа читателей». Родина для Хандке — это и принятый стереотип культуры. И близкие тебе люди. В дни своих раздумий о родине автор «случайно» навестил отца, с которым давно не виделся. После смерти второй жены тот жил одиноко, даже собаки не было у него, и лишь вечерами звонил он по телефону соседям, подавая тем самым признаки жизни. «Я увидел в его глазах страх смерти и пережил запоздалое чувство ответственности».

Но это не все. Родина — это и ласкающий взор облик земли, привычный ландшафт. Именно поэтому о пейзажной живописи и ведет разговор автор.

Художник, стремящийся проникнуть в суть вещей, становится мыслителем. Философская тема с необходимостью возникает

[1] На русском языке вышли его произведения: П. Хандке. Повести. М., 1980; «Женщина-левша», «ИЛ», 1982, № 2. Послесловие Н. Литвинец; «Приветственное слово наблюдательному совету» в сб. «Австрийская новелла XX века». М., 1981.

в книге. Кто владеет здесь думами Хандке? Когда-то в немецкой философии, уставшей от поверхностной болтовни позитивизма, раздался призыв: «Назад к Канту!» Хандке этого мало: Кант провозгласил активность познания, конструирующего мир человека, первозданная природа для Канта существует «сама по себе», не раскрываясь до конца перед познающим разумом. Хандке же хочет слиться с природой, он тянется к докантовскому пантеизму. Он цитирует некоего «философа», не называя его по имени. Это Спиноза, для которого природа была богом.

В своем «возвращении домой», к здоровым традиционным устоям автор проходит помимо школы искусства и философии еще одну — семьи. Об этом идет речь в третьей книге тетралогии — автобиографической повести «Детская история». Название не должно ввести в заблуждение: книга не для детей. И вообще это история не ребенка, а отца, мужчины по-иному взглянувшего на мир после того как он обзавелся ребенком. Не только родители воспитывают детей, наличие детей делает взрослых мудрее и мужественнее. Вот об этом обретении мудрости и мужества с помощью дочери повествует Хандке.

Себя он не называет по имени. Речь идет о некоем «взрослом», «мужчине», «отце». И ребенок в повести не имеет имени. Города, в которых они живут, также названы иносказательно но они угадываются легко, как и вся история общения Хандке со своей дочерью Аминой.

Вильгельм Буш, немецкий народный поэт-юморист, сказал:

> Стать отцом — на грош труда,
> Быть отцом — вот это да!

В данном случае ребенок — желанный, и рассказчик готов *быть* отцом. Но одного желания, одной готовности мало. Ребенок— это повседневные хлопоты, требующие от родителей терпения, внимания, самообладания. Даже в условиях нового дома, построенного писателем специально для дочери за городом

Произошла авария, новый дом заливает вода, больше в доме никого нет, только ребенок и отец ребенок закатывается в плаче,. и потерявший самообладание отец дает младенцу затрещину. «Реакция раскаяния была мгновенной. Он носил на руках плачущего ребенка, страдая от того, что сам не мог заплакать, и чувствовал себя как перед Страшным судом. Хотя у ребенка поначалу только припухла щека, он знал, что удар был достаточно сильным, чтобы лишить его жизни. Взрослый чувствовал себя самым плохим человеком, злодеем, подонком, того, что он сделал, нельзя было ничем искупить».

Можно себе представить, что воображение писателя преувеличило размеры случившегося. С ребенком ничего не произошло, а возникшее чувство вины укрепило отцовские чувства.

Другой эпизод оказался еще более важным в самовоспитании отца. Мы знаем, что с некоторых пор Хандке волнует проблема национальной принадлежности. Он воспринимает нацию как определенный стереотип культуры, не как вопрос происхождения и «крови». Писатель чужд расизму. Нацизм он знает только по рассказам других и по книгам, с сионизмом ему пришлось столкнуться лицом к лицу.

Когда девочке пришло время учиться, семья находилась в «любимом городе за границей» (читай: Париже). Отец выбрал для дочери как мы бы сказали, «спецшколу», где преподавание велось на иврите (как многие немцы после войны, он испытывал чувство вины перед евреями).

Девочку приняли в школу временно, через год учительница вызвала отца и предложила искать другое учебное заведение: «Будущей осенью начнется религиозное воспитание, и это принесет только вред ребенку, который принадлежит принципиально иной традиции. Пытаясь убедить женщину в противоположном. отец ссылался на свой многолетний опыт. Говорил, что для таких, как он, не существует никакой желанной традиции, какую он мог бы передать своему ребенку; но старая учительница, знавшая все лучше, только качала головой». Отец возвращался домой с ребенком «как безвинно отверженный, с сознанием ответственности за то, что он выходец из недонарода, вернее что он вообще лишен народа».

И вот однажды «пришло письмо без указания адреса отправителя, где от имени избранного народа ребенку грозили смертью как потомку злейших гонителей этого народа, причем употреблены были выражения, обычно в разговоре недопустимые».

Импульсивный отец взорвался, начал розыски обидчика и «довольно быстро установил, кто угрожал «растерзать», «разорвать», поскольку «миллионы невинно погибших нельзя вернуть к жизни», и подписался ветхозаветным именем. Как сыщик нашел он адрес, сунул в карман нож и выскочил из дома с сознанием того, что он находится сейчас в центре мировой истории. В такси он ясно представил себе, что произойдет дальше: он нанесет удар ножом в сердце, исполнив акт законного возмездия. (Времени для раздумий было достаточно: поездка на другой берег реки оказалась долгой.) Переступив порог автора письма, он почувствовал, однако, гротескность ситуации. Он не убьет: не тот случай. И чувствует он только слабость в суставах. Он проходит в глубь дома, и вот стоят они друг против друга, строя хитрые гримасы; каждый даже чувствует себя немного польщенным: один — потому что поразил своей способностью разгадать происхождение письма, а другой — тем, что его приняли всерьез. Вместе выходят они из холодной квартиры, идут на ближайшее кладбище, прогуливаются там, беседуют о многом и понимают, что врагами им не быть, но и близкими никогда». На свете живут не одни только близкие, главное, чтобы не было в мире вражды. Брататься не обязательно, достаточно взаимного понимания, уважения, терпимости.

Девочку перевели в другую (обычную, французскую) школу, но и здесь ей неуютно. Опять новая на этот раз церковная школа. В конце концов отец понимает, что «надо возвращаться туда, где говорят на родном языке, и как можно скорее». Домой, домой! «Только вернувшийся восвояси живет действительной жизнью!» Так забота о чаде

вернула писателя своему народу. И отец спрашивает в конце повествования свою дочь: «Ты еще дитя или уже немка?»

При этом уроки истории не забыты: призрак собственного расизма витает кошмаром в немецкой памяти, здесь недопустимы никакие компромиссы. Девочке десять лет, она учится теперь в родных краях и каждый день по дороге в школу видит в лесу скворечники, помеченные свастикой. Никто на нее не обращает внимания, но девочка обеспокоена и предлагает отцу замазать зловещие знаки. «Полдня они проводят на деревьях с кистью и краской. Дело пустячное, кто подбадривает их одобрительными возгласами, а кто кидает мрачные, мстительные взгляды».

Четвертая часть тетралогии — «Путями Деревни» — появилась осенью 1981 года. Драматическое стихотворение — так определил Хандке жанр своей новой работы. Точнее было бы назвать ее ораторией в прозе. Это пьеса, но лишенная действия, герои не столько беседуют, сколько произносят монологи, выражаясь в основном прозой весьма торжественной, иногда высокопарной. В указаниях для актеров автор, правда, требует «внутренней иронии», но текст ее не содержит. Мелкий семейный эпизод поднят здесь до уровня античной трагедии, хотя ничего трагического не происходит.

Вначале некто Нова, олицетворяющая собой «новое», «грядущее», представляет героя:

Он ценил свой покой
и не рвался домой,
За мо́рем жил,
ни о чем не тужил,
Зритель беспечный,
баловень вечный,
Спутник без тени,
для всех молодец,
Где ж оказался ты наконец?

Грегор (так зовут героя) оказался на родине. Он получил письмо от младшего брата Ганса в котором тот просит его отказаться от доставшегося ему в наследство по праву старшинства дома и земельного участка, чтобы их сестра, работающая продавщицей, могла открыть собственное дело. Далее следует выяснение родственных отношений. Когда разговор заходит о будущем, Ганс печально констатирует: «Мы не на ложном пути, потому что у нас вообще нет никакого пути». Как бы опровергая это, Нова произносит заключительный спич во славу труда мира и сельских начал жизни. «Не верьте тем, кто стремится ввысь, они — во власти прихоти ибо высочайшую вершину нельзя завоевать, разве что прогуляться по ней. Пусть будет вашей мерой восходящее солнце, только «солнце и вы», оно укажет вам путь и поможет. Природа — единственное, что я могу вам пообещать и сдержать свое обещание... Только народ творцов, каждый на своем месте, может обрести юность и радость... Небо без конца и без края. Деревня без края. И вечный мир близок... Внимайте голосу поэта. Идите друг другу навстречу. Путями Деревни».

Так Хандке пришел к своего рода «деревенской прозе». Он не зовет разрушить города и разбрестись по лесам и полям. Современное общество — городского типа, и не случайно вторая часть тетралогии «Уроки гряды Сент-Виктуар» завершается (после прогулки по лесу) знаменательным призывом: «Назад в город, назад к площадям и мостам к набережным и эстакадам, стадионам и радиопередачам, к колокольному звону и повседневным делам, назад к блеску золота и складкам драпировки».

Уйти от городской культуры нельзя, но сохранить ее как культуру можно, лишь двигаясь «путями Деревни», то есть приверженностью традиции, руководствуясь ее веками сложившимися простыми законами нравственности, бережным отношением к природе.

Возврат к традиции сегодня — форма антифашизма. Коричневая угроза не исчезла. Однако нынешние штурмовики не рядятся в национальные одежды. Неонацизм существует на деньги наднациональных, межгосударственных монополий, своих сторонников он вербует из деклассированного всеевропейского отребья.

Читая тетралогию Хандке, я думал о «Комиссии» Залыгина, о «Ладе» Белова, о повестях Астафьева, Распутина, Абрамова и других наших «деревенщиков». Альпийские крестьяне у Хандке философствуют, как сибирские мужики Залыгина, поэзия народной традиции одинаково дорога каждому из них. Конечно, в каждой стране свой народ, своя «деревня» (а в ней свое хорошее и свое плохое), но есть и нечто общее — пути культуры и мира.

Критика приняла последнюю вещь Хандке сдержанно. (Мне удалось ознакомиться лишь с первыми газетными рецензиями.) Уж очень идиллична нарисованная картина. Но все признают, что писатель передает «новейшее настроение на Западе». Опасения за судьбу культуры владеют многими. И не только один Хандке «возвращается» к традиционным ценностям. Этим путем идет и Мартин Вальзер, отмеченный в 1981 году Бюхнеровской премией. Имя Мартина Вальзера известно советскому читателю, у нас выходили его пьесы, а одна из наиболее удавшихся его повестей «Бегущая лошадь» (в списке «лучших книг» — первое место в марте 1978 года) разбиралась на страницах «Иностранной литературы».

Вручение премии состоялось в Дармштадтской академии немецкого языка и литературы на следующий день после вручения в Кёльне премии Вайсу. Я встретился с Вальзером на приеме, устроенном издательством «Зуркамп» в его честь. Среди приглашенных — писатели, бюхнеровские лауреаты прошлых лет, журналисты, художники, критики. Вместо приветственного слова американский германист профессор Э. Хеллер прочитал отрывок из своего эссе о Ницше, которым заканчивался апологией Достоевского как гуманиста.

Затем начался общий разговор о русском классике, столетие со дня его смерти уже исполнилось, а стошестидесятилетие со дня рождения приближалось. Юбилейная шумиха «года Достоевского» в ФРГ не обошлась без сомнительных характеристик и сенсационных нелепостей. Газета «Ди цайт» (в номере от 6 февраля) опубликовала беседу с неким «знатоком русской души»,

который заявил, что, по Достоевскому, «человек — это вошь, не более того». Хотелось бы думать, что это все издержки юбилея. В Западной Германии есть и знатоки Достоевского. В Тюбингенском университете интересный спецкурс по Достоевскому читает профессор Людольф Мюллер, он же выступает инициатором подготовки нового Полного собрания сочинений русского классика в улучшенном переводе и обстоятельно комментированного (с использованием опыта 30-томного советского издания). Мне называют другое имя — Райнгард Лаут. Это мюнхенский профессор, выпустивший еще в пятидесятые годы фундаментальный труд «Философия Достоевского». В издательстве «Зуркамп» вышли к юбилею две книги — сборник «Достоевский в Швейцарии» и исследование Ф. П. Ингольда «Достоевский и еврейство», где опровергается ставший расхожим тезис об антисемитизме русского классика.

Я спрашиваю Мартина Вальзера, как он относится к Достоевскому.

— Это самый великий русский писатель. Но мне ближе Гоголь. У Гоголя я учился.

И тут же задает вопрос мне:

— Почему марксизм враждебен религии?

Проблема религии волнует западную интеллигенцию. Об этом пишут, об этом говорят. Религия выходит из храма божьего на улицу. В павильонах книжной ярмарки мне довелось слышать не только политических ораторов, протестовавших против кровопролития в Иране, требовавших убрать американские ракеты из Европы, но и юных проповедников, призывавших вернуться к Христу. В 1982 году книжная ярмарка во Франкфурте будет посвящена теме «Вчерашняя религия в сегодняшнем мире».

У Вальзера интерес к религии выражен сильнее, чем у Хандке. Свое выступление при получении Бюхнеровской премии он назвал «Отчего умирает бог». Он говорил о нравственном упадке западной цивилизации, об инфантильном безразличии людей друг к другу. «Молокосос, который поносит окружающий мир — вот наш образец. Для молокососа бог не умирает: он сам себе собственный бог. Не пустота безбожия страшит его, а ближний, другой человек. Для того, кто видит в себе бога, другой человек — это исчадие ада. То, что Вальзер понимает под богом, мы называем духовными ценностями и сызмальства стараемся привить их членам нашего общества.

Об этом я сказал Вальзеру. Веротерпимость и свобода совести — вот что отличает марксистское миропонимание.

Я прошу Вальзера написать для нашей прессы несколько приветственных слов. Он обещает, но говорит, что надо подумать, сейчас он устал, разве что завтра утром... Утром он уезжает, не оставив записки.

Однако на следующий день от него приходит телеграмма, содержащая привет советским читателям: «Было время, когда могло показаться, что нет необходимости напутствовать приветами советского гражданина, повстречавшегося мне в Федеративной Республике Германии. А теперь крайне необходимо приветствовать друг друга через границы, чтобы не возникли образы вражды».

В Бюхнеровской речи Вальзера содержится тревога по поводу современной политической и культурной ситуации, гонки смертоносного вооружения, вмешательства во внутренние дела других стран. «Тем, кто считает, что на земле складывается безвыходная ничья, надо сказать: сегодня встает вопрос не о том, чтобы установить правильный образ жизни а о том, чтобы воспрепятствовать ложному образу смерти — от атомной бомбы». Мудрые слова, открывающие путь к взаимопониманию.

На приеме в честь Вальзера меня познакомили еще с одним писателем. Небольшого роста седой человек с мягкими движениями и добрыми глазами протянул руку и сказал:

— Ленц.

Я назвал себя и стал говорить, что его роман «Урок немецкого» пользуется у нас широкой известностью. Он перебил меня:

— Вы имеете в виду Зигфрида Ленца, а я — Герман Ленц.

Возникла неловкая пауза, хозяйка дома, которая свела нас, начала извиняться, что не предупредила меня. Герман Ленц улыбнулся, взял меня под руку и сказал, что моя ошибка извинительна: в Советском Союзе его не знают.

(До недавнего времени он был мало известен и у себя на родине. Зигфрид Ленц — автор бестселлеров, а имени Германа Ленца нет даже в списках «лучших книг», что, впрочем, свидетельствует лишь о возможных ошибках: в 1976 году Герман Ленц был отмечен премией Бюхнера. В нашей «Истории литературы ФРГ» Зигфриду Ленцу посвящена специальная глава, а Герману — несколько абзацев, как и другому бюхнеровскому лауреату — Хильдесхаймеру.)

Хотя его книги на русском языке не издавались говорит Герман Ленц, сам он однажды оказался героем русского произведения — своего рода документальной прозы. Во время войны его отправили на Восточный фронт, он угодил простым пехотинцем в волховские болота. Дело было в 1944 году, немцы еще находились в глубине России, но война явно шла к концу. В этом духе он однажды высказался своему товарищу, а тот попал вскоре в плен и рассказал о настроениях и словах Ленца. В результате появилась русская листовка, обращенная к солдатам 212 дивизии, в которой, он помнит ее дословно, говорилось: «Ефрейтор Ленц 6-й роты 316 пехотного полка сказал: «Русские прорвутся в Восточную Пруссию. Война кончится через полгода». Ефрейтор Ленц прав».

К тому времени Ленц уже не служил в роте, его перевели в штаб дивизии писарем. Он только что вернулся из отпуска, когда листовка попала к его начальнику. К счастью, тот оказался порядочным человеком и постарался замять дело.

Вся эта история с листовкой описана в последнем романе Ленца «Новое время». Героя зовут Рапп, но книга в значительной степени автобиографична и аутентично передает настроение немецкой интеллигенции в третьем рейхе. Рапп — студент-искусствовед, фашистские бонзы дают ему в руки винтовку и посылают его на войну. Перебежать к русским? Он не уверен, что в плену его встретят с распростертыми объ-

ятиями. Он довольствуется пока сознанием, что у него нет ненависти к противнику, что он никого не убил, и надеется, что так будет и дальше. Когда подвернулась возможность, Рапп помогает русской девушке избежать отправки в Германию. Конвоируя литовского партизана, он готов отпустить его и выстрелить в воздух. У него не хватает мужества для открытого сопротивления и протеста, но посильными актами саботажа он вносит свой вклад в общую борьбу. В конце концов Рапп сдается американцам, работает на полях Аризоны и затем благополучно возвращается домой.

Не у Ленца ли заимствовал Хандке идею «возвращения домой» из заморского плена чужеродных иллюзий? В свое время (в 1972 году) именно Хандке «открыл» Германа Ленца для читающей публики. Он напечатал на страницах «Зюддойче цайтунг» обширную статью о писателе, которого почти не замечала литературная общественность и чьи книги не находили спроса. Хандке рассказал как он читает Ленца, что вынес из этого чтения «У меня возникло при чтении переживание детства — как будто все пропавшие без вести вернулись домой». Свою программную книгу «Уроки гряды Сент-Виктуар» Хандке посвятил Герману Ленцу «с благодарностью за январь 1979 года». Первая часть тетралогии «Медленное возвращение домой» увидела свет осенью того же года

«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки... Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Екклесиаст был неправ: даже на заре цивилизации время шло вперед.

Просто путь в будущее лежит через прошедшее: общество неизбежно оглядывается назад, обращается к культурной традиции в поисках ответа на встающие перед ним проблемы, в поисках пути.

Сегодня это особенно актуально. Ибо возникло «под солнцем» нечто такое, чего никогда еще не было в истории,— угроза истощения материальных ресурсов человеческого бытия. Литература и философия давно уже подметили, что безудержное, нерегулируемое развитие техники и производства таит в себе роковые последствия. Сегодня проблема прогресса привлекла внимание точных наук. Достигнутые результаты обескураживают тем более, что перед нами не туманные пророчества, а строгие расчеты, построенные по принципу «если — то».

В свете таких размышлений обретают более глубокий смысл и интерес к истории Хильдесхаймера, и «деревенские» искания Хандке. В них не ностальгия по прошлому, не попытки повернуть общество вспять, а забота о том, как сочетать наше движение вперед с традиционной системой ценностей, веками обеспечивавшей равновесие в системе человек — природа. В ФРГ ширится движение так называемых «зеленых», главной заботой которых является сохранение окружающей среды. Пока они не сложились как политическая партия, но голоса их слышны все громче, и призыв Хандке идти «путями Деревни» сливается с ними.

В ногу с утопией всегда марширует антиутопия, социальный оптимизм порождает пессимизм и скепсис. Для последних сегодня условия благоприятствуют, и я уже упоминал имя носителя подобных настроений— Томас Бернгард.

У нас он почти неизвестен[1]. Между тем это писатель масштаба Хандке. И сегодня— своеобразный его антипод, как бы анти-Хандке. Действительно, Хандке «вернулся домой», считает, что прочно там утвердился, верит в человека, в его способность понять другого, жить в сообществе. Бернгард «бродит по свету», во всем сомневается, всюду видит распад, его герои — люди неполноценные, обреченные на одиночество и пустоту «Имитатор голосов» Бернгарда — сборник коротких историй, каждая из которых завершается либо смертью, либо сумасшествием Последняя притча называется «Вернулся домой», речь идет об известном художнике, который уехал в заморскую страну, потом, «измученный тоской по родине», вернулся восвояси и ныне коротает дни . в психиатрической больнице. Только то обстоятельство, что притча «Вернулся домой» появилась на год раньше «Медленного возвращения домой», не позволяет считать ее ответом на первую часть тетралогии Хандке.

В 1981 году Бернгард опубликовал две пьесы. В одной из них — «Тихие вершины» рассказывается о знаменитом писателе, завершившем некую тетралогию. С ним носятся все: журналист, приехавший взять интервью, ловит каждое его слово; докторантка, сочиняющая о нем диссертацию, делает десятки его снимков; издатель всячески его превозносит, а писатель твердит банальности, повторяет чужие мысли, и вся его тетралогия — звук пустой.

Другая пьеса Бернгарда — «У цели». Ее главная героиня пожилая эгоистичная дама (вся пьеса по сути дела один растянувшийся ее монолог, в котором раскрывается ее мелочная натура) бросает реплику, ставящую под сомнение возможность обрести будущее: «Существует ли какой-либо человек, знающий путь?» Я не хочу сказать, что Бернгард полемизирует здесь с Хандке (героиня которого Нова такой путь указывает). Но две различные трактовки вопроса налицо.

Общество встало сейчас перед глобальными проблемами. И главная из них — «быть или не быть» человечеству. Художественная литература все более непосредственно обращается именно к этим проблемам. Писатели, которые стремятся к взаимопониманию и сотрудничеству, апеллируют к гуманистической традиции и верят в торжество разумного начала,— наши единомышленники и соратники. Имя им легион. Многие книги, привезенные из Франкфурта,— красноречивое тому свидетельство.

[1] Новелла Т. Бернгарда «Мидленд в Стильфсе» вошла в сборник «Австрийская новелла XX века», М., 1981.

Культура и современность

«МЫ С ВАМИ ОДНОЙ КУЛЬТУРЫ...»

С тех пор как в 1969 году, после разгрома мирной демонстрации жителей католического гетто в Белфасте, вновь необычайно остро встал североирландский вопрос, практически ни одно периодическое издание, выходящее на Британских островах, не обходится без репортажа, освещающего события в Ольстере, без пространных обзорных и аналитических статей, предлагающих подчас самые противоречивые решения ольстерской проблемы. В этом потоке жанр культурологической статьи кажется неуместным, трудно представить, что ольстерский кризис может осмысляться как проблема по преимуществу культурная.

А между тем именно так берется трактовать североирландскую проблему ольстерский протестант Джон Арчер в статье с прямо-таки парадоксальным заглавием «Культурные параметры северной проблемы» и не менее парадоксальным «резюме», предпосланным этой публикации: «Ольстерская проблема скорее культурная, чем политическая...» Джон Арчер считает, что в в первую очередь следует обратить внимание на культурную ограниченность англичан чан и ирландцев-националистов. По мнению автора, миссия ольстерского протестанта состоит в том, чтобы расширить культурный кругозор своих более ограниченных соседей».

Поначалу кажется даже, что редакция газеты «Айриш таймс», поместившая статью, намеренно — как это водится для привлечения читателя — сгустила краски, предельно заострила (если не извратила) смысл статьи. В самом деле, трудно себе представить, что автор, на глазах у которого происходят взрывы бомб, демонстрации, обыски, голодовки— столь привычные атрибуты жизни североирландских городов,— может всерьез сводить ольстерский вопрос к «культурной ограниченности». Однако уже в первых абзацах Арчер самым недвусмысленным образом дает понять, что для него проблема Ольстера в самом деле чисто культурного свойства; более того, он берется убедить читателя, что именно культурологическое ее прочтение может дать осязаемые результаты:

> «Эту проблему всегда принято было рассматривать как политическую, ей и занимались политики, а между тем в основе своей это проблема, относящаяся к сфере культуры, а вовсе не политики».

С одной стороны, подобная постановка вопроса не может не вызвать законного любопытства — информация об остром течении хронического североирландского заболевания, мягко говоря, «не укладывается» в сферу культуры: террор оранжистской «Ассоциации обороны Ольстера»; ответные террористические акции временной ИРА («провижоналс»); карательные операции двадцатитысячного английского экспедиционного корпуса, обеспечивающего действие «чрезвычайных законов» в автономной области; жесточайшая дискриминация католической трети населения Ольстера; ограждение католических кварталов от протестантских колючей проволокой и заборами, цинично прозванными «линиями мира»; голодные забастовки заключенных республиканцев в «Эйч»-блоке белфастской тюрьмы; применение «методов физического воздействия» к мирному населению,— словом, вся североирландская ситуация расценивается всеми обозревателями как политический кризис, а никак не культурный.

С другой стороны, статья с таким названием вызывает и столь же законное пред-

убеждение — в англо-ирландской прессе и без того нет недостатка в чисто теоретических статьях, исследующих политический, исторический, идеологический, религиозный (а теперь и культурологический) аспекты ольстерской проблемы и сторонящихся практических решений. Пространных рассуждений о «единых культурных истоках», которые призваны покончить с религиозной несовместимостью протестантов и католиков, разумеется, и до Арчера было довольно. Хотя очевидно, что не «культурное разобщение», а политика экономической дискриминации по отношению к католическому меньшинству порождает ожесточение одних и разлагающее чувство превосходства у других.

В обстановке постоянно растущей в Ольстере с 1969 года политической и социальной напряженности в Ирландской Республике все чаще заходит речь о национальном ирландском самосознании. Однако призыв к национальному единению не оказывает в Северной Ирландии 80-х годов того магического действия, какое он оказывал во время ирландской национально-освободительной революции 1919—1921 годов, когда национальные интересы в известном смысле идентифицировались с классовыми; более того, этот призыв только усугубляет многовековую религиозную вражду. В свое время в Ирландии существовало тождество между национальной и конфессиональной принадлежностью (ирландец-католик). Причем эта, казалось бы, внеклассовая модель была по большей части политически обусловлена, так как в драматической ирландской истории социальные антагонизмы тесно переплетались с межнациональными противоречиями. Сегодня если следовать некогда принятой в Ирландии формуле «соотечественник-единоверец», то пришлось бы делить североирландское население по абсурдной логике: «я католик, а стало быть, ирландец», «я протестант, а стало быть, англичанин». Арчер также выступает за прекращение внутринациональной распри на базе ирландского национального самосознания, однако он — как и большинство ольстерских протестантов — склонен трактовать это понятие гораздо шире; он пытается представить ирландскую культуру лишь частью магистрального культурно-исторического наследия, которое он определяет как «англо-американская культура»; на почве «единой англо-американской культуры» он берется «примирить» католиков и протестантов. От этого Арчер, разумеется, не становится меньшим почвенником, чем ирландские изоляционисты, — он попросту впадает в иную, «проанглийскую», так сказать, крайность, которая выражается в не менее абсурдной логике: «католики и протестанты — все англичане».

Основные надежды в «культурном» решении ольстерского вопроса Арчер возлагает на ольстерских протестантов, которые

> «рассматривают ирландский сепаратизм как явление регрессивное, а свою принадлежность к англичанам — как неокончательную»,

а стало быть, могут стать тем самым связующим звеном, той золотой серединой (их взгляды не укладываются ни в рамки британского шовинизма, ни ирландского националистического сектантства), на которой могли бы сойтись противоборствующие стороны, осознав, что им, в сущности, нечего делить. В этой связи возникает естественный вопрос: а много ли найдется в Ольстере людей, которые готовы забыть про уходящий в века социальный и религиозный антагонизм, отказаться от предубеждений, с ним связанных, и по-христиански раскрыть объятия тем, кто еще совсем недавно слыл «недобитым папистом» или «юнионистским подонком и нехристем» на том лишь основании, что их роднит англо-американское культурное наследие? Не является ли это столь обязывающее для автора и довольно невнятное для читателя словосочетание попросту пустым звуком для большинства людей, замешанных в ольстерском кризисе?

> «Как ольстерский протестант,— пишет Арчер,— я расцениваю сложившуюся ситуацию как неблагоприятную».

В этом, по крайней мере, с автором никак нельзя не согласиться — ситуацию в Ольстере благоприятной никак не назовешь. Но и в этой «неблагоприятной» ситуации Арчер усматривает необъятные возможности, открывающиеся для ольстерских протестантов.

> «Возникает чувство,— продолжает он,— что новые трудности порождают новые возможности».

Получается, что тяжелое положение, в котором оказались протестанты Ольстера (что тогда говорить о католиках!), дает им «право на особые притязания»: стать тем авангардом, за которым потянутся все ирландцы в лоно англо-американской культурной традиции. Стало быть, если только ольстерские протестанты осознают (чего пока что не происходит) в высшей степени благородную миссию, возложенную на них Арчером, то дело останется за немногим:

> «Все дело сведется лишь к тому, чтобы преодолеть культурную ограниченность других народов, населяющих наш архипелаг».

В самом деле, что может быть проще, чем преодолеть культурную ограниченность народов! В «светлом будущем», которым грезит Арчер — заметим, что нынешняя ситуация в Северной Ирландии не дает ему ни малейших оснований уповать на него,— уже нет ни ирландцев, ни англичан, ни католиков, ни протестантов. Есть только народы, «населяющие наш архипелаг». Каждая субкультура, по мнению Арчера, должна раствориться в единой англо-американской культуре, изжить свои «национальные комплексы», влиться в единый поток англо-американского культурного наследия, умерить и преодолеть свои узконациональные притязания, Арчер даже вводит свой термин для определения подчиненной субкультуры — «прирученный национализм». До революции 1919—1921 годов Великобритания являла собой единый культурный архипелаг «прирученных национальных меньшинств».

С этим временем Арчер связывает свои самые ностальгические воспоминания:

«В свое время образованные люди на Британских островах были теснее связаны друг с другом, чем теперь... единодушно считалось, что архипелаг представляет собой единое целое. Внутри него были субкультуры, но они не выделялись как самостоятельные...»

Итак, всему виной — ирландская революция, она, правда, дала независимость своей стране, освободила ее от многовековой эксплуатации, но зато разобщила «архипелаг британской культуры». По Арчеру, до «разрушительных событий 10—20-х годов» британский архипелаг являл собой единое культурное целое, в котором каждое из «приручeнных меньшинств» вносило посильный вклад в британскую культуру, целиком опираясь на английское национальное культурное наследие и пренебрегая своим собственным:

«В этом едином, обширном мире для многих ирландцев было вполне естественным выделяться в национальной жизни. Они были ирландцы, но в еще большей степени они были британцы».

В этом высказывании в первую очередь обращает на себя внимание понятие — «национальная жизнь». Получается, что за неимением своей собственной национальной жизни — Арчер решительно отказывает в ней Ирландии — лучшие представители «ирландской субкультуры» вливаются в магистральное течение культуры английской, служат тем самым единым интересам культурного архипелага. И это при том, что ирландской культуре во все времена, несмотря на зависимое, подчиненное положение Ирландии — жестоко эксплуатируемой колонии (а во многом и благодаря этому положению), была свойственна подчеркнутая автономия, обостренное чувство национальных корней, ориентация на мифологические истоки кельтской культуры, мощный национально-освободительный пафос. Помимо англо-ирландской литературной традиции, давшей Англии (и миру) такие имена, как Свифт, Голдсмит, Шеридан, Уайльд, Шоу,— писателей, не только влившихся в английский литературный процесс, но и привнесших в него своеобразие ирландской культуры,— в Ирландии задолго до революции начала XX века существовала национальная культура; культура, не только не привязанная к английской традиции — этого как раз и не желает учитывать Арчер,— но и отталкивающаяся от нее. Достаточно вспомнить в этой связи поэтов, прозаиков и публицистов, группировавшихся в XIX веке вокруг революционно-демократической организации «Молодая Ирландия» и журнала «Нейшн», родоначальников современной ирландской прозы Дж. Гриффина, У. Карлтона, семейно-бытовые романы Марии Эджуорт, наконец, идеологов, поэтов, прозаиков и драматургов движения «ирландское литературное Возрожденне», творчество которых стало частью мировой литературы: У. Б. Йитса, Джона Синга, Джеймса Джойса, Шона О'Кейси.

Впрочем, у Арчера имена Йитса и Джойса попадают в совершенно иную «обойму». У. Б. Йитс — крупнейший англоязычный поэт XX века, идеолог и вдохновитель ирландского Возрождения, создатель новой ирландской литературы — вместе с Бернардом Шоу попадает у Арчера в перечень «британских» ирландцев, ирландцев по происхождению и англичан, что называется, по призванию. Список, составленный из государственных деятелей, крупных адвокатов, банкиров, военачальников, деятелей культуры, призван, по мысли автора, не столько продемонстрировать весомый вклад ирландцев в английскую историю и культуру, сколько показать, какие неограниченные возможности предоставляла Англия ирландским дарованиям, которые, не приюти она их у себя, так и остались бы нераскрытыми. Позиция автора состоит в том, что ирландская национальная история и культура не имеют права на самостоятельное существование, они нерасторжимыми узами соединены с Британией, подчинены ей, обязаны ей своими высшими достижениями. О том, кому «обязана» Ирландия своим многовековым нищенским прозябанием, Арчер предпочитает умолчать. В результате крупнейший национальный ирландский поэт оказывается не в одном ряду с Уолфом Тоном, О'Коннелом, Парнеллом, Дугласом Хайдом, а с герцогом Веллингтоном, любившим говорить, что называть его ирландцем только потому, что он родился в Ирландии,— все равно что обзывать человека лошадью только потому, что он родился в конюшне.

«Ни тот ни другой,— пишет Арчер о Йитсе и Шоу,— не были провинциальными художниками, ибо внесли свой вклад в культуру метрополии».

На самом же деле все было (и бывает) ровным счетом наоборот — Йитс «внес свой вклад в культуру метрополии» именно потому, что он был неразрывно — идеологически и эстетически — связан с ирландской национальной культурой; его значительный вклад в английскую литературу (равно как и вклад Синга, Джойса, О'Кейси, О'Фаолейна) обусловлен в первую очередь национальным своеобразием его дарования. Говорить о Йитсе лишь как об английском поэте, как это делает Арчер, забывая о его происхождении и, главное, о тематике и содержании большинства его поэтических, драматургических и прозаических произведений, всецело проникнутых пафосом борьбы Ирландии за национальную независимость,— значило бы откровенно игнорировать многие социальные и художественные аспекты его творчества, принизить его вклад в мировую поэзию и драматургию. Подобно тому как подчеркнутое национальное своеобразие в творчестве бельгийцев Метерлинка и Верхарна дает им право именоваться великими франкоязычными писателями, богатейший национальный колорит Йитса, Синга, Джойса дает им право называться великими англоязычными писателями.

Примерно такой же «перекос» допускает Арчер и с Джойсом. По мнению Арчера, Джойс — это прежде всего ярый противник

«ирландской культурной самодостаточности... Всегда следует иметь в виду,— пишет Арчер,— что Джеймс Джойс — это единственный современный литературный гений, которого дала миру Ирландия, который ратует за космополитическое и антикатолическое направление в развитии ирландской культуры. Его «non servitum»[1] не совсем одно и то же, что протестантское «ich kann nicht anders» [2], однако и той и другой позиции свойственно более рациональное отношение к вопросу о развитии Ирландии; ни та, ни другая позиция не идентифицируется с культурным сепаратизмом».

В этом высказывании Арчера есть лишь доля истины: действительно, Джойс активно выступал против того явления в послереволюционной Ирландии, которое Арчер очень точно определил как «стремление к культурной самодостаточности»; действительно, Джойса можно считать в известном смысле сторонником космополитического и антикатолического направления в современной ирландской культуре, однако джойсовское «non servitum» определяется более узкими, чисто художественными задачами; писатель противостоит не ирландскому сепаратизму, как таковому, но ограниченности всякой узконационалистической государственной идеологии (вовсе не обязательно ирландской), проявляющейся в частности в цензурных запретах. Для Джойса-художника (Арчер совершенно не учитывает, что как художественное явление Джойс — в чистом виде порождение ирландской национальной традиции) в равной степени неприемлемы жесткие рамки «культурной самодостаточности» и пуританский ригоризм англо-американской протестантской культуры.

Так, в попытке представить крупнейших ирландских художников XX века Йитса и Джойса английскими писателями по преимуществу, которые ориентировались на английскую литературную традицию и пренебрегали традицией ирландской, проявляется та же необоснованность и бездоказательность, как и в стремлении изобразить ольстерский кризис прямым следствием «культурного раскола британского архипелага», свести ольстерскую проблему к культурной ограниченности и религиозному фанатизму, якобы порожденным разрушительной «бойней» 20-х годов (как называет Арчер гражданскую войну в Ирландии).

Арчер напрочь отрицает все культурные достижения, которых добилась независимая Ирландия. С точки зрения автора, отсутствие «живительных» корней английской культурной традиции самым пагубным образом сказывается на развитии «провинциальной» ирландской культуры:

> «Британский архипелаг был политически расколот в 20-е годы, и этот политический раскол повлек за собой нарушение культурных связей. Как мне представляется, в обеих частях Ирландии в это время безраздельно царили варварство и религия. Тот факт, что ирландское свободное государство создало независимое культурное тождество, оградив себя тем самым от остального мира, не мог самым пагубным образом не сказаться на развитии страны. Нет нужды распространяться по поводу того, сколь пагубным было концентрировать внимание школьников исключительно на ирландской истории и географии или на возрождении ирландского языка. В результате такой политики население лишилось своего цементирующего наследия. Хорошо еще, что Би-Би-Си пользуется большой популярностью в республике, но радио не может заменить более значимых культурных основ».

Остается только посочувствовать жителям Ирландской Республики, которые прозябают на голодном пайке кельтской мифологии и жизнеописаний ирландских святых и которые вынуждены утолять свой нестерпимый культурный голод посредством скудных интеллектуальных инъекций, осуществляемых культуртрегерами из Би-Би-Си. Смысл этой «культурно-исторической» концепции понимается однозначно: в старые добрые времена, находясь под благотворным воздействием англо-американской культурной традиции, Ирландия экспортировала художественные таланты, а теперь, оградившись от «магистрального наследия» изоляционистской политикой «культурной самодостаточности», экспортирует исключительно террористов и религиозных фанатиков...

В своей статье Арчер сетует на то, что ольстерские протестанты оказались в изоляции: никто не считает их своими — ирландцы числят их британцами, а британцы, увы, ирландцами.

> «Многие склонны забывать, что мы и те и другие. При всей их кажущейся заинтересованности, боюсь, что большинство заезжих (то есть английских.—*А. Л.*) интеллектуалов выражают чаяния «Малой Англии». Пора бы преодолеть эту привычную узость мышления».

Арчер говорит: «мы и те и другие», а между тем, как и большинство ольстерских протестантов, причисляет себя к британцам, не желая иметь ничего общего ни с католической Ирландией, ни с католическим меньшинством Ольстера. Больше всего он опасается, что сторонники «Малой Англии» сочтут ольстерских протестантов ирландцами и умоют руки — рабирайтесь, мол, сами. Именно на этом страхе — оказаться без поддержки английского оружия лицом к лицу с «папистами» — замешаны прекраснодушные рассуждения Арчера о той «культурной гармонии», в которой, «распри позабыв», могли бы жить ирландцы, объединись они, по примеру ольстерских протестантов, с другими национальными меньшинствами Великобритании на почве единства культурной традиции. В этих рассуждениях сказывается столь распространенное в Ольстере полнейшее небрежение чисто ирландским историческим культурным наследием.

[1] Не желаю служить *(лат.)*.
[2] Не могу иначе *(нем.)*.

Полемизируя с видным ирландским обозревателем Гарретом Фицджеральдом, убежденным в том, что

«между всеми ирландцами, протестантами и католиками, существует тесное духовное родство, потому что и те и другие живут в соответствии с единым христианским наследием»,

Арчер с раздражением замечает:

«Культурные связи, о которых говорит доктор Фицджеральд, основываются на сомнительной жизненности христианства и на дружественном, идиллическом сельском обществе. Интеллектуальные и нравственные факторы, которые в основном будут оказывать влияние на всех ирландцев, обусловлены, напротив, культурой городской и англо-американской.

С точки зрения ольстерского протестанта, вопрос не в том, почему он британец, а в том, почему бы всем остальным жителям архипелага не быть британцами».

В самом деле, почему бы ирландцам не причислять себя к британцам?! Почему бы им не влиться в единую семью архипелага, говорящую на одном языке? Что им, в сущности, мешает? Арчер пишет об этом так, как будто у ирландцев не было на то достаточных оснований, обусловленных всем ходом их кровавой истории, в которой англичанина принято было воспринимать поработителем, а никак не соотечественником. В той поистине поразительной легкости, с какой Арчер предлагает ирландцам забыть свою историю ради «преодоления культурной ограниченности», сказывается нежелание учитывать одну из наиболее характерных черт ирландского национального характера — верность исторической памяти; именно исторической памяти ирландцы в первую очередь обязаны своей неувядаемой жизнестойкостью позволившей уберечь самобытную культуру народа, прозябавшего в течение многих веков под гнетом карательных законов, истребительных войн, голода, эпидемий жесточайшей эксплуатации.

Неудивительно поэтому, что слова профессора колледжа Святой Троицы в Дублине Лайонза:

«стоит ли стремиться в будущее, если оно сулит нам единственную и весьма неутешительную перспективу быть подхваченными «сточными современными водами» (слова У. Б. Йитса.— А. Л.) англо-американской культуры»,—

воспринимаются Арчером лишь как «расхожая дублинская монета».

Логика, которой руководствуется Арчер в своей на первый взгляд миротворческой статье, мало чем отличается от логики создателей оранжистского ордена, призванного защищать протестантизм, отстаивать нравственность, поддерживать законность и порядок. В пору его создания (1795 год) лозунг защиты нравственности, законности и порядка воспринимался как борьба с «Объединенными ирландцами» Уолфа Тона, угрожавшими метрополии беззаконием и беспорядками. Этому лозунгу двухсотлетней давности верен и Арчер — ольстерские протестанты остаются единственным оплотом законности нравственности и порядка (в его смягченной формулировке — «единственные наследники англо-американской культурной традиции»);

«ирландские католики, напротив, из-за своей ограниченности ратуют «без всяких на то оснований» за самостоятельный путь развития Ирландии, чем только способствуют разобщенности, сеют смуту, подстрекают к террористическим действиям. Воссоединение страны, преодоление религиозной несовместимости возможно, стало быть, лишь на следующих условиях: отрицание права Ирландии на автономное существование, сохранение в стране верности юнионистским принципам, превознесение протестантского жизненного уклада и протестантской культуры как единственно приемлемых для будущей единой Ирландии».

Если таковы условия для воссоединения страны, то может статься, прав Лайонз, задавшись вопросом: «А стоит ли тогда стремиться в будущее?»

Как известно, чтобы избежать укуса ядовитых зубов, Маугли всякий раз шептал магическое Змеиное Слово: «Мы с вами одной крови, я и вы». Этому сказочному заклинанию в известном смысле созвучен и пафос статьи Джона Арчера. «Мы с вами одной культуры, я и вы»,— пытается убедить он своих соотечественников. Однако этот «довод», столь действенный у Киплинга, не только не способствует урегулированию ольстерского кризиса, но лишний раз подтверждает, что до тех пор, пока будут бытовать иллюзии, подобные той, которой тешит себя автор статьи «Культурные параметры северной проблемы», «больной» ирландский вопрос так и останется неразрешенным.

А. ЛИВЕРГАНТ

Публицистика

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

ДИМИТРОВ: ЖИВОЙ И В БРОНЗЕ

К 100-летию со дня рождения

Я часто думаю: что происходит с прошлым, что с ним случается? Как и память, оно, мне кажется, остается с нами. Память о прошлом всегда была и будет непременной частью общественного самосознания культуры. Люди, народ без исторической памяти, человек без памяти — это противоестественное явление, нравственная искалеченность. Существует пословица о будущем, которое отбрасывает тень; прошлое часто представляется мне отброшенной будущим тенью, и, всматриваясь в минувшее, можно различить неясные очертания грядущего.

Прошлое человечества существует, пока мы помним о нем. Но если оно живо нашей памятью, то и мы не могли бы существовать как люди без памяти о прошлом.

Память о прошлом — это наше богатство, общечеловеческое достояние. Карл Маркс писал, что каждое поколение старается передать подрастающему свой опыт, но новым поколениям предстоит действовать в иных исторических условиях.

Необыкновенно важно, что этот принцип стал священным для социалистической культуры, что память, традиция — наше богатство, общегражданское достояние. Что мы без прошлого и памяти, без истории и добрых народных традиций? Человек — звено в цепи исторического развития, и его невозможно из нее вырвать. Эту истину настойчиво подчеркивала философия марксизма.

На болгарском Черноморье, неподалеку от древнего Созополя, вдоль морской кромки живописно раскинулось малоприметное на карте поселение Приморско. Щедро одарила природа эту землю: солнечное побережье, седые скалы и золотые пески в сочетании с густым лесным массивом. И море цветов.

Созопольские коммунисты, с которыми у меня давняя дружба, не однажды предлагали мне побывать в Приморско, посетить расположенный там международный молодежный лагерь. Но каждый раз поездка откладывалась из-за различных непредвиденных обстоятельств. И вот судьба неожиданно привела меня в этот заповедный край, давно уже привлекающий к себе зарубежных посетителей из стран Востока и Запада.

У самого въезда на территорию лагеря, на фоне лесной чащи предо мной возник простой и величественный памятник Георгию Димитрову. Монументальная фигура во весь рост. Только одна эта скульптура. Никаких посторонних сооружений, ничего лишнего, загромождающего. Бронзовое изваяние легендарной личности.

На мраморном пьедестале — живые цветы, свежие, нераспустившиеся бутоны бордовых роз и белоснежные водяные лилии. Цветы держали юноши и девушки, стоявшие у памятника. Сосредоточенные лица, пытливые взгляды. Что влечет их сюда, подумал я, какие мысли и чувства владеют ими? Что знают они об этом человеке, чья фигура отлита из темно-зеленой бронзы? Почему эти молодые люди из далеких и разных земель приходят к нему, принося цветы, долго стоят здесь в молчании?

И мне не хотелось уходить от памятника, расставаться с воспоминаниями о Георгии Димитрове, захлестнувшими меня. Мне мысленно представилось, как в других городах и странах люди общаются с образом бесстрашного Георгия Димитрова. Что обретают они в этом общении с памятью о легендарном революционере?

В жизни каждого человека бывают особо значительные события, всего смысла которых поначалу мы не можем постичь, но со временем, когда приходит зрелость мысли, они осознаются по-иному, во всей силе их воздействия на нас.

К счастью, память сохраняет первозданный смысл этих событий...

Димитров... Прежде всего это огромная личность, поражающая своей цельностью, мировоззренческой целеустремленностью, благородством. И мне хотелось рассказать незнакомым людям, которые стояли рядом, что человека этого посчастливилось мне однажды видеть, говорить с ним, испытав чувство восхищения.

Думалось мне, однако, что едва ли было уместно затевать подобный разговор. Меня скорее интересовало, что переживают они сами — те, кто теперь ищет общения с Димитровым, хотя, признаться, очень велико было желание произнести слова о человеке, перед которым преклонялся мир, чью несгибаемую волю не удалось сломить презренным фашистским тюремщикам.

Верно, мне хотелось сказать этим юношам и девушкам, что Георгия Димитрова вела по жизни великая заветная цель, именно она служила символом революционного его достоинства, человеческой гордости и счастья. Сказать им, что, когда борьба за осознанные идеалы, стремление к большой цели становятся смыслом существования, тогда человек вправе считать себя вознагражденным за испытания, быть счастливым. Вспомним слова М. Горького о том, что смысл жизни в красоте и силе стремящихся к целям и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель. Думал я о справедливости этих слов и о том, что, увы, немало еще встречается людей, живущих без цели, блуждающих в потемках, проходящих свой путь в мире, словно щепка в мутном потоке. Не они избирают свой путь, их, безвольных, несет стихия бытия...

А между тем разве не в стремлениях, не в страсти человека находит выражение его сущность и призвание, его судьба? Когда нет идеалов, устремленности к цели, нет и самой личности. Прискорбно, если вместо цели, идеалов, во имя которых он был бы способен биться насмерть, человек обнаруживает безразличие, безучастность, малодушно прячется за маской равнодушия... Древнее изречение гласит: бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют предательство и убийство.

Раздумья у монумента Димитрова в Приморско воскресили в памяти минувшее, мысленно перенесли меня в Москву, в рабочую комнату Димитрова, где он встретился с нами, небольшой группой слушателей Коммунистического института востоковедения имени Н. Н. Наримановa.

Шел 1935 год, второй после позорного спектакля, разыгранного германским фашизмом, потрясшего мир Лейпцигского процесса. В те дни сознанием нашим владели неустрашимые речи Георгия Димитрова, беспощадно обличавшего гитлеровских провокаторов и сфабрикованное ими обвинение болгарского коммуниста в поджоге рейхстага.

В памяти еще свежи подробности Лейпцигского процесса, затеянного нацистской верхушкой во исполнение планов гитлеризма — «воздвигнуть плотину против коммунистического наводнения», процесса, который Димитров сумел превратить в публичное разоблачение сущности «третьего рейха». Газеты всего мира обошел тогда знаменитый фотомонтаж немецкого художника Д. Хартфилда: огромный Георгий Димитров, опершись руками о стол, с усмешкой смотрит вниз на беснующегося пигмея в нацистской форме. И подпись: «Вы боитесь моих вопросов, господин премьер-министр?»

Много ли мог в ту пору знать я, студент востоковедного института, о Болгарии и болгарах помимо того, что славянство, а следовательно и я лично, благодарно навеки болгарским предкам за родную кириллицу. Моя первая учительница в пятигорской начальной школе рассказывала нам о древнем просветителе Кирилле-Философе, который обрел приют и нашел признание в Болгарии.

Короткий миг вблизи Георгия Димитрова... Навсегда врезалась в память встреча с человеком, который воспринимался нами как живое олицетворение легенды. Не остывает память об этом дне. Она жива осмыслением того, что́ есть несгибаемая твердость человека, мужество ума, воли и страсти. Твердость, предполагающая осознанную решимость...

Задолго до встречи с Димитровым меня охватило внутреннее волнение при мысли, что смогу увидеть человека, ставшего символом железной воли, преданности идеалам коммунизма, безмерной самоотверженности, и смогу пожать ему руку. Встречу коммуниста, бесстрашно вступившего в единоборство с фашизмом, который замахнулся в то время на судьбы мира и человечества.

Фашизм вынашивал планы подчинения Европы и всего мира своему террористическому, кровавому режиму. Человечеству угрожали нацизм и война. Оказать противодействие фашизму, защитить мир от нависшей угрозы — такова была главная задача времени, в качестве первоочередной стояла она и перед коммунистами...

Используя шовинистическую и социальную демагогию, фашизм стремился создать себе опору в массах и физически уничтожить тех, кто способен был сплотить антифашистские силы — прежде всего вожаков рабочих организаций и коммунистов.

В ночь на 27 февраля 1933 года зловеще запылал рейхстаг.

9 марта 1933 года Георгий Димитров был арестован и заключен в Моабитскую тюрьму.

«Дорогой друг Барбюс! — писал Димитров из тюрьмы.— Я вынужден сообщить Вам печальную новость. Начиная с девятого марта, я нахожусь под арестом... Меня, к несчастью, обвинили в том, что я предпринял попытку насильственным путем изменить государственное устройство германской империи, преднамеренно поджег здание рейхста-

га... причем совершил поджог с целью вызвать восстание... Прошу Вас, сообщите о моем настоящем положении также Ромену Роллану, так как я не знаю его теперешнего адреса...»

Что должен был передумать и пережить человек в фашистском застенке, не знающий, доходят ли его письма до адресатов, лишенный связи с внешним миром, извещенный лишь о том, что ему предстоит судебный процесс — и, как казалось тюремщикам, с заранее известным исходом...

И вот мы открываем дверь в его рабочую комнату. Димитров поднялся из-за письменного стола, вышел навстречу, поздоровался с каждым из гостей, тепло пожав руки. Учтивость, скромность или намеренная поза? Нет, не было это похоже на официальное приветствие через казенный стол, словно некий барьер...

Хозяин пригласил нас расположиться поудобнее, а сам занял место у книжной стенки и более не возвращался за свой стол. (Не считал уместным самодовольно восседать в начальственном кресле, когда разговаривал с людьми, пусть и малознакомыми.)

Когда мы расселись полукругом, все оказались рядом, ничто нас не разделяло. Не было ощущения какой-либо отчужденности, обособленности, неловкости. Быть может, хозяин оказывал нам, студентам, снисхождение? Человек этот, похоже, вел себя одинаково со всеми, ровно и естественно. Такая манера держать себя, видимо, вошла у него в привычку. Есть люди, которые словно отмечены свыше большим личным обаянием, какой-то силой, которая сразу вас покоряет, завоевывает расположение.

Неужели передо мной был сейчас тот же человек, который неустрашимо вступил в грозную битву с могущественным врагом на глазах потрясенного человечества? Чтобы в беспримерном этом единоборстве, движимый верой в правое дело, вдохновенным и пламенным своим словом нанести озверевшему фашизму — силам варварства и войны — невиданной силы политический удар.

Мир услышал голос Димитрова.

Еще до начала процесса имя Димитрова узнали все. Газеты писали о подготовке судебного фарса в Лейпциге, о митингах и демонстрациях в поддержку узников нацизма, о выступлениях крупнейших писателей, ученых, юристов, о создании Комитета защиты подсудимых в Париже, о работе Международной следственной комиссии по делу о поджоге рейхстага.

21 сентября открылось судилище. Режиссеры этого действа очень заботились о том, чтобы добиться сколь можно более громкого антикоммунистического эффекта. Пресса получила приглашения, более того, было объявлено, что из зала суда будет вестись радиотрансляция — вещь достаточно редкая для тех времен, о которых мы ведем речь. И действительно, в течение двух дней шли обещанные нацистами радиопередачи, но на третий они неожиданно оборвались — на трибуну поднялся Георгий Димитров и начал сам себя защищать.

— Я сын рабочего класса Болгарии. Вырос и получил воспитание в рядах революционного рабочего движения... В течение тридцати лет я член Болгарской коммунистической партии. В течение двадцати трех лет член Центрального Комитета Коммунистической партии Болгарии... Я здесь, чтобы защищать коммунизм и себя самого,— говорил Димитров.

С каким восторгом читали мы, студенты, эти гордые и мужественные слова, полные убежденности и силы!

Газета «Правда» писала в те дни:

«...на третий день процесс с оглушительным треском сходит с рельсов. Дальше нет накатанной насыпи. Дальше нет «списка действующих лиц», заблаговременно написанных и назубок вытверженных ролей... Моральное мужество т. Димитрова производит огромное впечатление не только на миллионные массы пролетариев во всех странах, куда доносится его голос, но и в самой Германии, где не в силах заглушить этот голос пресса палачей. В основе этого морального мужества — политическая сила и цельность пролетарского революционера.

...И как всякий боец-коммунист, схваченный врагами, Димитров не думает о себе, о своей жизни, о своей безопасности. Он продолжает делать дело своей партии, зная, что не только речью своей, но всем своим поведением он дает урок революционной борьбы миллионам пролетариев...»

Рядом с Димитровым стоял небольшой столик, где лежали раскрытый том и небольшая стопа бумаги... В малахитовой пепельнице — трубка и щепоть желтого табака. На подоконнике — керамическая ваза с живыми красными розами. Ничто другое из обстановки не сохранилось в моей памяти. Оттого, быть может, что я был поглощен беседой, жадно наблюдал за манерой Димитрова держаться, говорить, слушать. Особенно поразила меня его способность слушать...

Не встречались мне, признаюсь, ранее люди, которые умели бы слушать так сосредоточенно и заинтересованно. Ему, казалось, было важно все: мысли собеседника, отдельные его выражения и слова, сама тональность речи. Неподдельно интересовали Димитрова все подробности нашей институтской жизни, ее малейшие детали: как нам даются восточные языки, есть ли среди преподавателей их живые носители, имеем ли нужную литературу, словари? Он переводил взгляд с одного лица на другое и, казалось, одновременно видел всех нас. И доброе мужественное его лицо, неизменно живое и выразительное, было одухотворено непрестанным движением мысли.

Общение с Георгием Михайловичем, сердечное и непосредственное, создавало атмосферу непринужденности. Все, что говорил и как говорил Димитров,

возбуждало во мне неодолимую любознательность, все, что было им сказано, все его намеки и метафоры представлялись мне глубоко поучительными, исполненными необыкновенной значимости. В каждом его слове и реплике сказывалась доброжелательность и участие.

К единственной этой встрече с Георгием Михайловичем я часто возвращался в мыслях. В разные годы жизни стремился понять тайны человеческой памяти. Ведь очень многое, что суждено было позднее испытать и пережить, почти не оставило заметного следа в моем сознании. А эта встреча продолжала жить во мне, будить воспоминания, волновать...

Сколько событий, необыкновенных встреч, сколько человеческих лиц — Черчилль, де Голль, Чан Кайши, Мао Цзэдун, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Джон Фостер Даллес, Антони Иден, Чжоу Эньлай, Лю Шаоци, Ким Ир Сен, Хирохито — японский император... Почему же, не однажды спрашивал я себя, именно московская встреча с болгарским революционером оставила в душе столь глубокий след? Может быть, оттого, что она была в молодости, была первой? Но разве не все в жизни первый раз? Нет, оказывается, не все. То был истинно светлый день. И была кристальная ясность мысли, исходившая от человека, который говорил от чистого сердца, олицетворял неукротимую волю.

Жизнестойка людская память. Загадочные ее свойства, ее способность отбирать из неисчислимого множества впечатлений, ощущений, мыслей, из пережитого самим человеком, из жизненного опыта других,— отбирать бесценные крупинки того, что я назвал бы строительным материалом души... Человек — это, по наблюдению мудреца, чудесное целое, творение вечного взаимодействия множества влияний. Очень важно для него — независимо от возраста — сохранить огонь души, если он ему дан...

То время было для меня периодом, когда все аксиомы брались под сомнение. Мне все хотелось пересмотреть и вновь, самостоятельно, доказать. Но доказать собственным опытом, чтобы постигнутое стало достойно деятельной веры. Назидательность со стороны, даже с наилучшими намерениями, думается мне, не так продуктивна, как пережитые жизненные уроки, которые, несомненно, способствуют активному формированию человеческого мировосприятия.

На собеседников Димитров оказывал магическое воздействие. Представительная фигура, высокий лоб, темные густые брови, открытый взгляд, прекрасная улыбка. На его лице трудно было прочесть то, что пришлось ему пережить и вытерпеть в последние годы. Весь его облик, все, что мы знали о нем и его подвиге, властно внушало нам, что только в свободе, истинной свободе — счастье человека. И сам он — символ обретенной, отвоеванной в борьбе свободы. В моем восприятии, тогда и теперь, Димитров — из той бессмертной когорты борцов, что пронесла свет коммунистических идеалов сквозь бурю эпохальных перемен на нашей планете, в наш тревожный и непредсказуемый век. Встречаются люди, которые будто родились для того, чтобы облагородить жизнь, украсить собой землю.

Быть может, убедительней всего это проявилось в знаменитом поединке Димитрова с Герингом во время процесса. Марта Додд, дочь тогдашнего посла США в Германии, вернувшись домой из зала суда, записала в своем дневнике: «Димитров — блестящий, привлекательный, темноволосый мужчина — излучал изумительную силу и мужество, каких я никогда не встречала ни у одного человека. Все в нем было полно жизни и огня... Это динамическая личность. Никогда я не забуду то полное внутреннего жара спокойствие, с которым он стоял против Геринга, весь его облик, пламя презрения, пылавшее в его взоре. Это была настоящая борьба, настоящая битва... А вот Геринг — страшно опухший, с надутым, колышущимся животом, нервный, несдержанный, мелодраматичный. Он кричал хрипло, ужасно, будто задыхался перед блестящим убедительным голосом другого...»

Димитров рассказывал нам о ходе Лейпцигского процесса и своем поведении на суде. Говорил обо всем этом как о чем-то очень обыкновенном и естественном. Сказал несколько слов о пройденном жизненном пути. Все так же просто, непосредственно, без тени наигранности и позы. И я все более убеждался, что жизнь человека — это его характер, который выражается в способности человека вести себя во всем и всегда согласно избранным принципам. Характер закаляется в сражениях и бурях суровой жизни. И чем внимательнее я вглядывался в этого человека, вдумывался в то, что и как он говорил, тем более склонялся к мысли, что передо мной будто не один человек: Димитров — это многие в одном лице. Для него, говорил я себе, мало быть всем. Он предназначен быть всеми.

Рассказ Димитрова о суде был краток и красноречив.

При всей сдержанности и немногословии Димитрова в рассказе о себе ему, однако, приходилось отвечать на нескончаемые наши расспросы. Нередко его ответы были для нас настоящими откровениями. Невозможно было не ощущать силы его интеллекта, умения выделять наиболее важное и значительное в любой ситуации.

Каждый из нас отдавал себе отчет, что перед нами был человек беспримерного мужества, коммунист по самой своей духовной сути. И радость наша была большой, особенной и необычной. В самом деле, штурмуя цитадель «китайской премудрости», прорубаясь сквозь иероглифические дебри, мы, оказавшись вблизи Димитрова, не могли не ощутить дыхания эпохи, с жадностью впитывали все, что шло от опыта революционной борьбы и тех мировоззренческих идей, которые разделяли и исповедовали.

В ходе беседы Димитров держался

удивительно просто, действительно по-земному. Он считал, что о вещах серьезных следует говорить ясно, не мудрствуя. Он как бы напоминал нам, что напыщенность и витийство тут неуместны — только благородство тона, манеры и выражения могут придать смысл содержанию высказывания.

Речь Димитрова текла легко, мысль отличалась ясностью и глубиной, события излагались строго последовательно. Взвешивалось каждое слово. Основой рассказа выступали точные факты. Казалось, он не употреблял ни единого лишнего слова.

Поражала меня не только редкостная эта доступность, но и сознание того, что нахожусь в обществе человека, который был для моего поколения целым миром, пробуждающим возвышенные идеи и благородство. Невольно всплывали в памяти строки В. А. Жуковского: «При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душою».

Спустя годы я прочел статью французского писателя Жоржа Коньо, который назвал Димитрова «мудрым и смелым человеком». «Самыми замечательными чертами характера Георгия Димитрова были его необыкновенная простота и душевность, — писал он. — Даже занимая высокий пост, он проявлял исключительное внимание к рядовым сотрудникам. Мне приходилось наблюдать, с каким уважением он относился к людям, которые жили с ним в одном доме и занимали весьма скромные посты». Мои собственные наблюдения подтвердили эти слова.

Наиболее оживленно обсуждалась нами главная проблема тех дней — беспощадная борьба против фашизма, этого главного и самого опасного врага рабочего класса. В центре этой борьбы неизменно находился Димитров, глубоко понимавший классовую сущность фашизма, который представлял собой смертельную угрозу миру и национальной независимости народов, свободе и демократии, великому делу социализма и прогресса.

У болгар есть все основания гордиться тем, что они внесли свой вклад в общеевропейский ренессанс, дав письменность звучной славянской речи. Но болгары первыми же трагически опалили крылья в мужественной антифашистской битве в сентябре 1923 года, когда Георгий Димитров возвысил голос и предупредил человечество об угрозе фашистской чумы. Димитрову болгары с полным правом отводят первое место среди выдающихся своих революционеров.

Димитров был настоящим сыном своего народа и своей эпохи, поэтому ему было чуждо ощущение своего избранничества, некоего высокого предназначения, которое с неизбежностью ведет к цезарианскому пренебрежению народными массами. Плоть от плоти и кровь от крови своей возлюбленной Болгарии, он был интернационалистом в самом высоком смысле этого слова, ибо для него счастливое будущее родного народа было неотделимо от победы международного пролетариата. Гордость Болгарией, ее языком и культурой, которые болгарский народ сберег на протяжении веков чужеземного ига, была для Димитрова неотделима от уважения к культурным ценностям других народов, от ненависти к шовинистической надменности, всегда бывшей и остающейся питательной средой фашизма, способом разъединения народов в интересах их угнетателей.

Возможно ли вспоминать без волнения слова Димитрова на Лейпцигском процессе:

«В связи со мной и болгарский народ называли «диким» и «варварским», меня называли «темным балканским субъектом», «диким болгарином», и этого я не могу обойти молчанием.

Верно, что болгарский фашизм является и диким, и варварским. Но болгарский рабочий класс и крестьянство, болгарская народная интеллигенция отнюдь не дикари и не варвары... Народ, который пятьсот лет жил под иноземным игом, не утратив своего языка и национальности, наш рабочий класс и крестьянство, которые боролись и борются против болгарского фашизма, за коммунизм,— такой народ не является варварским и диким. Дикари и варвары в Болгарии — это только фашисты. Но я спрашиваю вас, господин председатель: в какой стране фашисты не варвары и не дикари?

Еще в те времена,— продолжал Димитров,— когда германский император Карл говорил, что по-немецки он обращается только к лошадям, а немецкие дворяне и образованные люди писали только по-латыни и стыдились немецкого языка, в «варварской» Болгарии Кирилл и Мефодий создали и распространяли древнеболгарскую письменность... У меня нет причин стыдиться того, что я болгарин, и я горжусь тем, что я сын болгарского рабочего класса...»

Классовая гордость Димитрова сочеталась с его национальной гордостью.

Обличительная речь Димитрова явилась ярким образцом революционной неустрашимости, коммунистической убежденности. Она стала источником мужества и стойкости для множества людей, верящих в социальную справедливость, в высокие человеческие идеалы, в торжество великой правды коммунизма на земле. Законно гордится своим выдающимся сыном весь болгарский народ. Но разве мужеством великого болгарина не гордится весь прогрессивный мир?

Именно в тот период фигура Димитрова — мыслителя и политика — встает во весь свой исполинский рост. Мы восхищались этим борцом, славя в нем несгибаемого героя. Мир научился тогда узнавать в нем политика марксиста-ленинца, отличающегося такими новыми, глубоко оригинальными чертами, которых рабочее и демократическое движение еще не знало.

Когда на VII конгрессе Коминтерна Георгий Димитров вскрывал сущность фашизма и обосновывал политику создания единого народного фронта с целью свержения гитлеровского нацизма, он

выступал как подлинно народный трибун, чье слово находило широкий отзвук в сердцах всех миролюбивых и демократически настроенных людей планеты.

Не могла не восхищать нас сила страсти, никогда не покидавшая Димитрова. Ею были проникнуты все речи, поступки, все его поведение не только в ходе Лейпцигского процесса.

«Страсть,— писал К. Маркс,— это есть энергично стремящаяся к своему предмету существенная сила человека». Она особенно необходима в утверждении идеалов коммунизма. Едва ли мыслимо, чтобы любой великий шаг или начинание в историческом развитии обошлось без подлинной увлеченности, без страсти, которая способна умножать духовные силы, активизировать интеллектуальные способности людей, окрылять их в борьбе. Справедливо мудрое изречение, что без страсти ничто великое не совершалось в нашем мире.

Карл Маркс отмечал, что «идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу».

Жизнь Димитрова может служить образцом лепки характера самим человеком и его эпохой. Эпоха «войн и революций» вылепила Димитрова человеком практики, любимым словом которого было слово «конкретный».

И эта черта димитровского характера — его умение употреблять практическую силу для осуществления идей — особенно ярко проявилась в его деятельности в Коминтерне.

Общеизвестен огромный вклад Димитрова в разработку практических мер по мобилизации всех демократических сил для борьбы против войны.

Еще в 1929 году он писал: «Борьба против фашизма должна быть тесно связана с борьбой против угрозы войны. Условием успешности этой борьбы является создание, развитие и укрепление общего революционного фронта рабочих, крестьян, угнетенных национальностей и национальных меньшинств».

Стратегия и тактика борьбы единым фронтом против фашизма и войны, предложенная VII конгрессом Коминтерна, и сегодня сохраняет свою актуальность.

Убедительностью и страстью был проникнут доклад Димитрова на VII конгрессе Коммунистического Интернационала, который показал, что мировое коммунистическое движение правильно оценило международную обстановку и наметило реальную перспективу борьбы против фашизма вплоть до его разгрома. С большим интересом, помнится, изучали мы в институте доклад Димитрова и другие материалы VII конгресса Коммунистического Интернационала, устраивали по ним обсуждения и дискуссии, писали о них статьи, выступали с докладами в подшефных организациях. «Коммунистический Интернационал — и в этом немалая заслуга Георгия Димитрова — не только предвидел ход событий, ведших к развязыванию мировой войны, но и разработал практические меры мобилизации всех сил для борьбы против войны»,— писал Б. Н. Пономарев в статье «Георгий Димитров в борьбе против фашизма и войны...» [1]

С каким удовлетворением прочли мы в «Правде» от 14 августа 1935 года, незадолго до нашей встречи, строки о Георгии Димитрове, которого газета охарактеризовала как «антифашистского трибуна, блестящего и смелого большевика, стратега борьбы с фашизмом, славного руководителя Коммунистического Интернационала».

Димитрову принадлежит огромный вклад в разработке стратегической и тактической мысли коммунистического движения периода Коминтерна. Многое из его идейного наследия осталось на вооружении и в наше время. Это прежде всего идея широкой антифашистской коалиции, которая получила свое выражение в различных формах народного фронта предвоенного периода. В ходе войны идея эта нашла широкое воплощение в движении Сопротивления, явившемся не только главной силой организации борьбы в оккупированных странах Европы против фашистских захватчиков, но и создавшем серьезные политические предпосылки для последующих социально-политических преобразований в интересах рабочего класса и трудящихся, в интересах социализма.

Ленинская идея соединения рабочего движения с общедемократическими движениями, для развития которой применительно к новым условиям так много сделал Димитров, отмечал Б. Н. Пономарев в цитировавшейся статье, — важнейшая составная часть и нынешней генеральной линии марксистско-ленинских партий. Она сохраняет самое актуальное значение и в наше время.

Далее он указывал на ясное понимание Димитровым значения национально-специфических моментов для успешной борьбы против фашизма и одновременно для укрепления позиций революционного рабочего движения, его способность находить конкретные формы применения общих принципов марксизма-ленинизма и включать рабочий класс в тот общий подъем национального антифашистского движения, который был характерен для периода второй мировой войны. В духе ленинских положений Димитров исходил из того, что в эпоху империализма национальный вопрос не сходит с повестки дня политической борьбы даже в развитых капиталистических странах. Он помогал партиям органически соединять интернационалистское мировоззрение пролетариата с патриотическими устремлениями, борьбу за социальное освобождение с борьбой за национальные интересы своих народов.

Наконец, третьей важнейшей идеей Димитрова Б. Н. Пономарев назвал его тезис о сочетании самостоятельности коммунистических партий в определении

[1] «Воспоминания о Георгии Димитрове». София-Пресс, 1972, с. 250.

своей политики с координацией их деятельности в международном масштабе. Важные шаги в этом направлении были сделаны на VII конгрессе Коминтерна.

Слушая Димитрова, я все более убеждался, что быть настоящим человеком — значит раньше всего быть неустрашимым. Ведь в борьбе за свое дело человек обретает духовную зрелость, главный смысл жизни. Итогом нашей встречи с Димитровым стал очевидный вывод: мужество есть необходимое условие нравственной закалки личности.

В самое тяжкое время судьба нанесла Димитрову страшный удар: 27 мая 1933 года умерла Любица Ивошевич, любимая его жена, верный и испытанный друг.

Димитров узнал о ее смерти из письма, полученного с большим опозданием.

Много лет спустя, уже зрелому и немало испытавшему человеку, мне довелось прочесть строки, написанные Димитровым тогда, и мне подумалось, что этот документ свидетельствует о силе духа и твердости характера, которую лишь редким удается взрастить в себе:

«Как революционер, милая моя сестра, я переношу все смело и до последнего дыхания не утрачу своего мужества; но как человек я глубоко и постоянно страдаю в связи с этим чрезвычайно тяжким ударом в моей жизни...»

В Москве, на улице Георгия Димитрова, во весь огромный его рост возвышается бронзовый колосс, запечатленный с выброшенной вперед рукой и выразительно сжатым кулаком... Трудно было оторвать взгляд от этих рук. На газетных и журнальных снимках руки эти часто можно было видеть закованными в кандалы. Запомнились сжатые кулаки, которые выражали твердость и несгибаемую волю узника фашистов. Они словно олицетворяли непокорность и мужество коммуниста, готового насмерть бороться с фашистскими извергами.

Теперь руки эти раскованы, высвобождены из кандалов, они вновь обрели готовность продолжать служение великому делу раскрепощения человека и человечества.

В воспоминаниях его соратников отмечается, что Георгий Димитров часто подчеркивал: мало знать, что делать, нужно еще иметь смелость, чтобы это сделать. В подготовке борца он выделял роль характера, моральной устойчивости, воспитание коммунистической убежденности. Все поступки, героическое поведение Димитрова на Лейпцигском процессе могут служить ярким доказательством последовательности его принципов.

Димитров на Лейпцигском процессе явил пример несгибаемого мужества: он спокойно отвечал фашистским обвинителям, вдребезги разбивал любые построения судей, своими блистательными, несокрушимыми аргументами он защищал не свою жизнь, а прежде всего отстаивал честь своей партии, свои коммунистические убеждения. Не дрогнув, воспринял и требование о вынесении ему смертного приговора.

По мысли Герцена, то, что человек не смеет сказать, существует лишь наполовину. Георгий Димитров смел сказать всю правду. Это было ясно не только друзьям, это вынуждены были признать и враги.

«У этого болгарина как бы врожденное достоинство»,— писала лондонская «Таймс». «Димитров не отвечает на вопросы. Он нападает»,— отмечала правая газета «Пти паризьен».

И даже фашистская пресса в растерянности сообщала:

«Человек, который горд тем, что руководил революционным восстанием, который кричит в лицо каждому буржуа, что он борется против него, который отметает от себя всякую сентиментальность, вызывает аплодисменты буржуазных корреспондентов из-за рубежа».

То было трудное время, но пример Димитрова вдохновил коммунистов, послужив им прекрасной школой. После Лейпцигского процесса тысячи коммунистов в разных странах мира, брошенные в мрачные казематы, оторванные от своих семей и товарищей по борьбе, измученные и подвергаемые жестоким пыткам, еще больше закалили свою волю, укрепили свою веру под влиянием героического подвига Димитрова, чье имя они несли в своих сердцах.

Большое впечатление произвели на меня слова Димитрова о том, каким требованиям должен отвечать человек, чтобы иметь право носить гордое звание — коммунист:

«Первое — глубочайшая преданность делу рабочего класса, верность партии, проверенная в боях, в тюрьмах и на суде, перед лицом классового врага.

Второе — тесная связь с массами: жить интересами масс, чувствовать пульс жизни масс, их настроения и запросы. Авторитет руководителей наших партийных организаций должен быть прежде всего основан на том, что массы видят в них своих вожаков, убеждаются на собственном опыте в их способностях быть руководителями, в их решительности и самоотверженности в борьбе.

Третье — умение самостоятельно ориентироваться в обстановке и не бояться ответственности за принятые решения. Не большевик тот, кто не умеет проявлять инициативу...

Четвертое — дисциплинированность и большевистская закалка как в борьбе против классового врага, так и в непримиримости ко всем уклонам от линии большевизма».

И вот теперь, стоя у бронзового памятника Димитрову в далеком Приморско, я вновь вспоминаю давнюю встречу в Москве с великим болгарином, силой своей убежденности победившим фашизм в ожесточенной идейной схватке.

Сбылось то, о чем еще в 1935 году говорил Димитров в своем докладе на VII конгрессе Коминтерна:

«Так фашизм, появившись в результате упадка капиталистической системы, действует в конечном итоге как фактор ее дальнейшего разложения. Так фашизм, беря на себя обязанности похо-

ронить марксизм, революционное движение рабочего класса, сам в результате диалектики жизни и классовой борьбы ведет к дальнейшему развитию тех сил, которые должны быть его могильщиками, могильщиками капитализма».

Уместно было бы почаще напоминать эти слова тем, кто и сегодня не может смириться с бесславным концом бредовых идей Гитлера, тем, кто способствовал недавно поднятию мутной «гитлермоды» — волны тоски по фюреру, тем, кто организует погромы левых организаций под знаменами с паучьими свастиками — и отнюдь не только в одной ФРГ.

Димитров с честью выдержал испытание на верность идеям коммунизма. Память о его подвиге увековечена не только в бронзе и граните. Она живет в сознании и сердцах его современников и потомков. Димитров побуждал человека быть смелым перед самыми суровыми испытаниями. Он вел себя на процессе самоотверженно и звал к подвигу других. А с нами, студентами, он был воплощением простоты и непосредственности. Из прочитанного я знал, что сознание собственного достоинства делает умного человека более скромным и вместе с тем более богатым внутренне.

Человек, сражающийся во имя правого дела, должен обладать и стойкостью, чтобы не только разить, но и переносить вражеские удары. Ибо правда нередко пробуждает ненависть у людей, которые в одинаковой мере презирают истину и тех, кто имеет смелость ее выражать. Правда всегда опасна для власти негодяев и душителей свободы. Именно против них Димитров пошел в атаку, собрав в кулак всю свою волю, которая повелевала его действиями. А там, где рождается воля, возникает и путь к цели.

Поведение Димитрова на Лейпцигском процессе, однако, было не просто подвигом бесстрашной личности. Главное в том, что позиция Димитрова выражала веяния времени, объективный ход развития событий. Ленин писал: «Дело не в намерениях, не в мотивах, не в словах, а в той объективной, от них независимой, обстановке, которая определяет судьбу и значение лозунгов, тактики или вообще направления данной партии или группы».

Не станем задаваться целью представить себе, каким был бы наш мир сегодня, если бы не трагедия второй мировой войны, но воздадим еще раз должное и Георгию Димитрову, и его коминтерновским соратникам — во многом благодаря их усилиям, их работе, коммунисты многих стран встретили суровые испытания военных лет подготовленными политически и идейно, ибо в их руках уже была стратегия и тактика сплочения антифашистских сил.

Коминтерновская школа, вместе с опытом Интербригад, одним из организаторов которых был Георгий Димитров, помогла и при развертывании движения Сопротивления, вписавшего славные страницы в героическую историю битвы против фашизма.

В ходе нашей беседы у меня крепло впечатление, что Димитров хорошо знал: яростно бороться нужно не только с врагом, но и со своими слабостями и внутренними противоречиями, которые порой отнимают сил еще больше, чем противник. Величайшая победа есть победа над самим собой, извечно утверждали мудрецы. Человек должен уметь преодолевать самого себя, учиться властвовать собой. Долженствование — главный источник воли.

Вдумываясь в слова Димитрова, я все отчетливее сознавал, что побеждать удается верой в разум — неколебимой, неизменной, неистовой. Я все более отдавал себе отчет, что в человеке всего ценнее его верность идеалу. Она лежит в основе убеждений, преданности своему отечеству, идеалам истинной свободы и справедливости. Неверие в себя и свои убеждения — причина многих человеческих просчетов и неудач. Уверенность же в избранном пути, твердая убежденность в своей правоте — первооснова нашего доверия к другим.

Нужно ли доказывать, что Димитров прежде всего являлся сыном своей страны, гражданином своего отечества, горячо принимавшим к сердцу его судьбы? Нужно ли говорить, что высшим проявлением патриотизма для него было страстное желание блага родине? Разве самые великие подвиги людей не совершались именно из любви к родной земле, к родному народу? Патриотизм, конечно же, проверяется не фразами, не словами, как бы красиво они ни звучали, но делами — личными, трудовыми — или ратными подвигами. Любовь к отечеству не отвлеченное понятие.

Всей своей жизнью, словами и делами Димитров доказывал ту непреложную истину, что важнейшей гранью коммунистической нравственности служит глубокая вера в избранный путь, в коммунистические убеждения, формирование которых всегда было главной задачей воспитания человека новой, социалистической цивилизации. Он неустанно подчеркивал, что жить без идеала, рожденного в недрах народа, нельзя.

Что же такое родина, вправе спросить мы, что такое милое сердцу Димитрова болгарское его отечество? Это прежде всего народ, совершающий свое историческое движение, все его прошлое, настоящее и будущее. Это самобытная народная культура, национальный, славянский его язык, мужественный и неколебимый его характер. И это высокая цель, во имя которой болгарский народ совершил революцию. Димитров как бы говорил нам: будь сыном родины, глубоко почувствуй свою связь с родной почвой, сыновне люби ее, возврати сторицей все, что от нее получил...

Разве не справедливо мудрое наблюдение, что всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с отечеством? Для Димитрова патриотизм означал не только любовь к своей родине. Вне всяких сомнений, Димитров жил мечтой не только об освобождении болгарского народа

и своего отечества, которому был предан беспредельно. Не в меньшей мере Димитров был движим интересами международного рабочего и коммунистического движения, подлинный патриотизм и пролетарский интернационализм представляли для него нерасторжимое единство.

Позднее я прочел высказывание Димитрова: «Пролетарский интернационализм не только не противоречит борьбе трудящихся отдельных стран за национальную, социальную и культурную свободу, но и обеспечивает, благодаря международной солидарности и большому единству, поддержку, необходимую для победы в этой борьбе». Национальные формы классовой борьбы и рабочего движения отдельных стран, отмечал он, не находятся в противоречии с пролетарским интернационализмом, напротив, именно благодаря им можно с успехом отстаивать и международные интересы пролетариата.

Димитров стойко сражался против человеконенавистнического фашизма, против варварства и войны. Воля его была обращена, однако, не только на борьбу против темных, злобных сил фашизма. Стремления его были направлены к великим и благородным целям — революционному освобождению угнетенных народов, построению нового общества, основанного на принципах социальной справедливости.

Димитров глубоко понимал — об этом ярко свидетельствует весь его жизненный путь,— что без высокой цели не может быть сознательной деятельности, что осознанное служение общественным интересам, говоря словами К. Либкнехта, «облагораживает деятельность во имя этой цели».

Марксистско-ленинская наука учит, что в рабочем движении подлинно национальные идеи являются и подлинно интернациональными. Любая нация может и должна учиться у других народов всему, что того заслуживает. Именно таким путем обогащаются важнейшие ценности страны, идейные и нравственные качества человека.

Верно, что мы вооружены самой научной методологией. Важно, однако, не только обладать ею, но иметь смелость высказывать свои убеждения, отстаивать каждодневно свою веру и свои принципы. Димитров силою личного примера показал, что человек должен быть неколебим и мужествен в утверждении своих убеждений. По самой своей природе коммунистические убеждения не могут не нести в себе активного, деятельного, творческого начала.

Нравственный облик Димитрова — высокий образец для общественного, политического деятеля. Высокая нравственность воспитывается связью с народом, соединением убеждений и целей личности с народными чаяниями. Она находит свое выражение в том, что личное сознательно подчиняется интересам коллективным. Ибо, как отмечал Карл Маркс, если человек трудится только для себя, он может стать знаменитым ученым, мудрецом или превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком.

Высокая нравственность Димитрова, чья первооснова была заложена здоровой обстановкой простой трудовой семьи, вырастившей его, обрела новое измерение, сочетавшись с коммунистическими идеями, окрепла в классовых боях за осуществление их на практике. Здесь я позволю себе привести еще один факт, ибо мне представляется, что именно он может пролить свет на самые глубинные причины формирования характера народного руководителя.

Парашкева Димитрова, маленькая, худенькая женщина, мать, вырастившая семью революционеров, в семьдесят лет решилась впервые покинуть родную Болгарию и, не зная ни слова ни на одном языке, кроме родного, отправилась в путь, в Европу, чтобы правдивым материнским свидетельством защитить своего сына Георгия.

Выступая в переполненном парижском зале «Ваграм» на массовом митинге в защиту Георгия Димитрова, отважная женщина произнесла слова столь же бесхитростные, сколь и глубокие:

— Мой сын Георгий не может быть поджигателем, он не может быть преступником, потому что я и народ, которому он служит всю жизнь, учили его делать только добро.

...Среди символов человеческой памяти и благодарности высится и скромный памятник Парашкеве Димитровой. Он воздвигнут ее односельчанами в местечке Ковачевцы. Бабушка Парашкева, милая Парашкева... Спокойное и благородное ее лицо с печальными глазами. В них застыли глубокая боль и горе. Образ этой мужественной и приветливой женщины живет не только в Болгарии.

В скульптуре, как и в жизни, на ней черное платье и черная шаль. В старинной болгарской песне есть слова: «Наши матери все в черном ходят». И ее собственные слова: «Я мать. Мать многих детей, и я нужна детям!» В самое суровое для Димитрова время она отправилась в Лейпциг, чтобы быть рядом с сыном в зале гитлеровского суда и присутствием своим помочь ему в сражении за правое дело...

Коммунизм для Димитрова составлял содержание, смысл его жизни. Не эти ли качества сделали легендарным еще при его жизни имя Димитрова, зажегшего священную ненависть к фашизму и привлекшего множество новых борцов в ряды коммунистов.

Воплотивший в себе лучшие качества болгарских коммунистов, непоколебимо верящий в справедливую борьбу международного пролетариата, Димитров питал неизменную любовь к Советскому Союзу.

Смею напомнить широкоизвестные слова Димитрова о том, что для всех миролюбивых народов дружба с Советским Союзом является такой же жизненной необходимостью, как солнце и воздух для каждого живого существа.

«Победа социализма в Советском Сою-

зе, победа всемирно-исторического значения, вызывает могучее движение к социализму во всех капиталистических странах,— писал он.— Эта победа укрепляет дело мира между народами, увеличивая международный вес Советского Союза и его роль как могучего оплота трудящихся в их борьбе против капитализма, против реакции и против фашизма...

В единении сил пролетариата Советского Союза с боевыми силами пролетариата и трудящихся масс в капиталистических странах заложена великая перспектива грядущего крушения капитализма и гарантия победы социализма во всем мире».

Ему, как известно, принадлежат слова о том, что пробным камнем для проверки искренности и честности каждого деятеля рабочего движения, каждой рабочей партии и организации трудящихся, каждого демократа в капиталистических странах служит их отношение к великой стране социализма. Известно также крылатое его выражение, ставшее программным для коммунистического движения, что долг всех революционеров и интернационалистов — всемерно поддерживать «мирную политику Советского Союза, пролетарского государства, непоколебимо стоящего на страже мира между народами».

Советский Союз был для Димитрова реальностью, где воплощался коммунистический идеал.

Георгию Димитрову принадлежит заслуга в установлении прочных контактов между болгарскими и советскими коммунистами, контактов с международными организациями революционного пролетариата — Профинтерном и Коминтерном.

Молодым революционером Георгий Димитров мечтал своими глазами увидеть Москву.

Эта мечта сбылась лишь в 1921 году, когда Димитров наконец оказался в Москве и где состоялась его беседа с Владимиром Ильичем Лениным, оказавшая столь большое влияние на его жизнь.

...В знаменитом болгарском портовом городе Варна, у самого входа в порт можно видеть барельеф — прекрасное лицо Георгия Димитрова и надпись:

«Он не умирает».

В 1921 году Георгий Димитров и Васил Коларов, получившие приглашение на III конгресс Коминтерна и понявшие, что им не удастся легально выехать в Москву, решились... пересечь Черное море в утлых парусных лодчонках. Вот здесь, в Варне, отплыли они от берега. Можно написать героическую сагу о безоглядной храбрости, тяжелых испытаниях и победе — лодки попали в ночной шторм, их разметало и ту, в которой находился Димитров, отнесло к румынским берегам. Потом были допросы в сигуранце, угрозы и посулы, а потом, спустя немало времени, уже после окончания конгресса — первые шаги по советской земле, знакомство со страной, которой суждено было стать его второй родиной.

Каменный обелиск высится сегодня на том месте, откуда отплывали в Советский Союз Георгий Димитров и Васил Коларов.

А судостроительные предприятия Варны носят имя Георгия Димитрова.

Поистине, как сказано у Маяковского, «...чтобы,/ умирая,/ воплотиться / в пароходы,/ в строчки / и другие / долгие дела».

Не беспричинно Димитров, оправданный на Лейпцигском процессе и снова брошенный в гестаповский застенок, в конце концов обрел свободу на духовной своей родине — в Советском Союзе, который предоставил ему не только политическое убежище, но и полноправное советское гражданство. В 1937 году он удостоился чести быть избранным депутатом Верховного Совета СССР.

И все же задолго до этого состоялась встреча с русской революционной мыслью, озарившей собой нелегкую димитровскую юность.

Георгий Димитров вспоминал:

«Любимая книга юности — «Что делать?»... Необычайно глубокое, неотразимое влияние. И должен сказать: ни раньше, ни позже не было ни одного литературного произведения, которое повлияло бы так сильно на мое революционное воспитание, как роман Чернышевского. Моим любимцем был в особенности Рахметов. Я ставил себе целью быть твердым, выдержанным, неустрашимым, самоотверженным, закалять в борьбе с трудностями и лишениями свою волю и характер, подчинить свою личную жизнь интересам великого дела рабочего класса — одним словом, быть таким, каким представлялся мне этот безупречный герой Чернышевского».

Сегодня особенно важно напомнить, что Димитров в своих высказываниях неизменно подчеркивал восхищение гением Ленина — основоположника Советского государства и коммунистической партии нового типа. Димитров вместе с Коларовым возглавил в сентябре 1923 года антифашистское вооруженное восстание в городе Фердинанд (ныне Михайловград), явившееся первым в истории восстанием против фашистского режима. После его кровавого подавления Димитров, эмигрировавший за границу, был заочно приговорен фашистскими властями Болгарии к смертной казни. Позже такой же приговор вынесли ему вторично. Два этих смертных приговора преграждали Димитрову путь на родину.

Примечательно, что болгарские художники разных поколений обращаются к немеркнущим страницам революционной летописи своей родины. Обращение к истории, стремление воссоздать далекое и близкое прошлое — это весьма ценное качество художника, нередко помогающее ему достигать высот мастерства. Происходит это, думается, потому, что мысленное обращение художника к годам и событиям прошлого мотивируется желанием вернуть ушедшее или ухо-

дящее, но столь дорогое нашему сердцу. И те свежие ощущения жизни, и тем более уже неповторимую остроту восприятия времени, все его светотени, конфликты и краски.

Встреча наша с Георгием Михайловичем была единственной и к тому же совсем недолгой. Это, конечно, так. То был краткий эпизод, редкостная, выпавшая однажды в жизни возможность беседы с коммунистом легендарной биографии, которая породила во мне чувство гордости за человека. Но ей суждено было остаться в моем сознании навсегда: ведь минуты с Димитровым, быть может, значат больше, чем годы. Это тоже, бесспорно, так.

После встречи с особым вниманием я следил за неустанной деятельностью Димитрова, читал его речи, постоянно интересовался его жизнью, воспринимая все как нечто близкое и очень мне дорогое. Необыкновенно поучительно для меня было наблюдать за силой и ясностью его анализа, свободного от предвзятости или доктринерства. Умение Димитрова применять марксистско-ленинскую теорию к каждой отдельной, конкретной ситуации, его способность трезво взвешивать все обстоятельства могут служить образцом такого рода анализа. Все это было живой и творческой школой для нас, слушателей коммунистического вуза, ибо анализ и оценки Димитрова мы могли сопрягать с реальными событиями в международной жизни, с процессами, происходившими в рабочем и коммунистическом движении.

И теперь, спустя десятилетия, трудно примириться с ощущением, что все неумолимее сужается кольцо тех, кому выпало счастье видеть при жизни Георгия Димитрова, испытать тепло его дружеского рукопожатия. Ощутить щедрость сердечной его отзывчивости и благожелательного участия в судьбах людей, перед которыми он открывался гранями глубокой человечности. Его личность возвышала, навсегда запоминалась всем, кому выпало счастье с ним встречаться.

Прекрасно сказал о Димитрове известный английский общественный деятель Д. Притт: «Я видел в нем сердечного и дружелюбного человека, каким обычно бывает большинство великих людей, человека с внутренним достоинством, характерным для класса, к которому он принадлежал. Он весел и жизнерадостен, когда это уместно; откровенен, непреклонен и серьезен во время деловых разговоров; он вежлив, но вместе с тем не теряет и своего достоинства, а в наши дни это подчас необходимо в государственных делах. Общаясь с ним, нельзя было не ощутить присутствия великой личности, в то же время никто не чувствовал себя неловко перед ним — настолько естественным и скромным был этот человек».

Справедливо говорится, что мера жизни не в ее продолжительности, а в том, как человек сумел ею распорядиться, насколько осмысленно он ее прожил. Не временем, а деятельностью следует измерять жизнь. Всего несноснее существование бесцельное, бездумное. Жить без мысли, без цели и стремлений означает безвременно себя похоронить.

Судьба даровала мне дружбу со многими превосходными болгарскими писателями, творчество которых я всегда воспринимаю как продолжающуюся жизнь димитровских идей.

Живая мысль Димитрова прозвучала и летом 1977 года, когда по инициативе писателей Болгарии в Софии был созван представительный форум литераторов мира для обсуждения важнейшей темы — писатель и мир, положивший начало прекрасной традиции Софийских встреч.

В Воззвании к писателям всего мира говорилось:

«Литература — могучее средство общения между людьми. Это бесспорно, но эту мысль можно выразить и сильнее: литература преодолевает предрассудки, разделяющие людей, а писатель сегодня — посланец мира».

Символично, что писательский форум, посвященный обсуждению проблемы войны и мира, открылся могучими аккордами бетховенской «Оды к радости».

Символично, что один из первых же выступающих, поэт-коммунист Субхас Мукерджи, прибывший в Софию из Индии, начал свою речь словами:

«Нет ничего более естественного, что эта международная встреча писателей и хороших друзей, собравшихся во имя того, чтобы сделать процесс взаимопонимания необратимым, происходит в стране, которая гордится тем, что она родина храброго и бессмертного революционера Георгия Димитрова, научившего народы всего мира объединяться и бороться с фашизмом за мир во всем мире».

Есть много памятников Георгию Димитрову, запечатлевших его образ в бронзе, в мраморе, в граните. Нет сомнения в том, что будущие поколения прибавят свои краски, свое видение в бессмертный образ отважного революционера. Бесконечна благодарность свободной и счастливой Болгарии своему преданному сыну, не забудет Георгия Димитрова человечество, которое все равно добьется торжества идей, во имя которых жил и сражался этот рыцарь революции, рыцарь без страха и упрека.

И все же лучший памятник Георгию Димитрову — это наша неустанная борьба против всего, что угрожает праву народов мирно жить на прекрасной планете, жить с памятью о человеке, повторявшем в фашистском застенке бессмертные слова Гёте:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой!

Образ Георгия Димитрова продолжает вызывать удивление и восхищение благодарного человечества. В этом образе коммуниста воплотился высокий социалистический гуманизм, и ему суждено вдохновлять грядущие поколения людей.

Георгий Димитров — из тех людей, кто приходят в наш мир навечно!

ВЕСЛАВ ГУРНИЦКИЙ

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Фрагменты книги

Перевод с польского Б. СТАХЕЕВА

Из бесед, которые мы вели в лагере Бенсан, я записал две, потому что они показались мне важными, как документальные свидетельства по кампучийскому вопросу. Обе собеседницы свободно говорили по-французски.

Тридцативосьмилетняя мадам П., учительница математики из города Сиемреап, 19 апреля 1975 года была разлучена с мужем и двумя дочерьми в возрасте двенадцати и пятнадцати лет. Третью дочь, самую младшую, трех лет, она взяла с собой. Муж тоже был учителем. П. не думает, что он пережил эти четыре года. Он был активным деятелем кхмеро-французского и кхмеро-советского обществ, членом какой-то политической партии (П. не может сказать, как она называлась), известным в Сиемреапе человеком. Уже четыре года она ничего не знает о своем муже. Не знает даже, что с ним было после того, как они расстались. Зато знает, что обеих старших дочерей нет в живых. Они умерли от голода и изнурительной работы в «коммуне» Ваньсонь, в ста пятидесяти километрах от места, где находилась их мать. Как дошло до нее это известие? Здесь, в лагере, есть один человек, бежавший из «коммуны» Ваньсонь: он помнит смерть обеих девочек. Может быть, они и выжили бы, потому что болели дизентерией, а от нее не всегда умирают, но начальник «коммуны» был человеком исключительно безжалостным. Их болезнь он признал уловкой, уменьшил пищевой рацион и велел их насильно вывести на работу. Обе умерли за одну неделю. Они очень любили друг друга.

Мадам П. была выслана в «коммуну» Сраэ Тхом в провинции Кампонгтям, за двести семьдесят километров от Сиемреапа. Она шла пешком двадцать девять дней... Босиком? Конечно, босиком. Никто не имел права носить обувь. А ребенок? Ребенка большую часть пути несла на руках. Сперва думала, что не выживет. В «коммуне» не было почти никаких запасов продовольствия, стерлись границы между нормами для различных категорий. Весь свой рис она отдавала дочке. Потом стало лучше. Пришел новый начальник «коммуны»: он был гораздо человечнее. Позволял брать ребенка на работу в поле, иногда освобождал от учебных занятий, чтобы П. могла постирать ребенку платье. Улучшилось и питание. Бывали даже дни, когда она получала порцию мяса. Но под конец 1977 года все опять стало плохо. Люди с третьей категорией вообще риса почти не получали, хоть «коммуну» Сраэ Тхом много раз хвалили за высокие урожаи. Основной пищей были маниока, просо и бамбуковые побеги, редко когда — сушеная рыба. Ребенок начал слабеть и хворать. Именно тогда П. решила: надо спасать ребенка. Она украла на кухне пятнадцатикилограммовый мешок риса и вместе с двумя другими учительницами выбралась ночью из женской спальни. После шести дней в джунглях (до этого П. никогда джунглей в глаза не видела) у дочки поднялась температура. Ночью в джунглях было безопасно, так как три женщины по очереди караулили, а хищные звери им ни разу не попадались, не считая, конечно, змей. Днем угрожала смерть. Несколько раз они слышали звуки выстрелов, даже голоса каких-то солдат. Другого выхода не было: пришлось два дня и две ночи просидеть в джунглях, с отчаянием видя, как тают запасы риса, спичек и соли. На третий день ребенок умер, не приходя в сознание. Неизвестно, отчего умер: наверное, от лихорадки. П. руками вырыла глубокую яму, чтобы тело дочки не растащили лесные звери, и пошла дальше, вперед.

Теперь началось самое худшее. Они сбились с пути, то и дело выходили в джунгли на какие-то широкие просеки и поляны, где

Окончание. Начало см. в № 6.

их легко могли заметить. Еды не было, в воде из горных ручьев они отваривали побеги бамбука и какие-то травы, которых раньше никогда в рот не брали. Еще двадцать шесть дней продолжался их путь во Вьетнам. После перехода границы они были сперва арестованы крестьянами из отряда местного ополчения. Видимо, их приняли за полпотовских разведчиц. Только через неделю их освободили и отправили в лагерь Бенсан.

Почему П. до сих пор в лагере? Потому что Сиемреап пока оккупирован полпотовцами. Она же должна вернуться обязательно в родной город: а вдруг муж все-таки уцелел? Где же он будет ее искать, если не дома?

Что она думает о полпотовцах? Она не разбирается в политике. Вообще не понимает, почему ее разлучили с семьей и послали работать в «коммуну». Они с мужем зарабатывали на жизнь, учительствуя в школе, никогда никого не эксплуатировали и не выступали против «красных кхмеров». Она благодарна вьетнамцам за приют, но она кхмерская патриотка и хочет как можно быстрее возвратиться на родину. Она слышала, что страна разорена. Правда ли это? Но не это главное. Страна будет восстановлена, а людей уже не воскресить.

П. немного стыдно своей необразованности, но она просит повторить, как называется страна, из которой я прибыл, и где она расположена. На каком языке говорят в этой стране? Друзья ли мы Вьетнаму? Ах, надо было сразу сказать, что вы были в составе международной комиссии по Индокитаю. Конечно, «Полонь».

Тридцатипятилетняя мадам Нуон Варин — учительница французского языка в частном лицее в Пномпене. Красивая, образованная, начитанная, она прекрасно разбирается в политических проблемах. Говорит полными, связными предложениями. На ее голос и безупречное произношение нельзя не обратить внимания. Одета в стираную, выцветшую блузку и длинную юбку до щиколоток, сшитую из дешевого материала, но выглядит как придворная дама.

Во времена Лон Нола Нуон Варин сочувствовала «красным кхмерам», как и значительная часть молодежи из кхмерской интеллигенции. Семнадцатого апреля в полдень она стояла на проспекте Монивонг и вместе со своими друзьями и учащимися лицея горячо приветствовала вступающие в город революционные отряды. Она была уверена, что открывается новая, лучшая глава в истории ее страны. Когда встреча войск закончилась, она направилась домой, так как детей оставила под присмотром няни. Но не дошла. За триста метров от дома ее остановил патруль и приказал присоединиться к группе встревоженных, ошеломленных людей. Не помогли ни протесты, ни упоминание об оставшихся дома детях, ни уверения, что Нуон Варин сочувствовала революции и готова ей дальше служить. Солдат ударил ее прикладом по спине, велел снять обувь и двигаться вместе с колонной.

Через три часа после встречи частей освободительной армии Нуон Варин была уже далеко от города, не понимая, что произошло и кто свергнул «красных кхмеров», ибо ей в голову прийти не могло, что революционно-освободительная армия может так обращаться с населением. На первом же распределительном пункте она затеяла спор с полпотовским комиссаром, не скрывая своих взглядов насчет того, как должна действовать народная власть, и добиваясь возвращения к детям и мужу. Последствия были ужасны: Нуон Варин направили в одну из худших исправительных «коммун»: в Пойпаэт, уезд Прасаут, провинция Кратьэх. Правильнее было бы назвать ее концентрационным лагерем.

«Коммуна» Пойпаэт расположена в 132 километрах на северо-восток от Пномпеня. Этот путь Нуон Варин проделала пешком, под надзором специального конвоира, потому что ее признали человеком исключительно опасным. Она открыто высказывала такие взгляды, от которых за версту несло ревизионизмом, не проявляла смирения, ставила под сомнение непогрешимость «Ангки» [1]. Хуже того, на каждом привале и во время марша она уверяла своих товарищей и конвоиров, что партия вступится за невинных людей и строго покарает изменников. Нуон Варин была женщиной интеллигентной, начитанной, твердой и не собиралась мириться с преступлениями. Уже тогда, до окончания десятидневного пути в исправительную коммуну, она была убеждена, что стала свидетельницей преступлений, а не случайных недоразумений. Конвоиры, темные, неграмотные парни из глухих деревень, вообще ничего в ее речах не понимали. Сотоварищи не скрывали страха и подозрений. Это были преимущественно семьи лонноловских офицеров, китайских и вьетнамских купцов, жены инженеров и чиновников. Эти люди тоже не понимали, что произошло в их стране, но от новой власти они ничего другого и не ожидали.

Муж мадам Нуон Варин был врачом, выпускником французского университета. Во Франции он и познакомился со своей будущей женой, окончившей курсы повышения квалификации преподавателей языка в «Альянс франсез». У них было трое детей: две дочери в возрасте пяти и шести лет и четырехлетний сын по имени Пьер. С того дня у Нуон Варин нет никаких сведений об их судьбе. На то, что жив муж, надеяться не приходится. С точки зрения «красных кхмеров», он запятнан слишком многими грехами: образование вообще, медицинское образование в частности, свободное владение иностранным языком, долголетнее пребывание в капиталистической стране, несомненная принадлежность к классово чуждой социальной группе. А дети? Неизвестно. Мадам Нуон Варин не теряет надежды, что они живы. Но няне было почти семьдесят лет, она была неграмотна, не знала города, с трудом передвигалась. Она не сумела бы позаботиться о детях, если бы ее даже выселили вместе с ними в «коммуну». А дети были слишком малы, чтобы самим о себе позаботиться. Старшей девочке было бы теперь всего десять лет. Пьеру всего семь с половиной. А ведь если бы Нуон Варин позволили тогда вернуться домой, дети могли бы быть при ней. Матери имели пра-

[1] После захвата власти полпотовцами Компартию Кампучии стали называть революционной организацией «Ангка».

во брать с собой в «коммуну» детей до пяти, иногда даже до семи лет.

Первые месяцы в «коммуне» Пойпаэт были невыносимы. Нуон Варин получила самую худшую, четвертую, категорию. Она думает, что была предназначена к уничтожению в первую очередь, а спас ее целый ряд случайностей.

Пойпаэт была одной из тех немногочисленных деревень в восточной части страны, откуда поначалу не выселили прежних жителей. Там находилась с начала семидесятых годов партизанская операционная база. Население, которое наполовину состояло из представителей народности тямов, было признано заслуживающим доверия и обнаруживающим достаточно высокий уровень революционной сознательности. Это были люди по сути своей честные, но ужасающе темные и бедные. Пришельцев из города им представили как заядлых врагов народа, эксплуататоров и иностранных наемников, несущих прямую ответственность за те несчастья, которые обрушились на кампучийскую деревню за последние пятнадцать лет. Крестьяне из Пойпаэт не видели никакого повода сочувствовать этим кровопийцам, да и говорили они на особом, тямском, наречии, так что войти в контакт с ними было трудно. Они помогали полпотовским кадровым работникам в надзоре над новоприбывшими, следили за ними днем и ночью, доносили о каждом случае неподчинения. Бывало, конечно, что крестьянки подбрасывали иногда сушеную рыбину или горсть тапиоки. Но деревня сама еле могла прокормиться.

Голод поначалу ощущался так остро, что Нуон Варин не могла спать по ночам. Она получала сто граммов риса в день, один раз в месяц — яйцо, время от времени — миску «прахока», крестьянской похлебки с соевыми макаронами, овощами и кусочками рыбы. Но бывали и целые недели, когда на кухне выдавали людям четвертой категории только восемьдесят граммов риса, и ничего больше. У нее начали выпадать волосы, кожа гноилась, десны кровоточили.

Рабочий день на рисовых полях в Пойпаэте был продолжительней, чем в других местах: с четырех утра и до половины восьмого вечера, с полуторачасовым перерывом на обед, который полагалось есть в поле, не возвращаясь в помещение «коммуны». Через день работу заканчивали в пять часов, после чего начинались собрания по идейному перевоспитанию, которые часто затягивались до полуночи. Собрания проходили так: полпотовский комиссар прохаживался среди сидевших на корточках жителей «коммуны» и несколько раз читал вслух учебную брошюрку, предложенную «Ангкой» на данный месяц. Неграмотные часовые следили, не сомкнутся ли у кого-нибудь усталые веки. Провинившихся немедля призывали к порядку.

Потом начиналась так называемая дискуссия. Она состояла из двух частей. В первой части обитатели «коммуны» должны были один за другим цитировать, по возможности ближе к тексту, тезисы только что прочитанной брошюрки. Вторая часть была посвящена критике и самокритике. Начинался, как говорит Нуон Варин, «конкурс доносов». Чем яростней обвинял человек в лени или несознательности своих сотоварищей по несчастью, тем лучшую оценку получал он сам. Но этого было мало. Требовалось также как можно хуже говорить о себе, признаваться в дурных мыслях, заниматься самобичеванием, рассказывая собственную биографию, приписывать себе всевозможные прегрешения и проступки.

Быстрее всех овладели этим искусством китайцы. Уже через несколько недель они произносили целые поэмы самокритического содержания, подбирая самые скверные ругательства в свой адрес, с жаром обвиняли себя в приверженности конфуцианству и в связи с империалистами. Самыми непокорными были вьетнамцы, которые всегда держались вместе и делали вид, что не понимают, о чем речь. Начальник «коммуны», злой, примитивный, тупой, терял самообладание, когда вьетнамцы, получив слово, глядели ему прямо в глаза и молчали. Это были, как правило, богатые купцы, образованные, повидавшие мир и не слишком восхищавшиеся тем, что происходило на их старой родине. Но в «коммуне» Пойпаэт они были твердыми, словно гранит, как и их соотечественники по ту сторону границы.

Мадам Нуон Варин была, наверное, единственным человеком во всей «коммуне», которая на первых порах отнеслась к этим кошмарным молебнам с полной серьезностью. Шатаясь от голода и усталости, она вступала в споры с комиссаром, задавала вопросы, пыталась мыслить. Со всей серьезностью и откровенностью она признала наличие пробелов и недостатков в своем сознании: в сущности, только здесь она увидела, как на деле выглядела жизнь крестьян и какая пропасть разделяла жителей городов и остальную массу народа. Она искренне признавала физический труд ценным средством перевоспитания, но ставила под сомнение его изнуряющую чрезмерность и бесцельную суетню. Она не скрывала своих резких суждений о глуповатых чиновничьих женах, осмелилась упрекать полпотовских кадровых работников в отступлении от революционного равенства, поскольку они жили отдельно, имели собственную кухню, причем далеко не бедную, а некоторые жили даже с семьями, в то время как среди новых жителей Пойпаэта не было ни одной супружеской пары. Нуон Варин требовала также, чтобы жители «коммуны» получали больше информации, прежде всего о своей «коммуне», ее хозяйстве, финансах и производственных планах, а также о жизни страны и мира. Она утверждала, что только таким путем простой народ, к которому она сама хочет принадлежать, сможет утвердить в себе революционное сознание. Ее слова для всех звучали как загадка. Она была женщиной весьма миловидной, можно сказать, красивой. Ее красноречие, интеллигентность и горячность были прямотаки драматическим контрастом по отношению к бесцветной и скучной жизни «коммуны».

Но в середине 1976 года «коммуна» Пойпаэт преобразилась в ад, и Нуон Варин перестала выступать на идейно-воспитательных собраниях.

Сменились начальник коммуны и почти все кадровые работники. Были выселены старые жители, начинавшие уже ворчать по поводу голода и беззаконий режима. В деревне расквартировали карательно-охранный взвод, состоявший из молодых ребят с ледяными глазами. Питание намного ухудшилось, но в «коммуне» угнездился худший, чем голод, пришелец: страх.

Чуть ли не каждую ночь бесследно и навсегда исчезал кто-либо из жителей «коммуны». Только раз мадам Варин слышала выстрелы, а между тем число жителей начало таять на глазах. Никто еще не знал о новом применении мотыг и американских саперных лопат, с которыми не расставались солдаты взвода охраны. Никто не добрался еще до края леса, куда каждую ночь уводили в полном молчании внезапно разбуженных людей. «Коммуна» в ужасе замерла. Люди перестали друг с другом разговаривать. У всех была третья или четвертая категория, и через несколько недель они поняли, что жить им осталось недолго. Бегство не входило в расчет: охранники сидели на дамбах с оружием наготове, отводили людей на полевые работы и обратно, тихо, как кошки, прохаживались ночью вокруг спален. Нуон Варин снова лишилась сна, ожидая по ночам, когда рука охранника отодвинет занавеску в общей спальне. В одну из ночей она заснула как убитая. Утром, когда проснулась, на соседней койке не было молодой Куэй, китайской студентки из Пномпеня, с которой они временами обменивались несколькими словами по-французски. Она больше не вернулась. Наверное, лежит около леса с размозженным черепом.

Мадам Нуон Варин решила не искать больше объяснений. Целыми днями она ни к кому не обращалась, высаживала на поле рассаду, ухаживала за свиньями, сушила буйволиный помет, таскала хворост, рубила топориком кокосовые орехи. Рабочий день был продлен до пятнадцати часов. Воспитательные собрания происходили уже только раз в неделю. Начальник «коммуны» (комиссара уже не было) держал в руках автомат, направленный прямо на собравшихся, и зачитывал очередную брошюрку, а потом список провинностей. Цитировал неосторожные слова, шепотом сказанные перед сном или в отхожем месте, перечислял тех, кто тайком разжег костер и сварил себе суп из бамбуковых побегов, предупреждал, что революционная власть не потерпит ревизионизма, буржуазного индивидуализма, а также движения по капиталистическому пути. Он, вероятно, не понимал этих терминов, но ярость, с которой он швырял их в лицо жителям «коммуны», заставляла каждого из них ждать самого худшего. Из 550 жителей, которые были в «коммуне» в 1975 году, осталось всего триста человек, в их числе только четырнадцать мужчин. Не было уже ни одного вьетнамца и ни одной вьетнамки. Семьи лонноловских офицеров были уничтожены до последнего человека. Весной 1978 года Нуон Варин пришла к убеждению, что в Кампучии скоро останутся одни женщины и дети.

В феврале 1978 года расправы дошли до высшей своей точки: население Пойпаэта уменьшилось еще на 70 человек. Начальник официально заявил, что «коммуна» будет ликвидирована, так как вся провинция Кратьэх будет превращена в стратегический район. Нуон Варин знала, что дни ее сочтены. Но как раз в этот момент она заболела. Трудно сказать, что это была за болезнь: высокая температура, полный паралич тела, сыпь, состояние прострации и равнодушие к собственной судьбе. Пять дней Нуон Варин лежала в полусознании, одна в громадной женской спальне. В «коммуне» не было никого, буквально никого, кто разбирался хотя бы в лечении травами или в народной медицине.

Когда Нуон Варин вспоминает сегодня об этих годах, ей самой не верится, что она смогла это пережить. Целых три года она не держала в руках даже обрывка печатного текста. Ни разу не слышала радио, музыки и нормальной человеческой речи. Ничего, ровно ничего не знала о том, что происходит в Кампучии и в мире. Она не знала даже, что такое «Ангка» и каковы в действительности люди, которые навлекли на ее родину все эти бедствия. Три года кошмарного сна, голодного бреда, отчаяния и тоски по детям, такого невообразимого одиночества, что одиночная тюремная камера представлялась иногда освобождением.

Я спросил, была ли за эти три года в «коммуне» сочинена какая-нибудь песня, стихотворение, анекдот, может быть поэма в прозе... Ведь исключительные ситуации всегда, во всех культурах, дают начало какому-нибудь самородному творчеству.

Песня? Нет. Ничего подобного не было. Это трудно понять, надо самому пережить. Отупевшие от голода и изнеможения люди, которым каждую ночь угрожала смерть, затерявшиеся, разлученные со своими близкими, подвергнутые невообразимому психическому давлению,— могли ли такие люди сочинять песни?

29 апреля 1978 года около четырех часов утра (исполнилось три года, как Нуон Варин прибыла в исправительную «коммуну») оставшихся в живых жителей Пойпаэта разбудили треск выстрелов, взрывы гранат, шум боя. Нуон Варин не могла понять, кто и с какой целью напал на «коммуну». Она не знала, что существуют партизаны. Солдаты взвода охраны бросились к лесу, но один за другим полегли под автоматным огнем. За пятнадцать минут исправительная «коммуна» Пойпаэт получила свободу. Какой-то запыхавшийся офицер собрал на площади оставшихся в живых и сказал, что отныне здесь будет освобожденная зона. Кровавая клика Пол Пота — Иенг Сари никогда больше не будет убивать кхмерских патриотов, восстанавливаются свобода, демократия и справедливость. Обязанность каждого патриотически настроенного кхмера — вступить в ряды освободителей, помогать им приближать победу, которая уже недалека.

Нуон Варин отказалась присоединиться к освободительным отрядам. Не хотела оставаться в освобожденной зоне. Она не сомневалась, что, если полпотовцы возвратятся, жить ей останется в лучшем случае несколько минут. Вместе с уцелевшими женами чиновников и купцов она отправилась пешком в лагерь для беженцев в Бенсане. У нее не было сил брать на себя новые политические и моральные обязательства. Она

сочла свою жизнь конченой и питала лишь одну надежду: что удастся найти детей. О муже она не смела и думать.

И это, в сущности, все.

Нуон Варин так много рассказала нам о своей жизни, что чувствовала себя вправе задать и нам один вопрос. Она не знает, кто мы и что думаем о происходящем. Но не захотим ли мы откровенно ответить на один важный вопрос? Конечно, мы можем не отвечать, если это нам неудобно или мы по какой-то причине не захотим этого сделать. Речь идет вот о чем: видели ли мы в Кампучии вьетнамские войска?

Так я и думала, говорит Нуон Варин. Это надо было предвидеть. Полпотовцы затянули над нами стальную сеть, которую никто другой не сумел бы прорвать.

Заместитель председателя народного совета уезда Мук Кампуль — высокий седой мужчина, лицо которого с первой минуты привлекло мое внимание. Этот человек был похож на пророков и апостолов Эль Греко: торчащие, коротко подстриженные волосы, глубокие борозды морщин около рта, мука и страх в каждой морщине. Большие, горящие, беспрерывно слезящиеся ореховокарие глаза. Я с удивлением узнал, что ему только сорок восемь лет. На вид было все семьдесят.

Его зовут Ким Тень И. До 1975 года он был старшим инспектором американского нефтеконцерна «Эссо» в Пномпене и трех близлежащих провинциях, в том числе и в провинции Кандаль. Он принадлежал к сравнительно узкой группе хорошо оплачиваемых и пользовавшихся доверием американцев местных служащих.

Правильно ли я понял? Бывший служащий американского концерна — ныне заместитель бывшего офицера «красных кхмеров»? Ведь пять лет тому назад эти люди не могли не быть смертельными врагами?

Нет, никакой ошибки. Таков на самом деле классовый состав новой власти в уезде Мук Кампуль.

Ким Тень И великолепно говорит по-английски. Мне захотелось побольше узнать об этом человеке.

Вместе со всей семьей, которая состояла из жены, четырех сыновей и престарелого тестя, Ким был выброшен из своей квартиры в Пномпене 20 апреля 1975 года в три часа утра. Командир патруля дал им пять минут, чтобы освободить квартиру, и предупредил, что в случае опоздания откроет автоматный огонь. Им не позволили взять с собой ничего, буквально ничего: ни часов, ни смены белья, даже пачки сигарет. На сборном пункте жена, трое младших сыновей и тесть были отделены и высланы в отдаленные «коммуны». Только сейчас, после освобождения, Ким узнал, что жена умерла во время перехода (у нее было больное сердце), а все трое сыновей были при разных обстоятельствах убиты полпотовцами в трех разных «коммунах» провинций Баттамбанг и Кампонгтхом.

Ким и его старший сын, двадцати четырех лет, были арестованы, так как разведка полпотовцев располагала исчерпывающим досье по этому вопросу, и доставлены во временную тюрьму, в здании французского лицея. Короткий допрос выявил бездну грехов, которые нельзя было отрицать: работа на заграничных капиталистов, знание двух иностранных языков, роскошная вилла, автомашина, а к тому же еще катер, счет в банке и небольшое владение около озера Тонлесап. Сперва объявили, что Ким и его старший сын будут отправлены в исправительную «коммуну», но потом, как всегда бывало у полпотовцев, что-то внезапно изменилось.

Пятого мая Кима и его сына погнали в составе колонны из сорока человек в город Прейвэнг. Их сотоварищами были исключительно офицеры армии Лон Нола, директора банков, сотрудники иностранных посольств, какой-то журналист. Люди вне закона и милосердия. Один раз в день они получали стакан воды и горсть сырого риса. За четыре дня форсированного марша семь человек умерло, двоих застрелили конвоиры.

Девятого мая колонна добралась до Прейвэнга и была отправлена в начальную школу на окраине города, которую в спешном порядке переоборудовали под тюрьму для опасных политических преступников. Самый просторный из классов был поделен на шесть прямоугольных боксов, похожих на стойла для скота. Между стенами класса был вделан на высоте пяти сантиметров от пола стальной стержень толщиной в 30 миллиметров, в трех местах поддерживаемый подпорками. Концы его были забетонированы в стене. Я видел позже эту школу, трогал этот стержень и знаю, что нет человека, которому удалось бы его выломать или, по крайней мере, расшатать.

Заключенным велели сесть на корточки. Охранники принесли корзину с горячим углем и большой кузнечный молот. Заключенных поделили на пары и сковали друг с другом таким образом, что правая рука одного была прикована к левой руке другого. Заковывали, конечно, в раскаленное железо. Это было четыре года назад, но у Ким Тень И и сейчас на сгибе правой руки глубоко выжженный шрам, из-под которого просвечивает затянутая розовой кожей кость. В нескольких местах процесс заживления еще не закончился.

Затем левые ноги заключенных были прикованы кандалами к стержню около пола. Неизвестно, откуда полпотовцы взяли такое количество кандалов, запиравшихся на висячий замок. Но это и не имело значения, так как комендант после того, как заключенных заковали, со смехом выбросил все ключи за окно.

Два раза в день заключенным подавали миску с водой, которую можно было только лакать по-собачьи, потому что одной свободной рукой миску нельзя было удержать. Раз в день охранник приносил миску с заплесневелым рисом, кусочками жира, в котором кишели черви, и горсть острого перца, который возбуждает жажду. Тут же удовлетворялись и естественные потребности.

Вскоре одежда, в которой они вышли из дома, превратилась в вонючие прелые лохмотья. На ягодицах начали возникать пролежни. Насекомые безнаказанно рыскали

по их телам, ящерицы и москиты день ото дня наглели. Спустя две недели кожа у сына начала гноиться. От нее шел настолько ужасный запах, что Ким несколько раз терял сознание и, падая, увлекал сына за собою на пол. Потом парень стал терять силы, опирался о закованное плечо отца, который ничем не мог ему помочь, но каждым движением причинял сыну дополнительную боль. Самые ужасные мучения приносила ночь. Спать в столь непривычном положении поначалу было совершенно невозможно. Кандалы, больно впиваясь в тело, притягивали узников к стержню при каждой попытке расправить мышцы. Нельзя было шевельнуть скованными руками, не дергая при этом замлевших ног.

В этих условиях Ким Тень И вместе со своим старшим сыном провел сто восемь дней.

28 февраля сменился начальник специальной тюрьмы в Прейвэнге. На следующий день по причинам, которых Ким никогда не мог понять, некоторым заключенным, в том числе Киму и его сыну, были вручены металлические пилки, чтобы они перепилили кандалы. Это заняло два дня и ночь, потому что каждый из них мог пользоваться только одной рукой, а железо хорошо закалилось. Когда на третий день утром цепи около стержня лопнули, обнаружилось, что оба они не умеют стоять. Они отвыкли от такой позиции, позвоночник у обоих деформировался. Прошло еще три дня, прежде чем они сумели собственными силами добраться до стены и сделать несколько шагов.

В тот же самый день в школьный зал вошел новый начальник в сопровождении двух палачей с мотыгами в руках. Он на минуту задержался около сына Кима и указал на него пальцем. Палачи набросились на парня и под руки вывели его из школьного зала. Через несколько минут Ким услышал пронзительный крик сына и глухой звук падающего тела. На следующий день он увидел неглубокий ров, где его сын был похоронен.

Кима, то и дело шатавшегося и падавшего, включили в колонну из 120 человек, собранную из различных тюрем Прейвэнга. Почти все они выглядели точно так же. Ким сам не знает, как он выдержал этот очередной марш смерти. На новое место поселения, которое находилось в 120 километрах от Прейвэнга, прибыло 7 сентября всего сорок человек. Остальные погибли по дороге от истощения и гноящихся ран или были убиты конвойными.

Рассказ Кима о жизни в «коммуне» Прэах Леам не слишком отличается от всех других рассказов, которые я слышал от людей четвертой категории. Видимо, только исключительная физическая выносливость спасла Кима. Но под конец 1976 года у него стали выпадать зубы, опухло тело, ноги отказывались служить. Временами он терял сознание от невыносимой боли в позвоночнике. Ким был убежден, что скоро умрет. Он не сомневался, что полпотовская власть будет существовать вечно, не рассчитывал ни на какие перемены. Его душа, как он говорит, была уже по ту сторону.

В начале мая 1977 года по «коммуне» разошлась весть, что все, кто имеет четвертую категорию, будут ликвидированы в течение ближайших недель. Действительно, однажды ночью из спальни вывели двоих людей, которые больше не вернулись. Один из них был буддийским монахом. Потом еще двоих. И еще. Спальня начала пустеть.

18 мая во время перерыва для приема пищи с Кимом произошло что-то вроде голодной галлюцинации. Обезумев от голода и боли, он пошел прямо вперед, на глазах охранника, в редкие заросли на краю рисового поля. Никто на это не реагировал: почему — неизвестно, хотя уход Кима был замечен несколькими лицами, в том числе и стражей. Видимо, решили, что Ким хочет совершить самоубийство, потому что при нем не было никакого узелка, а идти сквозь джунгли без спичек и запаса продовольствия никто в здравом уме не решится.

Ким сам не знает, как долго он шел вслепую сквозь кустарники, а потом сквозь джунгли. Не стоит рассказывать, как произошла встреча с другими беглецами, которые что есть духу удирали из взбунтовавшейся соседней «коммуны». Достаточно сказать, что бывший инспектор фирмы «Эссо» стал командиром небольшой партизанской группы. Через неделю была проведена первая боевая операция: голыми руками задушили охранника в ближайшей «коммуне». Так группа добыла первый автомат и небольшой запас патронов. В ноябре 1978 года партизанский отряд насчитывал уже триста человек. Во главе его стал опытный в партизанской борьбе офицер из «красных кхмеров». В джунглях была создана база, намечен эвакуационный путь во Вьетнам, собран запас продовольствия. Два раза дело дошло до стычек с преследовавшими их бригадами полпотовцев, один раз — до случайной перестрелки с силами территориальной обороны на вьетнамской стороне границы. Отряд, в котором Ким Тень И вел свою «частную» войну с полпотовцами, состоял из бойцов самого разного происхождения и взглядов. Согласно европейской терминологии, если б она сюда подходила, в отряде были люди от крайне правых до крайне левых. Но о политике разговаривали редко. Задача состояла в том, чтобы выжить и помочь выжить другим. Сегодня бывший инспектор «Эссо» придерживается мнения, что восстановление страны важнее всех политических различий. Богатых и счастливых тут и так никогда больше не будет. Может быть, через два поколения. Поэтому Ким принял пост заместителя председателя от новой власти.

Я посмотрел в слезящиеся глаза Кима (трудно сказать, что это: конъюнктивит или непрекращающееся следствие нервного напряжения), задержался взглядом на его посеревшей гимнастерке, еще раз зафиксировал в памяти рану на руке, сбившиеся седые волосы и смешные часы на цепочке. Я спросил, может ли он сказать, сколько людей было убито на его глазах.

Да, это нетрудно. Он был свидетелем убийства восемнадцати человек, в том числе собственного сына. Он присутствовал при смерти примерно ста человек, которые расстались с жизнью на марше, от голода, истощения, инфекции ступней, ран, от болезней, которых никто не лечил. Он лично знал не меньше ста восьмидесяти, а может

быть и двухсот, человек, о которых можно сказать наверняка, что они уничтожены полпотовцами.

Считает ли он, что названное нам число — два миллиона жертв — соответствует действительности?

Это слишком низкая цифра. Ведь что ни день открываются новые могилы. Не далее как вчера Ким побывал в ближайшей деревне, где найдена массовая могила, в которой, как предполагают, около тысячи трупов. В одной только провинции Кратьэх насчитали пока что свыше пятидесяти тысяч убитых. Да, только тех, чьи тела или кости достаточно хорошо сохранились, чтобы их можно было сосчитать. Прошел лишь месяц, как начали считать. А провинций в Кампучии девятнадцать. А как обстояло дело в северо-западных провинциях, где, как сообщают, были целые фабрики смерти?

Не досадно ли с таким превосходным знанием английского языка работать в уезде, когда страна ощущает столь острую нехватку квалифицированных кадров?

Нет. Ким никогда больше не вернется в большой город. До конца жизни ноги его не будет в Пномпене.

Мы въехали в Прейвэнг. Но вряд ли можно употреблять это название. Города вообще нет. Он не существует. Надо зачеркнуть его на карте Индокитая и на карте мира. Двадцать две тысячи жителей Прейвэнга уничтожены все до единого, по причинам, которые никому не известны. А сам город почти целиком поглотили джунгли.

Я возмутился, когда нам в дороге об этом рассказывали. О преступлениях полпотовцев мне известно достаточно много, но должны же быть какие-то границы. Нельзя убить город до такой степени, чтобы его пришлось навсегда стереть с карты.

И все-таки это была правда. Прейвэнга нет. Я никогда не видел домов, поглощенных столь жадной и беспощадно ошалевшей растительностью джунглей. Может быть, сказалась близость поймы Меконга с ее жарким плодородным микроклиматом, может, полное отсутствие людей и животных в течение трех сезонов дождей, а может, какая-то мстительность оскорбленной природы... Это Иеронимус Босх и Теофиль Оцепка[1], Таможенник Руссо[2] и Нико Пиросманишвили, сюрреалисты и пуантилисты[3] — все одновременно. Дверь, выломанная толстыми ветвями фигового дерева. Дикое банановое дерево, растущее из окон второго этажа. Небольшой куст, похожий на драцену, который развалил на куски чугунную ограду вокруг пышной виллы. Плоды хлебного дерева, гроздьями торчащие из окон автомашины. Миллионы километров лиан, которые густой, жесткой сеткой опутали целые кварталы еще белеющих домов. Тротуары и мостовые, распаханные, раскореженные, смятые ползущими под ними корнями. Группа молодых палисандровых деревьев на террасах и лестницах какого-то дворца. Вьюнки аквамаринового цвета, оплетающие тесной кучкой бывший фонарный столб. Изумрудная трава, которая растет на виднеющейся через окно бывшей ресторанной стойке. Наверное, ветер разносил по воздуху почву и зародыши растений, муссоны питали их водой, этот плодородный гумус поднимался вверх, влекомый прочно сплетенными и сбитыми корнями. Здесь снова свершались события из новой Книги Бытия, повторился юрский период, кошмарное чудо творения. Еще немного — и на улицах Прейвэнга появились бы покрытые чешуей тела огромных пресмыкающихся с миниатюрными мозгами, затем волосатые обезьяны, которым понадобится десять тысяч лет, чтобы изобрести огонь, и следующие десять тысяч, чтобы изобрести огнестрельное оружие, мелинит и напалм.

В какой-то момент сквозь темную и дурманящую зеленую стену промелькнуло что-то белое, блестящее, граничащее с обманом зрения. Мы остановили машину и направились туда, раздвигая лианы. Это был склад для временного хранения новых, только с фабрики автомашин. В ближнем ряду стояли два «мерседеса 280 SEL», с обивкой цвета бургундского вина и слоновой кости, с автоматической коробкой скоростей и кадмированными стеклами. Они сделали по пять—семь километров пробега. В двух кабинах торчали ключи. За ними сверкали новенькие красного цвета «пежо» и, кажется, синие «вольво», но проверить это было уже невозможно. Лианы забрались под подвеску мотора, прогрызли стенки камеры сгорания и наполнили внутренность автомобилей густым, плотным, вонючим месивом. Вслед за лианами двинулись на штурм побеги каких-то кустарников, похожих на калину, вьюнки, омела, лишайники, желтые мхи, маленькие цветочки с лепестками цвета киновари. Автомобили были засосаны и прикованы к месту так надежно, словно сами они вросли в эту горячую землю, словно они были чашечками чудовищных кувшинок или раковинами гигантских моллюсков на дне лесного моря.

Из блокнота. Приветствует глава нар.-рев. совета провинции Прейвэнг. (Во дворе шеренга вытянувшихся девушек, автоматы без магазинов, неисправные.) Интеллигентный, симпатичный. Говорит по существу. Только начинают брать власть, провинция П. страшно разорена, бои, мало людей. Полпотовцы уничтожили 40% населения, то есть от 120 до 160 тыс., наибольшие потери по всей стране. (Проверить!) «Нашу прекрасную Кампучию превратили в одну огромную могилу». Практически уничтожили сделанное за сто лет. Полностью уничтожили культуру, нет ни одной книги, школы. Будем работать годы, прежде чем К. вернется к прежнему состоянию, а где прогресс? К. была очень бедна, и как раз здесь это произошло. Резко о китайцах: враги народов Азии. Империалисты. (Так говорит.) Если б

[1] Теофиль Оцепка — польский художник-самоучка, автор фантастических пейзажей.

[2] Анри Руссо, по прозвищу Таможенник (1844—1910),— французский художник-самоучка, создатель фантастико-аллегорических композиций.

[3] Пуантилизм — манера письма раздельными мазками правильной формы, наподобие точек или квадратов.

не китайцы, полпотовцы не могли бы держаться, он сам участвовал в восстании, знает, сколько восстаний было. (Сколько? Когда?) Интересно, записать позже: ему самому не дожить до цветущей и счастливой Кампучии, но все хотят восстановления, чтобы следующее поколение могло жить лучше. Надо держаться правильной революционной линии, чтобы это осуществить. То есть мыслить. Видно, что неглупый человек. Говорит без бумажки. 38? 40? У них даже больные идут на работу. Даже изголодавшиеся. Важнейш. проблема: лекарства, перевязочные средства. Не буду об этом писать, сразу же поднимут шум: у нас тоже нет. У человека одна жизнь, каждому надо лечиться. Чертова жара. Девушки красивые, рослые.

Сквозь лианы, траву, бурьян, едва касаясь колесами покрывшегося асфальта главной улицы, пробираясь под нависающими шапками бородатых фиговых и мангровых деревьев, мы ехали на окраину бывшего города, чтобы увидеть школу, которая была превращена в тюрьму. Именно здесь провел сто восемь дней Ким Тень И.

Здание бывшей школы расположено в восьмидесяти метрах от линии прежней улицы, но, чтобы пройти это расстояние, понадобилось около пяти минут. Пришлось продираться сквозь двухметровые гребенчатые листья диких банановых деревьев, сквозь колючую траву, похожую на аир, сквозь кудрявый, ветвистый кустарник, высотой до колена.

Школьный зал выглядел именно так, как его описывал Ким. Шесть метров в ширину, пятнадцать в длину. От стены до стены идут восемь накрепко вделанных толстых стальных стержней. На полу рваные мешки из-под портландского цемента американского производства, который был использован, чтобы их забетонировать. Двери и окна распахнуты с обеих сторон. На полу жестяные миски, тряпки, гнилые подметки. И пятьдесят четыре пары железных кандалов: я пересчитал их, чтобы установить пропускную способность специальной тюрьмы. Все они выкованы вручную из прутьев строительной арматуры.. На некоторых действительно следы пилы. В помещении валялись мотки колючей проволоки. В Кампучии она еще никогда не производилась.

В зале царила мертвая раскаленная тишина, прерываемая только щебетом птиц и жужжанием ос.

Сквозь одну из дверей я вышел на залитый солнцем двор и в первую минуту не поверил глазам. Передо мной лежали, один возле другого, четырнадцать человеческих черепов. В двух виднелись отверстия диаметром в полтора сантиметра и идущие лучами трещины. Потом я заметил, что вокруг лежат десятки берцовых, тазовых и бедренных костей, ключиц, лопаток. Я не мог ни схватиться за фотоаппарат, ни сделать шаг вперед: я, остолбенев, глядел на это кладбище. Оно не выглядело ужасно или отталкивающе. При солнечном освещении черепа приобрели какой-то особый, мирный отблеск. Трава смягчала зрелище посеревших бедренных суставов и тонких коричневых ребер. Я наклонился над ближайшим из черепов: в нем была трещина над надбровной дугой — и увидел рядом две кости предплечья, связанные колючей проволокой.

Я сразу потерял интерес к чему-либо иному, двинулся вперед, на запущенный участок, поросший высохшей в этом месте травой. Теперь что ни шаг мне попадались целые скелеты с раскинутыми руками, черепа глазницами к земле, отдельные тазовые и берцовые кости с обрывками тряпья, опять черепа со следами проломов, челюсти с белыми ровными зубами. Я решил подсчитать все это, потому что по опыту знаю, что никакое описание, если оно не подкреплено фактами, не отвечает требованиям журналистской работы. После сорокового черепа я бросил подсчет. Неизвестно было, считать за человека скелет без головы или не считать. Я не мог решить, как быть с пятью связанными нейлоновым шнуром костями, так как их должно было быть шесть, да и лежали они отдельно, между корнями какого-то дерева. Я видел черепа, лежавшие между ребрами или втиснутые в полукруглые чаши тазовых костей. Видимо, трупы этих людей были растерзаны животными, переносились на другое место муссонными ливнями. Я шел дальше через место, которому трудно дать название, и отмечал в памяти лишь новые черепа.

Но это было только начало.

Позади бывшей школы когда-то располагались, по-видимому, огороды, а может быть, пастбища. Вся эта территория была теперь неузнаваема, заросла буйной зеленью. Еще можно было разглядеть десятки глиняных сосудов, в которых здесь держат воду для полива или корм для скота. Высота их была около полутора метров, а диаметр у горла — не более восьмидесяти сантиметров. Я заглянул в первый встретившийся на моем пути сосуд: он был доверху наполнен костями, а поверх груды лежал череп. Во втором то же самое. И в третьем. В пятом. В одиннадцатом. Сколько трупов могло войти в один сосуд? Три? Четыре? Жители Камбоджи, как правило, невысокого роста, после смерти их тела, наверное, скрючивались. Но кто их сюда засовывал, впихивал, ведь кувшины у горла были поуже, а к середине расширялись? Это не могло быть простое механическое действие, это надо было как-то наладить. И почему здесь трупы запихивали в глиняные кувшины, а ста метрами дальше они валялись на открытом пространстве?

У меня стало мутиться в голове. Я кружил по заросшей земле, встречался с изумленными коллегами, заглядывал в двадцатый, в сороковой кувшин, потом взобрался на небольшой холмик и снова увидел разбросанные по земле черепа. Десять, двадцать, тридцать черепов. У них столь характерная форма, что на серо-зеленом фоне их легче распознавать, чем тазовые или плечевые кости. В одном месте — это было что-то вроде миниатюрной поляны, окруженной стеной каких-то растений, похожих на крапиву,— я внезапно увидел торчавшую из земли кость голени. Рядом с ней лежали потемневшая пряжка, остатки кожаного пояса и пропитанный кровью лоскут. Я понял, что вижу то, что лежит на поверхно-

сти, только то, чего еще не укрыла растительность, и ничего не знаю о том, что находится под землей.

Думаю, что за сорок минут я увидел не менее четырехсот, может быть даже пятьсот, человеческих черепов и скелетов.

Вскоре в эту цифру пришлось внести поправки. Тут же, около бывшей улицы, виднелись два колодца. Два обыкновенных облицованных камнем колодца. Первый из них был на всю глубину заполнен костями и черепами. Второй, глубиной в шесть-семь метров, почти пуст. На дне его виднелось еще пять черепов, кверху глазницами. Контраст между белизной костей и черными провалинами глаз был таким впечатляющим, что черепа в какой-то момент были похожи на лица живых людей. Может быть, вследствие моей близорукости.

Кто-то из коллег наткнулся на известковую яму, заполненную еще сохранившимися остатками тел. Кто-то увидел шипевшую змею, которая грелась в размозженном черепе. Кто-то принес с собой католический молитвенник, найденный между черепами.

Но это был еще не конец.

Машины опять продирались сквозь заросшие лианами бугры на середине мостовой, задевали бортами о мясистые листья диких фиговых деревьев, с треском ломали гибкие, но твердые ветви тамариска. В этих джунглях не было никого, но ощущение пустоты было иным, нежели в Пномпене. В густом, непроходимом лесу никто не надеется встретить толпу прохожих. Только ведь эти джунгли разрослись на многолюдных и шумных когда-то центральных торговых улицах. Видны были брошенные и оплетенные лианами тележки уличных торговцев. Из-за зеленой стены сверкали остатки вывесок, темные помещения пивных, какие-то перечно-коричневые лавки с еле видными уже полками и грудами каких-то товаров. Посреди некоторых поперечных улиц шли узкие, извилистые тропинки. Они больше напоминали пути, вытоптанные в джунглях идущими на водопой животными, чем признаки каких-либо человеческих поселений. Где-то промелькнула оплетенная вьюнками бензоколонка, какое-то большое строение — рынок, спортивный зал, фабрика?— откуда расползались апельсиновыми языками скопища маленьких хищных цветов.

Нас привезли на место, о котором трудно сказать что-либо определенное. По-видимому, это была фильтровальная или очистная станция, хотя в Азии редко строят такие сооружения: жизнеспособность бактериальной флоры тут настолько велика, что можно избавить себя от напрасных расходов. А может быть, это была станция, подававшая воду для промышленных целей, ибо в глубине, в густых кустарниках, за непроницаемой ширмой банановых и бамбуковых деревьев, виднелись какие-то стены, похожие на фабричные. Выяснить, что это, не удалось. Переводчики и офицеры охраны были, как и мы, взволнованы увиденным, отвечали коротко, о чем-то шептались между собой. Никто из них не был родом из Прейвэнга: ни один житель этого города в живых не остался.

Сперва мы отправились на тылы длинного, совершенно пустого здания непонятного назначения. Оно тоже граничило с каким-то бывшим огородом и шеренгой полностью заросших домов. Вдоль границы объекта шла стена пятнадцатиметровой длины, высотой в один метр шестьдесят сантиметров. Параллельно стене, со стороны огородов, шел деревянный забор из хорошо пригнанных досок, такой же длины и почти такой же высоты, отстоявший от стены на полметра. Забор и стена образовывали открытую сверху клетку, емкость которой составляла приблизительно двенадцать кубических метров.

Она была до краев заполнена человеческими костями и черепами.

Никто не пожелал это фотографировать. Тогда офицер из провинциального совета сказал, чтобы мы повнимательнее присмотрелись к тому, что видим.

Я приблизился и стал в двадцати сантиметрах от ямы.

В трех лежавших сверху черепах отчетливо виднелись заржавевшие гвозди. У четвертого черепа, тут же рядом, гвоздь был в правой глазнице, вбитый так глубоко, что прошел костную оболочку и вонзился заостренным концом туда, где когда-то был мозг.

Я пошел вдоль стены, приглядываясь к черепам. Их было двадцать восемь. У одиннадцати гвозди были вбиты в верхнюю часть черепа, в висок, в надбровную дугу. В одном черепе виднелись два правильных круглых отверстия диаметром приблизительно восемь миллиметров. Видимо, этот человек оказал сопротивление и его пришлось застрелить — из автомата калибра 7,62 мм. Я видел лишь черепа, которые лежали сверху.

Офицер попросил нас вернуться и указал на толстую доску, вертикально прикрепленную к стене. Она была покрыта длинными сосульками запекшейся крови. Там, где кровь когда-то пролилась на землю, кружили мириады маленьких янтарного цвета муравьев. Рядом лежал топор, обыкновенный крестьянский топор с чуть кривым топорищем и обухом, выщербленным при забивании гвоздей. Вероятно, приговоренных казнили на этом месте. Это была, наверное, кошмарно долгая операция, ибо острие топора было не больше пятнадцати сантиметров длиной.

Я еще раз пригляделся к черепам и увидел, что на лежавших поглубже глазницы были завязаны какой-то синтетической тканью, посеревшей от пыли, но крепко державшейся.

Мы перешли на другую сторону здания.

На бетонированной полосе были видны четырнадцать узких и глубоких отверстий площадью чуть меньше квадратного метра. Это были, по-видимому, фильтровальные отстойники или колодцы биологических фильтров. Одного взгляда было достаточно, чтобы заметить, что они почти до самого верха наполнены черепами и костями. Мы срезали армейским кинжалом гибкую и прямую ветвь какого-то дерева. Она была почти двухметровой длины, но не достала дна. Мы срезали еще одну и связали обе

найденной тут же проволокой. Мало. Третьей ветки нельзя было привязать. Тогда солдат охраны принес с улицы очень длинный пружинящий прут.

Глубина колодцев была четыреста тридцать сантиметров. Перед моими глазами было свыше пятидесяти кубических метров человеческих останков.

С того момента, когда я увидел, как из сожженного зрительного зала варшавского Большого театра телегами вывозили человеческий прах, я научился и так измерять человека.

Четырнадцатый колодец, находившийся за углом этого странного здания, был, по-видимому, с бетонированным дном, хорошо спрятан от солнца и частично прикрыт широкими саговыми листьями. Трупы, которые были сюда брошены, по труднообъяснимым причинам растворились, но не испарились. В бетонной емкости хлюпала маслянистая жидкость цвета сажи. Ее поверхность была покрыта миллионами маленьких червей, вперемешку черных, как блохи, и желтых, как гусеницы. Паразитов было такое множество, что изнутри колодца доносился хорошо слышный хруст. На поверхности плавали два черепа, которые, как видно, были легче, чем месиво из растворившихся трупов. Они чуть заметно кружились, подталкиваемые неустанной возней паразитов.

Впервые в жизни я увидел человека в жидком состоянии.

Этого не выдумали даже в третьем рейхе.

«Без жизни нет смерти; без смерти нет жизни. Без верха нет низа; без низа нет верха. Без беды нет счастья; без счастья нет беды. Без легкого нет трудного; без трудного нет легкого. Без помещика нет арендатора; без арендатора нет помещика. Без буржуазии нет пролетариата; без пролетариата нет буржуазии... Так обстоит дело со всеми противоположностями». (Мао Цзэдун. Относительно противоречия. Избранные произведения, т. 2. М., 1953, с. 462.)

Примерно в половине второго мы приехали в бывшую деревню Дамрэй, расположенную в двадцати километрах на северо-восток от Прейвэнга. «Коммуны» здесь никогда не создавали. Жителей выселили, может быть, по военным соображениям, а может, из-за близости специальной тюрьмы. От бараков на сваях веяло пустотой и разорением, только около двух или трех из них стелился едкий дым очагов. Бегали голые дети. Истощенные, вялые женщины что-то готовили возле домов.

На краю деревни стояла высокая пагода, не слишком красивая по своим пропорциям, но очень милого вида, гармонирующая с низкими и легкими павильонами, окружавшими двор. Здесь находился, должно быть, довольно крупный монастырь, а теперь сельская школа и, по-видимому, небольшая больница. Именно эта пагода была целью нашего приезда.

Крыша главного здания из рыжей черепицы была частично ободрана. Опорные брусья и стропила торчали словно ребра, с которых содрана кожа. Стены галерей были в нескольких местах обшарпаны. На дворе напропалую щебетали птицы. Они порхали около нас веселыми стайками, хвастая разноцветным бархатом своего оперения, заливаясь во все горло от одной лишь радости жить, летать, существовать.

Внутри пагода была пуста. Не было никакой богослужебной утвари, статуи Гаутамы, алтарей, ширм, надписей с поучениями мудрецов, принесенных даров. Все это было собрано и куда-то, по всей вероятности, вывезено, потому что на возвышениях и на полу галереи не было тех следов, которые мы видели во многих других разрушенных пагодах.

На месте главного алтаря лежала высокой грудой примерно тысяча китайских артиллерийских снарядов 130-миллиметрового калибра. Рядом стояли пятьдесят ящиков, на которых были изображены цифра 80 и длинные ряды китайских иероглифов. Артиллерийские взрыватели, минометные снаряды, противотанковые патроны, мешочки с порохом и тринитроцеллюлозой. Латунные гильзы сильно потемнели. Вокруг капсюлей были видны следы ржавчины.

На противоположной стороне, там, где крыша была сорвана, валялась, похожая на огромную помойку, куча самых разнообразных снарядов, взрывателей, пакетов взрывчатки. Она, казалось, вот-вот взорвется. Это, впрочем, должно было рано или поздно случиться. При таком складировании и бешено прогрессирующей коррозии достаточно незаметного земного толчка или даже ветра посильнее, чтобы какой-нибудь капсюль или поврежденный взрыватель сработали в соответствии с предназначением.

Снаряды широкой лентой высыпались на наружную лестницу, расползлись по галереям, лежали в траве, кустарниках, под деревьями. В углу правой галереи я заметил груду круглых, довольно больших банок темно-оливкового цвета с длинными рукоятками и каким-то шнуром или фитилем. На каждой из них была отчетливая надпись: «Poisons Gas Grenade». Ниже, буквами помельче, способ употребления: использовать при скорости ветра не больше десяти миль в час, фитили зажигать поочередно, обслуживающий персонал должен иметь противогазы и тампоны ТХ-8.

Гранаты с ядовитыми газами. Я не знал, что подобные вещи существуют. Может быть, это был просто газ «GS», о котором во время войны в Индокитае американцы упорно твердили, что он не является отравляющим веществом? На каждой банке виднелся поспешно намалеванный красной краской китайский иероглиф, везде один и тот же. Вероятно, он предостерегал насчет опасности отравления. Но я не заметил ни одной надписи, сделанной знаками кхмерского алфавита. Арсеналом в пагоде Дамрэй ведали исключительно китайцы. Интересно, что думали китайские офицеры, когда брали в руки китайские гранаты с ядовитыми газами, выполнявшие здесь столь странную «идеологическую» функцию.

Вокруг пагоды надо было передвигаться со всяческой осторожностью. Солдаты, нас сопровождавшие, не отступали ни на шаг, находили в кустах чуть заметные дискообразные мины, жирные мешочки с пластиком, какие-то таинственные трубки, стерж-

ни из оксидированного алюминия с резьбой.

Около узкой, хорошо протоптанной дорожки я снова увидел человеческий череп. Чуть подальше в густой траве виднелись остальные кости скелета. Я наклонился над черепом и заметил в теменной части два небольших правильных отверстия. Тут же рядом лежали пять использованных гильз с хорошо заметными китайскими серийными знаками вокруг запала. Один из них, похожий на квадрат и чуть перечеркнутый вертикальной чертой, является общепринятым сокращением названия «Срединная империя».

Я взял эти гильзы с собой.

Затем я вошел в один из одноэтажных павильонов, где размещалась когда-то школа. Отсюда также были изъяты все предметы. На одной из стен виднелись рисунки и надписи. На них изображались боевые эпизоды с участием самолетов и артиллерии, изображались так, как рисуют дети, для которых траектория полета снаряда важнее, чем пропорция и перспектива. Древесным углем кто-то нарисовал неумелой рукой портрет солдата в мягкой китайской шапке. На стенах не было ни одного китайского иероглифа, зато было полно многострочных кхмерских надписей. Я попросил переводчицу прочесть мне их. Она поглядела на стену и заявила, что не понимает. Я привел офицера: он покачал головой и сказал, что это писали безграмотно. Писали глупые люди. Это гадости, которые нельзя переводить. Но какие гадости, политические? Нет, нет. Нельзя переводить.

Противоположная стена была тоже исписана. На уровне глаз тянулись три длинные колонки цифр, из которых первые наверняка были обозначением даты: 8.6.76 — 14; 9.6.76 — 8; 11.6.76 — 22. К чему могли относиться последние цифры? Офицер из народно-революционного комитета провинции коротко поговорил с товарищами, показывая пальцем на последние цифры перечня. Потом он сказал, что это, наверное, перечень совершенных казней вместе с числом уничтоженных. Ходят слухи, что вблизи деревни Дамрэй производились массовые убийства. Но только через несколько недель сюда приедет группа, которая начнет поиски могил. Сперва саперы должны очистить территорию от мин и боеприпасов. А с саперами сейчас трудно.

Перечень кончался датой «28.4.78». Я подсчитал цифры справа. Сумма составила 885. Если догадка офицера верна, я знаю, сколько трупов в местных, еще не найденных могилах.

Появился старый, трясущийся, беззубый крестьянин, который, опираясь на палку, приковылял, чтобы нас увидеть. Я спросил его, откуда он и когда сюда вернулся. Но переводчики и он не могли понять друг друга. Он говорил на каком-то странном диалекте и к тому же был совсем глух. Но через минуту старик потянул меня за рукав и опять начал что-то бормотать своим беззубым ртом. Переводчики молчали и с минуту сосредоточенно слушали старика.

Потом покачали головами и, не скрывая раздражения, сказали, что этот человек, по-видимому, не в своем уме. Он утверждает, что был буддийским бонзой и три года скрывался здесь, где-то недалеко от Дамрая — наверное, в лесу, а где же иначе? Он говорит, что проклинает кровавую клику Пол Пота — Иенг Сари. И еще говорит, что все случившееся в Кампучии было давно предсказано в старых книгах. Так он говорит. Но он очень стар, товарищ. Сейчас говорит что-то о змеях. О крокодилах. Правда, о крокодилах. Нам пора ехать. Уже очень поздно.

Через несколько недель после возвращения из Индокитая я публично рассказывал в двух швейцарских городах, в Базеле и Цюрихе, о том, что видел в Кампучии. Мои выступления вызвали не только изумленное молчание аудитории, состоявшей главным образом из студентов и рабочих, но затем и лавину вопросов, самыми важными из которых были: как это могло случиться и почему мы до сих пор об этом ничего не знали? Сказанное мною встретило также небывало яростные и шумные возражения со стороны группы молодых, интеллигентных и хорошо одетых людей, которых мне снисходительно охарактеризовали поначалу как местных маоистов. В обоих городах были срочно напечатаны листовки с протестом против «приглашения польского агента социал-империализма». У входа была устроена небольшая демонстрация. Из зала летели острые, провокационные вопросы, заученные наизусть и не оставлявшие сомнений относительно их китайского источника. Дело дошло до бурной дискуссии, если здесь вообще применимо такое определение.

Два факта придали этим инцидентам дополнительный, может быть даже более глубокий, смысл.

В обоих городах я выступал в старых зданиях, которые вот уже несколько поколений принадлежат различным рабочим партиям и организациям. В Базеле это был некогда известный отель «Мериан». Собрание происходило в «Кафе Шпитц», зале на втором этаже, где в 1869 году заседал конгресс I Интернационала. В Цюрихе я выступал в том самом Голубом зале местного Народного дома, где 9 января 1917 года Ленин говорил о войне и мире. В память об этом была установлена бронзовая доска, висевшая прямо над трибуной. В старинных, не тронутых войной швейцарских городах есть стены, которые были свидетелями всей истории левого движения в Европе, с первых его шагов. «Базельские колокола» слышали и чахоточный кашель юношей, пытавшихся исправить мир, и холодные, трезвые споры о том, что необходимо и что осуществимо.

Вопросы, заданные мне молодыми маоистами, буквально совпадали с вопросами, которые мне несколькими днями раньше задала группа молодых людей на встрече в одном из больших польских городов. Эти молодые поляки, мучимые потребностью какого-то четкого самоопределения, не умели при всей начитанности, интеллигентности и своеобразной искренности отличить плоский конформизм от побрякушек антиконформизма на словах. Маоистами они, однако, не были. Совсем наоборот. Они повторяли аргументы и формулировки, услышанные в передачах западных радиостанций. И

бессознательно становились объектом очередной манипуляции, интеллектуальная примитивность которой в этом случае внушала особую тревогу.

Ровно в двенадцать на аэродром Почентонг прибыл премьер Фам Ван Донг. В этом городе-призраке каждая деталь торжественного церемониала приобретала особое значение.

Рота почетного караула насчитывала восемьдесят два молоденьких солдата кампучийской армии в новеньких, с иголочки, мундирах и таких же головных уборах китайского покроя. Их руки в безупречно белых перчатках сжимали новенькие автоматы китайского производства, наверняка только что со склада.

К самолету «ЯК-40», на котором прилетел вьетнамский премьер, протянули пурпурный ковер. У трапа стояло все руководство ЕФНСК в черных костюмах, белых рубашках и одинаковых галстуках жемчужного цвета. На этом фоне выделялась яркая узорчатая юбка нашей знакомой доктора Чей Каньня.

Командир роты почетного караула, в мундире без знаков различия, зато с белоснежным поясом, салютует высокому гостю саблей. Какое-то мгновение он возится с портупеей и рукоятью, потом молниеносным движением вынимает клинок и с полминуты держит его перед собой, не произнося ни слова.

Премьер-министр Фам Ван Донг молча идет вдоль фронта почетного караула. Солнце печет немилосердно, как будто вся его энергия устремлена на этот пустой, погруженный в молчание аэродром. Под безоблачным небом носятся птицы в ярком оперении, стайками усаживаются на антенну и стабилизаторы самолета, порхают прямо над головами. Их щебет — это единственный звук, нарушающий мертвую полуденную тишину.

Премьер дошел до последнего в строю солдата и остановился. Тогда скрытый за рядами оркестр разразился мелодией, которую я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Из инструментов, которым я не подберу даже приблизительных названий — что-то вроде дудок, однострунных скрипок, четырехствольных флейт, гонгов, челест, гармоник,— грянул ливень звуков, таких беспредельно печальных, что озноб шел по коже. Этот хорал или траурный плач звучал как вопль отчаяния и смертельного ужаса. Сквозь нестройные причитания пробивался раздирающий душу мотив из нескольких нот, почти соответствовавший европейской гамме. Его выводили солдаты на своих флейтах или дудках, вторя монотонному уханью тамбуринов и стонам гонгов. Так прозвучали бы трубы, призывающие на Страшный суд, траурный псалом по всему человечеству, гимн «Dies Irae»[1], возглашаемый на пепелищах атомной войны.

Никто не мог объяснить, что это за мелодия. Может быть, оркестр играл какой-нибудь старый народный мотив или древнюю «Песнь после битвы». Не думаю, чтобы это мог быть национальный гимн: нигде, кроме Азии, его нельзя исполнить.

Оркестр на мгновение смолк. Потом главный барабанщик поднял руку, и раздались с трудом различимые звуки «Интернационала». Перед той частью, которая соответствует словам: «Это есть наш последний...», оркестр оборвал мелодию посредине такта. Официальная часть церемонии была закончена.

Овации в честь вьетнамского гостя раздались ста метрами дальше. Сбоку от стартовой полосы, в высокой, до колен, траве собралось около четырехсот гражданских лиц. На женщинах были новенькие саронги с цветастыми узорами и только что привезенные со складов сандалии. На мужчинах были блестящие черные ботинки, шерстяные брюки и светлые рубашки. Транспарант с надписью на двух языках, призывавший укреплять кхмеро-вьетнамскую дружбу, опустили чуть пониже. Операторам необходимо было заснять сцену встречи так, чтоб в кадр попал этот транспарант.

Потом наш длинноволосый фотограф кинулся на капот машины, в которую сели Фам Ван Донг и Хенг Самрин. Он несколько раз вскакивал на крыло, щелкал своими бесчисленными фотоаппаратами, пока его помятое лицо не выразило высшую степень экстаза. Японец фотографировал зенитное орудие.

Мы столкнули с места наш «исузу» и отправились завтракать.

«Вставай проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Двадцать один год назад я впервые услышал, как пели этот гимн бастующие докеры в Сурабае. В прошлом году я пел его вместе с тремя тысячами смуглолицых бедняков на рабочем митинге в индийском штате Керала. Я слышал его на китайском, вьетнамском, сингальском языках, на языке телугу, в малайском просторечии, на каких-то неизвестных диалектах. В поездках по Азии мне всегда были наиболее интересны встречи с местными коммунистами.

В этой части света гимн Потье обычно трудно распознать по первым двум строкам текста. Азиатская поэзия в принципе не знает ни рифм, ни цезуры. Европейская гамма претерпела изменения в многотоновом наборе азиатских звуков. Да и само понятие пения, в особенности хорового, означает здесь скорее декламацию, чем воспроизведение мелодии. Но достаточно на момент вслушаться, чтобы не осталось сомнений, что это за слова, о чем эта песня. Нигде еще в мире, кроме, может быть, Латинской Америки, этот текст не имеет столь выразительного звучания. Я говорю о странах, где понятие «враг» сохраняет ту же определенность, какую оно имело во времена парижских коммунаров или рабочих Москвы и Лодзи в 1905 году, где в понятии «проклятьем заклейменный» по-прежнему нет никакой неясности.

Быть в Азии белым коммунистом — это значит таскать за собой багаж бесконечных споров, бремя сомнений, горькую правду о проклятых деньгах, из-за которых в каждом поколении заново рождается мелкобуржуазная мера радостей жизни человеческой. Но это значит также — пережить неописуемое чувство истины, братства и слияния с босоногой смуглолицей толпой, понять ее

[1] «День гнева» *(лат.)*.

страдания, разделить надежды. Этого чувства никогда не заменят официальные почести, ордена, награды и даже капризная слава. Этой атмосферы братства не поймет никто, кроме хоть раз ее ощутивших. Пафос братской солидарности — достаточная награда за годы компромиссов, промахов и переживаний.

Во всяком случае так было до недавнего времени. Я прочел, однако, в старом номере газеты «Монд», что когда 3 декабря 1977 года сюда прибыл китайский вице-премьер Чжень Янкуэй, оркестр полпотовцев тоже исполнял «Интернационал». Это происходило на том же аэродроме Почентонг — вероятно, на том же месте. Могу это сразу же объяснить. Аргументов достаточно. Их всегда хватает. Все уже было. Нет сомнений, которые нельзя успокоить, подобрав подходящий пример из недавней или давнишней истории. Каждый неприятный факт можно без слов утопить в болтовне.

Человек всегда является продуктом определенной формации, классовой среды, того или иного исторического периода. Момент, когда он отрекается от собственной родословной, надеясь отождествиться с чем-нибудь получше или хотя бы поудобнее, непременно тянет за собой ту печальную цепь последствий, которую еще недавно называли изменой. Психология крысы, бегущей с тонущего корабля, решительно не отличается от психологии человека, который обжегся на очередном повороте истории и заявляет, что он ошибался.

Кому изменить? Этим парням в смешных белых перчатках, которые начинают свою жизнь со службы стране, превращенной в кладбище? Этим милым девушкам, которые впервые за четыре года надели блузки, узорчатые саронги и новенькие сандалии? Чью сторону принять? Может офицеров Лон Нола, больше сотни которых наверняка пережило это время в Таиланде? Или новых сагибов, которые посиживают теперь на террасах своих великолепных вилл в Симле, Бангкоке и Куала-Лумпуре, с удовольствием комментируя тот забавный факт, что «красные» передрались между собою? Где та чистая вера, без примеси лжи и распрей, не искаженная компромиссами, достойная человека, на которую мне стоило бы поменять свои потрепанные в бурях лозунги? Если история и вправду не может обойтись без противоречий, мук и периодов хаоса, я, подобно многим, которые были до меня и будут после меня, предпочитаю остаться на стороне тех, кто провозглашает хотя бы необходимость перемен и не желает мириться с вечной несправедливостью этого мира. Я обязан так поступать, даже если это значит быть contra omnes [1], занимать позицию анахроничную и труднозащитимую в свете, так сказать, некоторых фактов.

История отнюдь не пришла к концу. Здесь, в Азии, она, правду сказать, только начинается — после веков пассивности, молчания и неизменности. Я предпочту отдать свою совесть на суд этих босых, смуглолицых, неграмотных, не умеющих даже как следует пропеть «Интернационал», чем представить ее на аналитическое рассмотрение людей, находящихся по ту сторону баррикады, безотносительно к национальности и цвету кожи.

Лицей «Туолсленг» по-прежнему охраняется вооруженными часовыми и патрулями, которые курсируют между стеной и проволочными заграждениями. Мы спросили, чем объяснить наличие такой большой охраны, ведь тюрьма в будущем будет превращена в музей мученичества. Нам отвечали неохотно и кратко, но и этого было достаточно, чтобы мы настояли на своем.

В восточном крыле школы находится следственно-перевоспитательная тюрьма для полпотовцев.

Спор длился около сорока минут. Абсолютная невозможность посетить тюрьму, с одной стороны, абсолютная необходимость сделать снимки — с другой. В ход пошли все аргументы, и мы вступили на обнесенный колючей проволокой дворик восточного крыла.

То, что мы увидели, было совсем непохоже на тюрьму. На газоне сидели на корточках человек тридцать в гражданской, довольно приличной одежде. Среди них четыре еще молодые женщины. Между рядами прохаживался офицер в мундире без знаков различия и монотонным голосом читал по брошюрке, которую держал в руке, какой-то текст на кхмерском языке. В каждой четвертой или пятой фразе текста слышались знакомые имена: Пол Пот — Иенг Сари. Когда чтение заканчивалось, люди на корточках аплодировали. Их лица ничего, буквально ничего не выражали. После этого все начиналось сызнова.

С четверть часа мы наблюдали эту сцену. Текст — аплодисменты, текст — аплодисменты. Заключенные не проявили никакого интереса к нашему появлению во дворе. Младшему из парней было что-то около девятнадцати лет, самый старший из мужчин выглядел на пятьдесят. Возраст женщин было трудно определить.

— Мы хотели бы поговорить с полпотовцами.

— Нет, это невозможно.

— Почему?

— С этими людьми запрещено разговаривать.

— Но почему?

— Потому что они проходят перевоспитание.

— Именно это нам очень интересно. Мы хотели бы услышать, чему они научились и что поняли.

— Нет. Запрещено. Никак нельзя.

Мы постояли еще четверть часа. Из комнат на втором этаже тоже доносились аплодисменты, монотонные, ритмичные, довольно громкие. На третьем этаже раздавалось хоровое пение, похожее на декламацию.

— А эти, на верхних этажах, тоже проходят перевоспитание?

— Да.

— Можно ли их увидеть?

— Нет. Перевоспитание нельзя прерывать.

— Можно ли поговорить с кем-нибудь, кто уже прошел перевоспитание?

— Нет. Таких еще нет.

[1] Против всех *(лат.)*.

— А можно ли поговорить с кем-нибудь, кто вообще не проходит перевоспитание?

— Конечно. Сейчас мы его покажем.

Через две минуты солдат, упирая дуло автомата в спину заключенного, привел первого из наших собеседников. Это был молодой мужчина с выразительным, можно сказать, красивым лицом и черной копной волос на голове. Он был одет в чистую, хоть и сильно выцветшую гимнастерку, холщовые штаны. На шее — клетчатый шарф. Он был бос. На запястьях рук я не заметил следа от кандалов. Он молча стоял перед нами и безропотно позволил себя фотографировать.

Сперва мы записали анкетные данные. Его зовут Моах Кхун, двадцать восемь лет, родился в провинции Кампонгчнанг. Был в партизанской армии полпотовцев, после освобождения — начальник «коммуны», потом шеф службы безопасности.

— Как называлась эта «коммуна»?

Кхун не помнит, сказали переводчики.

— Как это не помнит? Как можно забыть название местности, где провел почти четыре года жизни?

— Нет, он был не только в этой «коммуне». Его перебрасывали.

— Ну ладно. Умеет ли он читать и писать?

— Нет, не умеет.

— Сколько человек он убил?

Минутная заминка. Моах Кхун умеет считать только в двенадцатиричной системе. Он спокойно загибает пальцы на правой руке, долго вычисляет и наконец говорит, что убил двенадцать раз по двенадцать и еще восемь раз по двенадцать человек. Всего двести сорок.

— Где это было?

— В Пхумтхамай.

— Значит, в этой деревне он был начальником «коммуны»?

— Да. То есть нет. Его часто перебрасывали. Он говорит, что это было в другом месте.

— Что было в другом месте?

Переводчик теряет нить. Мы сдаемся. Спрашиваем, есть ли у Моах Кхуна дети.

— Да. Один. Нет, двое.

— Большие?

Моах Кхун показывает рукой полметра от земли. Потом медленно поднимает руку на высоту бедра.

— Детей он тоже убивал?

— Он не помнит.

— Убивал ли он чужих детей?

— Он не помнит.

— Почему он убивал людей?

— Потому что был такой приказ.

— Кто приказал убить двести сорок человек?

— Он не знает.

Я повысил голос. Я потребовал от офицера и переводчика, чтобы они ускорили процесс мышления у Моах Кхуна. Он не был похож на кретина. Его большие черные как уголь глаза говорили скорей о безумии, чем об идиотизме.

— Так кто отдал такой приказ?

Он говорит, что не знает. Приезжали какие-то. Разные. Если бы он не исполнял приказов, его бы самого убили.

— Кем были люди, которых он убивал?

— Офицерами Лон Нола.

— А женщины?

— Тоже офицеры. То есть жены офицеров. Впрочем, он не знает.

— Сколько человек он застрелил?

— Одного.

— Одного из двухсот сорока? Значит, остальных убивал мотыгой?

Переводчик забыл, как по-кхмерски будет «мотыга». Я взял из кучи лома большой металлический прут и махнул им в воздухе так, словно собирался разбить заключенному череп.

Моах Кхун кивнул головой: да, так он и убивал. Но при этом даже не втянул голову в плечи и не отступил ни на шаг. Офицер сделал мне резкое замечание, что так вести себя нельзя.

— Хорошо. Что еще может сказать этот человек?

— Ему дают слишком мало еды. Так он говорит.

— Ах вот как, мало еды. А когда он вернется в деревню Пхумтхамай?

— Он не понимает.

— Я спрашиваю: хочет ли он вернуться в деревню, где убил двести сорок человек?

— Нет. Он хочет остаться здесь.

С минуту мы молча глядели на этого стройного, загорелого парня. На его смуглые руки с длинными пальцами, на спутанную копну волос, мягкие черты лица и тонкие ноздри. Неужели так может выглядеть убийца двухсот сорока человек? Он стоял перед нами, залитый солнцем, спокойный, худощавый, низкорослый. Двор был наполнен запахом трупов, лежавших под слоем щебня в сорока метрах от нас. Где-то неподалеку слышались звуки одиночных выстрелов. В разных частях здания то и дело раздавались аплодисменты. Два ряда перевоспитуемых слушали текст брошюры.

Мы не знали, о чем еще спрашивать. Охрана расценила эту заминку как окончание беседы. Моах Кхуна отвели метров на десять и велели ему сесть на ступени бетонной лестницы. Он сидел молча, не шевелясь, по его смуглому лицу не пробежала тень беспокойства или любопытства.

Потом уже четыре солдата привели другого заключенного, и мимолетное ощущение нереальности сразу же развеялось.

Светлое, почти белое лицо этого человека нельзя было сравнить ни с чем, что я до сих пор видел. Вокруг нашей группы стояло шесть солдат с готовыми к стрельбе автоматами. У офицера и переводчика были при себе пистолеты. У стен ходили вооруженные часовые. Тем не менее мы, все до одного, испытали мгновение физического страха. Мы не могли оторвать глаз от страшного, нечеловеческого лица этого антропоида.

Огромные косые глаза, прикрытые тяжелыми веками, напоминали тигриные. У них была такая огромная бледно-зеленая радужная оболочка, какой у людей никогда не бывает. Коричневые зрачки были мертвы, как у слепого, и походили на матовые, плохо отшлифованные, лишенные блеска камни. Выпуклый лоб и подбородок контрастировали с поджатыми губами и зубами, похожими на звериные клыки. В лице человека чувствовалась неописуемая жестокость. Две борозды, шедшие наискось от плоских кошачьих ноздрей до самого конца вытя-

нутого подбородка, превращали это лицо то в страшную маску китайского или яванского демона, то опять в тигриную морду.

Мы поставили его около дерева и начали поспешно фотографировать. Он был дурно сложен, приземист, с короткими кривыми ногами. На конце больших и сильных лап были когти, ничем не похожие на ногти человека.

Его зовут Син Сиеу Самоан, он кхмер, хотя по виду напоминает тяма. Ему тридцать два года. Умеет читать и писать. Сперва он был начальником «коммуны» Свайонг, а затем, в 1976 году, стал шефом службы безопасности в провинции Свайриенг, той, которую было решено полностью уничтожить. Это был высокопоставленный чиновник свергнутого режима, человек, пользовавшийся у него полным доверием. Он был схвачен с оружием в руках в ночь с 6 на 7 января, в местности, название которой не имеет значения, а если б и имело, его все равно нельзя упоминать. Эти сведения нам сообщил офицер.

Сколько людей убил Син Сиеу Самоан?

Девяносто дюжин и еще полдюжины. То есть тысячу восемьдесят шесть человек. Син Сиеу умеет пользоваться десятиричной системой, но часто путается в счете и сбивается на двенадцатиричную систему. Герхард теряет самообладание, захлопывает блокнот и кричит на двух языках, что нельзя собственноручно убить тысячу человек.

— Нет, он не всех убил собственноручно.

— Ну, так скажи, черт побери, сколько людей ты убил этими толстыми лапами?

— Двести пятьдесят человек.

— Где это было? Когда?

— Двенадцатого августа 1978 года в одной из деревень провинции Свайриенг. Но тоже не один. С восемью товарищами.

— А что с остальными? Они тоже здесь?

— Нет. Крестьяне их убили.

Теперь уже Леонид не выдерживает. Так нельзя, это издевательство, пусть этот зверь ясно ответит, наконец, сколько человек погибло непосредственно от его рук.

Значит, так: триста пятнадцать человек в «коммуне» Свайонг.

Только триста пятнадцать?

Да.

А почему он только что говорил, что тысяча восемьдесят шесть?

Потому что присутствовал при убийстве этих людей и столько ему насчитали.

Что это значит? Кто насчитал?

Власти.

Какие власти?

Ну, «Ангка». А потом здесь, в тюрьме.

Может ли получиться, что он убил еще больше?

Да, это может быть. Но он говорит, что наверняка не больше двух тысяч.

Хорошо. Вернемся к тем тремстам пятнадцати из деревни Свайонг. Как он их убивал?

По лицу антропоида пробегает гримаса улыбки, от которой становится жутко. Ну да, таким прутом убивал. Или мотыгой. Поразному. Бывало, что и стрелял.

Почему убивал?

Такой был приказ.

Пусть он перестанет нести чушь насчет чужих приказов. Он был шефом службы безопасности целой провинции, к тому же пограничной, самой важной из всех. Он сам отдавал приказы. Пусть объяснит четко и подробно, почему он убивал невинных людей и заставлял это делать других.

Антропоид, жмуря свои зеленые глаза, облизывает поджатые губы и ровным хриплым шепотом начинает объяснять. Он, оказывается, не был достаточно информирован. Ему точно не сказали, кем были люди, которых надо было ликвидировать. Теперь он считает, он уже давно об этом думает, что вся вина за совершенные убийства лежит на кровавой клике Пол Пота — Иенг Сари. Он сам тоже отдавал приказы, это правда, но, в сущности, он их только передавал. Ему приходилось так делать. Устанавливали число казней, намеченных к исполнению.

Какое количество? Сколько составляла дневная норма?

Нет, это не на дни считалось. Например, число жителей в коммуне четвертой категории надо было наполовину уменьшить за один год. Если кто там умер, его уже не убивали.

Убивал ли он детей?

Детей? Не помнит. Может, и убивал.

А у него есть дети?

Да. Двое.

Как он мог убивать других детей, если имел своих? Думал ли он когда-нибудь об этом?

Да, он говорит, что думал. Говорит, что, если бы он не убил тех детей, другие убили бы его собственных.

Кто именно?

Вредные элементы.

Теперь мы все приходим в бешенство. Кто был тогда вредным элементом, ты, глупая скотина?! Чем у тебя провинились маленькие дети?

Антропоид облизывает губы. Заявляет, что не понимает наших вопросов. Участвовал ли он в налетах на Вьетнам?

Да. Два раза.

Убивал ли вьетнамских крестьян по ту сторону границы?

О, нет. Ни одного.

Почему все время делались налеты на братскую страну?

Пол Пот на одном собрании сказал, что надо защищать Кампучию от вьетнамской агрессии. Кажется, так: агрессии. Да, агрессии. Кадры ничего не знали. Не были информированы.

Знает ли он, кем были Маркс и Ленин?

Нет. Он никогда не слышал этих имен.

Читал ли он какую-нибудь книгу? Какую?

Да, несколько лет назад. Что-то про Америку. Там стреляли. И насчет женщин было.

Как он себя чувствует в этой тюрьме?

Очень хорошо. Он думал, что его сразу убьют. Удивлен, что этого никто не сделал.

Хотел ли он, чтобы его отослали в деревню Свайонг?

Антропоид смотрит на меня мертвым взглядом. Видно, у него мелькнула мысль, что мы за этим сюда приехали. Это длится лишь секунду, но двое часовых покрепче сжимают приклады.

Нет. Антропоид не хочет, чтобы его отослали в эту деревню.

Чего он ожидает, совершив столько преступлений?

Он не понимает.

Какого наказания ждет?

В кхмерском языке нет слова «наказание», этого нельзя перевести.

Слушай, в отчаянии говорит Герхард, слушай и подумай хоть минуту, ты, интеллектуал: ты убил триста пятьдесят невинных детей и непосредственно виновен в смерти тысячи или даже двух тысяч человек. Неужели ты думаешь, что будешь и дальше жить так, как до сих пор жил?

Нет, он вовсе так не думает.

Знаешь ли, что тебя могут расстрелять, ну, скажем, завтра?

Вмешивается офицер. Таких вопросов задавать нельзя.

А почему нельзя? Ведь он же не подлежит перевоспитанию. Ему, наверное, грозит смертный приговор, пусть он скажет, наконец, что-нибудь, что мы могли бы написать.

Приговора нет. Этот человек нужен. И вообще пора кончать беседу.

Солдаты отводят антропоида к бетонным ступеням. Он садится рядом с Моах Кхуном. Оба тупо глядят в пространство. Молчат. Ни жеста, ни слова. На лицах никакого выражения. Быть может, они вообще не способны поразмыслить о своей собачьей жизни, которая, вероятно, не будет чересчур долгой.

Я отправился в город совершенно один, без цели, медленным шагом, словно экономя силы. В центре по-прежнему было пусто. Я прошел около трех километров и встретил лишь одинокого солдата на мотоцикле. Я заглянул в несколько вилл в районе проспекта Монивонг. Там царили смерть и опустошение. Просторные террасы и перголы были наполовину во власти буйной растительности. В каком-то доме я заметил толстые лианы, которые вползли в окно и пустили корни в кадке с засохшей пальмой. Одна из вилл, наверное, принадлежала богатому китайскому купцу. В шкафу висела шелковая женская одежда, на полу валялись обрывки китайских текстов, новогодние открытки с идеограммами, шарфы, позолоченные бумажные деньги для умерших.

Через полтора часа я заметил, что пномпеньская пустота уже не производит на меня впечатления. Похоже, что нет такой ситуации, в которой инстинкт быстрой адаптации не превозмог бы ошеломления. Я решил вернуться другим путем, идя по солнцу. Свернул в первый же переулок, прошел сто метров и опять свернул, чтобы держаться параллельно проспекту Монивонг.

На улице так же разевали рты двери развороченных лавок. На тротуарах и мостовой валялись обувь, пленка, пластинки, инструменты. Перед часовым магазином я увидел несколько кожаных кресел, разбитые циферблаты стенных электрочасов и множество мелких предметов неясного назначения.

Один из них привлек мое внимание. Башенка, сделанная из тонких полированных бамбуковых палочек, как японская пагода с семью крышками, но сконструированная так, что устанавливалась в двух положениях, как кухонные песочные часы для измерения коротких отрезков времени. Вероятно, она и вправду служила в качестве часов. В стеклянном сосуде с опаловым блеском был тяжелый блестящий порошок цветом как розовый цикломен. Я перевернул часы. Порошок начал сыпаться сквозь отверстие, и тогда из-под средней крышки башенки высунулась пара маленьких ладоней, старательно вырезанных из дерева и вытянутых в знак мольбы или отчаяния. Я не мог понять, как происходит в такой простой и легко просматриваемой конструкции это движение ладоней. Может быть, сыплющийся порошок создавал давление через какие-то скрытые маленькие каналы. Но куда прятались эти руки, если крутая крыша выглядела совершенно непроницаемой? Я перевернул часы вверх дном. Ладони исчезли, словно их вовсе не было.

Я присел на вылинявшее кресло и начал вертеть часы: верх — низ, верх — низ. Сюрреализм этой сцены не снился самому Бюнюэлю. Я сидел один на длинной пустынной улице, среди странных предметов, в резком солнце полудня и нетерпеливо ждал, пока розовый порошок вызволит из тюрьмы пару деревянных ладоней. Это занятие меня увлекло. Непонятно было, какой цели служит этот странный предмет, как он устроен и чем меня так зачаровал. Часы весили примерно полкилограмма. Я вертел их во все стороны, но чувствовал себя так, словно столкнулся с какой-то необъяснимой тайной, на грани мистики или черной магии. Наконец я перевернул часы так, чтобы ладони спрятались внутрь башни, и встал с кресла. В какой-то миг я подумал, что бамбуковые часы могли бы стать символом Кампучии после обрушившихся на нее бедствий. Сотворенные неизвестными людьми для неизвестной цели, они отмеряют время, произвольно выхваченное из потока истории, и напоминают, что никакое время нельзя себе представить без этих рук, простертых в знак мольбы или страдания. Что мы в конце концов знаем достоверного о судьбах рабов кхмерской империи в XI веке или о том, что происходило на этой земле, когда с севера и запада хлынули воинственные полчища, которые не оставили после себя камня на камне? Может быть, все то, что я сейчас вижу, просто один из эпизодов среди беспрестанного грохота и ярости, которые представляются нам сутью истории.

В три часа я снова отправился в город. Мне уже изрядно надоели прогулки, осмотр города, одиночество и грязь. Будь у меня какое-нибудь чтиво или хотя бы собеседник, я, верно, остался бы в гостинице. Но я панически боюсь скуки и безделья. Мне кажется, что я тогда умру или сойду с ума. Уж лучше бродить по этой страшной жаре, чем валяться, уставившись в потолок.

В двухстах метрах от гостиницы «Руайяль» стоял особнячок в неопределенном стиле. На его фронтоне виднелись следы от сорванных букв: Bibliothéque nationale[1]. Я вошел туда, собираясь подробно описать все, что увижу. После посещения бывшего губернаторского дворца я ожидал найти здесь лишь груды пепла.

[1] Национальная библиотека *(франц.)*.

Из вестибюля, усыпанного патронными гильзами, перьями из разорванных матрацев и осколками посуды, я свернул направо, в большой, распахнутый настежь зал с сохранившейся надписью: «Salle de lecture»[1]. На мгновенье я оцепенел: зал был наполнен книгами, судя по переплетам, очень старыми. Я осторожно брал их и стряхивал пыль. Первые издания Вольтера. Французские издания Шекспира, 1818 год. Какие-то французские лексиконы, выпущенные вскоре после революции 1789 года. Первые издания Теофиля Готье, Виктора Гюго, Стендаля, Бальзака, Мариво. Великолепные карты и путеводители по различным странам, в том числе целый ворох описаний Индокитая, от начала французской колонизации. «Сокровищница англосаксонской поэзии». Очень старые издания Ларусса и Брокгауза. Но все это было сброшено с полок, покрыто толстым слоем пыли, человеческими, крысиными и птичьими экскрементами. Дорогие переплеты исколоты штыками. Меловая бумага старых карт в пятнах крови и мочи. Каталожные карточки выброшены из шкафов и засыпали весь пол здесь и в соседнем пустом зале.

Национальная библиотека была гордостью королевского дома. Основал ее еще прадед Сианука — Вармана. Редчайшие и ценнейшие французские книги в течение многих лет выписывались из Парижа, ибо как иначе объяснить, откуда взялись первые издания Вольтера, валявшиеся у входа. Должно быть, полпотовцы решили не жечь этого собрания, в надежде, что библиографические редкости удастся сбыть за валюту в Европу или Америку. Вот единственные книги, которые я видел в этой стране. Стоимость их в одном этом зале достигала, вероятно, нескольких сот тысяч долларов.

Я бродил по библиотеке, не переставая удивляться. Некоторые залы были совершенно пусты, полностью очищены от книг, полок и инвентаря. В других рядами стояли нераспечатанные пачки книг, помеченных штемпелями и наклейками «USIA» — американского ведомства пропаганды. В коридорах — множество солдатских коек, рваных одеял, разбитой посуды. Во всем здании было так пусто и тихо, словно последний человек вышел отсюда десятки лет назад.

Вдруг из небольшого зала, расположенного рядом с главной читальней, послышался пронзительный визг, а потом — прерывистое сопение. То, что я увидел, оказалось зрелищем ужасным, но способным вызвать своего рода спортивные эмоции. У входа была свалена груда старых книг в кожаных переплетах, высотой с полметра. Эта груда отгораживала комнатку от читального зала. Внутри металась окровавленная крыса, за которой гонялась большая черная свинья с глазами, жаждавшими убийства. Видимо, свалившиеся сверху книги отрезали животных от выхода. Шла, по-видимому, последняя фаза поединка. У крысы волочился хвост по земле. Она то и дело отчаянными прыжками пыталась зарыться в книги. Свинья разрывала книги рылом и прижимала копытом хвост и туловище крысы. Наконец, крыса просчиталась: выскочила на ту часть пола, которая не была завалена книгами. Свинья в один миг растоптала ее, а потом одним движением рыла отбросила этот кусок мяса на другой конец комнаты, прямо мне под ноги.

Крысиная морда покоилась на титульном листе открытой книги, изданной в Париже в 1811 году Марселем Фушье. Заглавие книги звучало так: «Подробное описание Индокитая, то есть дальневосточной страны, расположенной к югу от Китая, вместе с соображениями о возможностях торговли и очерком состояния экономики, а также местных нравов».

Выходя из Национальной библиотеки, я без труда сообразил, откуда в этом здании взялась свинья. В боковом дворе расположился лагерем какой-то отряд — наверное, служба снабжения кхмерской армии. Меж палатками бегало штук тридцать больших черных свиней.

Крысы завелись в Национальной библиотеке потому, что один из подсобных читальных залов был превращен в склад зерна.

Я опять пошел прямо. Уже не хотелось заглядывать в опустевшие виллы. Не тянуло и в магазины. Удивительно, до чего быстро люди ко всему привыкают. Я скучал, утомленный однообразием всего увиденного, боялся, что не смогу этого описать. О гостинице «Доклап» начал мечтать как о родном доме. Перед моими глазами рисовались: ванна, книжки для чтения, чемодан с привычными мелочами, чистая рубашка. Потом я опомнился: надо внимательно смотреть вокруг.

Теперь только о возвращении. Молчаливые закутанные женщины в Карачи, скука и ужас сурового ислама. Потом пронизывающий элегантный холод Берлина. Наутро только час полета над диковинным, совершенно белым пространством — и Океанце. Ну, какие впечатления о Камбодже? Впечатления? Нет никаких впечатлений. Во всяком случае ничего подходящего для рассказа за рюмкой водки или по радио. А что у вас? Ах, нормально, дружище. Говорят, что...

Я вернулся из Индокитая 28 февраля 1979 года. Пятого марта я выступил в Хельсинки на Всемирной конференции солидарности с Вьетнамом, которая была организована Всемирным Советом Мира.

Я подробно рассказал обо всем, что видел в Кампучии, восьмистам делегатам, среди которых был заместитель премьер-министра Финляндии и несколько послов. Показал крестьянский нож с пятнами человеческой крови, взятый в пномпеньском госпитале. Показал китайские боеприпасы, найденные рядом с черепами в Прейвэнге, осколки китайских артиллерийских снарядов, привезенные с фронта из-под Лаокая, подобранные на улицах фотографии уничтоженных людей, пачку с миллионом риелей, осколок мозаики XI века, оставшийся от разрушенной пагоды.

[1] Читальный зал *(франц.)*.

Впервые в жизни я созвал пресс-конференцию для своих зарубежных коллег. Ход ее был освещен на первых страницах финских и шведских газет. Мои корреспонденции из Кампучии были опубликованы в тридцати трех зарубежных газетах и журналах, на девяти языках, общим тиражом почти два миллиона экземпляров.

Я выступил по польскому телевидению. Выступал в Швейцарии и Чехословакии. Опубликовал статью в американской газете «Балтимор сан».

20 июня я закончил рукопись этой книги, превосходно зная, что лихорадочная спешка в работе повредит тексту.

Я думал, что, действуя с такой энергией и на стольких фронтах, я выплачиваю свой моральный долг по отношению к жертвам режима Пол Пота. Что в доступных мне пределах я привлеку внимание общественного мнения к исключительности совершенных преступлений. Я предпринимал действия, выходившие далеко за рамки обычного профессионального долга, будучи убежден, что в таком деле ни молчать, ни медлить нельзя.

К сожалению, я ошибся. Ошибся еще раз. Оказалось, что в международной политике существуют куда более важные вещи, чем, к примеру, судьба жителей города Прейвэнг.

Летом 1979 года на Западе была начата контрнаступательная пропагандистская акция в пользу режима Пол Пота, хотя всего полгода назад сама мысль о том, чтобы обелять полпотовцев, показалась бы нелепой. Акция была начата внезапно, создалось впечатление, что ею дирижируют одновременно из Пекина и Вашингтона.

С этого момента мне уже ни разу больше не удалось выступить на Западе в качестве свидетеля того, что случилось.

Западногерманский еженедельник «Штерн» еще в марте заказал мне серию репортажей и снимков из Кампучии, оговорив за собой исключительное право на них во всей немецкоязычной сфере Западной Европы. Несмотря на все напоминания, он не пускал материал в печать целых четыре месяца, а в июле публиковать его отказался, прочно заблокировав мне доступ к нескольким миллионам говорящих по-немецки читателей. Две американские газеты холодно ответили, что проблема Кампучии потеряла актуальность. Из западной печати в один прекрасный день исчезли сообщения о зверствах свергнутого режима. Было начато дипломатическое контрнаступление, цель которого определялась ясно и недвусмысленно: Пол Пот и Иенг Сари — это «единственные законные представители кхмерского народа».

С 15 по 19 августа в Пномпене происходил заочный процесс Пол Пота и Иенг Сари, который велся открыто, согласно нормальной судебной процедуре, в присутствии нескольких десятков наблюдателей из-за границы. Обнародованные на процессе факты, показания восьмидесяти свидетелей превзошли все то, о чем я узнал в феврале. Пол Пот и Иенг Сари были приговорены к смертной казни. Западная печать откликнулась на этот факт заметками в несколько строк где-то на последних страницах. Комментариев почти не было, а в появившихся демонстрировалась веселость в связи с «неуклюжими вьетнамскими действиями, цель которых скомпрометировать Пол Пота». Буквально так выразилась крупная французская газета «Орор». Шпрингеровская печать была еще остроумнее: пномпеньский процесс она, не церемонясь, назвала «фарсом».

Постоянное место пребывания Иенг Сари — Пекин. Этот человек путешествует с китайским паспортом, фотокопию которого опубликовала в апреле индийская печать. Расходы на путешествия целиком покрывают китайцы. Все это не воспрепятствовало тому, чтобы под конец августа Иенг Сари отправился в Гавану на конференцию неприсоединившихся стран в качестве... представителя «Демократической Кампучии». Такого государства уже полгода не существовало, но Иенг Сари упирал на активность, которую проявляла Камбоджа в движении неприсоединившихся стран при правительстве Сианука. Гаванская конференция не признала, правда, мандата Иенг Сари, хотя его красноречивые адвокаты буквально срывали голос, стремясь этого добиться, но зато большинством голосов отказала и правительству Хенг Самрина в праве участвовать в ее работе.

Так была достигнута первая тактическая цель китайско-американской дипломатической кампании: мировому общественному мнению внушили, что в Кампучии «два правительства» и невозможно разобраться, как в действительности было дело. В этой ситуации напоминание о некоторых аномалиях правления Пол Пота и Иенг Сари оказалось неуместным, учитывая основную стратегическую цель, которая состоит в том, чтобы задушить независимый Вьетнам и установить китайскую опеку над всем Индокитайским полуостровом. Поэтому, надо полагать, вся западная печать полностью перестала давать какие-либо сообщения о преступлениях «полпотовцев». Зато начали появляться намеки, что прежние информации на эту тему были «сильно преувеличены».

Потом пришло подходящее время, чтобы из якобы «двух правительств» Кампучии только одно было признано Организацией Объединенных Наций и получило штемпель законности. С поразительным единодушием в Вашингтоне и Пекине решили, что единственными представителями кхмерского народа должны быть его палачи. Те самые, которым не хватило двух, самое большее трех лет, чтобы наполовину уменьшить численность населения Кампучии.

Под конец сентября после острой, но не особенно длинной процедурной дискуссии в связи с отчетом Комитета по полномочиям Генеральная Ассамблея большинством в семьдесят один голос против тридцати пяти признала, что единственным представителем кхмерского народа в Организации Объединенных Наций может быть только режим Пол Пота.

В результате этого голосования, ход и итоги которого должны навсегда войти в историю вместе с фамилиями голосовавших открыто дипломатов, «заместитель премьера и министр иностранных дел Демократической Кампучии» Иенг Сари возглавил «кампучийскую делегацию на XXXIV сес-

сии Генеральной Ассамблеи». Он остался «его превосходительством», сохранил все дипломатические привилегии и незапятнанную репутацию государственного деятеля. Он получил также право голосовать от имени Кампучии по всем вопросам повестки дня сессии.

Но это было лишь предвестием того, что произошло в ближайшие недели.

В начале октября я оказался в Нью-Йорке. Я начал задавать вопросы знакомым дипломатам и коллегам-журналистам: как, собственно говоря, могло дойти до столь невероятных вещей, куда девалась уже не совесть мира, но элементарное чувство приличия? У меня, однако, создалось впечатление, что никто моего возмущения не разделяет. В конечном счете в мире происходит столько ужасного. Несколько человек мне прямо заявили, что сообщения о мнимых преступлениях Пол Пота следовало бы как следует проверить. Никто не утверждает, что Пол Пот и Иенг Сари были ангелами, но первейшая обязанность международного сообщества — это уважать суверенитет и территориальную целостность государств.

9 октября на вечернем заседании Генеральной Ассамблеи выступил в общей дискуссии Иенг Сари. Я слушал его, сидя в одиночестве на галерее для прессы. Внутренняя телетрансляция для меня была недостаточна. Я хотел видеть этого человека собственными глазами, непосредственно слышать его голос, наблюдать за реакцией зала.

Речь Иенг Сари была построена четко и ясно, не оставляла места для произвольных толкований. «Демократическая Кампучия» стала жертвой неспровоцированной агрессии. Великолепные плоды труда кхмерского народа ныне уничтожаются и разграбляются агрессором. Из Кампучии вывозят сокровища кхмерской культуры, демонтируют промышленность и умышленно разоряют сельское хозяйство, чтобы увеличить голод. Кампучийский народ физически истребляется за то, что сохраняет верность единственному законному и суверенному правительству «Демократической Кампучии», правительству его превосходительства премьера Пол Пота. Это правительство пользуется поддержкой большей части демократического общественного мнения во всем мире. Новая власть в Пномпене не имеет никаких связей с кхмерским народом. «Демократическая Кампучия» выражает горячую признательность всем правительствам, которые поддержали ее правое дело, высказались за счастье, свободу и суверенность кампучийского народа. Правительство премьера Пол Пота намерено и впредь проводить свою традиционную политику неприсоединения, защиты демократии и суверенитета. С этой целью оно готово сотрудничать со всеми без исключения кхмерскими группировками в Кампучии и за границей, дабы восстановить в стране демократию и такой социальный строй, за который свободно выскажется большинство народа.

Наутро я сверил все это со стенограммой. Я не верил уже собственным ушам, сомневался в правильности своих записей. Но записи соответствовали тому, что действительно произнес с трибуны Ассамблеи этот всем известный демократ, борец за индустриализацию, покровитель культуры и друг детей.

В заключительной части своего выступления Иенг Сари требовал, чтобы Объединенные Нации оказали помощь «законному правительству Демократической Кампучии», дали ему возможность возвратиться в Пномпень и остановили творимые ныне «преступления против кхмерского народа». Иенг Сари назвал это «моральным долгом международного сообщества».

В момент, когда Иенг Сари начал говорить, из зала заседания Генеральной Ассамблеи вышли тридцать четыре делегата, в том числе все делегации социалистических стран, признавших правительство Хенг Самрина. Но остальные делегаты остались на месте и аплодировали преступнику, как требует принятый в ООН обычай. Этого мало, двенадцать делегатов подошли к Иенг Сари и демонстративно, на глазах всего зала, принесли ему свои поздравления. Первыми были, разумеется, китайцы. Других стран я не назову, но я хорошо запомнил их наименования.

11 октября Иенг Сари устроил в здании ООН пресс-конференцию.

Я явился на четверть часа раньше, чтобы сесть как можно ближе к этим двум людям: Иенг Сари, вернейшему из верных среди палачей, и Тхиеунн Пратхиту, «постоянному представителю» в ООН, который перед выездом в Нью-Йорк был шефом службы безопасности в южных провинциях страны. Я подумал, что с равным успехом мог бы оказаться на пресс-конференции шефа гестапо Кальтенбруннера, а может, даже и самого Гиммлера. Ныне все, буквально все, возможно. Океан лжи захлестнул нормальное человеческое восприятие, избыток слов притупил мозги людей. Я вспомнил об умерших в Свайриенге, о колодцах, наполненных людьми в жидком состоянии, о черепах с гвоздями в глазницах, о сожженных пагодах, об уничтоженных рисовых полях.

Я подготовил шесть вопросов Иенг Сари и первым взял слово. Запись конференции выглядит так:

Вопрос первый. Вы сказали позавчера, что новая власть в Пномпене «не имеет корней» в обществе. А ведь почти все нынешние руководители были офицерами высокого ранга в армии «красных кхмеров», участвовали в создании партии и партизанского движения во времена Лон Нола́, занимали высокие посты в первое время после прихода к власти вашего правительства.

Ответ. Все эти люди вьетнамские агенты и не представляют нашего правительства.

Вопрос второй. Вы заявляли, что жертвы среди населения Кампучии имеют место только теперь. Баланс вашего правления слишком хорошо известен и достаточно документирован, чтобы не иметь нужды полемизировать с подобными заявлениями. Но я хочу задать совершенно конкретный вопрос. В середине февраля я был в городе Прейвэнг, где видел собственными глазами сотни, если не тысячи черепов и скелетов. Город почти целиком поглотили джунгли. Как вы это объясните? Ведь джунг-

ли не растут столь быстро, чтобы за три недели поглотить двадцатитысячный город?

Ответ. Верно, что из-за отсутствия рабочей силы в деревне часть жителей города была переселена в деревню и поэтому некоторые города, может быть, несколько запущены...

Голос из зала. Запущены?

Ответ. Да, то есть производят впечатление запущенных. Я хочу, однако, еще раз подчеркнуть, что все распространяемые Вьетнамом сообщения о якобы имевших место в период революции массовых убийствах не что иное, как вымысел. В худшем случае могли иметь место отдельные проявления самовольства со стороны низших местных органов, но это происходило вопреки воле правительства. Что касается черепов и костей, которые вы видели в Прейвэнге, я не могу ставить этот факт под сомнение, но полностью уверен, что их свезли туда вьетнамцы, стремясь очернить законное правительство «Демократической Кампучии».

Движение в зале.

Вопрос третий. Вы ничего хорошего о Вьетнаме сказать не можете, и этому трудно удивляться. Ваши соотечественники в Кампучии другого мнения. Но меня интересует эволюция ваших взглядов. Я не говорю о 1971 годе, когда вы трижды были во Вьетнаме, и 1973 годе, когда вы четыре раза посетили Ханой, горячо и во всеуслышание благодаря вьетнамцев за помощь кхмерской революции. Но в самом Пномпене 19 апреля 1975 года, через два дня после взятия города, вы были главным оратором на митинге победы, где очень долго и многословно снова выражали благодарность Вьетнаму. Что и когда изменилось в ваших взглядах?

Ответ. Я не припоминаю такой речи. Как заместитель премьера, я очень занятой человек, и не все события остаются в моей памяти.

Движение в зале.

Вопрос четвертый. Объясните, пожалуйста, что произошло с Ху Нимом, членом высшего руководства и главным идеологом «красных кхмеров», после которого данный пост заняли вы?

Ответ. Насколько я помню, Ху Ним был разоблачен как вьетнамский агент и посажен под арест.

Голос из зала. По приговору суда? Что это был за суд?

Ответ. Признаться, не помню. Я не занимался тюрьмами. Область моих интересов — внешняя политика и культура.

Смех в зале.

Вопрос из задних рядов. Но ведь вы сами написали статью, в которой оправдывали расстрел Ху Нима и призывали вести решительную борьбу против лиц, идущих по капиталистическому пути?

Ответа нет.

Вопрос пятый. Вы постоянно живете в Пекине, путешествуете с китайским паспортом, ваша жена — китайская гражданка. Несмотря на это, каждое второе слово в вашей речи было о суверенитете. Кто оплачивает ваши поездки и на чей счет содержится «представительство» в ООН?

Ответ. Я прибыл сюда прямо из Кампучии. У нашего правительства достаточно средств, чтобы обеспечить деятельность наших представительств за рубежом.

Раздраженный голос с правой стороны. Как же вы выехали из Кампучии? Каким путем? Каким транспортом?

Ответ. Я не могу этого раскрыть.

Мой шестой, последний вопрос был таков: в апреле этого года трибуналом в Пномпене вы были приговорены к смертной казни за преступные человекоубийства. Я не хочу от вас комментариев к приговору, но хотел бы знать, чувствуете ли вы лично себя в чем-нибудь виновным. Повторяю: хотя бы в чем-нибудь?

Ответ. Процесс в Пномпене был политическим актом, рассчитанным на то, чтобы воспрепятствовать мне принять участие в конференции в Гаване. Я не чувствую себя виновным в каких-либо ошибках. Я получил гуманитарное образование во Франции и всегда трудился на благо народа Кампучии.

Смех в зале.

Остальные вопросы касались различных деталей, связанных с конференцией в Гаване и сессией Генеральной Ассамблеи..

Пресс-конференция длилась пятьдесят две минуты. Несколько американских коллег показали мне тексты своих отчетов о пресс-конференции и попросили выверить имена и географические названия. Я это с удовольствием сделал. И снова подумал, что хотя бы таким путем послужу делу, которое не только я считаю правым.

Я еще раз ошибся. На следующий день во всей американской прессе не появилось ни слова о пресс-конференции Иенг Сари. Зато в четырех крупных газетах и в программах двух телевизионных компаний появились сообщения о Кампучии, в которых полностью воспроизводилась аргументация, использованная Иенг Сари на Генеральной Ассамблее.

Я подумал, что не могу мимо всего этого пройти равнодушно.

Я предложил двум крупнейшим телекомпаниям «Эй-би-си» и «Эн-би-си» рассказ о своих впечатлениях о пребывании в Кампучии «в любой форме, в любом месте, в любой программе».

Предложение было отвергнуто.

Я обратился к одному из американских издательств с вопросом: не заинтересует ли его перевод моей книги о Кампучии, которая вот-вот выйдет в свет?

Издателя мое предложение не заинтересовало. При разных оказиях я выражал готовность прочесть публичную лекцию, принять участие в дискуссии с какими угодно оппонентами, предоставить фотографии или фильмы, снятые в Кампучии.

Безуспешно.

За одно полугодие полпотовцы стали союзником «свободного мира», ценным и полезным помощником в разыгрывании политической шахматной партии, стратегическим резервом.

В день моего отъезда из Нью-Йорка телекомпания «Эн-би-си» передала короткую программу о голоде в Кампучии. Вину за этот голод целиком возложили на вьетнамцев. Об экономической политике режима Пол Пота, об уничтожении его палачами

рисовых полей, об убитых специалистах сельского хозяйства или хотя бы об уничтожении опытной станции в Прехлеапе не было сказано ни слова.

В сущности лишь в этот момент я по-настоящему понял, что имел в виду Джеймс Болдуин, заявив десять лет назад, что честные люди могут иметь различные политические взгляды, но не могут расходиться во взглядах на человекоубийство.

Под конец октября консервативная шведская газета «Свенска дагбладет», которая совсем недавно с удовольствием помещала сообщения о зверствах полпотовцев и опубликовала подробный отчет о моей пресс-конференции в Хельсинки, начала печатать «корреспонденции из Камбоджи», написанные шведским маоистом-фанатиком Яном Мюрдалем. Резкие политические различия во взглядах на все существующие проблемы совершенно не помешали ни газете, ни Мюрдалю пойти на этот весьма поучительный симбиоз.

Мюрдаль некогда прославился на Западе неумеренными восторгами по поводу великолепных достижений китайской «культурной революции». Нынешнюю «банду четырех» он упорно изображал и в статьях, и в двух своих книгах как единственных подлинных пророков маоизма. Мюрдаль постоянно живет в Пекине. Именно оттуда его направили в какую-то полпотовскую банду, которая скрывается в горных джунглях в северной части страны. Он пишет, разумеется, что кхмерский народ процветал при правительстве Пол Пота, что в стране были установлены справедливость и демократические свободы, а все сообщения насчет истребления людей — это вымысел вьетнамцев и их европейских агентов.

Я не знаю, ей-богу, не знаю, имеет ли свои пределы это лживое лицемерие. Шесть миллионов свидетелей и два миллиона трупов — это для Мюрдаля, по-видимому, ничто.

Этот краткий календарь событий не есть что-то из ряда вон выходящее. Если так пойдет дальше, Пол Пота начнут принимать в Белом доме, Иенг Сари получит, может быть, Нобелевскую премию мира, Тхиеунн Пратхит сядет в кресло председателя очередной сессии ООН. А почему нет? Что этому помешает, если беспрепятственно совершилась реабилитация режима Пол Пота, предпринятая совместными усилиями Пекина и главной западной столицы?

Нужна исключительная психологическая стойкость, нужна глубокая — неизвестно, насколько она подтвердится,— вера в осмысленность истории, чтобы в этом темном, невротическом, раздраженном мире сохранять верность хотя бы себе самому. Это все труднее. Но есть ли другой выход?

Люди, люди...

Книга известного польского писателя и журналиста Веслава Гурницкого «Песочные часы», с фрагментами которой познакомились читатели «Иностранной литературы», не может никого оставить равнодушной. В ней рассказывается о безмерно трагическом периоде в жизни кампучийского народа — кровавом правлении террористической клики Пол Пота — Иенг Сари — Кхиеу Самфана, трудной борьбе кампучийских патриотов против преступного режима, их исторической победе 7 января 1979 года, открывшей перед истерзанной Кампучией светлые горизонты строительства новой жизни.

В. Гурницкий был в числе зарубежных журналистов, которым довелось одними из первых побывать в Кампучии вскоре после ее освобождения. Поэтому его книга, написанная как репортаж с места события, захватывает своей исключительной достоверностью, она напоминает рассказ человека, идущего через еще не рассеявшийся дым только что отгремевшего кровопролитного сражения. Автор стал непосредственным очевидцем того, во что превратилась Кампучия за 3 года и 8 месяцев хозяйничанья палаческого режима, и с присущим ему мастерством писателя-публициста нарисовал потрясающую картину чудовищных преступлений полпотовских временщиков и их бесславного падения.

Вместе с тем человек, пишущий «по горячим следам», всегда сталкивается и с рядом трудностей, главная из которых — недостаток историко-документального материала, в частности в нашем случае, документов полпотовского режима, анализ которых позволил бы с научной точностью определить движущие пружины и мотивы вдохновителей этого современного варианта средневекового варварства. В. Гурницкий, несмотря на эту трудность, тем не менее предпринял весьма интересную, на мой взгляд, попытку выявить генезис полпотовщины как конкретно-исторического явления, обнаружить ее корни и истоки, проследить процесс ее возникновения и эволюции.

В настоящее время мы располагаем значительным количеством достоверной документальной информации, воссоздающей в довольно полном объеме картину развития событий в Кампучии в течение последнего, самого бурного десятилетия ее истории. Наиболее впечатляющие разоблачительные документы были оглашены на открытом судебном процессе над Пол Потом и Иенг Сари, который состоялся в августе

1979 года в Пномпене. В результате тщательно проведенного расследования и на основании многочисленных документов полпотовского режима, показаний свидетелей, вещественных доказательств был составлен Обвинительный акт, раскрывающий действительно противоправный характер правления Пол Пота и его камарильи и всю «механику» их чудовищных преступлений против человечности. В мае 1981 года состоялся IV съезд Народно-революционной партии Кампучии, в документах которого содержится глубокий анализ «полпотовского периода» в истории партии и страны. Наконец, в Советском Союзе, в самой Кампучии, во Вьетнаме, других зарубежных странах за прошедшие три года появилось немало работ научного и политического характера, в которых дана развернутая характеристика полпотовщины как одной из чудовищных разновидностей маоизма.

Основываясь на этих материалах, я хотел бы предложить вниманию читателей небольшую историческую справку, чтобы попытаться пролить свет на причины и истоки кампучийской трагедии, о которой повествует книга В. Гурницкого «Песочные часы».

До 1953 года Кампучия, так же как Вьетнам и Лаос, являлась частью французского «Индокитайского союза». Вьетнамский, лаосский и кампучийский народы плечом к плечу вели трудную борьбу против колонизаторов за национальное освобождение.

Этой борьбой до 1951 года руководила Коммунистическая партия Индокитая (КПИК), созданная в феврале 1930 года великим сыном вьетнамского народа Хо Ши Мином. К 1951 году обстановка в Индокитае изменилась. Национально-освободительные революции во Вьетнаме, Лаосе и Кампучии находились на различных этапах развития, что, естественно, ставило перед коммунистами трех стран различные по своему характеру, масштабам и методам решения задачи. В феврале 1951 года на II съезде КПИК было принято решение о разделении этой партии на три самостоятельные. Так возникли Партия трудящихся Вьетнама (ныне Коммунистическая партия Вьетнама), Народная партия Лаоса (ныне Народно-революционная партия Лаоса) и Кхмерская народно-революционная партия (ныне Народно-революционная партия Кампучии — НРПК).

Действуя со дня основания в глубоком подполье, НРПК последовательно выступала в роли политического авангарда патриотических сил Кампучии, поддерживала тесные отношения с вьетнамскими и лаосскими соратниками, координируя с ними борьбу против колонизаторов, за национальное и социальное освобождение. До 1960 года во главе НРПК стоял ветеран национально-освободительной борьбы Сон Нгок Минь. В сентябре 1960 года на II съезде партии ее руководителем был избран коммунист-интернационалист Ту Самут. Съезд принял новую программу, которая соответствовала обстановке, изменившейся после подписания в 1954 году Женевских соглашений и ухода французских колонизаторов из Индокитая.

Но эту программу кампучийским коммунистам не суждено было осуществить. В конце 1953 года в Пномпень из Франции вернулись Пол Пот, Кхиеу Самфан и ряд других «левых». Лучше ориентируясь в городских условиях, чем ветераны партии, проведшие много лет в партизанских отрядах в джунглях, ловко манипулируя ультрареволюционными лозунгами, они вскоре захватили в свои руки руководство пномпеньской партийной организацией.

Затем им удалось навязать партии острую дискуссию по жизненно важным вопросам тактической линии. Какая форма борьбы партии после достижения Кампучией национальной независимости должна быть главной — вооруженная или политическая? Поддержать ли антиимпериалистическую политику находившегося тогда у власти правительства Н. Сианука или бороться против него? Оставаться ли НРПК в составе единого фронта патриотических сил Индокитая или под флагом «независимости и самостоятельности» вести борьбу обособленно? На все эти вопросы Пол Пот давал однозначные ответы: только вооруженная борьба, никакой поддержки правительству, партия должна идти «независимым курсом».

После II съезда партии Пол Пот стал личным секретарем Ту Самута и, пользуясь своим положением, начал сколачивать антипартийную группу. 27 мая 1962 года Пол Пот и его единомышленники тайно, злодейски убили Ту Самута и некоторых других членов руководства. В 1963 году Пол Пот стал во главе партии и начал перестраивать ее деятельность на левоэкстремистский лад. Ветераны КПИК, все, кто выступал за тесную солидарность с Вьетнамом, Советским Союзом, физически уничтожались. Так, в 1972 году был отравлен находившийся в госпитале Сон Нгок Минь.

18 марта 1970 года к власти в Пномпене в результате государственного переворота пришла проамериканская военная группировка во главе с генералом Лон Нолом. НРПК приняла активное участие в создании Национального единого фронта Камбоджи, который возглавил борьбу кампучийского народа против американских ставленников. Вооруженные отряды НРПК стали костяком созданной Армии национального освобождения. Большую помощь в ее формировании, в создании на территории Кампучии освобожденных районов и опорных баз оказали НРПК вьетнамские братья. Патриоты Кампучии нуждались в материальной и политической поддержке Вьетнама, стран социализма, по этой причине до окончания войны Пол Пот и его сторонники не решались открыто демонстрировать свои антивьетнамские, антисоциалистические настроения.

После освобождения Кампучии в апреле 1975 года перед кампучийским народом открылась возможность мирного строительства новой жизни. Однако события в стране стали развиваться вразрез с чаяниями народа. Узурпировавшая абсолютную власть

в стране и партии клика Пол Пота — Иенг Сари — Кхиеу Самфана попыталась вырвать у народа плоды завоеванной победы.

Полпотовские временщики приступили к строительству невиданного в истории общества без городов, без собственности, без рынков и денег, без семьи. Первой же «радикальной» акцией полпотовцев в освобожденной Кампучии стало насильственное выселение в течение 72 часов из Пномпеня и других городов всех жителей. Только в ходе этого чудовищного эксперимента погибли от голода, жары, эпидемий сотни тысяч людей.

Из горожан и сельских жителей, «пересортированных» и рассеянных по всей стране, создавались «сельскохозяйственные коммуны», которые в действительности являлись замаскированными концлагерями. Вместе с частной собственностью была ликвидирована и личная. Всякая свобода личности, уважение элементарных человеческих прав отсутствовали. Было упразднено денежное обращение. Учебные заведения были закрыты, а их помещения превращены в тюрьмы и казармы. Не работали кинотеатры, телевидение. Страна была изолирована от внешнего мира и ориентирована исключительно на связи с Китаем.

Все кампучийцы были разделены по степени лояльности режиму на три категории. Представители второй и третьей категории квалифицировались как «недочеловеки» и подлежали «перевоспитанию» или истреблению. Жестоким преследованиям и физическому уничтожению подвергалась прежде всего образованная часть населения — творческая и техническая интеллигенция, студенчество, служащие, духовенство. Истреблялись также целые народности, религиозные группы. Полпотовские вандалы осуществляли небывалый по масштабам геноцид в отношении собственного народа. За 44 месяца их правления было уничтожено, замучено, погибло от голода и болезней около трех миллионов человек.

Крайне жестокий удар обрушили полпотовцы и на НРПК, уничтожив 90 процентов верных марксизму-ленинизму членов партии. Как указывается в сегодняшних документах НРПК, полпотовская клика «разрушила партию, заставила ее отступить от позиций рабочего класса, изменить принципам марксизма-ленинизма» и в конечном счете превратила ее в «контрреволюционную организацию палачей и убийц, в орудие в руках пекинских экспансионистов для проведения в стране массового террора, равного по жестокости которому не знала история человечества».

С первых же дней своего существования полпотовский режим взял курс на подрыв традиционных уз солидарности народов Индокитая, развязав по указке из Пекина кровопролитную войну против социалистического Вьетнама. Объектом вооруженных провокаций стал не только Вьетнам, но и другие соседние с Кампучией страны. Китайское руководство использовало полпотовскую Кампучию как орудие для осуществления своих великодержавных экспансионистских планов, направленных против народов Юго-Восточной Азии.

Таким образом Кампучии была навязана настолько чудовищная «модель» политического устройства общества, такой антинациональный, бесчеловечный режим, что это не могло не вызвать всеобщего гнева и возмущения в стране. Борьбу кампучийских патриотов за свержение преступной антинародной клики возглавили оставшиеся в живых истинные коммунисты, которые осознали смертельную опасность полпотовщины для дела кампучийской революции. Важнейшее значение для успешного развертывания борьбы имел тот факт, что революционно-патриотическим силам удалось установить тесные связи с братским Вьетнамом, получить поддержку прогрессивной мировой общественности.

2 декабря 1978 года в одном из освобожденных районов страны был создан Единый фронт национального спасения Кампучии во главе с видным патриотом Хенг Самрином. Революционно-патриотические силы сумели превратить агрессивную войну, развязанную полпотовцами против Вьетнама, в революционную гражданскую войну. 7 января 1979 года Пномпень, а вслед за ним и вся Кампучия были освобождены революционными вооруженными силами. 10 января была провозглашена Народная Республика Кампучия. В Кампучии победила народно-демократическая революция, принявшая в специфических условиях этой страны антимаоистский, национально-освободительный характер.

В своей книге Веслав Гурницкий пишет, что полпотовцы «не были импортированы извне, не были шайкой подосланных убийц, абсурдной исторической случайностью», что «было бы неверно видеть в этих людях лишь китайскую агентуру». В принципе с этими утверждениями можно согласиться. Можно даже предположить, что на заре своей политической деятельности это были честные люди, искренне стремившиеся к скорейшему национальному и социальному освобождению своего народа и в силу этого страдающие симптомами болезни «левого экстремизма», вполне простительной для людей, чьи сердца переполняют ненависть к угнетателям и мечты о ниспровержении существующего строя. Но в том-то и заключается страшная опасность маоизма, его человеконенавистнических доктрин, что он улавливает в свои липкие сети зачастую даже истинных, но политически невежественных революционеров и постепенно превращает их в фанатичных разрушителей и хладнокровных убийц. «Невежество,— писал К. Маркс,— это демоническая сила... оно послужит причиной еще многих трагедий».

Пол Пот, хотя он не стеснялся именовать себя коммунистом, имел, как показывает анализ его биографии и печатных трудов, крайне смутное, более того — совершенно превратное представление о теории научного коммунизма. В юности он шесть лет

провел в буддийском монастыре, из них два года соблюдал обет монашества. В студенческие годы в Париже примкнул к троцкистской группе, где познавал азы ультрареволюционной «науки». Впоследствии эклектическая мешанина из левоэкстремистских лозунгов и религиозно-мистических представлений трансформировалась в его сознании в идеологию мелкобуржуазного утопического псевдосоциализма и воинствующего национализма. Пол Пот и его окружение стали ревностными сторонниками теории «крестьянской революции», проповедниками «особого пути» кампучийского освободительного движения. В силу объективных конкретно-исторических условий Кампучии демагогия Пол Пота, что «город — это средоточие контрреволюции», а главная революционная сила — крестьянство», падала на благодатную почву, особенно в годы борьбы за освобождение Кампучии от проимпериалистического режима, когда происходил бурный рост рядов партии за счет притока неграмотной крестьянской молодежи из наиболее отсталых в экономическом и культурном отношении районов страны.

Подобно бланкистам, которых высмеял В. И. Ленин, полпотовцы считали, что «раз они хотят перескочить через промежуточные станции и компромиссы, то и дело в шляпе, и что если... на этих днях «начнется» и власть очутится в их руках, то послезавтра «коммунизм будет введен». Очутившись у кормила власти, Пол Пот первым делом громогласно объявил, что он покажет «всем этим ревизионистам», как Кампучия успешно осуществит «стопроцентную, полную революцию», быстрее всех построит «радикальный, чистый социализм». Полпотовцы не принимали в расчет никаких общественных отношений, они не располагали какой-либо собственной конкретной программой переустройства общества. И вот тут-то они и нашли готовые рецепты в пресловутых «идеях Мао Цзэдуна», в практике «культурной революции», в рекомендациях тысяч китайских советников, наводнивших страну.

Пол Пот был пойман в сети маоизма еще в середине 60-х годов, когда он побывал в Китае в самый разгар «культурной революции». По его же словам, он был пленен этим мощным разгулом «революционного духа масс», физические расправы и духовное глумление над миллионами людей он называл «очищением организма от болезненных явлений», а бредовые идеи Мао — «подлинным современным марксизмом». На родину он вернулся убежденным поборником насаждения маоистских идей в Кампучии. Настоящую же «школу маоизма» Пол Пот и его окружение прошли в 1970—1975 годах, когда зарубежные руководящие органы Национального единого фронта Камбоджи находились в Пекине. Тогдашние пекинские лидеры с лихвой использовали это обстоятельство, чтобы превратить Пол Пота в надежного проводника политики маоистского Китая в Кампучии и Юго-Восточной Азии в целом.

То, что руководящей идейно-политической доктриной полпотовского режима были маоизм и опыт китайской «культурной революции», показывает даже самый поверхностный анализ.

Один из главных постулатов маоизма — «деревни окружают города». В Кампучии он осуществлялся особенно рьяно. Насильственно выселив из городов все население, превратив города в каменные пустыни, полпотовцы пошли даже дальше своих учителей — они изобрели новый лозунг: «Деревни поглощают города».

«Винтовка рождает власть» — утверждает маоизм. И всеобщая милитаризация страны, установление военно-казарменного режима стали стержнем всей внутриполитической деятельности полпотовской клики.

Кампучийский вариант «культурной революции» превзошел все мыслимые масштабы злодеяний. Физическое уничтожение инакомыслящих; навешивание ярлыка «враг», со всеми вытекающими отсюда последствиями, на представителей наиболее передовой в культурном отношении части населения; ликвидация системы просвещения; искоренение «наследия прошлого», сопровождавшееся разрушением памятников древней культуры и сожжением на кострах научных, учебных и художественных изданий,— все эти апробированные маоистами у себя дома методы процветали в Кампучии.

Как это было и в Китае, полпотовские продолжатели дела «культурной революции» обрушили главный удар на коммунистическую партию страны, подвергли ее разгрому и заменили ее руководство террористической диктатурой пресловутой «Ангка», которая вершила суд и расправу над миллионами кампучийцев.

Были в Кампучии и свои «коммуны» и «трудовые армии», был и свой «большой скачок», который принял форму кампании под лозунгом: «Будет рис — будет все!». В результате осуществления этой кампании экономика страны была ввергнута в хаос, отброшена на десятки лет назад.

Подобно китайской «культурной революции» полпотовский режим был заражен воинствующей ксенофобией. Он проводил курс на изоляцию Кампучии от внешнего мира, на превращение ее с помощью китайцев в плацдарм вооруженных провокаций против ссседних стран.

Маоистское происхождение политики своего режима неоднократно подтверждал и сам Пол Пот. 29 сентября 1977 года, выступая на приеме в Пекине, он, в частности, заявил: «Председатель Мао и китайский народ снабдили нас самым ценным для осуществления революции в Кампучии, а именно: идеологией Мао Цзэдуна». В свою очередь Мао Цзэдун так оценил варварскую акцию полпотовцев по насильственному выселению жителей из городов и созданию «трудовых лагерей»: «Товарищи, вы одержали замечательную победу! Один взмах — и нет больше классов!»

В своей книге Веслав Гурницкий, стремясь проникнуть глубже в суть произошедшей в Кампучии трагедии, много размышляет сам и заставляет размышлять читателя о вещах и явлениях, хотя подчас и не имеющих прямого отношения к теме книги, но помогающих найти ответ на поставленные автором вопросы. Эти размышления, своего рода философские раздумья автора, представляются весьма интересными, свидетельствуют о творческом, нестандартном подходе даже к тем явлениям, которые кажутся ясными, о попытках автора по-новому, по-своему осмыслить сложные проблемы века. Именно такую оценку можно дать рассуждениям В. Гурницкого относительно доктрины китайской «культурной революции», где он стремится разобраться, в чем причина того, что этот мрачный, трагический зигзаг в истории современного Китая находил все-таки своих приверженцев и почитателей в разных странах мира.

Веслав Гурницкий из тех писателей, кто уютной кабинетной тиши предпочитает передний край бурных социально-политических событий, потрясающих планету. Он изъездил чуть ли не весь мир, особенно много бывал в азиатских странах. Его можно встретить практически везде, где шла или идет борьба не на жизнь, а на смерть между силами добра и зла, свободы и угнетения за лучшее будущее людей. Закономерно поэтому, что он оказался и среди летописцев кампучийской драмы.

Думаю, что книга Веслава Гурницкого «Песочные часы» будет с большим интересом встречена советским читателем. Хотя после освобождения Кампучии от кровавого полпотовского режима прошло уже более трех лет, эта тема не потеряла своей злободневности. Подыгрывая сегодня Пекину в нагнетании враждебной кампании против Народной Республики Кампучии, отдельные деятели в Вашингтоне и столицах других стран Запада начинают забывать или же делают вид, что забывают, о вопиющих преступлениях полпотовских палачей, стремятся обелить их в глазах мировой общественности, придать им респектабельность. И все это делается для того, чтобы использовать остатки полпотовских банд в вооруженной борьбе против новой Кампучии, в хитроумных политических комбинациях, направленных на ликвидацию народной власти, установление в этой стране порядков, угодных силам империализма и реакции. Книга Веслава Гурницкого — гневное напоминание всем тем, кто вольно или невольно хотел бы гальванизировать политические трупы полпотовских убийц и мракобесов, отвергнутых своим народом и навсегда вышвырнутых из Кампучии.

Е. ВАСИЛЬКОВ

Антирубрика

УИЛЬЯМ Ф. НОЛАН (США)

НУ И ДЕНЕК!

Перевод с английского ВЛАДИМИРА ВОЛИНА

Услышав, как желто-голубая бабочка прожужжала: «Да, меня зовут Мими» — мою любимую арию из «Богемы»,— я сразу понял: опять начинается один из «тех» деньков. Я полол сорняки в саду, когда хрупкое насекомое пролетело мимо меня, напевая приятным мелодичным голосом.

Я встал, отложил в сторону садовые инструменты и вошел в дом, чтобы одеться. Мне нужно было немедленно увидеться со своим психоаналитиком.

Пренебрегши тростью и гетрами, я нахлобучил старую шляпу и направился прямиком к доктору Мэллоутину, в центр Лос-Анджелеса.

По дороге со мной приключилось несколько событий, еще больше нарушивших мой душевный покой.

Как только я вышел из автобуса, я увидел, как по проулку промчался огромный кот. Он бежал на задних лапах, а в передних держал завернутый в одеяло сверток с чем-то нежно-розовым и пенистым. На лице кота было написано отчаяние.

— Освободите дорогу! — кричал он.— Ребенок! У меня живой ребенок! Осадите назад. Дорогу ребенку!

Затем кот стремительным аллюром перебежал улицу и скрылся из виду, затерявшись в густой толпе прохожих. Заглотнув в легкие изрядную порцию воздуха, насыщенного смогом, но вполне приемлемого, я поспешно зашагал дальше, к конторе доктора Мэллоутина.

Когда я проходил мимо хорошо знакомого жилого дома, на третьем этаже распахнулось окно, и на подоконнике показалась голова Уолли Дженкса.

— Хэлло! — крикнул Дженкс, наклонившись вниз.— Поднимайся ко мне, и пропустим по стаканчику!

Я заслонил глаза от света, чтобы лучше разглядеть его.

— Хэлло, Дженкс! — крикнул я в ответ, и мы оба глупо ухмыльнулись нашей старой словесной игре.— Я иду к Мэллоутину.

— Назначен на прием? — спросил он.

— Экспромтом. По собственной инициативе.

— В таком случае время — не помеха. Поднимайся наверх, старый негодник, иначе я тебе не прощу.

Я вздохнул и вошел в здание. Дженкс жил на третьем этаже, и я решил воспользоваться лестницей. В лифте я чувствую себя как в западне. Дойдя до площадки второго этажа, я подчинился непреодолимому позыву — нагнуться вниз и приложить ухо вплотную к стене у самого пола.

— Эй, мышки, вы все еще здесь? — закричал я.

В ответ я услыхал тысячи тоненьких, писклявых музыкальных голосков — совсем как в диснеевских мультипликациях:

— Какого черта, конечно, мы здесь!

Я пожал плечами, поправил шляпу и продолжал восхождение.

Дженкс встретил меня у двери с бутылкой сухого мартини.

— Спасибо.— сказал я, отпивая медленными глотками. Как всегда, вино было превосходным. Старик Дженкс знал толк в мартини.

— Валяй, рассказывай,— сказал он бодро.— Как дела?

— Хуже некуда,— ответил я.— Можешь меня выслушать?

— Разумеется. Облегчай свою душу.

Мы уселись в большой, со вкусом обставленной комнате, глядя друг на друга в упор. Я лениво потягивал мартини и рассказывал Уолли обо всем, что произошло.

— Сегодня утром, примерно минут сорок

назад, я услыхал, как бабочка напевает Пуччини. Потом я увидел кота — он нес что-то, безусловно похожее на живого ребенка.

— Ребенок человечий?

— Не знаю. Может быть, кошачий.

— Кот что-нибудь говорил?

— Он кричал: «Дайте дорогу!»

— Продолжай.

— Потом, когда я поднимался сюда, у меня состоялся короткий разговор с мышами. По меньшей мере с тысячью мышей.

— В стене?

— Где же еще?

— Заканчивай свою выпивку,— сказал Дженкс, опустошая свой стакан.

Я последовал его примеру.

— Не проходит? — спросил он.

— Ничуть. Ладно, я побежал. Мне надо срочно прочистить мозги.

— По-моему, нет причин для волнений,— заявил он убежденно.— Конечно, поющие насекомые, говорящие коты и хором отвечающие мыши — все это, по общему признанию, выходит за пределы обычного. Но... в этом лучшем из миров происходят вещи куда более странные.

Я посмотрел на него. И понял, что он прав — потому что добрый старый Дженкс превратился в верблюда с обшарпанной коричневой шкурой, свисающей складками, и двумя пятнистыми горбами, покрытыми на верхушках шерстью. Я проглотил слюну.

— Увидимся позже,— сказал я.

Дженкс ухмыльнулся, точнее говоря — верблюд ухмыльнулся, и это было ужасно. Его длинные, похрустывающие, желтые зубы в черных деснах были похожи на грязные, немытые тарелки. Я нервно передернулся и пошел к двери. Бросив напоследок через плечо взгляд на старого Дженкса, я убедился, что он все еще скалит зубы, глядя на меня большими, влажными, красными от песков пустыни глазами.

Выйдя на улицу, я прибавил шагу, стремясь поскорее добраться до Мэллоутина и представить ему полный отчет о событиях дня. Всего полквартала ходьбы.

Внезапно меня остановил полисмен. Он весь вспотел в своем тесном мундире, и лицо его потемнело от злости.

— Эй. Крокодил, думаешь, ты самый умный? — заскрежетал он язвительным голосом.— Думаешь, что можешь обвести вокруг пальца блюстителя закона?

— Но, лейтенант, я не...

— Пошли со мной, Крокодил. У нас есть специальные клетки для типов вроде тебя.— Он уже собирался защелкнуть наручники на моих запястьях, но тут я развернулся и быстрым ударом коленкой в живот свалил полисмена на тротуар. Затем я выхватил его револьвер.

— Смотрите все! — закричал я нескольким прохожим.— Этот человек — обманщик. Он убил полисмена, чтобы захватить его снаряжение. Это свинья самого худшего пошиба. Он шантажист, насильник, поджигатель, угонщик автомобилей, крупный грабитель, мелкий воришка, похититель детей и избиватель жен. Вы все — свидетели, что это преступник!

Я всучил револьвер дрожавшей женщине с расширенными от ужаса глазами.

— Держите это оружие, леди. Если он сделает хоть малейшее движение — пристрелите его.

Она нацелила револьвер на оглушенного полицейского, который уже пришел в себя и пытался встать на ноги.

— О-опс! — закричал я.— Он все еще не утихомирился. Кончайте с ним, и сейчас же!

Дрожащая женщина зажмурилась и нажала на спусковой крючок. Полисмен свалился замертво лицом вниз.

— Да простит вас небо,— застонал я, собираясь уходить.— Вы убили офицера закона, блюстителя порядка, защитника общественной морали... Да будут небеса милосердны к вам!

Женщина взмахнула крыльями, превратившись в пеликана с тяжелым широким клювом. А полисмен превратился в толстопузого тюленя с ластами, хотя все еще лежал бездыханным.

Я ускорил шаги и, войдя в слегка подавленном настроении в приемную доктора Мэллоутина, сообщил девушке за столиком, что у меня дело, не терпящее отлагательства.

— Можете сразу проходить,— сказала она.— Доктор примет вас немедленно.

В следующий момент я уже пожимал руку Мэллоутина.

— Садитесь, дорогой мой,— сказал он.— Ну... у нас сегодня опять были наши маленькие осложнения? Не так ли?

— Именно так,— ответил я, кладя в карман одну из его сигар. Я заметил, что она была несвежей.

— Не приляжете ли на кушетку?

Я растянулся на темной дорогой коже и закрыл глаза.

— А теперь расскажите мне обо всем, что случилось.

— Сперва бабочка спела «Богему», во всяком случае — прожужжала. Потом кот промчался по переулку с ребенком в лапах. Потом мыши в жилом доме закричали мне в ответ. А потом один из моих старейших и ближайших друзей превратился в верблюда.

— Двугорбого или одногорбого? — спросил Мэллоутин.

— Двугорбого,— ответил я.— Горбы были большие и на верхушках покрыты шерстью.

— Что-нибудь еще?

— Потом меня остановил огромный, псевдоанглийский полисмен. Он говорил чудовищные вещи. Называл меня Крокодилом. Заявил, что мое место — в клетке. Хотел надеть на меня наручники. Я двинул полисмена коленкой в брюхо и дал его револьвер очаровательной дрожавшей леди, которая и убила его. Потом она превратилась в пеликана и замахала крыльями, а полисмен превратился в тюленя с ластами. А потом я пришел сюда.

Я открыл глаза и сел на кушетке, уставившись на доктора Мэллоутина.

— В чем дело? — спросил он несколько напряженно.

— Как бы вам сказать...— протянул я.— Ну, для начала — у вас большие коричневые печально-водянистые глаза.

— И дальше?

— Держу пари, у вас мокрый нос,— ухмыльнулся я.

— Что-нибудь еще?

— Я не уверен.

— Как насчет моей общей наружности?

— Ну вы, конечно, покрыты длинной, черной, густой и косматой шерстью до самых кончиков ваших больших ушей, которые полощутся, точно паруса.

Минута прошла в натянутом молчании.

— Вы умеете делать трюки? — спросил я.

— Немного,— ответил Мэллоутин с беспокойством.

— Сделайте сальто! — скомандовал я.

Он выполнил команду.

— А теперь притворитесь мертвым!

Его водянистые зрачки закатились, обнажив белые глазницы, а длинный розовый язык беспомощно вывалился из пасти.

— Умный песик,— сказал я.— Славная собачка.

— Гав-гав! — добродушно залаял доктор Мэллоутин, виляя хвостом.

Напялив шляпу, я швырнул ему кость, найденную в саду, и вышел из его конторы на улицу.

Вокруг не происходило ровным счетом ничего особенного.

Просто это был один из «тех» деньков.

ХАЙНО ЭРНСТ (ФРГ)

СТУДЕНТ 1984 ГОДА

Перевод с немецкого ЕВГЕНИЯ КОЛЕСОВА

Место действия: кафе в университете.

Действующие лица: пятеро студентов.

Реквизит: один складной стул.

А. Куда торопитесь, девушка?

Б. Пусти, мне надо на семинар по истории!

А. Это еще зачем?

Б. Компьютер сообщил, что на семинаре «Проблемы овцеводства у малоазийских греков» есть свободное место — на плечах одного слушателя.

А. Да, компьютер у нас что надо. Молодец.

В. Заботится о тесных межчеловеческих контактах.

Б. Ну да! Вес желающего не должен превышать 38 килограммов!

В. Это уже хуже.

Б. ...А я вешу ровно 37 с половиной. Неделю голодаю.

А. Еще одно преимущество нашей столовой.

В. Главное — все распланировать. Тех, кто внизу сидит, надо кормить получше, а тех, кто наверху,— заставлять худеть. Вообще надо предложить ввести раздельное питание: усиленный рацион для одних и диету для других.

Б. Ну, я пошла, а то опоздаю. *(Уходит.)*

А. За это рацпредложение тебе дадут почетную повязку имени Гельмута Шмидта.

Появляется Г с печальным видом.

А. Ты чего нос повесил?

Г. Компьютер предложил мне место...

А+В. Так радуйся!

Г. ...На византинистике.

А. Н-да.

В. Бывает.

Г. Зачем мне византинистика? Я хотел на медицину.

В. В наше время нельзя быть таким разборчивым.

Г. А место на медицине надо ждать 38 лет, 23 дня и 14 часов.

А. Это тебе компьютер так точно все рассчитал? Здорово!

В. Попросись в морозильник и проспи это время.

Г. Университетский морозильник давно переполнен.

В. Жалко!

Появляется пятый студент и пытается вырвать стул из-под А; происходит небольшая потасовка.

А. Ты смотри! И тут из-под тебя стул вырывают!

В. У тебя уже есть снаряжение для университета?

А. Есть. Все, что нужно. Складной стул для семинаров, палатка и спиртовка. Это мне папаша подарил.

В. Теперь, говорят, концерн Шпрингера-Бауэра-Бурды-Бертельсмана будет выпускать наборы «Университет на дому», вроде детского конструктора.

Г роется в кошельке.

Г. Погоди, я схожу возьму кофе. Университет на дому — это как?

А. Про аудиовизуальный метод слыхал? Все учебные материалы будут высылаться на дом: фильмы, кассеты и т. д. Ректорат считает это блестящей идеей.

Г. А платить за это кто будет?

А. Ты сам, разумеется. У правительства денег нет. Все деньги ухлопали на новый беспилотный всепогодный истребитель-бомбардировщик с вертикальным взлетом и складными крыльями. От русских-то надо обороняться.

Г засовывает деньги обратно.

В. А кофе?

Г. Нет уж. Буду экономить.

В. На что?

Г. Внукам. Чтобы хоть бы они могли получить нормальное образование.

© Damnitz Verlag Gmb H.

МАРКО ГАНЧЕВ

Перевод с болгарского СЕРГЕЯ НИКОЛЬСКОГО

ПРО МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

— Что делал ты, скажи нам, поэт,
в поэзии первые десять лет?
— От споров тогда голова шла кругом:
и на собраниях, и друг с другом
любовную лирику мы обсуждали:
нужны ли людям стихи любовные,
поскольку они всегда возбуждали
мысли ненужные и греховные.
И вот в споре наш враг уничтожен,
и, наконец, горизонт стал тих.
Был сделан вывод: ура! Мы можем
писать этот самый любовный стих!

— Что делал ты, скажи нам, поэт,
в поэзии следующие десять лет?
— От споров тогда голова шла кругом,
яростно спорили мы друг с другом,
верлибром писать, мол, пора давно,
или он может нам выйти боком?
А кто-то твердил, что верлибр — вино,
разбавленное прокисшим соком.
И вот в споре наш враг уничтожен,
и, наконец, горизонт стал тих.
И сделали вывод мы, что можем
писать верлибры и белый стих!

— А после этих великих побед
что же ты делал? Скажи, поэт!
— От споров тогда голова шла кругом,
яростно спорили мы друг с другом:
необходима ли людям сатира,
или, скорее всего, она
нарушает спокойствие мира
и поэтому не нужна?
И снова в споре был враг уничтожен,
опять горизонт стал спокоен и тих.
И сделали вывод мы, что можем
писать сатирический стих.

— Ну, а последние десять лет
чем занимаешься ты, поэт?
— Увы, голова не идет уже кругом,
давно не спорит никто друг с другом.
В спорах все враги уничтожены,
все разрешается, все теперь можно.
Но от всех этих споров,
от всей чепухи
мы разучились писать стихи.

КРОТИХА И БАОБАБ

Поэт из племени балумба
шел берегом реки Лулаба
и вдруг увидел, думба-лумба,
кротиху рядом с баобабом.

— Вот будет басня, думба-лумба!
Нам всем нужна такая басня.
Пусть знают люди из балумба:
у баобаба враг опасный!

И в басне той кротихе слабой
пришла идея, думба-лумба:
вести подкоп под баобабы,
священные для всех балумба!

Но устояли баобабы
в стране Лулаба, думба-лумба.
Мораль: была кротиха слабой,
не то что люди из балумба!

Но о подкопе баобаба
не думала кротиха эта:
детей растила, стала бабой
наперекор стихам поэта.

Хоть правду знал поэт прекрасно,
к кротам неплохо относился —
но сочинил такую басню:
ведь он поэзией кормился...

ЭПИДЕМИЯ

Распространилась эпидемия
от школьника до академика,
от журналиста
до букиниста,
от солиста до танцора кордебалета
(роднит их, пожалуй, единственно это),
от таланта
до дилетанта —
все, начиная с детского сада,
мечтают о титулах и наградах.
И все чем-нибудь знамениты:
один — лауреат радио Крита,
другой — носитель серебряной каски
среди пожарных далекой Аляски.
Этот — носитель значков позолоченных
за успехи в местах заболоченных.
Тот — кавалер золотого звоночка,
этот — носитель серебряной точки.
А коль получил ты Алмазную Нить —
критики будут тебя хвалить.
Теперь среди нас исключительно много
лауреатов Судана и Кении.
Но кто —
ответьте мне, ради бога,—
достоин званья Творца или Гения?

СОБАКА, КОШКА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За котами всегда гоняются злые собаки,
и кажется нам, что вражда их непримирима.
А в сущности, это лишь нежелание драки,
ловко прикрытое бегом, как слоем грима.

И поговорки сложили про них.
Однако
еще не случалось такого страшного дела,
чтобы бедную кошку схватила собака —
и съела!

Страсти кипят, и это тянется вечно.
«Мяу» и «гав» слышатся снова и снова.
Но не пугайтесь, ведь в результате конечном
не только все живы, но даже вполне здоровы.

Каждый, кто басню эту прочтет внимательно,
увидит идею явную и неявную:
работать вовсе не обязательно,
быть деятельным — вот что главное!

ДВЕ МЫСЛИ

От грустных мыслей не могу ни спать, ни есть:
умней меня на свете люди есть.
И о другом еще печаль моя:
на свете многие глупей, чем я.

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Я, конечно, не гений — это давно проверено.
Чтоб доказать обратное, я не лезу из кожи.
Но почему, скажите, держусь я вполне уверенно?
Потому что я знаю:
другие не гении тоже.

БОРЬБА С ШУМОМ

Шумят, орут, галдят, кричат.
Но быть мне неохота там:
о чем они там промолчат,
я промолчать могу и сам.

Наши гости

Криста Вольф и Герхард Вольф

/ГДР/

Имя Кристы Вольф знакомо советским читателям [1]. Вместе с нею в гостях журнала — ее муж Герхард Вольф, прозаик, сценарист и критик. В последние годы их интересы во многом совпадают. В 1972 году Герхард Вольф опубликовал повесть «Бедный Гёльдерлин»; а несколькими годами позже к той же эпохе немецкой литературной и духовной истории — эпохе романтизма — обратилась Криста Вольф в своих эссе о Каролине фон Гюндерроде (1978) и Беттине фон Арним (1980) и в повести «Нет места. Нигде» (1979). Естественно, участникам беседы захотелось узнать, как возник столь живой интерес к той эпохе и ее проблематике.

— *Так получилось, что вдруг эта эпоха наполнилась для меня актуальным смыслом,* — говорит Криста Вольф.— *При этом к романтизму я подхожу не столько с историко-литературной точки зрения — как к определенному литературному движению,— сколько с точки зрения психологической и общечеловеческой. И не случайно, конечно, люди, чьи судьбы заинтересовали меня в той эпохе, оказались романтиками. В свое время, в конце 30-х годов, получила широкий резонанс полемика Анны Зегерс с Дёрдем Лукачем по вопросам реализма в литературе. Лукач был догматичен в своем определении реализма как классического образца. А Зегерс отвечала ему, что в истории немецкой литературы есть немало писателей, которые, может быть, и не поднялись до идеала классичности, но тем не менее отнюдь не были бесплодными фантастами, а по-своему тоже стремились пробить брешь в системе общественных условностей. Зегерс называла имена Ленца, Бюргера, Гёльдерлина, Клейста, Бюхнера — и постоянно в этом ряду упоминалось имя Каролины фон Гюндерроде. Перечитывая заново эту переписку Зегерс с Лукачем, я и заинтересовалась людьми того времени; а когда в одной из биографических книг прочла брошенную мимоходом фразу: «По слухам, Клейст однажды встречался с Каролиной фон Гюндерроде», я сразу поняла, что должна написать именно об этой предполагаемой встрече. Так возникла повесть «Нет места. Нигде». Безусловно, между той эпохой и нашим временем очень много несопоставимого, но я ощутила и определенное духовное родство; мне близки в людях той поры стремление желать большего, чем дано, опередить реальность. Потом я написала оба очерка — о Каролине и о Беттине фон Арним. Я хотела рассказать о двух женских судьбах той эпохи — судьбах, начинавшихся сходно, в русле романтизма, но завершившихся по-разному: Каролина сломалась, Беттина сумела выстоять. Возможность сопоставить эти две судьбы представилась мне необычайно заманчивой.*

Интерес к эпохе конца XVIII — начала XIX века характерен для всей литературы ГДР последнего десятилетия. Советские читатели знакомы с радиопьесой Стефана Хермлина о Гёльдерлине «Скарданелли», с новеллой-притчей Анны Зегерс «Встреча в пути», в которой одним из действующих лиц — наряду с Гоголем и Кафкой — является Гофман, с публиковавшейся на страницах журнала повестью Ульриха Пленцдорфа «Новые страдания юного В.», где в многозначительной перекличке с самой актуальной современностью выступают герои и мотивы гётевского «Вертера», с биографической повестью Гюнтера де Бройна о Жан-Поле. В чем видят наши гости причины этой очевидной тенденции?

— *В пятидесятые годы,* — говорит Герхард Вольф,— *в литературоведении ГДР роман-*

[1] Ее роман «Расколотое небо» был опубликован в «ИЛ», 1964, № 1. В том же году он вышел в издательстве «Прогресс».

тизм рассматривался как однозначно реакционное движение, противостоящее классическому искусству. В последние годы усилия литературоведов-германистов были направлены на то, чтобы смягчить и сделать более диалектическим это противопоставление. Ведь романтизм был еще и первым мощным антибуржуазным духовным движением, одной из первых резких реакций на формирующуюся систему капиталистического разделения труда. Уже одно это настоятельно требовало восстановления исторической справедливости по отношению к романтизму. Существен был и стимул воскрешения к жизни целых пластов немецкой литературной традиции, которые до этого на длительное время преданы были забвению.

Герхард Вольф рассказывает в этой связи об осуществляющемся сейчас в ГДР при его непосредственном участии плане издания своеобразной серии литературных памятников, объединяющей произведения поэтов и писателей «бранденбургской земли», берлинской традиции. Хронологически эта серия начнется с эпохи Просвещения (Эвальд Кристиан фон Клейст, Николаи), охватит далее эпоху романтизма (Фридрих де ла Мотт Фуке, Арним, Тик) вплоть до «предмартовской» эпохи 40-х годов. В частности, сам Герхард Вольф работает сейчас над книгой «Гейне в Берлине» (о начале творческого пути поэта) и над изданием сочинений забытой поэтессы Анны Луизы Каршин — выходца из среды деревенского пролетариата и первой немецкой женщины-писательницы, зарабатывавшей на жизнь литературным трудом, оставившей после себя своеобразные, полные наивной прелести стихи и обширную переписку с самыми знаменитыми современниками — Лессингом, Гердером, Гёте, Шиллером.

Разумеется, ни круг интересов самих наших гостей, ни художественные искания всей современной литературы ГДР не ограничиваются историей. Герхард Вольф параллельно работает и над большой антологией лирики и публицистики антифашистской эмиграции. Непосредственно перед произведениями на «романтические» темы Криста Вольф опубликовала один из самых значительных своих романов — «Пример одного детства» (1976), в котором современность вступает в своеобразный художественный сплав с событиями периода фашизма и второй мировой войны.

— *Сейчас можно говорить о второй волне обращения к этой проблематике в нашей литературе,* — поясняет Криста Вольф. — *Речь идет о писателях моего поколения, для которых все эти трагические события пришлись на пору их детства и ранней юности. На определенном этапе жизни, по достижении определенной стадии зрелости, вдруг оживают какие-то очень существенные впечатления ранних лет, и ты чувствуешь настоятельную потребность вернуться назад, заново осмыслить эти впечатления. Естественно, разработка темы в таком случае становится прежде всего психологической, «духовной»; и столь же естественно, что проблематика той поры соотносится с проблематикой сегодняшнего дня. Думается, что подобные книги важны и поучительны для современной молодежи.*

Углубленный психологический подход к теме войны, отмечают участники беседы, вообще характерен для современной литературы и, в частности, для советской литературы. Одним из зачинателей такого подхода был К. Симонов, а затем эта тенденция отчетливо проявилась в произведениях В. Быкова, Ю. Бондарева, А. Адамовича, Д. Гранина, В. Распутина. Писатели теперь все пристальней вглядываются в души тех людей, которые оказались на войне, стремятся глубже раскрыть их психологию.

Военная тема для сегодняшней литературы не только история. Задача сохранения мира для сегодняшнего и будущих поколений стала в наши дни снова остро актуальной. Эта проблематика глубоко волнует и Кристу Вольф. В этой связи она поделилась с участниками беседы своими ближайшими творческими замыслами.

— *В последнее время мое внимание приковано к фигуре Кассандры — мифической троянской царевны, которая предсказала гибель Трои во время греко-троянской войны. В этом древнем мифе мне видится ядро, позволяющее использовать миф во вполне актуальных целях. Разве ядерная война, если ее не предотвратить, не уничтожит нашу цивилизацию? Для задуманной мною повести мне пришлось более основательно углубиться в мифологию и археологию. Мы с мужем, в частности, побывали в Греции, с интересом знакомились там с памятниками микенской культуры. Но моя главная цель не просто возрождение мифа. Повесть задумана как предостережение. Одновременно я готовлюсь прочитать в будущем году в университете Франкфурта-на-Майне цикл лекций по поэтике. И я хочу непосредственно связать это с моей работой над повестью.*

Собеседники Кристы Вольф отмечают, что в последнее время писательница не раз сопровождала свои беллетристические произведения очерками, касающимися той же проблематики. Так, вместе с повестью «Нет места. Нигде» возникли очерки о Каролине фон Гюндерроде и Беттине фон Арним. То же происходит, очевидно, и с темой Кассандры. Ощущает ли писательница необходимость дополнительных разъяснений, опасается ли барьера в читательском восприятии ее произведений, увлекает ли тема ее настолько, что она не может с ней расстаться?

— *Причина этого,* — отвечает Криста Вольф,— *не боязнь барьера в читательском восприятии, а ощущение барьера внутри себя самой, растущие сомнения относительно возможностей спонтанного беллетристического повествования: могу ли я в одной повести охватить полностью всю проблематику? Современность кажется мне такой сложной, что я пишу медленно и постоянно должна преодолевать этот внутренний барьер.*

Мы благодарим наших друзей за интересную беседу и желаем им творческих успехов.

А. КАРЕЛЬСКИЙ

◆

Среди книг

Издано в СССР

ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ И ШИРОТА

Новелла ГДР. 70-е годы. Составление и предисловие А. Гугнина. Справки об авторах Д. Игнатьева. Москва, «Прогресс», 1980.

Публикуемая рецензия — одна из последних работ Сергея Львовича Львова (1922—1981), который на протяжении многих лет был автором нашего журнала. Прозаик и публицист, одаренный мастер историко-художественного жанра, С. Львов был постоянен в своем пристрастии к германистике. Филолог-германист по образованию, военный переводчик во время Великой Отечественной войны, тонкий знаток языка и истории немецкой литературы, он органично соединял в себе знание средневековой и ренессансной культуры, поэзии, прозы и живописи XVIII—XIX веков с пристальным интересом к современной немецкоязычной литературе, особенно к литературе ГДР.

Настоящая рецензия — свидетельство живого и острого взгляда автора на литературу ГДР сегодняшнего дня.

В сборнике представлено сорок восемь писателей ГДР. Сорок восемь авторов, сорок восемь сюжетов, сорок восемь повествовательных манер. Как рассказать об этом в рамках рецензии? Перечислить названия рассказов, имена авторов и дать краткие сведения о них? Но это уже сделано — в оглавлении, в справках об авторах, в предисловии. В аппарате книги такие сведения необходимы, но сорок восемь названий и сорок восемь имен рецензию убьют: читатель не любит перечислений. Не раз приходилось видеть — одни сборники зарубежных авторов залеживаются в библиотеках, а другие и дня не лежат. Смотришь и хочешь понять, в чем же тут дело. О сборниках детективов и речи нет — это особая статья. Позволю себе высказать, всего лишь как догадку, свое наблюдение: есть сборники со своей драматургией, своим внутренним сюжетом, есть сборники, всего этого начисто лишенные. Читатель чувствует такие вещи безошибочно. Он отдает предпочтение сборникам, где есть движение, развитие, где между рассказами есть точки соприкосновения — совсем не обязательно сюжетные или хронологические,— мысли и чувства, где есть свой ритм.

Мне кажется, что у книги «Новелла ГДР. 70-е годы» такая драматургия, такой внутренний сюжет есть. Он — в преодолении трудностей, которые неизбежно встали перед составителем и издателями. Малая проза в ГДР весьма популярна и активна. В этом жанре трудятся многие старые мастера, в нем часто дебютируют новички. Новеллистических сборников — авторских, коллективных, тематических — выходит множество. Составителю надо было просмотреть целую библиотеку, а главное, свободно ориентироваться в литературном процессе последнего десятилетия, представлять себе и глубинные течения этой реки, и все речки и ручейки, которые в нее стекаются. Прежде всего четко определены хронологические рамки: «Новелла ГДР. 70-е годы». Так же четко продуман состав авторов. В сборнике представлены писатели всех литературных поколений: от Анны Зегерс, родившейся в 1900 году, до Вольфганга Крёбера, родившегося в 1951. Смелое и справедливое решение. Им подчеркнута важная мысль, что нет и не должно быть в литературе специальной полочки под названием «молодежная проза». Художественное процветание и здоровье литературы требует, чтобы в ее оркестре звучали голоса и опытнейших стариков, и зеленых начинающих. Приведем имена самых молодых авторов сборника. Это Вольфганг Мюллер, Хельга Шуберт, Бригитта Мартин, Юрген Кёгель, Хельга Кёнигсдорф, Франк Вайман и Вольфганг Крёбер.

Состав книги, отбор имен и рассказов и вступительная статья проникнуты намерением показать на материале рассказа преемственность и связь литературных поколений, жизненность и плодотворность традиций. Каждый год минувшего десятилетия составитель стремится представить в сборнике. При этом он отмечает группу писателей, которые вступали в 70-е годы как начинающие, а к выходу сборника завое-

вали прочную известность. Это Хельга Шюц, Мартин Штаде, Пауль Гратцик, Карл Герман Рёрихт, Харальд Герлах, Кристина Вальтер, Фриц Хофман, Ангела Стахова, Бернд Вагнер. К именам прозаиков старших поколений читатель уже привык. Важно, чтобы он запомнил имена тех, с кем связываются большие надежды.

Однако сборник рассказов — это не историко-литературная хрестоматия. Представить в нем литературное поколение, активно действовавшее в литературе ГДР 70-х годов, очень важно, но это еще не все. Рассказ — один из самых подвижных жанров в литературе, он чутко откликается на самые различные темы, жизненные ситуации, конфликты. Сборник «Новелла ГДР» отличается жанровым и тематическим богатством. Рассказы некоторых писателей старшего поколения — Людвига Ренна, Рут Вернер, Хенрика Кайша — строятся на воспоминаниях о прошлом — о годах антифашистской борьбы в подполье, побегах из фашистской неволи, возвращении на родину из эмиграции. Сама тематика этих рассказов предопределяет их документальную окрашенность, их близость к очерку. Автобиографичен и «Вечерний свет» Стефана Хермлина. В нем показан конфликт юноши, от лица которого идет повествование, с его отцом. Юноша, каким был Хермлин в начале тридцатых годов, отказывается ехать учиться в Кембридж и говорит отцу: «...речь идет о немецкой революции, и я хочу быть вместе с рабочими...» Он верит, что организованный рабочий класс остановит наступление гитлеровцев. Отец тоже не хочет уезжать из Германии, хотя и ощущает, как опасно оставаться в ней. Но у него другие мотивы: «Германия — тюрьма, но тюрьма комфортабельная. Между прочим... я давно не зарабатывал столько денег. Уж этого у нынешних господ не отнять: для экономики они делают немало». Позиции определены четко и непримиримо. Однако отец любит сына и тревожится за него, а сын отвечает ему тем же. На следующих четырех страницах — редкий пример лаконичного письма — повествуется о гибели отца в концентрационном лагере, о предшествующих годах его жизни, об особенностях его характера. И хотя решение героя — не сдаваться, а бороться — после первой реплики о борьбе рабочего класса больше нигде не декларируется, мы ясно ощущаем, что спор с отцом и судьба, того постигшая,— важнейший толчок, заставивший героя выбрать путь антифашистского действия.

Недавняя трагедия и ее история живут, не могут не жить в сознании немецких писателей. Естественно, что связанные с ней темы до сих пор находят отражение в рассказах и достаточно широко представлены в сборнике.

Пристальное внимание писателей ГДР привлекает тема культурного наследия, литературных традиций и предшественников. Неожиданное воплощение находит эта проблематика в рассказе Анны Зегерс «Встреча в пути». Мы привыкли к произведениям научно-фантастического жанра и самым невероятным чудесам, которые в них происходят. Рассказ Анны Зегерс научно-фантастическим не назовешь. В нем начисто отсутствует техническая и научная лексика — частый признак этого жанра. Но смелостью фантастического замысла рассказ А. Зегерс далеко превосходит многие произведения, в подзаголовке которых обозначена их причастность к фантастике. Анна Зегерс придумала встречу в Праге трех писателей: Гофмана, Гоголя и Кафки. Не станем пересказывать развитие сюжета. Скажем лишь, что все трое преодолевают барьеры языка, времени, характеров, литературных склонностей. В рассказе много интересных мыслей о природе искусства, о границах фантастики, о возможностях символики. Звучит в рассказе и прелестный юмор. Когда трое писателей заканчивают свою совместную трапезу в одном из пражских кафе, оказывается, что валюта Гоголя и Гофмана здесь хождения уже не имеет. «Платил за всех Кафка. Денег у него было в обрез, но он радовался: не только повстречался с Гоголем и Гофманом, но и угощал обоих!»

В еще более отдаленные времена уводит читателей Франц Фюман. Его рассказ «Возлюбленный утренней зари» навеян греческими мифами и поэмами Гомера. Чтобы овладеть этим материалом, писатель отдал много сил и времени и когда пересказывал для детей миф о Прометее, и когда выступал с теоретическими докладами о проблемах мифологии. Пишущему эти строки, при всей любви к прозе Ф. Фюмана, этот рассказ не кажется большой удачей автора: с поэтическим, солнечно-ясным миром древнегреческих мифов плохо сочетается натуралистическая трактовка легенды об Эос. Однако об этом рассказе есть и иные суждения. На наш взгляд, включение в сборник рассказов, которые могут вызвать различные оценки, не недостаток, а достоинство.

Откровенная условность присутствует в новеллах Кристы Вольф «Опыт на себе», Фолькера Брауна «Незаслуженное счастье Карраша», Ирмтрауд Морген «Канат над городом». Во всех этих рассказах фантастическая посылка — невероятный опыт, невероятный выигрыш, невероятный трюк — сочетается с достоверностью деталей и убедительностью характеров. Эти рассказы еще раз показывают, какие возможности открывает перед современным писателем смелое обращение к фантастике, гротеску, сказке, мифу.

Естественно, однако, что наибольшее место в сборнике, как и в литературе ГДР, занимают рассказы, посвященные проблемам и конфликтам сегодняшнего дня не в условно-фантастическом, а в реалистическом обличье. Невозможно, да и не нужно перечислять все рассказы этого плана, включенные в сборник, тем более излагать их содержание.

Отметим только, что в описании повседневного, внешне будничного рассказчики, представленные в сборнике, далеко ушли от приземленного фактографического жизнеподобия, которое ощущалось порой в новелле ГДР 50-х годов, отчасти и начала 60-х, особенно посвященной производственной теме. Новеллы 70-х годов, в том числе и те, действие которых происходит на производстве, написаны ярче, психологические мотивировки в них тоньше и убеди-

тельнее. Рассказы о сегодняшнем дне разнообразны и по стилистике: неторопливые и обстоятельные соседствуют со стремительно развивающимися и лаконичными, серьезные и печальные — с окрашенными юмором и иронией, а во многих серьезное и ироническое сочетаются органически.

Книга снабжена справками об авторах, содержащими не только полезные библиографические сведения, но и общую характеристику творчества писателя, и место новеллистики в его творчестве. Однако, к сожалению, в справках есть мелкие неточности. О Штриттматтере говорится: «В 1957 году вступил в сельскохозяйственный кооператив и поселился в Доллгове (округ Гранзее)». Писатель сам несколько раз объяснял, что его связь с сельскохозяйственным кооперативом не надо представлять себе буквально, на полях кооператива он не работал и не работает. Однако в жизни кооператива принимает участие. Слово «Kreis» переводится и как округ, и как район. По административному делению, Гранзее — район, районный центр. Неоднократно переводившаяся на русский язык повесть Ф. Фюмана всегда называлась «Богемия у моря», но не «Богемия у морей». Это нововведение в русском переводе ничем не обосновано. Странно звучит характеристика Фрица Рудольфа Фриза: «...считается в ГДР одним из знатоков испанской культуры». Непонятно суждение об Ирмтрауд Моргнер: «Романы И. Моргнер... при всей их художественной цельности членятся на мастерски выписанные новеллы». Справки об авторах требовали более строгой редактуры.

Однако мелкие погрешности не умаляют значения этой полезной, актуальной и нужной книги.

С. ЛЬВОВ

ЖИЗНЬ МНОГОЛИКАЯ И БЕСКОНЕЧНАЯ...

Луис Гойтисоло. Поверка. Предисловие В. Силюнаса. Перевод с испанского Н. Трауберг, Р. Сашиной, М. Абезгауз; Москва, «Художественная литература», 1980.

Роману Луиса Гойтисоло предпослано предисловие В. Силюнаса. С него я и хочу начать. Прежде всего потому, что часто и несправедливо умалчивают о работе тех наших критиков, литературоведов, которые участвуют в подготовке, комментировании, растолковании — словом, в приближении к нашему читателю весьма непростых изданий, или целых издательских серий, подобных серии «Зарубежный роман XX века», в которой вышел и роман «Поверка». Тут речь идет о специальных, часто требующих очень высокой степени специализации исследованиях, адресованных, однако, неспециалистам,— исследованиях, как бы соиздателями серии написанных, а не «людьми со стороны», чьи статьи просто «прикладываются» к издаваемому, как это частенько случается с различными предисловиями и вступлениями.

Вступительная статья В. Силюнаса нужна этой книге. Автор обстоятелен. Он стремится охватить предмет полностью, во всяком случае с той многосторонностью, которую ожидает от испаниста читатель-неиспанист. Раскрываются ситуация общественно-историческая, на основе которой вырос роман, и ситуация литературно-культурная, включающая в себя творческую биографию Луиса Гойтисоло, одного из трех братьев Гойтисоло, каждый из которых стал заметной фигурой в испанской и не только испанской литературе. Не скрывает В. Силюнас, что не все нравится ему в этой биографии, да и в романе «Поверка»,— скрупулезно и опять же разносторонне рассматривает он характерологию и композицию романа и особенно «придирчиво» — эстетические принципы писателя. Поддерживая своеобразную энциклопедичность романа — сознательную установку автора, развернутую им в изображениях социально-панорамного типа (вширь) и эпически укорененных по исторической «вертикали», В. Силюнас тем не менее видит сам и читателя призывает обратить внимание на то, что у Л. Гойтисоло «едва ли не в любом эпизоде заметна не только сплетенность, но порой и спутанность множества сюжетных линий, их нерасчлененность» и что «порой в книге царит такая же сумятица, как и в жизни». Это, правда, «входит в расчеты Луиса Гойтисоло».

Тут В. Силюнас, по-моему, прав. Мстит за себя неразумно, слишком прямо понимаемый тезис о том, что произведение искусства — это-де не рассказ о действительности, а сама действительность, тезис, которым козыряет и Рауль, главный персонаж романа, отпрыск барселонского буржуазного рода Феррер Гаминде-и-Морет, «левый» бунтарь-студент, многократно и многоразлично впадающий в скепсис и разочарованность. Взрослея и «притираясь» к хаотической и неправедной действительности, Рауль не теряет все же субъективной чести, а тем более отвращения ко лжи, произволу, грубой силе позднефранкистской диктатуры — и вот такой Рауль становится писателем, и вот тут-то весь его опыт реальный, но им абсолютизируемый, толкает писателя Рауля к тезису о том, что хаосде во имя правды надо передавать хаосом, неустойчивой в нравственно-идеологическом отношении системой письма.

Тезис, опасный для искусства, которое идет под флагом гуманизма (и не «все-таки» идет под этим флагом, а по убеждению); хорошо, что самого автора «Поверки» он затронул лишь частично.

Разумеется, не для того я взялся излагать некоторые мысли, возникшие после чтения «Поверки», чтобы ограничиться призывом к читателю романа: не обойди, мол, предисловия В. Силюнаса, обязательно познакомься с ним.

Хочется передать свое читательское ощущение значительности этого произведения искусства, честно воссоздающего перед нами, людьми совсем другой жизни, других условий и обстоя-

тельств, как жили и живут самые разные «слои», «группы», национальные и социальные коллективы, в конечном же счете — самые разные, но типически убедительно показанные люди франкистской, главным образом, позднефранкистской Испании: студенты, рабочие, крестьяне, городские мещане, монахи, нувориши-негоцианты разных эпох «процветания», дворяне вымороченные и буржуазно-перестроившиеся; чиновники (масса самых различных чиновников), солдаты гражданской войны, армия, полиция, террористический франкистский аппарат 60-х годов; молодежь, и чистая, и одновременно обрызганная грязной пеной «сексуальной революции», бунтующая всерьез и понарошку, умствующая насчет «великого отказа» и действительно оппозиционная; многоголосие лозунгов многочисленных партий и объединений, отзвуки их «платформ», их «эволюций», союзов и расколов. А за всем этим постоянным фоном, да нет, не фоном, а почвой, одним из важнейших почвенных слоев романа,— «идея» Каталонии, особой ее судьбы, еще до испано-кастильской «идеи», существовавшей и осуществлявшейся самостоятельно, на просторах большой общей средиземноморской политики; ностальгия по прошлому и насмешки над обветшалостью такой ностальгии; единство народов Испании и их непростые отношения в истории да и по сей день, меняющиеся в социальном и культурном процессе их взаимопритяжений (ведь есть общий дом — Испания!) и взаимоотталкиваний («Каталония не Испания, сеньор!» — вот, можно сказать, первая фраза, которую я услышал в первый свой приезд в Барселону — от собеседника, литератора-каталонца, пишущего по-испански). Обо всей этой взбаламученной, пестрой жизни, о быте личном, за которым стоит история сословий, классов, групп... да, и личные судьбы интересны искусству, но в потоке истории, именно в этом реализме изображения, и наш автор реалист, согласен он с этим «определением» или нет,— обо всем этом бытии Луис Гойтисоло повествует словом точным и ярким. То пластически картинным, то риторски повышая и понижая голос, когда нужно, то «по-хемингуэвски» диалогично, кратко, в иных случаях «прустовскими» периодами на две-три страницы — и всегда идеологически насыщенно, так что воздух романа все еще пронизан идеями и спорами героев-интеллектуалов. И в итоге — становится очевидно, что перед нами большой и своеобразный художник Луис Гойтисоло, с искусством которого мы теперь знакомимся по его «Поверке».

Кстати, почему испанское название «Recuento» переведено «Поверкой»? «Поверка» по-испански: «comprobacion» или общеевропейское «verification», а то и просто «control». «Recuento» — повторный подсчет, так сказать, итоговая проверка, подведение итогов. Но в романе нет подведения итогов. Линия сюжета Рауля и Нурии продолжается, да и у большинства других идейно-нравственных репрезентантов-персонажей, ежели они только не умирают по ходу общего исторического сюжета (что, впрочем, не означает, будто обязаны умереть идеи и навыки их времен), тоже не заканчивается. Тут проверка всего наличия жизненного потока, всех его струй, или, по крайней мере, всех явных струй (рабочее движение — в глубоком подполье; хотя оно и ощутимо воздействует на жизнь студенческой молодежи в романе, да вот Раулю-писателю, чья судьба составляет внешне целостный сюжет романа, роль Горького, как говорится, не светит).

Конечно, Рауль — в некотором отношении — второе «я» автора, но вовсе не его перевоплощение. В целом отношение автора к Раулю неустойчиво-релятивистское; тем не менее к буржуазному в своем герое Л. Гойтисоло относится отрицательно. Писатель — по крайней мере в этом романе — не является объективистски-бесстрастным. Но и однозначным в оценках он тоже быть не хочет.

В. Силюнас в своем предисловии привел цитату из следующего за «Поверкой» романа Л. Гойтисоло «Майская зелень, бегущая к морю»: писатель считает, что современному повествованию должно «рассматривать жизнь как процесс, а не как кристаллизацию решающих моментов», должно видеть и понимать, что «рядом с одним явлением всегда находится другое, и еще одно, противоположное, и еще одно, ему сопутствующее, и еще одно, ему предшествующее, ему противоречащее, его отрицающее и изменяющее, делающее все столь запутанным, что заставляет нас пересматривать первоначальную гипотезу».

Ну, что ж... вряд ли обязательно во всех случаях пересматривать свои гипотезы, а тем более позиции,— бывает, что нужно пересмотреть их, бывает, что многоликость действительности подтверждает гипотезу, делая ее сильней, чем пусть и выгодная ей односторонность, выборочность. Сами же по себе слова эти полезны для всякого писателя, ибо — семь раз проверь, прежде чем один раз утвердить нечто своим ответственным словом.

Во всяком случае, В. Силюнас приведенными словами Л. Гойтисоло не убедил меня в том, что Л. Гойтисоло и сам, так сказать, релятивист, подобный в этом плане Раулю.

Думаю, что поэтому несколько преувеличил автор предисловия и запутанность композиции романа «Поверка», хотя элементы эстетической, то есть осознанной, «хаотичности» в нем есть и они на пользу делу не идут — к ним я отнес бы и длинноты в историко-риторических экскурсах и подробничанье в смачно описанной ночной жизни Барселоны (такое подробничанье, кажется, уже неизбежное излишество в литературе Запада, даже серьезной?). Но есть в романе и цементирующий все и вся, объединяющий в общем русле все струи потока образ, даже, если угодно, персонаж. Это — Барселона, центр славной Каталонии, город, любимый и проклинаемый автором и героями, «...город-рыцарь, манивший рыцарей от Иакова до самого Дон Кихота, в промежутке, их разделявшем, Георгия и рыцаря Белой Луны, соперничавшего отвагой с таким же белым и подлинным Тирантом, а то и славного Роланда, город дона Ремона, взятый Сидом, город разбойников и мифотворцев, как бы созданный для того, чтобы порождать небылицы, басни и

легенды, особая земля, особый язык, слово, столь часто становившееся кровью по сопряжению разных причин, всегда между жаждой и правдой, между воскресением и смертью, город чар и разочарований... славный край без славы, графство без графа, княжество без князя, государство без государства, обезглавленная отчизна, связанная снова по рукам и ногам, прикрученная к Испании, преданная на ее милость, словно черная невольница...» (национальная каталонская идея!); «...пороки, испытания и надежды преизобильного провалами дела, мещанская романтика, сублимация общих ошибок, независимость, лишенная сердца, лишенная силы и духа, политическая несостоятельность, которую принимают за самостоятельность, неудачливая тупость, которую выдают за геройскую стойкость, неуклюжая оборотистость, выдаваемая за прилежание и труд, неотесанная посредственность, принимаемая за здравый смысл, убогое скопидомство, подгримированное под суровость...» (это — «интеллигентский» скепсис!); «а на самом деле сейчас это промышленный район Испании, где трудятся в основном пришлые рабочие, и капиталистические интересы толкают к меньшему злу, к благам интеграции» (это — «марксизированное» упрощенчество, от истинной марксистской диалектики далековатое, хотя в упрощении, схематизации иногда тоже бывает нужда: отсюда «двойственность» образа теоретизирующего всезнавца, подпольщика Элькалы, марксистски думающего, но не пролетарски-революционно живущего...).

И вот вся эта бессмертная и оригинальная Барселона (еще бы: особая готика; модернизм Гауди, с его кипарисообразным храмом «Саграда фамилиа»; барселонский Пикассо с улицы Монкада!),— вся она встает как живая со страниц романа Луиса Гойтисоло. Встает во плоти и крови, в контрастах и своеобразии.

Изображение «растягивается» вширь. Изображение уходит в историческую, ретроспективную глубину. Изображение пронизывается множеством проблемных плоскостей: быт, собственно-романические эволюции характеров, символика сквозных образов, философско-политическая дискуссионность — роман может служить добрым примером эстетически свершенного синтеза, пусть и несовершенного, но весомого,— над этим вопросом ведь бьется сейчас и наша проза, наш роман о современности: дать синтез, увеличить творческую емкость жанра!

Образ Барселоны — ключ этого многослойного эпоса.

В романе Л. Гойтисоло Барселона — не только сердце Каталонии. Это еще как бы «архитипическое» воплощение человеческого мира, это живая, пульсирующая, не перестающая дышать и волновать Жизнь, в ее процессе, а не «кристаллических» конструкциях.

И в этом сила сложного и очень знаменательного для современного реалистического искусства Запада произведения — романа Луиса Гойтисоло «Поверка».

Ю. СУРОВЦЕВ

Издано за рубежом

КИНГСЛИ ЭМИС ЛОВИТ СЛОНОПОТАМОВ

Amis Kingsley. Russian Hide-and-Seek, London, Penguin, 1981.

Кингсли Эмис. Игра в прятки по-русски. Лондон, 1981.

Помните, как Винни-Пух решил ловить ужасного зверя — Слонопотама? Когда они с Пятачком дошли до речки и стали помогать друг другу перебираться по камушкам, у них завязался Очень Умный Разговор. Пятачок говорил: «Понимаешь, Пух, что я хочу сказать?» А Пух отвечал: «Я и сам так, Пятачок, думаю». Пятачок говорил: «Но с другой стороны, Пух, мы не должны забывать», а Пух отвечал: «Совершенно верно, Пятачок. Не могу понять, как я мог упустить это из виду». И, только убедившись, что их никто не подслушивает, Пух сказал весьма торжественным тоном: «Я решил поймать Слонопотама».

Теперь, когда антисоветские и антикоммунистические настроения культивируются на Западе с особым рвением, ловлей Слонопотамов занимаются «герои» зловещих сказок для взрослых, авторы которых снова, как в былые времена «холодной войны», пытаются внушить читателю страх перед «красной угрозой». Среди бестселлеров этого рода — «политическая фантазия» (как назвала книгу английская критика) Кингсли Эмиса «Игра в прятки по-русски». Используя стереотипы детективного построения сюжета, опираясь на свои познания в области современной научной фантастики, Эмис рисует антиутопический мир, приметы которого способны напугать даже самых мрачных прорицателей. Его охотники на Слонопотамов, давно утратившие жизнелюбие Винни-Пуха и находчивость Пятачка, могут вызвать недоумение, но скорее всего негодование: такими никчемными и жалкими предстают в романе соотечественники самого автора. Судите сами.

Двадцать первый век. Англия, волею фантазии Эмиса, вот уже пятьдесят лет — протекторат России: разоренная, нищая страна без прошлого и будущего. Старики еще пока помнят, какой она была прежде, но практически невозможно установить, где в их воспоминаниях факты истории, а где фантазия склеротического воображения — книги сожжены, литература запрещена, церкви закрыты. Лишь один из трех может читать по складам. Таков результат «программы по денационализации», которую стали осуществлять с момента Усмирения. Города и деревни, те, что выстроены на месте погребенных в руинах, уны-

ло-безлики: узкие улицы, однотипные здания с крошечными окнами, чахлые деревья, обмотанные колючей проволокой, «темно-серый и коричневый — главные цвета улиц», мужчины и женщины в дурной, дешевой одежде, с безразличными глазами, в которых давно уже нет места гневу, враждебности или радости. А завоеватели? Они чувствуют себя здесь превосходно Вместе со своими домочадцами они оккупировали родовые поместья и замки, бесчинствуют, пьянствуют, насилуют...

Нил Ачерсон в рецензии на роман Эмиса, помещенной в «Лондон ревью оф букс», констатирует: «Зловещая особенность книги заключается в том, что это, пожалуй, первая в английской литературе антирусская сатира, но не в политическом, а в *расистском* смысле (курсив Нила Ачерсона.— *А. Н.*). Эмис усердно утверждает, что Иван лишь подобие человека, им руководят животные инстинкты, а проявление добродетелей — обман, блеф... Я вспоминаю времена, когда читателя запугивали гуннами, надругавшимися над зеленой, прекрасной землей Англии... Увы, снова настали такие времена — нас учат ненавидеть другой народ. Наука трудная, ее будут насаждать, пока все не поверят, что враг — представитель другой, низшей расы». Это мнение обозревателя еженедельника далеко не либерального направления.

В этом году Эмису, которого четверть века назад причисляли к «сердитым молодым», исполняется шестьдесят. Но если хотя бы беглo вспомнить основные вехи его творчества, станет очевидным, что книга «Игра в прятки по-русски» — логический итог. В обстоятельной беседе с Мелвином Брэггом, состоявшейся в середине 70-х, Эмис цинично признался, что его радикализм, его сочувствие левым были заблуждениями молодости, с которыми он быстро расстался, попав в армию, а его участие в движении «сердитых молодых» было продиктовано стремлением к «паблисити», равно как участие в работе комитета Лонгфорда, выступавшего за отмену цензуры, объяснялось опасением, что в один прекрасный день «та же кучка чиновников, что запретила книги Уильяма Берроуза, сочтет и его романы непристойными и запретит их публиковать». «Я не изменился и остаюсь на тех же позициях, которые занимал двадцать и тридцать лет назад, а именно: нахожусь в оппозиции к тоталитаризму всех видов». Подобные декларации, однако, не мешали ему поддерживать Национальный фронт, организацию, объединяющую разного рода профашистские группы в Великобритании.

Мисс Банн, героиня романа «Девушка вроде вас» (1960), была твердо убеждена, что «виновники всех этих абортов, разводов, гомосексуализма, расизма, наркомании и всего-всего прочего» — левые.

Энгус Уилсон в статье, посвященной сборнику критических эссе и публицистики «Что случилось с Джейн Остин? И другие вопросы» (1970) с возмущением писал: «Автор не всегда контролирует свои чувства. Конечно, шпионы существуют, как существуют и подводные лодки, но г-ну Эмису они чудятся повсюду... Обвинять лейбористов в том, что они не оказали поддержки Америке во Вьетнаме, почти безумие...»

Герой романа «Девушка в 20 лет» (1971) Рой Вандервэйн — «неисправимый левак»: в молодости он воевал в Испании, а достигнув пятидесяти, подписывает вместе со своими коллегами петицию в газету «Таймс» с требованием, чтобы Смит отдал власть народу Родезии. Но это лишь формальные признаки «патриота» Роя: его «героическое прошлое» — одиссея в Испании — заключается в том, что он попал ненароком в госпиталь в Барселоне, где ему удалили аппендикс, а свои зрелые годы он тратит отнюдь не на борьбу за торжество равенства и справедливости, а на поиски эротических наслаждений, которые, по его убеждению, «являются единственной силой, способной спасти личность в век вседозволенности».

«Для Эмиса сочувствие к людям, любовь к ближнему — пережиток,— отмечал Джереми Брукс в связи с этим романом.— Может, он полагает, что художнику так легче выжить? Нет, это обречет душу и ум на неминуемую гибель... Его злая сатира — следствие его абсолютной нетерпимости».

Немощные, мерзкие старики, заточенные в грошовом пансионате: уродливая Адела, алкоголик Шорти, парализованный, потерявший память Джордж, садист Бернард. Это персонажи «Конца» (1975), пародии на философский роман-размышление о бренности сущего. «Парадом кошмаров» назвал этот роман рецензент «Таймс литерари саплмент».

Даже самые последовательные поклонники особого дара Эмиса видеть в человеке неотвратимые признаки распада, а в истории человечества — регресс вынуждены были признать, что автор все чаще и чаще «с бешеной скоростью переключается со скучного морализирования на поток ругательств». Этот по меньшей мере странный принцип художественного освоения действительности стал в результате ведущим. «Ни о чем я так не мечтал, как о том, чтобы быть Поэтом. Почему Поэтом? Почему мы не можем без поэзии? Да просто потому, что ни на одном из своих этапов развития человечество просто не могло существовать без поэтов, к ним относились с особым почтением, близким религиозному чувству. Теперешнее «новое общество» отказалось от бога, и все идет к тому, что поэт тоже станет никому не нужен»,— ностальгически исповедуется он, вовсе не думая о том, что «поэтикой кошмаров и ругательств» он приближает гибель поэтического слова. А ведь в добрые времена учебы в Оксфорде он писал работу на соискание звания бакалавра филологических наук — «Английская недраматическая поэзия 1850—1900 и викторианский читатель».

Итак, итог: юбилейное произведение «Игра в прятки по-русски». На обложке — косолапый медведь с трезубцем и щитом цвета английского флага. Для тех, кто не знает реалий, Эмис охотно разъясняет: игра в прятки по-русски — любимое развлечение офицеров. С наступлением тем-

ноты несколько человек выходят на улицу, разбегаются на расстояние двадцати — тридцати метров друг от друга, а потом начинают окликать друг друга и стрелять. В ночи, естественно, не сразу удается попасть в живую мишень. Но в конце концов удается.

Казалось бы, сколько уже раз даже буржуазная критика порицала авторов книжек про русские самовары и сапоги за дурной вкус и неуклюжие методы работы, но по-прежнему находятся добровольцы высказываться по поводу «красной угрозы».

Книга изобилует подтасовками и фальсификациями самого разного рода. Вот образец: «Испокон века совершаются лишь несправедливые поступки, происходят лишь несправедливые события, а глупцы тем временем лелеют идею справедливости. Во имя этой идеи самые чудовищные несправедливости и совершаются. Рабство во имя свободы, варварство во имя прогресса, ложь и... Идеи — проклятие русских. Почитай Толстого, Достоевского, Чехова: представители целого класса забыли о своем долге, о семье, о работе, о досуге, даже потеряли инстинкт самосохранения — и все в погоне за идеями. Что ждет нас?» Сам факт обращения к наследию русских классиков в этом романе выглядит дико хотя бы потому, что Эмис отказывает своим персонажам не только в культуре и эрудиции, но в элементарном воспитании. Правда, у жены шефа органов безопасности Сони Коротченко на столе лежит томик «Анны Карениной»; но лишь первые страницы книжки замусолены и затрепаны, а остальные — нетронуто-чистые. Да это и понятно: Соня предпочитает эротические экзерсисы, причем она занимается ими при самых неожиданных обстоятельствах. Один из рецензентов книги отметил, что Эмис умело пародирует прозу Толстого, Тургенева и Чехова, давая в романе эпизоды, напоминающие цитаты из книг этих писателей. Да, есть здесь и чаепития при свечах, и охота на зайцев, но с какой целью Эмис прибегает к стилизации? Видно, он полагает, что таким образом его гротеск будет выглядеть эффектнее, и потому, извращая дух и смысл литературы народа, его культуры и роли в истории, сохраняет формальные приметы à la russe.

Прапорщик Петровский, которого Эмис делает положительным героем, вместе с единомышленниками ратует за Новую Культурную Политику Англии, цель ее — мятеж и превращение протектората в нейтральное государство. «Если мы добьемся поставленной цели, мир изменится. Наши имена забудут, но мы обессмертим себя тем, что, пока жив род человеческий, он будет идти по пути, предначертанному нами»,— говорит один из лидеров НКПА. Так, отталкиваясь от преднамеренно ложной посылки, Кингсли Эмис стремительно раскручивает сюжет своей сказки для взрослых, то и дело жонглируя при этом политической терминологией и политическими лозунгами.

Решающий момент в заговоре мятежников — попытка Петровского убить своего отца, представителя «другого лагеря». Но увы! Юный прапорщик, увлекшись теоретической дискуссией, теряет бдительность и оказывается убит сам. Его прощальный монолог можно рассматривать и как авторский монолог, обращенный к читателю: «С самого начала я знал, что все обречено на провал... Но я хотел добиться своего — что-нибудь уничтожить, изуродовать. В знак протеста. Конечно, мир никогда не изменится, но хотя бы на какое-то мгновение ему станет худо, пусть он знает, что по крайней мере один житель ненавидит его...» Нигилизм и всеотрицание, судя по произведениям писателя,— право каждого, но безусловная прерогатива сатирика, коим он себя считает.

А издатели, памятуя о «паблисити», вынесли на обложку высказывание одного из его собратьев по перу: «Это — самый увлекательный писатель из ныне живущих». Даже неискушенному в теории литературы ясно, что страсть перекраивать, уродовать, разрушать и дар сатирика — явления разного порядка. Эмис по образованию филолог, однако штудирование книг Свифта, Уэллса и Хаксли не помогли ему постичь изначальные законы любого мастерства, понять, что сумма знаний не может стать эквивалентом культуры, а наука ненависти не может стать движущей силой творчества. Он вошел в литературу с потенциальным талантом сатирика, а теперь «трудится» в области, которую невозможно назвать искусством. В старину авторов подобных «трудов» называли пасквилянтами.

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

ПИСАТЕЛИ О СЕБЕ И О СВОИХ КНИГАХ

ГОВОРИТ БЕРНАР КЛАВЕЛЬ

Последние годы известный французский прозаик Бернар Клавель («Иностранная литература» публиковала его романы «Плоды зимы» в 1970 г. и «Испанец» в 1980 г.) работал над циклом исторических романов под общим названием «Опоры неба», повествующих о давнем прошлом Франции, а также о жизни первых французских поселенцев на американском континенте. Один из романов этого цикла «Пора волков» вышел в издательстве «Художественная литература». По случаю публикации завершающей части цикла «Первооткрыватели Нового света» корреспондент газеты «Юманите» Шарль Арош взял у Бернара Клавеля интервью, которое мы перепечатываем с небольшими сокращениями.

— Сохранились ли у вас воспоминания о детстве, о юношеских годах и о начальной поре писательской деятельности?

— Я довольно хорошо помню детство. Меня самого удивляет, как четко я помню некоторые события, чьи-то лица или слова. С литературной работой дело обстоит иначе. Когда я рассказываю о своем давнем или недавнем писательском прошлом, я его невольно приукрашаю и видоизменяю, вы-

давая желаемое за действительность. Если потом доводится читать собственные откровения, самому бывает трудно различить, где кончается реальность, а где начинается вымысел.

Но есть книги, где я ничуть не изменил жизненной правде. «Чужой дом» — это подлинная история моего двухлетнего ученичества, которое я проходил в пекарне у чудовищно грубого и жестокого хозяина. Это были тридцатые годы, и в том маленьком провинциальном городке, где я работал, профсоюзы еще практически не существовали.

Что касается выбора призвания, мне кажется, я довольно полно высказался по этому поводу в книге «Написано на снегу». Все это не так просто. Желание, а затем потребность писать пришли ко мне не однажды. Сколько я себя помню, я всегда сочинял какие-то истории и сам же проигрывал их для себя. Я жил в окружении мною же придуманных персонажей, которые переходили из одной истории в другую, но у меня вовсе не было уверенности, что мне когда-то захочется поделиться этими историями с кем-то еще.

Могу только сказать, что очень рано почувствовал настоятельную потребность выразить себя, свои ощущения. Но прежде чем подумать о романе, рассказе или фильме, я обратился к живописи и довольно долго не мог сделать выбора между искусством слова и кисти. Я и сейчас часто рисую акварели, чтобы поскорее — скорее, чем с помощью пера — воспроизвести мимолетное впечатление.

— Как пишется художественная проза?

— Ужасно трудный вопрос. Как ответить на него? Думаю, прежде всего сочиняешь историю, то есть, опираясь на более или менее реальные факты, строишь вымышленный мир, в который нужно затем вдохнуть жизнь. Пожалуй, можно сказать так: в придуманных тобою героев нужно вложить столько жизненной силы и правды, чтобы в тот момент, когда тебе придется их убить, расставание с ними было бы не менее горьким; чем смерть ближайших друзей.

Творчество дает прекрасную возможность первому отправиться в путешествие по тому миру, который писатель сам создал для своих персонажей. Это мир, где все ему подвластно.

— Что вы можете сказать о писательской профессии и ее статусе во Фраиции? И можно ли жить писательским трудом?

— Трудно говорить о том, что не существует. Насколько мне известно, профессия писателя во Франции никак не узаконена, а потому не имеет и своего статуса. Ни правительство, ни зачастую даже читатели не воспринимают писателя как трудящегося человека. Поэтому меня не удивило поведение одного полицейского, который при проверке моих документов упорно отказывался верить, что можно быть просто писателем. «Писатель,— твердил он,— это не профессия. У вас есть другая, настоящая профессия?» В этом вопросе отразилось бытующее у нас отношение к писателю: что это такое — быть писателем и можно ли быть только писателем?

Сам я должен признать, что писать мне помогает как раз тот опыт, который я приобрел, перепробовав множество разных профессий, прежде чем целиком отдаться литературному труду.

Я не написал бы «Чужого дома», если бы не работал в пекарне. Никогда бы не встретил «Испанца», если бы не был виноградарем. Разве мог бы я написать «Деревья», если бы не был в свое время лесорубом? Перечень можно было бы продолжить. То, что я немало поработал собственными руками, очень обогатило меня. Я на себе познал, что такое труд, и это помогает мне писать о нем. И это главное в моем жизненном багаже.

Тем не менее после того, как долгие годы я работал одновременно совершенно в разных областях, я был счастлив, когда, сев однажды за стол, понял, что смогу написать роман, не отрываясь для других дел.

Я вовсе не хочу, чтобы у нас был статус, который превратил бы писателей в функционеров пера. Создать произведение искусства — не то же самое, что заполнить формуляр. За свой успех писатель должен бороться, но при этом его нельзя рассматривать как индивидуума, стоящего вне общества и не заслуживающего никакой поддержки.

Мне доводилось знать очень талантливых писателей, которые в пору славы долгие годы платили огромные налоги с гонораров, а умерли в нищете, никому не нужные и всеми забытые — и системой социального обеспечения, и правительством, которое в свое время пользовалось процентами с их доходов. Положение это возмутительно, и ему нужно положить конец.

— Чем вы объясняете разнообразную тематику своих книг?

— Наверное, тем, что я жил среди людей, принадлежавших к разным социальным слоям. К тому же я сам постоянно стремлюсь к переменам. И эту потребность передаю моим персонажам.

Долгое время основой для моих книг служили реальные и хорошо известные мне события. Затем, следуя вечному желанию оторваться от детства, которое всех нас крепко держит в своей власти, я увлекся сочинительством историй, уносящих меня в более давние времена и дальние земли. Я — странник. Об этом я пишу в книге «Земля моей памяти». И мои странствия — главный источник моего вдохновения.

— Когда вас признала критика?

— Были критики, которые приветствовали мои самые первые шаги в литературе. Их было немного, но они сохранили мне верность по сей день. Однако я не из тех писателей, которые обязаны успехом критике. Гораздо больше я обязан владельцам книжных магазинов, работникам библиотек, в том числе и на производственных предприятиях, которые постарались открыть меня читателям. Для популяризации моих книг многое сделали также преподаватели, особенно после того, как мои произведения стали выходить в серии «Я прочитал» и карманными изданиями. За исключением

нескольких серьезных и честных представителей критики, которые, прежде чем судить о литературном произведении, сначала прочитывают его, а затем уже оценивают по достоинству, у нас занимаются ею в той или иной степени преуспевающие писатели, не способные простить тому, кто пользуется большим успехом, чем они. Если вы не можете быть полезны такого рода людям, они не одарят вас своим вниманием. Я убедился в этом, когда был избран в Гонкуровскую Академию. Не успел я стать академиком, как критики, которые до той поры не удостоили меня ни одной строчкой или еще хуже — яростно ругали, вдруг разглядели во мне одного из самых крупных французских писателей. Мои книги, которые еще накануне они с негодованием отвергали, словно по волшебству превратились в шедевры. Стоило мне выйти из Академии, эти критики снова предали меня забвению.

Настоящая же критика, умная и доброжелательная, может принести большую пользу автору.

— Надеетесь ли вы, что наше новое правительство будет способствовать приобщению людей к чтению и постарается добиться более уважительного отношения к писательскому труду?

За время, прошедшее после 1945 года, некоторые муниципалитеты и рабочие комитеты на заводах предприняли огромные усилия, чтобы как можно шире распространить книгу. Однако на правительственном уровне в этой области мало что сделано. Расширение сети библиотек и появление карманных изданий позволили книге войти в дома даже самого скромного достатка. И это большой прогресс по сравнению с тридцатыми годами. Мы многого ожидаем от нашего теперешнего правительства, которое заинтересованно относится к нуждам культуры, но я воздержусь пока от оценки первых результатов. Не слишком оптимистично я настроен потому, что хорошо знаю: самая прекрасная идея может затеряться, пока пройдет все ступени административного аппарата. Поэтому я надеюсь вместе со всеми, но без чрезмерных иллюзий.

Вообще я не принадлежу к числу тех, кто находит, что люди читают все меньше и меньше. Никогда еще не продавалось столько книг, и никогда еще так много людей не посещало библиотеки.

Плохо лишь то, что книги издаются без всякого разбора: любая театральная звезда, полицейский, бандит, торговец наркотиками, политик или спортсмен, надиктовавший свои воспоминания, немедленно зачисляется в ранг писателя. Издатели, которые первыми плачутся по поводу недуга, поразившего издательское дело, сами же в нем и виноваты. Процветая за счет печатного слова, они тем не менее относятся к литературному творчеству без всякого уважения. Ведь писать — это значит полностью отдаваться этому процессу. Это значит вкладывать в книгу все лучшее, что в тебе есть, и зачастую ценой огромной боли. И то, что ради прибыли наравне с подлинными произведениями издатели столь же охотно печатают низкопробные поделки всяких манипуляторов — просто аморально.

— Расскажите о своей последней книге и о предыдущих.

— Чтобы ответить на этот вопрос, потребовались бы страницы и страницы. Впрочем, я думаю, что частично уже ответил вам на него. Пока издатели готовят к печати и иллюстрируют мои книги, я обычно пишу что-то еще. С особой радостью я всегда работаю для детей — это служит прекрасной передышкой перед тем, как взяться за новый роман.

Что касается «Первооткрывателей Нового света», завершающих цикл «Опоры неба», должен признаться, что писал их с ощущением боли. Рассказывая о приключениях, которые выпали на долю этих людей, самому автору иной раз трудно удержаться, чтобы не обронить слезу.

Работая над этими пятью книгами, я жил жизнью моих героев и повсюду следовал за ними, а они увлекали меня на такие дороги, на которые я никогда не отважился бы ступить в одиночку. Это и есть самое прекрасное в писательском деле, пусть даже творческое счастье и достигается ценою муки.

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

СОЗДАЕТСЯ МУЗЕЙ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА

Большим событием в культурной жизни Болгарии стала выставка изобразительного искусства Западной Европы, Африки и восточных стран.

Выставка послужит основой для первого в стране Музея зарубежного искусства. Исключительную роль в приобретении этой коллекции, как подчеркивает болгарская печать, сыграла, в свою бытность председателем Комитета по культуре и членом Политбюро ЦК БКП, покойная Людмила Живкова.

Эту выставку, как отметил известный писатель и искусствовед Богомил Райнов, можно было бы назвать «От Гойи до Пикассо» или «От постимпрессионистов до наших дней», поскольку на ней представлено около тысячи произведений конца XIX — начала XX века. Здесь работы известных художников и скульпторов, таких, как Домье, Дега, Брак, Мазерель, Роден, Кольвиц, Малявин, Ларионов. Большой интерес вызвали изящные миниатюры, цветные гравюры, статуэтки, созданные лучшими мастерами Индии, Японии и ряда африканских стран.

ВЕНГРИЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В Будапеште, в издательстве «Сепиродалми» вышел автобиографический роман Иштвана Ваша «Потому и клекочет орел...». Это широкое эпическое произведение в основном посвящено периоду венгерской литературной жизни между двумя мировыми войнами.

Иштван Ваш — известный венгерский поэт старшего поколения, лауреат Государственной премии Кошута — принадлежал к левому крылу крупнейшего прогрессивного венгерского журнала «Нюгат».

Роман «Потому и клекочет орел...» на протяжении ряда лет печатался на страницах журнала «Кортарш». Уже во время журнальной публикации критики писали о нем, отмечая меткость авторских наблюдений, широту обобщений, философскую глубину в суждениях о целом ряде явлений, присущих литературе периода между двумя мировыми войнами.

Иштван Ваш, по словам критика Ласло Иллеша, «воссоздал атмосферу сложной исторической эпохи, дал серию блестящих литературных портретов, среди которых непревзойденным является портрет Миклоша Радноти».

Рецензенты единодушно отмечают, что роман «Потому и клекочет орел...» — проза, излучающая свет поэзии, историческая хроника, согретая глубоким лиризмом.

Фильм известного венгерского режиссера Иштвана Сабо «Мефисто», который демонстрировался на XII Московском международном фестивале, удостоен высшей награды Академии киноискусства США — премии Оскара. Кинолента «Мефисто», в основу которой лег роман немецкого писателя Клауса Манна «Мефистофель», написанный им в 1936 году и знакомый советскому читателю, смотрится сегодня как фильм напоминание о том, что не может человек находиться «над схваткой», ибо жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.
На снимке: режиссер Иштван Сабо и исполнитель главной роли австрийский актер венского «Бургтеатра» Клаус Мария Брандауэр после вручения премии Оскара.

(Газета «Непсабадшаг»)

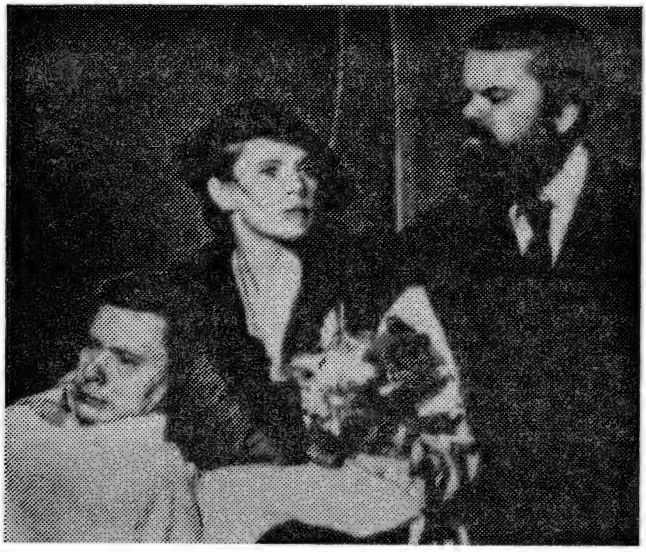
ГДР

КНИГИ НА ЛЕЙПЦИГСКОЙ ЯРМАРКЕ

800 издательств из 20 стран представили свою продукцию на весенней ярмарке в Лейпциге. Наряду с художественной литературой на ярмарке экспонировались научные, политические книги, книги по искусству.

В ярмарке участвовали 78 издательств Германской Демократической Республики. Среди более 8000 книг, выпущенных в ГДР, — около 3000 новинок. Пресса отмечает новые книги Вильгельма Гирнуса, Юрия Брезана, Курта Давида, Фрица Рудольфа Фриза, Гельмута Шульца, Франца Фюмана, Эберхарда Паница.

В связи со 150-летием со дня смерти Иоганна Вольфганга Гёте представлено



Берлинский театр «Фольксбюне» поставил спектакль по известному роману Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплац», вышедшему в 1929 году. На примере судьбы люмпен-пролетария Франца Биберкопфа Дёблин дал впечатляющую картину жизни берлинского «дна» и вместе с тем передал атмосферу Берлина тех лет. Рецензенты отмечают удачную инсценировку, сделанную Бербель Якш и Хайнером Маасом, и режиссеров спектакля — Гельмута Штрасбургера и Эрнстгеорга Геринга.
На снимке: сцена из спектакля «Берлин, Александерплац».

(Газета «Берлинер цайтунг»)

много изданий его произведений и книг о нем. К 75-летию Рут Вернер издательство «Нойес лебен» подготовило хорошо оформленный сборник, посвященный писательнице.

В Старой ратуше была организована выставка «Лучшие книги всего мира», в Музее изобразительных искусств — выставка картин, рисунков и гравюр известного художника Арно Ринка.

Ряд писателей выступил с чтением отрывков из своих новых произведений. Эва Штриттматтер прочла последние стихи, Эрвин Штриттматтер—отрывки из еще не опубликованного романа «Лавка», Бенито Вогацкий — из нового романа «Шутовской наряд».

С большим успехом выступил и советский писатель Даниил Гранин. После его выступления состоялась оживленная дискуссия.

прибыло свыше 100 писателей, поэтов, драматургов. Конференцию открыл генеральный секретарь Федерации прогрессивных писателей Индии, известный прозаик хинди Бхишам Сахни. «Прогрессивные писатели страны должны дать решительный отпор тем нападкам, с которыми декадентская буржуазная культура обрушивается на нашу прогрессивную демократическую культуру»,— сказал Сахни в своей речи на открытии конференции.

Делегаты конференции избрали руководящие органы Ассоциации прогрессивных писателей штата Уттар-Прадеш. Председателем Ассоциации избран известный прозаик хинди Амаркант, генеральным секретарем — Камтанатх.

ИНДИЯ

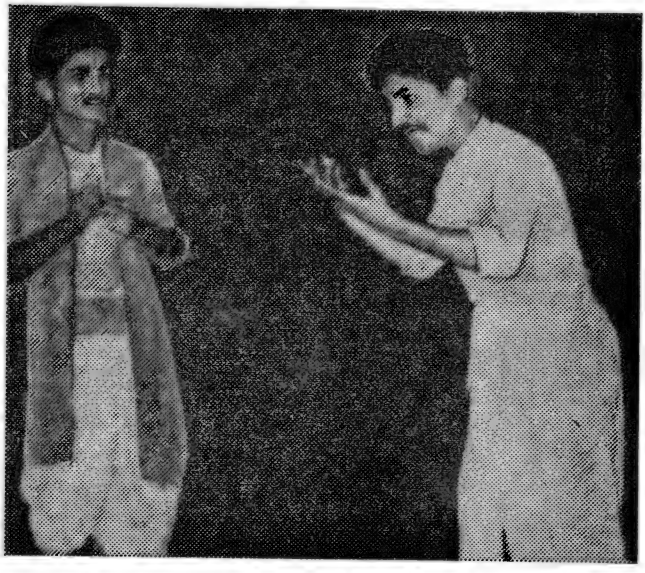
ПРОГРЕССИВНЫЕ ПИСАТЕЛИ СПЛАЧИВАЮТ РЯДЫ

Как сообщает индийская пресса, в Лакхнау состоялась седьмая конференция прогрессивных писателей Уттар-Прадеш — крупнейшего штата страны. Для участия в конференции из различных концов штата

ПЬЕСА О ВЕЛИКОМ ТУЛСИДАСЕ

«Ассоциация прогрессивных театров Индии» (АПТИ) давно уже завоевала любовь и признание индийского зрителя своей неутомимой деятельностью, направленной на создание и утверждение профессионального театра, развитие сценического искусства, пропаганду классического наследия и лучших достижений современной индийской драматургии. Филиалы АПТИ действуют во многих городах Северной Индии, и поставленные ими спектакли нередко становятся событиями в театральной жизни не только города, но и страны.

Одной из таких премьер, судя по реакции прессы, явилась постановка исторической драмы «Лебедь на волнах», осуществленная филиалом АПТИ в Агре. Пьесу написала Мальти Бансаль по одноименному роману известного прозаика хинди Амритлала Нагара (род. в 1916 г.). В центре пьесы — образ создателя бессмертной «Рамаяны», великого Тул-



Сцена из спектакля «Лебедь на волнах». Раджеш Сисодия (слева) в роли Тулсидаса.

(Газета «Джан юг»)

сидаса. В пьесе показаны юные годы Тулсидаса и пережитое им глубокое душевное потрясение, которое, вылившись в звучных строфах, дало Индии великого поэта. Звучащие в пьесе песни на стихи Тулсидаса помогают воссоздать живой облик эпохи, когда жил и творил поэт.

Постановку спектакля осуществил ныне покойный Шайлендра Рагхуванши — аспирант делийской «Национальной школы сценического искусства».

Рецензент газеты «Джанюг» особо отмечает проникновенную игру исполнителей заглавных ролей, прежде всего Раджеша Сисодии, создавшего величественно-трагический образ поэта, который стал гордостью индийской литературы. Перенося зрителя в ту отдаленную эпоху, спектакль помогает глубже понять гуманистическое творчество Тулсидаса, которое и поныне вдохновляет людей на борьбу за мир и социальную справедливость.

«Премьера спектакля, поставленного филиалом АПТИ в Агре,— пишет в заключение рецензент, — надолго останется в памяти зрителей как яркое, волнующее зрелище».

ИСПАНИЯ

КАК ПОСТУПАТЬ С КЛАССИКАМИ?

Полемика на эту тему вновь развернулась на страницах испанской прессы в связи с постановкой в Мадриде спектакля по драме Педро Кальдерона де ла Барки «Жизнь есть сон», осуществленной режиссером Хосе Луисом Лопесом Гомесом.

Мнения рецензентов разошлись. Для одних классические произведения — в том числе, конечно, и философская драма Кальдерона де ла Барки, написанная в 1631—1632 годах, — должны сохраняться в неприкосновенности, и любое внесенное в них изменение является обманом зрителя. Для других классика — часть живой культуры и классические произведения должны трансформироваться с тем, чтобы максимально приблизиться к современному зрителю и его эстетическим понятиям.

Постановка Лопеса Гомеса отмечена поиском некоей «золотой середины». В ней нет слепого следования тексту более чем трехсотлетней давности, но нет и вольностей в ущерб идейно-философскому содержанию. Высокий профессионализм — вот что помогло Лопесу Гомесу создать яркий, запоминающийся спектакль, сохранив верность классику и одновременно сделав его доступным современному зрителю, пишет издающийся в Мадриде журнал «Камбио-16».

ИТАЛИЯ

ПЯТНАДЦАТЫЙ РОМАН АЛЬБЕРТО МОРАВИА

«Я очень знаменит, к тому же я знаменитость, о которой много спорят. Это лучше, чем быть набальзамированным при жизни», — заявил корреспонденту газеты «Фигаро» Бодуэну Боллаэру один из старейших итальянских писателей Альберто Моравиа. Последний, пятнадцатый по счету, роман Моравиа под названием «1934» пользуется у него на родине большим успехом.

«Мой роман — это глас надежды или, скорее, «позитивного отчаяния». Отчаяние должно не толкать нас к самоубийству, а порождать волю к жизни». Так сформулировал основную идею романа сам Моравиа.

«Возможно ли жить в отчаянии и не желать смерти?» — спрашивает себя писатель Лючио, главный герой романа «1934». Как отмечает Б. Боллаэр, на этот экзистенциалистский вопрос гётевский Вертер ответил самоубийством. Но Лючио находит компромиссное решение, пытаясь «стабилизировать» свою необъятную тоску. О персонаже одной из своих книг он говорит: «Мой герой должен покончить с собой, чтобы помочь мне не наложить на себя руки. И он должен покончить с собой по вполне определенным политическим мотивам...»

Роман во многом автобиографичен. Действие разворачивается в 1931—1934 годах на острове Капри, где примерно в то же время и в том же возрасте, что и Лючио (ему 27 лет), жил Моравиа. Герой романа — «мягкий» антифашист. Он пассивно не приемлет фашизм и власть толпы. Моравиа в 30-е годы придерживался сходных взглядов и не выступал активно против режима Муссолини. Наконец, как отмечают критики, у многих персонажей романа есть реальные прототипы среди друзей и близких писателя.

«Я хотел написать не автобиографию, а скорее автопортрет», — сказал по этому поводу Моравиа.

Итальянские критики высоко оценивают новую книгу Моравиа. Так, Гено Пампалони считает, что «1934» — это роман, задуманный мыслителем и написанный прекрасным рассказчиком.

Литературная и журналистская деятельность Альберто Моравиа, которому в ноябре нынешнего года исполнится 75 лет, необычайно насыщена. Сейчас, в промежутке между двумя путешествиями в Африку, он пишет новый роман, а также готовит серию критических статей о кино для итальянского еженедельника «Эспрессо».

«НОВЫЙ МИР»

«В истории меня всегда привлекали переломные моменты, когда у властителей ускользает почва из-под ног, они бегут, уверенные, что любящий народ вновь призовет их, но этого никогда не случается», — так объясняет известный советскому зрителю по лентам «Мы так любили друг друга», «Любовная страсть» и др. режиссер Этторе Скола обращение к событиям Великой французской революции в фильме «Новый мир» («Ночь в Варенне»). Это яркий, костюмный фильм, все роли в нем, даже второстепенные, считает режиссер, должны играть видные актеры.

На снимке: Жан-Луи Барро в фильме «Новый мир».

(Газета «Унита»)

Группа путешественников узнает, что перед их дилижансом по тем же французским деревням проследовал другой — с беглецами Луи XVI и Марией-Антуанеттой, которым уготована гибель. Среди путешественников — усталый, постаревший и потускневший Казанова (его играет Марчелло Мастроянни). Казанова «дошел уже до предела своего биологического существования и хотел бы, чтобы с ним, с его смертью остановилась и история». Другой попутчик — французский писатель Ретиф де Ла Бретон, на роль которого приглашен выдающийся французский актер, мим и театральный деятель Жан-Луи Барро, снявшийся в 25 лентах, в том числе и в принесших ему мировую славу «Детях райка» Марселя Карне. Последний раз Барро появлялся на экранах 20 лет назад. Но сейчас не Барро вернулся в кино, говорит Этторе Скола, это кино вернулось к Барро.

Режиссер считает, что лучше всего о сегодняшнем дне может рассказать исторический фильм. Впрочем, добавляет он в беседе с корреспондентом еженедельника «Эуропео», «французская революция никогда не кончалась, она только принимает различные формы, как не закончился и шестьдесят восьмой год».

КАМПУЧИЯ

Жером Канапа — автор телерепортажей о Кампучии. Первый был передан в 1979 году, когда древняя культура и богатая цивилизация многострадального народа была на грани уничтожения полпотовцами, и практически не существовало ни школ, ни учителей, ни учеников.

Второй телерепортаж рассказывает о сегодняшнем дне страны, где уже насчитывается полтора миллиона школьников и студентов, имеется Школа изобразительного искусства и Национальная балетная труппа.

На снимке: кадр из телерепортажа Жерома Канапа. Танцовщица национального балета выступает перед храмом Ангкор-Ват.

(Газета «Юманите»)

КУБА

ПЕРВАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ КНИГА

Издательство «Летрас кубанас» выпустило первую книгу стихов Вирхилио Лопеса Лемуса «К свету, к жизни», ранее выступавшего как критик. «Появление этой книги знаменательно: она — живое свидетельство нерасторжимых связей между классической и современной кубинской поэзией, — отмечает литературный обозреватель газеты «Хувентуд ребельде» Басилиа Папастаматиу. — Книга, несомненно, привлечет внимание любителей поэзии, ибо ее автор, продолживший в своем творчестве традиции лирики XIX века, принадлежит к числу немногих поэтов — вдохновенных певцов природы... Поэзия Вирхилио Лопеса Лемуса корнями своими связана с землей его родины. И потому сердечной взволнованностью, неповторимостью чувства согреты его «пейзажи в стихах».

КУВЕЙТ

КНИГА О РУССКОМ РОМАНЕ

Как сообщает тунисский журнал «Аль-Фикр», в Кувейте в серии «Мир знаний», выпускаемой Национальным советом по вопросам культуры, искусства и литературы, вышла книга литературоведа Мукарима аль-Омари «Русский роман XIX века».

Кувейтский ученый рассматривает в своей работе творчество крупнейших русских писателей-реалистов XIX века, подчеркивает мировое значение русской литературы.

ЛИВАН

МИШЕЛЬ СУЛЕЙМАН — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ НЕЗВАЛА

Как сообщает журнал «Аль-Джадид» (г. Хайфа), известный ливанский поэт Мишель Сулейман удостоен международной премии, носящей имя выдающегося чешского поэта Витезслава Незвала.

М. Сулейман — первый арабский поэт, которому присуждается эта премия. До него премии Незвала были удостоены такие всемирно известные поэты, как Назым Хикмет и Луи Арагон.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ТУРГЕНЕВ И ЖОРЖ САНД

Патрик Уоддингтон, профессор университета Веллингтона в Новой Зеландии, выпустил монографию «Тургенев и Жорж Санд. Невозможный союз». Это, по мнению специалистов, новая страница в изучении творчества писателя.

Рецензент английского журнала «Бритиш бук ньюс» Б. С. Роутрей пишет, что за последнее десятилетие наблюдается оживление интереса к личности и творчеству Тургенева: достаточно вспомнить работы Виктора Притчетта «Добрый варвар», (1974) и Л. Шапиро «Тургенев: его жизнь и его время» (1978).

Книга Уоддингтона, пишет рецензент, не столь широка в охвате материала, как эти монографии, автора интересует проблема относительно частного характера — отношения Тургенева и Жорж Санд. Уоддингтон, пишет критик, работает не спеша, но весьма добросовестно, постепенно расширяя круг «тургеневских проблем»: до этого им были созданы такие работы, как «Тургенев и Виардо», «Тургенев и Англия».

В последней книге Уоддингтон подробно восстанавливает историю отношений — литературных и человеческих — Тургенева и Жорж Санд. Тургенев впервые прочитал произведение своей французской современницы в 1834 году, впервые встретил ее в 1845, а их «литературный союз» продолжался вплоть до смерти Жорж Санд. Книга, замечает в заключение критик, интересна и документальным материалом, впервые опубликованным на ее страницах.

ПОЛЬША

Станислав Микульский, широко знакомый советскому зрителю как исполнитель роли отважного капитана Клосса в телефильме «Ставка больше, чем жизнь». прошедшем с большим успехом на наших экранах. вскоре будет отмечать тридцатилетие своей работы в театре и кино.
В интервью газете «Трибуна люду» он сказал: «Больше всего я люблю работу в театре, но и некоторые роли в кино мне дороги». Сейчас актер работает в Театре Польском в Варшаве.
На снимке: Станислав Микульский.

(Газета «Трибуна люду»)

«БЕСПОЛЕЗНЫЕ СЛУГИ»

Как сообщает газета «Трибуна люду», в Познани вышел сборник избранных стихотворений известной польской поэтессы Казимиры Иллакович «Бесполезные слуги».

В него вошли стихи с 1912 по 1966 год. Расположенные в хронологическом порядке, они позволяют проследить важнейшие вехи творчества Казимиры Иллакович, художественную, социальную и философскую эволюцию ее поэзии за пятьдесят с лишним лет, дают читателю возможность постигнуть все богатство мыслей и чувств поэтессы. В журнале «Иностранная литература» переводы ее стихов были опубликованы в 1974 году, № 12.

СИРИЯ

«АТЛАНТИДА»

По сообщениям арабской прессы, в Бейруте опубликована драма в стихах известного сирийского поэта и драматурга Аднана Мардам-бека «Атлантида».

Мардам-бек — один из основоположников арабской поэтической драматургии. Ему принадлежат многочисленные пьесы в стихах, в которых воспевается прошлое арабов. Сюжетом для его новой пьесы послужила древняя легенда о затонувшем материке.

США

НЕСБЫВШАЯСЯ РОБИНЗОНАДА

Имя молодого прозаика Пола Теру стало известно широкому американскому читателю в начале 70-х годов, когда он выступил в одном ряду с адептами контркультурного, анархического бунта против буржуазной Америки. Сегодня, когда контркультура уже стала достоянием истории и наступило время трезвых оценок и переосмысления событий недалекого еще прошлого, в Соединенных Штатах все чаще появляются произведения, показывающие тщетность, бесперспективность, а то и жестокую бессмысленность контркультурных «акций». Новый, девятый по счету, роман Теру «Берег москитов» примыкает к таким недавним книгам, как «Осенний свет» Дж. Гарднера, «Молитвенник» Дж. Дидион, «Блага земные» Э. Тайлер, «Женское общество» М. Гордон, где, в каждом по-своему, феномен «бунта» 60-х годов подвергается критическому анализу и отрицанию.

Герой «Берега москитов» Элли Фокс — бунтарь-одиночка, дерзнувший сказать свое яростное «нет» американской цивилизации, которая, как он убежден, стремительно катится в пропасть. Фокс принимает решение столь же простое, сколь и традиционнное для многих «бунтарей» в американской литературе: он бежит от Америки. Бежит, как некогда бежал от нее марктвеновский Гек Финн, как бежали от нее неприкаянные герои романов Джека Керуака. В один прекрасный день Фокс объявляет своей жене и детям, что он купил для них небольшое ранчо в джунглях Гондураса. Там, вдали от «безумного, безумного, безумного мира», он мечтает спастись от непомерно высоких цен, дурных нравов, людской глупости и жадности.

Начиная жизнь заново, с нуля, этот современный американский «Робинзон» надеется, по его же собственным словам, повторить весь путь человечества, «минуя XX век». Высшим достижением Фокса в его эксцентрическом эксперименте производства льда посредством химического соединения становится создание огромного приспособления для кислорода и аммония. Но триумф Фокса длится недолго: его ледник неожиданно взрывается и разрушает почти все плоды долгого, кропотливого труда «Робинзона», который в конце концов сходит с ума от горя и ужаса...

«Неправдоподобная идиллия превращается в мрачный фарс»,— пишет рецензент журнала «Тайм». В целом высоко оценивая новую книгу Теру и отмечая ее социально-критическую направленность, рецензент подчеркивает, что трагический конец «робинзонады» выглядит вполне закономерным. Этот неудавшийся эксперимент был обречен с самого начала: Элли Фокс «губит себя потому, что он сам находится целиком во власти той цивилизации, от которой, как ему кажется, он спасся» В духовном поражении Элли Фокса рецензент видит глубокий символический смысл: в сегодняшней Америке анархический бунт оказывается тщетным и «бегущий не в силах спрятаться».

НЕВЕСЕЛАЯ ИРОНИЯ ДЖОНА ЧИВЕРА

После пятилетнего молчания, последовавшего за выходом в свет романа «Фальконер» (1977), Джон Чивер опубликовал повесть «Да ведь это райский уголок!». По мнению рецензента журнала «Тайм», в этой стостраничной повести Чивер вновь возвращается в «страну» своих ранних романов, где изображалась повседневная жизнь укромных уголков «зеленого пригорода», служащих для наиболее обеспеченных обитателей больших городов этаким «райским уголком», уютным островком спасения от городской суеты и шума. Но, как показывал Чивер — автор дилогии о семействе Уопшотов и романа «Буллет-парк»,— тихая

безмятежность «сабурбии» обманчива. И вопрос, прозвучавший в «Хронике семейства Уопшотов»: «Разве может произойти что-нибудь плохое в этом раю?» — был отнюдь не риторическим.

«Плохое» в провинциальных городках Чивера — это прежде всего гнетущая атмосфера бездуховности, распад системы норм здорового человеческого общения. Как отмечает рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» Дж. Леонард, постоянная тема Чивера-романиста — анализ духовной «бездомности» американского среднего класса — связана с утратой прошлых идеалов, которые некогда служили нравственным ориентиром для строителей молодой американской республики.

В новой повести Чивера, вернувшегося к «своей» теме, голос писателя звучит не только грустно, но и негодующе. В уста главного героя повести, Лемюэля Сирза, писатель вкладывает свои собственные размышления о болезнях современного общества. «Но он хочет слишком многого», — невесело заканчивает Дж. Леонард, комментируя жажду Лемюэля Сирза-Чивера вернуть утраченные идеалы. Слишком многого — для сегодняшней Америки, где все заметнее проявляют себя признаки духовного краха. Оттого восклицание, стоящее на обложке новой книги Чивера, кажется горестно-иронической насмешкой над буржуазным мифом об Америке — «земном рае», к которому до сих пор охотно апеллируют идеологи «американского образа жизни».

ТУНИС

«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ»

В курортном местечке Хаммамет близ г. Туниса состоялся международный семинар, посвященный теме «Проблемы современной арабской поэзии». В семинаре приняли участие поэты и литературные критики ряда арабских стран.

Редакция журнала «Аль-Фикр» посвятила семинару специальный номер. Его открывает вступительная статья премьер-министра Туниса, бывшего главного редактора журнала «Аль-Фикр» Мухаммеда Мзали, в которой подчеркивается непреходящее значение поэзии в век научно-технической революции. Далее приводятся доклады и выступления участников семинара.

Вслед за вступительной речью министра культуры Туниса, главного редактора «Аль-Фикр» Бешира Бен Сламы журнал печатает доклады видных арабских критиков, посвященные таким проблемам, как «Новаторство в современной арабской поэзии», «Арабская поэзия и традиция», «Поэзия и общество», «Поэзия и средства массовой информации», «Язык современной арабской поэзии и проблема коммуникабельности». (Последний доклад был сделан живущим в эмиграции видным египетским критиком-марксистом Махмудом Амином аль-Алимом.)

В номере публикуются выступления видных арабских поэтов — участников семинара: Сулеймана Исы (Сирия), Адониса (Ливан), Ахмада Абд аль-Муати аль-Хигази (Египет), в которых они рассказывают о своем творчестве, а также стихи поэтов Туниса и других арабских стран.

ФРАНЦИЯ

НОВАЯ КНИГА ЖОРЖА СИМЕНОНА

«Интимные мемуары с приложением книги Мари-Жо» — первая книга Сименона за последние десять лет, написанная им собственноручно, ибо начиная с 1972 года он диктовал все свои книги для магнитофонной записи. Эта книга вышла через три года после того, как дочь Сименона Мари-Жо покончила с собой.

В интервью с Рафаэлем Сорелем в «Монд» Сименон рассказал: «Эти мемуары я начал писать 16 февраля 1980 года для моей дочери. Я писал по восемь часов в день, только по воспоминаниям, без заметок... Я плакал, когда писал... Поместив в мою последнюю книгу письма, песни и стихотворения Мари-Жо, я хотел снова ощутить себя рядом с дочерью. Через два года после ее смерти мне приоткрылась истина. Я поверяю ее своим детям... Они собрались вокруг меня еще совсем маленькими, они растут, страдают, отдаляются. Для того, чтобы снова объединить их вокруг себя, я и решил прервать свое молчание».

Рафаэль Сорель пишет о книге Сименона: «Он попытался сделать невозможное: сказать все и совершенно искренне. «Интимные мемуары» — это безыскусное письмо, предназначенное прежде всего его дочери. Затем в том же тоне, прерывающемся иногда волнением или настойчивым желанием все распутать, все понять, он обращается к своим сыновьям Марку, Джонни и Пьеру... Он как бы вновь переживает счастливые моменты рождения детей, а затем, разворачивая свиток всей своей жизни, подвергает его суду своей совести. Есть жертва — Мари-Жо. Есть подозрения, что виновна ее мать, Дениза, личность которой разрушена алкоголем и безумием. Доказательства: тетради, письма, записные книжки и кассеты юной самоубийцы, которые составляют в сущности вторую книгу.

Свидетели: воспоминания. Суд присяжных: три сына. А судья? Сименон отказывается от этой роли. Быть может, он предлагает своим читателям, каждому из нас, стать этим судьей...

Но даже если бы мы сочли себя равными Мегрэ, — пишет далее Рафаэль Сорель, — мы никогда не смогли бы до конца проникнуть в глубины этой исповеди. Друг Сименона Жан Ренуар понимал его лучше, чем кто-либо и... охарактеризовал таким, каков он и сегодня: «Он не священник, дающий отпущение грехов. Он грешник, который бьется об исповедальную скамью».

В заключение интервью Сименон сказал: «Закончив эти мемуары, я надеюсь наконец обрести мир с самим собой. Я пытался понять, но не судить».

ФРГ

УДАЧИ И ПОИСКИ ФАССБИНДЕРА

Райнер Вернер Фассбиндер по праву считается одним из ведущих мастеров современного западногерманского кино. Каждый его новый фильм вызывает интерес у публики и критики, а его воистину феноменальная работоспособность вошла в поговорку. За 13 лет работы в кино 35-летний Фассбиндер снял свыше сорока фильмов. Однако стремление работать без передышки отнюдь не всегда оправдывает себя. И потому в творчестве этого бесспорно талантливого мастера не так уж редки ленты, не поднимающиеся выше уровня стандартной коммерческой продукции. Однако отнюдь не криминальными лентами и дешевыми мелодрамами, а картинами «Катцельмахер», «Торговец четырех времен года», «Страх съедает душу», «Эффи Брист», «Восемь часов — не день», «Берлин, Александерплац» Фассбиндер вошел в историю прогрессивного кино ФРГ.

Вершиной творческой биографии режиссера стал фильм «Замужество Марии Браун» (в этом немалая заслуга сценаристов Петера Мертесхаймера и Пеа Фрелих), который достойно представлял искусство режиссера в Москве на последнем Международном кинофестивале.

Снимая «Замужество Марии Браун», Фассбиндер поставил перед собой цель исследовать особенности развития Германии первого послевоенного десятилетия и показать их через трагедию Марии Браун, женщины-предпринимательницы, при-

На снимке: Барбара Зукова и Армин Мюллер-Шталь в фильме Райнера Вернера Фассбиндера «Лола».

(Газета «Ланд ог фольк»)

обретшей богатство и могущество, но потерявшей себя.

Вслед за этим Фассбиндер снял еще несколько картин (среди них — обернувшаяся фиаско «Лили Марлен»), после чего решил вернуться к теме, затронутой в «Замужестве Марии Браун».

Фильм «Лола», созданный при участии сценаристов Мертесхаймера и Фрелих, вновь поднимает ряд проблем послевоенной Германии, в том числе и разоблачает демократию капиталистического общества. В основу ленты положен роман Генриха Манна «Профессор Унрат», по которому в свое время сделали свои фильмы Йозеф фон Штернберг (1930) и Эдвард Дмитрик (1959) (оба вышли под названием «Голубой ангел»; в главных ролях у Штернберга снялись Марлен Дитрих и Эмиль Яннингс). Однако, как отмечает рецензент журнала «Фильмвохе», на этот раз Фассбиндеру не удалось достичь высот картины «Замужество Марии Браун». Сатира на «аденауэровские времена» получилась не столь острой, как ожидалось.

Своеобразным продолжением «Замужества Марии Браун», по мнению рецензента «Франкфуртер альгемайне цайтунг», стал последний фильм Фассбиндера «Отчаяние Вероники Фосс», рассказывающий о трагической судьбе бывшей кинозвезды, а по существу о жизни Федеративной Республики Германии. Этот фильм был удостоен премии Золотой Медведь на XXXII кинофестивале в Западном Берлине.

Пьеса «Право на ошибку» была сразу же поставлена несколькими театрами, но наибольший успех выпал на долю постановки ее на братиславской Новой сцене (режиссер Петер Опалены), благодаря, по свидетельству критики, превосходной игре В. Мюллера — исполнителя роли инженера Тонки.

Журнал «Словенске погляды», отмечая успех спектакля, пишет, что Солович всегда поднимает проблемы, которые интересуют и волнуют всех.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВАЯ ПЬЕСА ЯНА СОЛОВИЧА

Имя словацкого драматурга Яна Соловича хорошо знакомо советскому зрителю и читателю. Он один из наиболее известных писателей современной Чехословакии, автор многих пьес для радио, театра, телевидения. Некоторые из его пьес — например, «Кошмарная ситуация», «Загадочный нищий» — ставились в Советском Союзе.

Новое произведение Яна Соловича «Право на ошибку» имеет подзаголовок «современная пьеса» и рассказывает о проблемах, волнующих сегодня всех нас. Инженер Тонко, директор фабрики, в течение долгих лет борется за установление на предприятии системы фильтров, препятствующих загрязнению реки. Но именно тогда, когда заветная мечта директора осуществляется, его сын и зять — по незнанию и халатности — спускают в воду вредные химические отходы. Их обоих судят, инженер же Тонко сам, добровольно, покидает свой пост, считая, что не имеет морального права занимать его. Автор пьесы отмечает: «Это прежде всего история о нравственной чистоте нашего современника, который обязан чувствовать огромную ответственность за свои поступки в любую минуту и на любом посту, доверенном ему обществом».

КАПИТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В Чехословакии недавно завершено издание трехтомной «Истории французской литературы», которое привлекло к себе живой интерес и вызвало много положительных отзывов не только в Чехословакии, но и в других социалистических странах, а также во Франции, Бельгии, Люксембурге.

Объем этого поистине монументального труда более 2000 страниц. В его создании принял участие большой авторский коллектив, состоявший из работников Академии наук ЧССР, университетов в Праге, Братиславе, Брно, Оломоуце и других чехословацких ученых. Руководитель этого коллектива — профессор Пражского университета Я. О. Фишер — автор многих важных разделов и редактор всего труда, чьей поистине колоссальной работе трехтомное издание по существу и обязано, как единодушно отмечается во всех отзывах, своим концептуальным и стилистическим единством.

Основной композиционный принцип в трехтомнике — сочетание монографических глав, посвященных наиболее крупным мастерам французской литературы, и глав обзорных, охватывающих литературный процесс в целом, в его важнейших аспектах.

Чехословацкие рецензенты, писавшие об этом издании, с полным основанием и законной гордостью утверждают, что по широте охваченного материала данная история французской литературы не имеет себе равных как во Франции, так и за ее пределами. От обычных историй литературы, выходивших на Западе, это издание отличается гораздо большим вниманием к революционным и демократическим течениям в литературе, таким, например, как литература Парижской коммуны или революционная песня 1848 года. Кроме того, читатель может получить основательные сведения о видах художественного творчества, обычно причисляемых к «литературной периферии», — о литературе для

молодежи, детективах, научной фантастике или таких специфически французских явлениях, как поэзия и юмор Монмартра или творения популярных шансонье. Подробно рассмотрена и история драматургии и театра, а также развитие критики и эстетической мысли.

В трехтомнике нашло свое отражение также творчество художников, писавших на французском языке за пределами Франции, но особенно тесно связанных с французской литературой. В третий том включены очерки франкоязычных литератур Бельгии, Швейцарии, Канады, стран Магриба и некоторых франкоязычных литератур Африки, а также Антильских островов. В послесловии оговорено, что хотя авторы «Истории» не рассматривают, естественно, эти явления как часть французской национальной литературы, но считают необходимым дать о них информацию.

Капитальная «История французской литературы» является в какой-то мере результатом научного сотрудничества чехословацких и советских ученых. Как отмечают рецензенты, опыт советского издания «Истории французской литературы» АН СССР, несомненно, принимался во внимание чехословацким авторским коллективом.

ШВЕЙЦАРИЯ

«СИНЯЯ БОРОДА»

Так называется новая повесть известного швейцарского писателя Макса Фриша, выпущенная издательством «Зуркамп».

Книга начинается с судебного разбирательства. Врач Феликс Шаад обвиняется в убийстве проститутки Розалинды Цогг. Много улик свидетельствует против него. На судейском столе лежит вещественное доказательство — галстук, которым была задушена Розалинда у себя на квартире, и обвиняемый не собирается отрицать, что это его галстук. Он признает, что был у женщины в день убийства, а однажды спьяну даже пригрозил «задушить» ее из ревности.

У Шаада нет никакого алиби. В час, когда произошло убийство, он один гулял за городом и не может назвать ни одного свидетеля, который видел бы его в это время.

И все-таки улики против него недостаточны. Галстук он мог в этот жаркий день просто оставить у Розалинды. На первых же страницах книги Фриш сообщает, что Феликс Шаад освобожден из-под стражи за недоказанностью обвинения.

Однако для его героя главное тут только начинается. Он понимает, что подозрение с него не снято. «Как можно жить с этим? Мне уже пятьдесят четыре года»,— говорит он. Шаад продает свою практику. Не потому, что пациенты от него разбежались. Наоборот, сенсация только привлекает людей в его кабинет. Но Шаад просто уже не может жить по-прежнему. Процесс и все связанное с ним не дают ему покоя. Он чувствует необходимость оправдаться, доказать, что он действительно не убийца. А для этого ему надо рассказать многое о своей жизни: о своих семи неудачных браках, о Розалинде Цогг, с которой его связывало нечто большее, чем могло показаться на первый взгляд, о многом другом.

Повесть строится как бы из мозаичных отрывков: показания свидетелей перемежаются со словами прокурора, с объяснениями самого Шаада. Чем дальше, тем история становится сложней и запутанней. «Но прочитывается она на одном дыхании»,— пишет в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Франц Йозеф Гёрц.

Макс Фриш, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, во многом возвращается к темам своих прежних книг. «Это история о человеке, который не хочет быть таким, каким его вынуждает быть логика обстоятельств».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4.05.82 Подписано в печать 11.06.82 А 08255. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 1,6 п.л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 29,0.

Тираж 449 000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 1570.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394